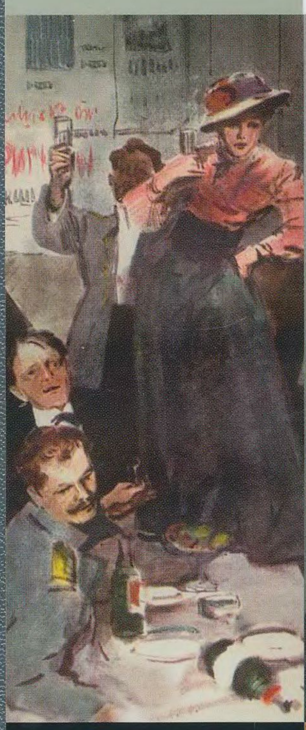
Виктория Миленко

КУПРИН

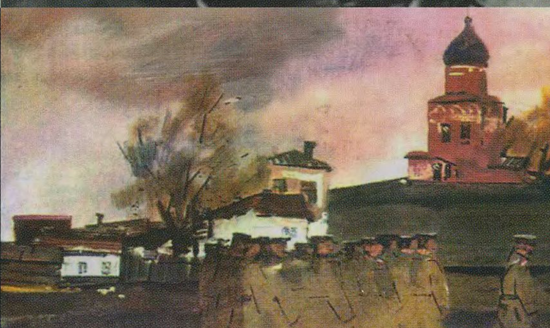
ЖЗЛ

КУПРИН

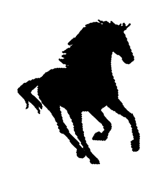




Виктория Миленко



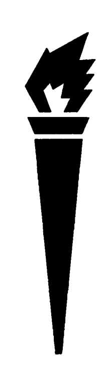
ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ



Жизнь ®
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Серия биографий

Основана в 1890 году
Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 году
М. Горьким



ВЫПУСК

1813

(1613)

Виктория Миленко

КУПРИН

ВОЗМУТИТЕЛЬ СПОКОЙСТВИЯ

МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
2016

УДК 821.161.1.0(092)
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8
М 60

*Издание осуществлено при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы
«Культура России (2012—2018 годы)».*

*В оформлении переплета использованы иллюстрации
Д. Дубинского и П. Пинкисевича.*

знак информационной продукции **16+**

© Миленко В. Д., 2016
© Издательство АО «Молодая гвардия»,
художественное оформление, 2016

ISBN 978-5-235-03913-1

НЕИСТОВЫЙ КУПРИН

Пролог

Купринский миф — один из самых стойких в истории русской литературы. И не только литературы. Писатель стал частью мифологии и фольклора Наровчата, Петербурга, Гатчины, Одессы, Хмельницкого, Киева, Житомира, Балаклавы и других городов, где ему довелось жить. Пусть многое из написанного Александром Куприным кануло в Лету вместе с XX веком, сам он забудется не скоро — слишком громкую и скандальную славу имел. Иван Бунин предрекал это, говоря, что Куприну «и впрямь всякое море было по колено, все трын-трава... он так не ценил ни своего тела, ни ума, ни сердца, ни своей репутации, что был и еще долго будет притчей во языцех»[1]*.

Прекрасно владея приемами жизнетворчества и обладая актерскими данными, писатель сам вольно или невольно создавал миф о себе. С детских лет, когда военный мундир кадетского корпуса позволил ему примерить первую роль, и всю оставшуюся жизнь он кого-то или во что-то играл. Далеко не всегда это была самореклама, чаще погоня за остротой ощущений. Игровой импульс посылала и его художественная натура: явственно автобиографическое творчество заставляло читателя гадать о прототипах и с любопытством ходить за теми героями, чьи имена Куприн оставлял подлинными. Так превратились в легенду 46-й Днепровский пехотный полк, где он служил и который карикатурно ославил в повести «Поединок»; Сашка-музыкант из одесской пивной «Гамбринус» и сама пивная; балаклавский рыбак Коля Констанди, чей баркас после выхода «Листригонов»

* Примечания, обозначенные цифрами, см. в конце книги.

ломился не только от рыбы, но и от поклонников Куприна. Так на страницах повести «Купол Св. Исаакия Далматского» обрели бессмертие офицеры и рядовые «белой» Северо-Западной армии.

В пору славы писатель «сыграл» немало ролей, и для каждой находился фотограф. Сначала, вместе с прославившим его «Поединком», миру был явлен на снимках «бывший офицер», «новый поручик Толстой», бунтарь и почти революционер: военный мундир, разочарованный демонический взгляд. Затем явился «бродяга»: мятая кепка, вытертый пиджачишко, брюки с бахромой. Чуть позже предстал «татарский хан»: хищный прищур узких глаз, бритая голова, тюбетейка, восточный халат, чубук, висячие усы. (Так и рисуются за спиной мятущиеся тени, конница, полонянка через седло.) Еще были «рыбак», «водолаз», «авиатор», «охотник», «огородник», «предсказатель», «пловец», «борец»...

Современники многим ролям не верили; они знали больше нас. «Куприн был написан Кнутом Гамсуном в сотрудничестве с Джеком Лондоном», — шутила Тэффи[2]. Ей и многим другим было очевидно, что главная роль Куприна — «лейтенант Глан», рассказчик и герой романа Гамсуна «Пан»: хижина, ружье, собака. Уже к этому образу писатель добавлял что-то из Лондона, что-то из Киплинга, что-то из своей врожденной «звериности»: обостренное обоняние, хорошие крепкие зубы, понимание инстинктов и повадок животных, уважительное и чуткое отношение к природе.

От гамсуновской «звериности» всего шаг до ницшеанского «дионисийства» с его алкогольной экзальтацией, столь модной в эпоху модерна. У Куприна даже шага не было; две роли слились воедино и толкали его на дикие выходки. Роли «сатира» верили почти все: о гомерическом пьянстве и разгуле Куприна сложено больше всего баек и легенд. Однако некоторые чувствовали фальшь: мол, не так пьян Александр Иванович, как хочет казаться, мол, ему зачем-то это нужно.

Подпитывала купринский миф и свита писателя, «манычары», как он ее окрестил в честь своего закадычного приятеля Петра Дмитриевича Маныча. Были в свите и шуты, и телохранители, и посредники в литературных делах, и умелые льстецы, и прихлебатели. Некоторые из них — тот самый Маныч, Василий Александрович Регинин («Вася»), Александр Иванович Котылев — благодаря близости к Куприну тоже стали легендой. К тому же писатель дру-

жил с людьми легендарными и без него, от чего его личный миф приумножался: Федор Шаляпин, борец Иван Заикин, спортсмен Сергей Уточкин, клоун Джакомо Чирени («Жакомино»)...

Куприн настолько приучил поклонников к зрелищным эффектам, что даже в его серьезных поступках они видели очередные роли. Так случилось в годы Первой мировой и Гражданской войн, когда писатель по убеждению стал сначала офицером ополчения, затем политическим эмигрантом. В последние парижские годы ему пришлось быть просто пожилым человеком, и это оказалось никому не интересно. Больше всех скучал он сам. И тут новую роль ему предложили извне — «раскаявшийся белый эмигрант», и в этом амплуа пригласили вернуться в СССР. Однако его болезнь сорвала политический спектакль, который доиграли за него жена и друзья, и в этой роли Александр Иванович Куприн покинул сей мир. От нее и отталкивался советский миф.

После смерти писателя занялось советское литературоведение, которое вынужденно отсекало некоторые его роли. По политическим причинам забыли о главной из них — «лейтенанте Глане» (Гамсун поддержал фашизм), поэтому не могли, к примеру, верно трактовать повесть «Олеся». Особо не распространялись о «политическом эмигранте». Алкогольную тему затушевали, бунтарско-революционную усилили. В результате тезис о крупнейшем представителе критического реализма рубежа XIX—XX веков, гуманисте и демократе, борце с царизмом, тонком певце русской природы, заучил каждый, кто окончил советскую школу. А еще запомнил черно-белый портрет писателя из учебника: невзрачный человек в старомодной шляпе, что-то такое древнее...

Те, кто потом учился на филологическом факультете, скучали над критическими разборами «Поединка» и тайком читали «Яму», повесть о проституции. Пытаясь как-то оживить для себя Куприна, открывали труды А. В. Храбровицкого, Э. М. Ротштейна, П. Н. Беркова, В. Н. Афанасьева, А. А. Волкова, в особенности Ф. И. Кулешова и др. Все исследователи проделали колоссальную работу, восстановив хронологию жизни и творчества писателя в мельчайших фактах, но живого человека не получалось. Он кое-как соответствовал народности, но его зачеркивала партийность.

Встречу с живым Куприным смог подарить читателю только Олег Николаевич Михайлов. Более свободные по-

вествовательные каноны позволили ему написать беллетризованную биографию писателя для молодогвардейской серии «ЖЗЛ» (1981), Куприну — заговорить, а читателю хоть немного приблизиться к пониманию сложнейшего характера его героя. Понять, что Куприн был кем угодно, только не сухим догматиком и дидактиком. Обнаружить в нем страстность почти рогожинскую. И вместе с тем полюбить его.

Через двадцать лет Олег Михайлов переиздал свою книгу с некоторыми дополнениями[3], после чего установилось молчание. И вот серия «Жизнь замечательных людей» вновь обращается к личности Александра Куприна. Сегодня нужен новый взгляд на такое явление в русской литературе и истории, как Куприн, тем более что все эти годы куприноведение не стояло на месте. Появились сборники неизвестного наследия писателя: «Голос оттуда: 1919–1934» (М., 1999), «Мы, русские беженцы в Финляндии: Публицистика (1919–1921)» (СПб., 2001), «Хроника событий глазами белого офицера, писателя, журналиста» (М., 2006), «Пестрая книга: Несобранное и забытое» (Пенза, 2015). Стала доступна эмигрантская периодика, предоставившая нам воспоминания о писателе и рецензии на его книги. Новыми фактами обогатилось региональное куприноведение: на родине писателя, в Наровчате и Пензе; в Гатчине, где он прожил долгие годы; в Крыму, где память о нем хранит Балаклава.

Сегодня есть все возможности для беспристрастного анализа жизненного пути и творчества Куприна, в том числе их политической составляющей. В канун столетия революционных событий 1917 года представляется особо важной публикация ранее «непечатных» документов и материалов, без чего купринский миф никогда не позволит нам подобраться к факту. Это стало возможным благодаря собраниям фондов РГВИА, РГАЛИ, ОР РГБ, ИРЛИ, Государственного архива Житомирской области, Научной библиотеки «Таврика» им. А. Х. Стевена, Литературного архива Мемориала национальной письменности Чешской Республики, Исследовательского центра по истории иммиграции Миннесотского университета и другим хранилищам.

Автор выражает личную признательность житомирянам Евгению Романовичу Тимиряеву, Игорю Валерьевичу Александрову, Ларисе Анатольевне Мозговой, Василию Васильевичу Вознюку, гатчинцам Наталье Викторовне Юронен и Яну Борисовичу Янушу, а также Олегу Павловичу

ババренику (Стрельна), Анне Евгеньевне Хлебиной (Прага), Нине Борисовне Черепановой (Пермь), крымчанам Любови Викторовне Миленко, Ирине Юрьевне Чистяковой, Нине Николаевне Колесниковой, Алене Игоревне Кияшко. Отдельная благодарность Максиму Константиновичу Макарову (Версаль) за фотоматериалы из архива Е. А. Федорчук-Шевцовой и пр.

Работа предстояла непростая. Писать о Куприне-человеке труднее, чем о Куприне-художнике, ведь его творчество гораздо монолитнее, чем личность. Ее за многими игровыми масками сложно уловить, да и не хотел он, чтобы уловили.

Что же нам оставалось? Воспользоваться методом самого писателя. Пытаясь понять человека, он пристально, до рези в глазах, вглядывался в его портрет, влезал в его оболочку, становился им и только тогда брался за перо. Портретов Куприна, к счастью, сохранилось немало.

Попробуем.

Глава первая

ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО!

Верность присяге рождает героев.
Русская поговорка

Александр Куприн с рождения знал, что назван в честь Александра Невского, и видел тайный смысл в том, что появился на свет 26 августа*, в годовщину Бородинского сражения. Кадет, юнкер, поручик пехоты, треть своей жизни он отдал служению Вере, Царю и Отечеству. Предполагал быть генералом, но стал писателем.

Слава пришла к Куприну в 35 лет — достаточный возраст для того, чтобы обрасти прошлым. Есть эта «доисторическая» жизнь, о которой не хочется вспоминать. Она же назойливо смущает фотографиями (а ты думал, что они не сохранились), откровениями бывших друзей (а ты уже забыл о их существовании), неожиданными встречами с теми, кто теперь тебя компрометирует.

Так было и с Куприным. Он не любил говорить о своем детстве и юности: больно. «Насчет многого, что касалось его личной жизни, он был очень скрытен, — свидетельствовал Иван Бунин, — так что, несмотря на всю нашу большую и такую долгую близость, я плохо знаю его прошлое...»[4] Куприн раздражался, когда приходилось вспоминать о заре жизни, и вынужденно это время приукрашивал. Волю его мы уважаем, однако без внимания к фактам невозможно осмыслить зигзаги человеческого и творческого пути нашего героя. Трудно понять само творчество, а главное — развеять сложенный им миф о том, что он стал писателем случайно.

Ничего подобного!

---

* До февраля 1918 года все даты приводятся по старому стилю.

Малая родина

У городка Наровчат, где появился на свет Саша Куприн, все было в прошлом. Шутка ли, возраст городка — 700 лет, а может и больше, кто знает. Народ мокша, давший местечку имя Наручадь и живший здесь как минимум с XIII века, хроник и летописей тогда не вел — письменности еще не имел. Зато умел геройски сопротивляться и не без боя уступил свою землю хану Батыю, пришедшему сюда во время похода на Русь в 1236–1237 годах. Монголы сделали городок центром Наровчатского улуса Золотой Орды, а по некоторым данным и всей Орды. Здесь перемешались мордва, буртасы, русские, а в конце XIV века огненным вихрем пронесся по этой земле «железный хромец» Тамерлан. Опустело все, превратилось в дикое поле. Потом Орда развалилась, земля перешла к Московскому государству, и осевшие здесь татарские мурзы обрусели, стали именоваться князьями, приняли христианство. Век за веком тлен эпох и частые пожары затягивали пеленой забвения лихое прошлое, и к тому времени, с которого мы начнем свой рассказ, Наровчат еле теплился и скучал, подобно другим уездным городишкам Российской империи.

На исходе жизни Александр Куприн откроет своим читателям Наровчат как забавную terra incognita: «Наровчат есть крошечный уездный городишко Пензенской губернии, никому не известный, ровно ничем не замечательный. Соседние городки, по русской охальной привычке, дразнят его: “Наровчат, одни колышки торчат”. <...> замечательных и примечательных событий в Наровчате никогда не происходило. Даты времени отсчитывались по мелким домашним происшествиям... Это было за год перед тем, как у Ольги Иннокентьевны родилась двойня; или год спустя после того, как мировой посредник Фалин привез из Пензы секрет яблочной пастилы, и все другое в том же роде» («Царев гость из Наровчата», 1933*).

Если следовать такой наровчатской «хронике», то герой этой книги родился вскоре после того, как на весь город оскандалился его отец: письмоводитель Наровчатско-Краснослободского мирового съезда, коллежский регистратор Иван Иванович Куприн.

Семья Куприных сложилась 23 июня 1858 года, когда

* Здесь и далее в скобках указываются название произведения и дата его публикации.

в городке Спасске (тогда Тамбовской губернии, а ныне Пензенской области) венчались «письмоводитель Спасской градской больницы, писец 3-го разряда Иван Иванов Куприн, православного вероисповедания, первым браком. 25 лет» и «села Зубова из дворян девица Любовь Алексеевна Колунчакова, православного вероисповедания. 19 лет»[5].

Сохранились единственный портрет Ивана Ивановича и несколько портретов Любови Алексеевны, будущих родителей писателя. Иван Иванович внешне «демократ», по моде 1860-х годов: длинные волосы, окладистая неопрятная борода, бакенбарды. Крупный и полнотелый, одет соответственно: бесформенный не то пиджак, не то кофта, пуговицы как-то безвольно не застегнуты. Сын унаследует от него и склонность к полноте, и царственное небрежение в одежде, и спокойную русскую кровь, которая будет охлаждать его горячую голову. Любовь Алексеевна, напротив, очень ладная, аккуратная, миниатюрная, тоненькая, живая. Мелкие, восточные черты лица. От нее у Куприна экзотическая внешность и, как он всегда утверждал, бешеная кровь предков-кочевников.

Отец был скромного происхождения. Дед Куприна по отцовской линии служил в Спасской больнице подлекарем (то есть помощником лекаря, фельдшером)[6] и дослужился до чина коллежского регистратора[7]. Коллежским регистратором был и сам Иван Иванович, а это низший гражданский чин XIV класса в Табели о рангах. Иван Иванович был тем «маленьким человеком», на котором русская литература XIX века сделала себе мировое имя (вспомним пушкинского Самсона Вырина). Куприн-младший потом, как ни старался, не мог придумать об отце ничего интересного. Как-то, впрочем, сообщил приятелю: «...об отце вскользь упомянул — “титулярный советник”»[8]. Это невинная ложь: Александр Иванович продвинул отца по служебной лестнице всего на два чина вперед, от XIV к XI классу. В этой фантазии Иван Иванович Куприн все равно остался «маленьким человеком»: «вечным титулярным советником» был и гоголевский Акакий Акакиевич Башмачкин, и Макар Девушкин Достоевского.

Ну мог ли коллежский регистратор Иван Куприн подумать, что его фамилия когда-нибудь станет знаменитой? Тем не менее станет. И его сын будет задыхаться от ярости, слыша, что кто-то неправильно ее произносит, ставя ударение на первом слоге. «Я — Куп*ри*н и всякого прошу это помнить, — взвивался он. — На ежа садиться без штанов

не советую»[9]. А потом и легенду сочинит, одну из многих: «Дед мой был выходец из Тамбовской губернии, где имел небольшое имение на реке Купр*е*. И все его родичи в своей фамилии ударение делали на последнем слоге — Купр*и*н»[10]. Куприноведы занимались этим вопросом. Утверждают: не было такой речки и нет, а фамилия, скорее всего, произошла от крестильного имени Куприян (сокращенно К*у*пря). Поэтому современники писателя автоматически ставили ударение на первом слоге.

Итак, отец для жизнетворчества не подходил. Мать писателя, Любовь Алексеевна, — другое дело. По отцу она была княжеских кровей: род Колунчаковых (Кулунчаковых, Каланчуковых) вел свое начало от ордынского князя Кулунчака Еникеева, жившего в XVI веке, наследственно княжившего в Темникове. Не довольствуясь этим, Куприн нет-нет да и заявлял, что он «потомок Ланг Темира»[11]. Ему нравилась девичья фамилия матери: «колунчак» («колынчак», «колынча») означает «стригунок» (годовалый жеребенок). Александр Иванович даже придумает себе герб, жеребенка на зеленом фоне, и напишет Ивану Бунину, что это геральдика «от помещичьей души моей матери — принцессы Кулунчаковой». Безусловно, коллежский регистратор Иван Куприн был не ровня «принцессе», но ее родители совершенно обеднели.

После венчания Куприны жили в Спасске, затем в Зубове, где в 1859 году родился и очень скоро умер их первенец, сын Сергей. В 1860 году они переехали в Наровчат, купили усадьбу на центральной Сенной площади. Здесь родились дочери Софья (1861) и Зина (1863), второй сын Иннокентий (1865). Он также не выжил.

Иван Иванович получил место письмоводителя при уездном предводителе дворянства, помимо этого вел документацию соединенного Краснослободско-Наровчатского мирового съезда. Он был в курсе всех новостей города и уезда, и в его доме бывал «цвет» Наровчата. Память об этих врачах, провизорах, смотрителях уездных училищ и прочих хранит семейный альбом Куприных. Он сохранился, в отличие от самого дома, на месте которого теперь стоит другой, и в нем расположился Государственный музей А. И. Куприна.

Герой этой книги, как уже было сказано, появился на свет в разгар скандала. Осенью 1867 года на стол начальника Наровчатской губернии легло прошение от Любови Алексеевны Куприной с требованием разобраться в инци-

денте. В отсутствие мужа к ней явились полицейские чины в сопровождении гражданских лиц, показали распоряжение предводителя дворянства, предписывающее забрать из дома все бумаги Ивана Ивановича, и стали выносить дела канцелярии предводителя дворянства. Через день они вернулись (муж все еще отсутствовал) и начали выносить уже дела мирового съезда, после чего по необъяснимой причине учинили обыск во всем доме. Любовь Алексеевна, испугавшись, слегла и просит защиты.

Последствия оказались плачевными: началось разбирательство, и вскрылось, что в документах, которые почему-то хранились у господина Куприна дома, царил хаос. Обнаружились письма десятилетней и более давности, незарегистрированные, неразобранные и, понятно, неисполненные. Выплыла утеря гербовой печати мирового съезда и — что самое неприятное — растрата. Иван Иванович никак не мог объяснить, почему он получил на почте 144 рубля 28 копеек (по тем временам приличная сумма), причитавшиеся предводителю дворянства, и куда их дел. Потом выявили еще одну недостачу — и пошла писать губерния.

Скверная история, к тому же в таком маленьком городке. 19 октября 1869 года Куприн-старший вынужден был подать в отставку. После этого следствие тянулось еще довольно долго и стало последним крупным событием в его жизни: едва дождавшись его окончания, он умрет довольно молодым, в 37 лет, во время эпидемии холеры.

Из материалов дела моральный облик Куприна-старшего вполне вырисовывается. Здесь и показания наровчатцев, видевших его неоднократно бродящим по городу пьяным; и его собственные заявления, что он не пил, а «болел», и вообще: а кто не пьет?! И заявления о том, что он ни в чем не виноват, а это господин предводитель хочет на его место посадить своего родственника, а потому интригует. И Бог знает, куда бы все это зашло, если бы не разрешилось тем, что бывший начальник Куприна вернул за него растраченную сумму, и дело замяли[12]. Весной 1871 года Иван Иванович получил «Аттестат» с невозмутимой фразой: «Под судом и следствием, а равно и в отпусках не был»[13]. Этот документ, кстати, не содержит никаких данных о личном дворянстве Куприна-старшего, о чем иногда заявляют биографы писателя. Вряд ли Иван Иванович мог его получить за те пять месяцев, что прошли между выдачей «Аттестата» и его смертью. Во всяком случае, в записи о его кончине о дворянстве тоже нет ни слова.

Полагаем, что скандал мало способствовал миру и уюту в доме на Сенной площади. Были у Куприных трагедии и похуже отставки: в августе 1869 года они похоронили уже третьего сына, Бориса. Любовь Алексеевна решила вымолить чудо. С ее слов мы знаем первую легенду биографии писателя:

«Когда я почувствовала, что вновь стану матерью, мне советовали обратиться к одному старцу, славившемуся своим благочестием и мудростью.

Старец помолился со мной и затем спросил, когда я разрешусь от бремени. Я ответила — в августе. "Тогда ты назовешь сына Александром. Приготовь хорошую дубовую досточку, и, когда родится младенец, пускай художник изобразит на ней — точно по мерке новорожденного — образ святого Александра Невского. Потом ты освятишь образ и повесишь над изголовьем ребенка. И святой Александр Невский сохранит его тебе"»[14].

Любовь Алексеевна все исполнила. 26 августа 1870 года она родила сына. 30 августа при крещении в Покровском соборе, колокольня которого и по сей день стоит в Наровчате, назвала его Александром. Икону заказала. И чудо произошло: святой Александр Невский сохранил жизнь Саше Куприну. Он хранил его почти 68 лет во всех крутых передрягах, ибо жизнь этому младенцу выпадет экстремальная, и он не слишком будет ее ценить. Современники в один голос утверждали, что Куприн отличался редким, богатырским здоровьем, что другой на его месте, предаваясь стольким порокам и рискам, давно бы сгинул. Так и запишем: слава небесному покровителю!

Саша мог погибнуть еще на первом году жизни, если бы заразился от отца холерой. 22 августа 1871 года Иван Иванович скончался. Когда его сын вырастет и станет знаменит, предпочтет эту, такую скучную, смерть приподнять до романтической, рассказывая первой жене, что отец был военный врач и погиб во время холерного бунта.

Любовь Алексеевна Куприна в 33 года стала вдовой. На руках сироты: Софье десять лет, Зине — восемь, Саше — год. Поднять детей самостоятельно она бы не смогла, поэтому начала хлопотать о помощи и обивать пороги. Надо полагать, были задействованы все связи, близкие и дальние родственники, покровители, благодетели... Софью удалось определить в Петербург, в закрытый женский институт принцессы Ольденбургской; Зину — в Московский Николаевский сиротский институт.

Саша, малыш с непропорционально большой, крепкой головой (судя по фотографии в трехлетнем возрасте), еще не понимал, что жизнь, едва начавшись, уже сыграла с ним скверную шутку. Пока что он бегал по Сенной площади и очаровывался неким кучером, о котором вспоминал даже в старости. Это была счастливая пора неведения и покоя. Наровчат так и останется для него каким-то сказочным царством, где была нормальная, «домашняя» жизнь. Таким он предстанет в рассказе для детей «Храбрые беглецы» (1917).

Беглецами стали сами Саша с мамой. Пристроив дочерей, Любовь Алексеевна продала дом и, судя по документам[15], в феврале 1874 года уже находилась с сыном в Московском Вдовьем доме.

Так начались скитания нашего героя по казенным заведениям.

Сирота

В ближайшие двадцать лет жизнь сироты будет подчинена уставу. «Трехлетним мальчишкой меня привезли в Москву, — рассказывал Куприн, — и с этого возраста вплоть до 19 лет я не выходил из казенных заведений, сначала Вдовий дом, что в Кудрине, потом Разумовское сиротское училище, затем кадетский корпус и военное училище. Да надо по правде сказать, что и четыре года моей офицерской службы были тем же закрытым пансионом»[16].

За этим признанием стоит сокровенное. Год за годом в Саше убивали личность и равняли его по линейке. Едва начав осознанно относиться к окружающему, он уяснил, что живет на земле из милости, что должен молчать, слушать и повиноваться, что полностью зависит от прихотей чужой воли. Защитить было некому, а горячая кровь бросалась в голову. «Я самолюбив до бешенства и от этого застенчив иногда до низости, — признался он как-то Бунину. — А на честолюбие не имею даже права»[17]. Близко знавший писателя Федор Дмитриевич Батюшков утверждал, что «подавленное в раннем детстве проявление своей личности впоследствии вылилось в обратное чувство — в желание наивозможно полнее развить и утвердить свое “я”, нередко приводившее к проповеди индивидуализма и к резким и неожиданным поступкам. В нем была какая-то трещина, что-то наболевшее, давнее, накопившееся в результате раз-

ных превратностей в жизни, вследствие чего он не раз относился с предубеждением к людям»[18].

Сиротское детство во многом сформирует характер и социальное поведение Куприна. Останется привычка жить коллективом и делиться, бить предателей и доносчиков. Безалаберное отношение к деньгам и неприхотливость в быту также останутся. Стремление погреться у чужого семейного очага — тоже, а вместе с ним любовь к обрядам: крестинам, сватовству, венчанию. У него будут сложности в собственной семейной жизни: мальчик-сирота, не помнивший отца, он не знал, как нужно строить эти отношения. Наконец, его много обижали и унижали, и он будет жестоко мстить. Но об этом в свое время.

Пока же Саша потерялся в гулких коридорах и огромных сводчатых палатах Вдовьего дома. Он много напишет о нем, оживит и компаньонок матери, и швейцара Никиту, но в первую очередь запахи: аромат «травы пачули, мятного куренья, воска и мастики от паркета и еще какой-то странный, неопределенный, целый запах чистой, опрятной старости, запах земли» («Святая ложь», 1914). Такова уж особенность картины мира Куприна: прежде всего — запах.

Здесь действительно содержались в основном пожилые дамы; Любовь Алексеевна была самая молодая и почтительно называла их «вдовушками». Не лучшая компания для ребенка: вдовушки Сашу, конечно, баловали, но и ломали ему психику. Фанатично набожные, они научили его перед сном закрещивать мелкими крестами щелочки между телом и одеялом. Они забили его голову мрачными историями о святых отшельниках, муках ада и в довершение внушили страх перед грозой. Мальчишке снились кошмары, он плакал по ночам.

Можно себе представить, сколько плакала его мать. Любовь Алексеевна поставила на себе крест ради детей. Всё правильно, цель святая. Но характер свой, княжеский, пришлось ломать. Теперь она была всецело во власти настоятельницы и других, более мелких, деспотов: нужно выйти в город — получи «билет», хочешь остаться ночевать у родственников — если позволят, к ужину опаздывать ни в коем случае, характер свой показать — рискуешь. Она бывала жестока к сыну. Кошмаром из детства стала для него позже описанная картинка: «...мать наказывала его тем, что привязывала его тоненькой ниткой за ногу к кровати, а сама уходила. И маленький... сидел покорно целыми часами. В другое время он ни на секунду не задумался бы над

тем, чтобы убежать... но нитка! — нитка оказывала на него странное, гипнотизирующее действие» («Поединок», 1905). Так впоследствии он обвинял мать, которая читала эти строки: мама, как же ты могла...

Видимо, все было непросто. Хотя Любовь Алексеевна имела право держать при себе сына до его восьмилетия, она оторвала его от себя раньше. В шесть лет Саша оказался совершенно один в Александринском сиротском институте (Разумовском пансионе). Бритая голова, первая в его жизни форменная одежда и старые девы, которые воспитывали детей по системе Фребеля. Вместе с другими Саша плел коврики из цветных бумажек и клеил домики. И, конечно, рыдал по ночам. О пансионе он расскажет в «Реке жизни» (1906): «Там классные дамы, озлобленные девы, все страдавшие флюсом, насаждали в нас почтение к благодетельному начальству, взаимное подглядывание и наушничество, зависть к любимчикам и — главное — тишайшее поведение». Однако именно здесь в семь лет он написал первые стихи о птичках; эти стихи он приводил в автобиографическом романе «Юнкера» и со смехом вспоминал, что и мама и другие слушатели ими восхищались, прочили славу Пушкина.

Но мальчишки из Разумовского пансиона были равнодушны к стихам, а может быть, и смеялись над Сашей. Они уважали только силу и какие-нибудь выдающиеся способности. Куприн быстро понял, как можно здесь выделиться: он увидел, каким восторгом были окружены братья Дуровы, Владимир и Анатолий (будущие знаменитые дрессировщик и клоун). «Это было в 1879 году, — вспоминал писатель. — Мы жили по соседству с Дуровыми. Бабушка его (Анатолия Дурова. — *В. М.),* очаровательная старушка, вечно огорчалась “коленцами” своего внука»[19]. Хорошее, домашнее «жили по соседству». На самом деле бабушка Дуровых была пансионеркой Вдовьего дома, и именно там Саша встречал ее внуков Анатолия и Володю. И немел от восторга: у старшего, Владимира, то воробей из кармана вылетит, то лягушка квакнет, то крыса на плече повиснет. Младший, Анатолий, так изобразит клоуна, как никто не может, крутит сальто, ходит на руках! Уже тогда Саша понял, что артисты — это небожители. Вот кто всегда будет окружен славой. «Тайно я благоговел перед ним, но он меня не замечал», — признавался Куприн[20].

Эта горечь показательна. Сашу долго не будут замечать, и потом он обвинит мать в том, что с раннего детства стра-

дал тяжелыми комплексами: «Это она была первой причиной того, что вся моя душа загажена, развращена подлой трусостью. Она равно овдовела, и мои первые детские впечатления неразрывны со скитаньем по чужим домам, клянченьем, подобострастными улыбками, мелкими, но нестерпимыми обидами, угодливостью, попрошайничеством, слезливыми, жалкими гримасами, с этими подлыми уменьшительными словами: кусочек, капелька, чашечка чайку... Меня заставляли целовать ручки у благодетелей — у мужчин и у женщин. Мать уверяла, что я не люблю того-то и того-то лакомого блюда, лгала, что у меня золотуха, потому что знала, что от этого хозяйским детям останется больше и что хозяевам это будет приятно. Прислуга втихомолку издевалась над нами: дразнила меня горбатым, потому что я в детстве держался сутуловато, а мою мать называли при мне приживалкой и салопницей» («Река жизни»). Саша уяснил, что он очень некрасив, очень беден, ничтожен и ни на что в жизни не имеет права. В этой убежденности он перешел из младшей, дошкольной группы пансиона в подготовительный класс для поступления в военную гимназию.

Можно долго гадать о том, как была решена его судьба. Была ли армия осознанным выбором его матери, убежденной в том, что обязана посвятить мальчика Александру Невскому, сделать его воином? Или никакого выбора не было? Не было у Любови Алексеевны такой роскоши: вникать, какие склонности у ее сына. Надо было сделать так, чтобы он гарантированно был одет и сыт.

В августе 1880 года Саша Куприн выдержал вступительные экзамены во 2-ю Московскую военную гимназию, которая вместе с 1-й Военной гимназией располагалась в Лефортове. Кто бы мог подумать, что это мрачное и безликое заведение станет для него тем же, чем Царскосельский лицей для Пушкина. Здесь он продолжит поэтические опыты и приобретет у однокашников славу поэта.

Начало военного воспитания Куприна совпало с первыми годами царствования Александра III. С этим императором будет связана вся армейская биография будущего писателя: кадетом он напишет стихотворение «На день коронации» (1883), юнкером будет стоять во фронт перед государем на Красной площади, пехотным подпоручиком будет сожалеть о миротворческой внешней политике царя и деградации армии, наконец, оставит службу практически одновременно с кончиной императора. Жизнь сложится так, что он будет косвенно связан с сыном Алек-

сандра III, великим князем Михаилом Александровичем, и непосредственно, по переписке, с его дочерью великой княгиней Ольгой Александровной.

Согласно реформам императора, в 1882 году Сашина военная гимназия была реорганизована во 2-й Московский кадетский корпус, и он стал кадетом. Об этом времени напоминают два его портрета. Первый — известный: худенький большеголовый мальчик в форменной курточке, положив перед собой фуражку, грустно смотрит мимо объектива. Второй снимок совершенно неизвестный. На нем уже повзрослевший кадет Куприн... в очках.

Неожиданно и, прямо скажем, сенсационно! Фотография, с одной стороны, перечеркивает миф об орлином зрении Александра Ивановича, сложенный им самим. С другой — объясняет характерную черту многих его словесных портретов: привычку хитро, «по-купрински», щуриться. Современники считали, что это поза, игра в «зверя», в гипноз. Оказывается, это была необходимость.

При желании можно найти подтверждения близорукости Куприна. В одном из писем А. П. Чехову 1904 года он проговорился: «...я несколько близорук и не особенно остро слышу»[21]. А вот воспоминания Бунина о первой встрече с Куприным: «Мы... увидали неловко вылезающего из воды... человека... близоруко разглядывающего нас узкими глазами»[22]. И еще одно свидетельство:

«Все знали, что Куприн любил сильных, здоровых людей. Он, тщательно скрывая, что у него один глаз видит хуже другого, любил повторять:

— Когда умру, поставьте на моей могиле памятник с надписью: “Здесь лежит человек, который никогда не носил очков”»[23].

Конечно, мы вторгаемся в запретную область, однако теперь можно ответить на вопрос, почему Ромашов, автобиографический герой повести «Поединок», сделан «очкариком». Для чего Куприн описывал, что у него в помещении запотевают стекла и это неловко? Разумеется, можно сказать, что эта деталь призвана подчеркнуть непохожесть, нестандартность, уязвимость Ромашова. Но все могло быть проще: в молодости Куприн и сам носил очки. Остается, правда, гадать, каким образом с плохим зрением и «не особенно острым» слухом он проходил медицинские комиссии.

Однако вернемся к кадету Саше, которого наверняка дразнили и за очки, и за экзотическую внешность, и за ма-

лый рост. Однокашник вспоминал о нем: «...невзрачный, маленький, неуклюжий»[24]. Его легко узнать в Буланине, герое автобиографической повести «На первых порах: Очерки военно-гимназического быта» (1900), она же — «Кадеты» (1906). Этот Буланин-Куприн схлопотал по голове в первый же учебный день. В корпусе он попал в абсолютно мужской коллектив, старых дев здесь уже не было. Быстро усвоил, что бить будут больно, что жаловаться нельзя, а прославиться можно только жестокостью или каким-нибудь невероятным хулиганством. Чего же проще? Он скоро попал в категорию «отчаянных» и испытал все наказания: стояние под лампой, лишение обеда, карцер и, наконец, порку, о которой рассказывал с ужасом. Истязали его по доносу штатского воспитателя Кикина, которого он, расшалившись, дернул за волосы:

«— Кадет Буланин, выйдите вперед! — приказал директор.

Он вышел. Он в маленьком масштабе испытал все, что чувствует преступник, приговоренный к смертной казни. <...> Было ужасное чувство, самое ужасное в этом истязании ребенка, — это сознание неотвратимости, непреклонности чужой воли. Оно было в тысячу раз страшнее, чем физическая боль.

Прошло очень много лет, пока в душе Буланина не зажила эта кровавая, долго сочившаяся рана. Да полно, зажила ли?»

Есть в «Кадетах» и постоянное чувство голода, и кровавые драки в ватерклозете, и колоритный сленг, и экзотическая корпусная иерархия («фискалы», «зубрилы», «подлизы», «рыбаки» и пр.). Есть и хороший, теплый юмор, особенно в портретах «зашибавших» (пивших) учителей. Ну не чудо ли преподаватели-словесники, которым мы обязаны творческим становлением героя! Первый, Сахаров, был хронически пьян, засыпал с храпом за кафедрой. Пил и второй, Труханов — настоящий Вакх: рыжая борода, «пивной» живот, сиплый голос. Но читал вдохновенно, заражал восторгом: «Ему одному обязан был впоследствии Буланин любовью к русской литературе».

Не думаем, чтобы прототип Труханова был благодарен бывшему ученику за такую славу. В жизни его фамилия была Цуханов, так что узнать его было нетрудно. Куприн намеренно не изменил в повести фамилию своего обидчика Кикина — он мстил и был удовлетворен, когда получил от Кикина разъяренное письмо. Мы намеренно задержива-

емся на этом моменте: в «Кадетах» писатель впервые начал сводить счеты со своим прошлым, выволакивая на всеобщее обозрение «грязное белье» и нимало этим не заботясь. Первая публикация повести в киевской газете наверняка до Москвы и не дошла, а вот вторая, в популярном петербургском журнале «Нива», да еще и в 1906 году, когда Куприн гремел, не могла не стать головной болью для руководства 2-го Московского кадетского корпуса. Просто мы об этом ничего не знаем.

Наконец, есть в «Кадетах» главное: упоительное счастье героя от того, что ты больше не ничтожество, что какой-то особенный, что в увольнении мчишься по улице и отдаешь честь генералу, а тот отвечает. Что мама от счастья плачет и повторяет только: «Ах ты кадетик мой милый!» Что тебя возят показывать родственникам и знакомым, а там только и слышно: «воин», «будущий Скобелев». Так, с мундиром кадета, к Саше Куприну пришла первая в его жизни роль, которую он играл с удовольствием.

Между тем он взрослел. Известно, какой опыт быстро приобретается в казармах. Помимо виртуозного сквернословия и карт, «куренье в третьем классе, водка в четвертом, в пятом — первая публичная женщина» («Река жизни»). В 14 лет Саша написал «Молитву пьяницы»:

О, Вакх небожитель,
Богов утешитель,
Сниди на землю, молю.
Нектаром чистым,
Свежим, душистым
Жизнь услади ты мою.

Вакху следует расщедриться вишневкой, портвейном, хересом, рейнвейном...

Так сниди скорее,
Да лишь постарее
Бутылку с собой захвати;
Мы горе забудем,
Друзьями мы будем
И оба проснемся в части.

Конечно, это гусарство и бравада вкупе с перепевами юнкерских молитв Лермонтова, однако пили наверняка.

Хвастались и мужскими победами. За невинным названием купринского юношеского стишка «Маша» с посвящением «Л. Верещагину» (1885) скрывается довольно фри-

вольная история соблазнения той самой Машей юного и малоопытного «Л. Верещагина» и его восторженный отзыв: «А, главное, все даром». Значит, в других случаях было за деньги и, значит, в это время в жизнь Саши Куприна уже вошли публичные дома. Позднее в «Поединке» он горько обвинит кого-то невидимого в том, что ему изгадили отношение к женщине: «Любовь! Кто понимает ее? Из нее сделали тему для грязных, помойных опереток, для похабных карточек, для мерзких анекдотов, для мерзких-мерзких стишков. <...> Тут какой-то общий обман, какое-то напускное мужское молодечество, какое-то хвастливое презрение к женщине». Словно извиняясь за то, что сам был клиентом «веселых домов», он напишет «Яму», подаст голос в защиту разнесчастных Любок и Женек.

Взросление Куприна было трудным, и обычные для переходного возраста фокусы он, разумеется, откалывал. К седьмому классу он исчерпал чашу терпения преподавателей. Об этом рассказывают документы, недавно обнаруженные в Российском государственном военно-историческом архиве (далее РГВИА). В августе 1887 года на балу в 1-м кадетском корпусе Куприн послал за вином, выпил сам и угостил товарищей. Большинство педагогов находили, что более нет никаких надежд на то, что в следующем, выпускном году этот кадет исправится. В его раскаяние никто не верил, зная, что это страх перед матерью и ничего более. Последовал приговор: «...не надеясь, чтобы Куприн при его характере, достаточно выяснившемся за его семилетнее пребывание в корпусе, смог при выпуске иметь 8 баллов за поведение, постановили: представить Куприна к увольнению из корпуса с переводом его на службу в войска с правами вольноопределяющихся 1-го разряда»[25]. В «Юнкерах» писатель не скрывал, что у него вышел серьезный конфликт, только обстоятельства приводил более благородные. И с болью вспоминал заплаканное, бледное лицо матери, которая вымолила ему прощение.

Так он начал понимать силу самоотверженной женской любви и преданности: мать все уладит, сестры помогут. Саша часто виделся с Зиной, которая училась в Москве. На его глазах протекал ее роман со студентом Петровской земледельческой и лесной академии Станиславом Генриховичем Натом. Они поженились, когда Саше было 14 лет, и с тех пор он преклонялся перед «Стасей» (так звали Ната домашние), который после окончания академии должен был стать лесничим. Безотцовщина, Саша нуждался в мудром

старшем товарище-мужчине и нашел его в Нате. «Поистине, в духовном смысле вы оба были моими кормильцами, поильцами и лучшими воспитателями», — признавался он в письме Зине много лет спустя[26].

А вот мужа Сони, Ивана Александровича Можарова, Куприн не любил: «Ленивый, сонный, всегда с разинутым ртом, бледный, с желтыми катышками на ресницах. Его единственное чтение была — шестая книга дворянских родов, где значилась и его фамилия. <...>. Кажется, и Соня его ненавидела, но из гордости молчала. Он как-то пришелся не к дому. Вся семья по какому-то инстинкту брезгливости сторонилась от него» («Юнкера»). Можаровы тоже жили в Москве, в огромной гостинице барона Фальц-Фейна, где Иван Александрович служил конторщиком. В этом качестве он оказался полезен Саше.

К семнадцати годам, когда Куприна чуть не выгнали из корпуса, он уже запоем писал стихи. 29 из них (в том числе 14 автографов) в 1941 году передал в Государственный Литературный музей его однокашник Александр Гурьев — значит, друзья-кадеты его уважали. Но ему популярности среди однокашников уже было мало. Требовалось показать свои стихи кому-нибудь из мэтров, и однажды Можаровы дали знать, что в их гостинице остановился поэт Михаил Николаевич Соймонов. Куприн вспоминал:

«...я решился предоставить мои стихи на суд Соймонова.

Это был человек чрезвычайной физической и нравственной красоты. Он как-то прошел незамеченным в литературе.

Со свойственной ему откровенностью, скажем, даже — прямотой, он сказал мне:

— Ваши стихи никуда не годятся!

В то время я покраснел от оскорбления. Но теперь я бесконечно благодарен этому человеку, ибо он отучил меня от стихотворства»[27].

Эту встречу можно датировать весьма условно: Соймонов уехал из Москвы весной 1888 года и вскоре умер. Значит, Саша Куприн приходил к нему, будучи не старше восемнадцати лет. Показывал он свои стихи и Лиодору Ивановичу Пальмину, известному тогда поэту и богеме. Тот, по словам Куприна, похвалил его за наблюдательность, но тактично советовал лучше попробовать свои силы в прозе.

У любого известного человека найдутся в арсенале подобные байки. Став знаменитым, приятно рассказывать: в меня не верили, а я всех удивил. Однако же нас совершенно

не удивляет, что в последний кадетский год Куприн уже не хотел быть военным. Автобиографический герой «Юнкеров», Алеша Александров, рассуждает так: «Выйдя из корпуса, многие кадеты по окончании курса держат экзамены в технические училища, в межевой институт, в лесную академию или в другое высшее училище». Не обязательно же идти по военной линии! Значит, он уже понимал, что армия — не совсем то (или совсем не то), для чего он рожден.

Причины могли быть не только субъективные — Саша почувствовал в себе гуманитарные способности. Жесткая внутренняя политика Александра III, допускавшая использование гарнизонов в подавлении общественных протестов и бунтов рабочих, привела к тому, что в определенных кругах значительно пошатнулось уважение к армии. Саша ведь вращался не только в училище, у него были знакомства в среде московского студенчества. Значит, он мог находиться под влиянием творчества Надсона, кумира молодежи 1880-х годов. Надсон был «павлон», выпускник столичного Павловского военного училища, затем подпоручик Каспийского пехотного полка, но службу откровенно презирал. Пацифистские взгляды выражал в то время и Лев Толстой, имевший колоссальное влияние на умы молодежи. К тому же именно в это время Куприна начала смущать двоюродная сестра матери — княжна Екатерина Александровна Макулова. Дама эмансипе, передовых взглядов, она негодовала, что Любовь Алексеевна готовит сына к военной карьере, что поэта хочет сделать помощником «царских опричников» и «палачей». Та оправдывалась, что другого пути не видит, плакала: «Что же мне делать, когда мы нищие!» Макулова наседала на Сашу, убеждала его не переходить в юнкерское училище, а поступить в университет, быть среди передовой молодежи, а не гнить в казарме.

В августе 1888 года Куприн получил аттестат, в котором значилось, что «названный кадет, при хорошем поведении, успешно окончил полный курс кадетского корпуса». Можно только посочувствовать Любови Алексеевне, представляя, до какого унижения ей пришлось дойти, вымаливая фразу о хорошем поведении. Тем не менее никакие ее хлопоты не смогли бы исправить картину успеваемости сына, а значит, в выпускном классе он все же взялся за ум. И все же пошел по пути наименьшего сопротивления: стал юнкером 3-го Александровского военного училища. Оно занимало целый квартал между Пречистенским бульваром, улицей Знаменкой и Большим Знаменским переулком. После от-

даленного Лефортова Саша оказался в самом центре Москвы, рядом с Кремлем.

Став юнкером, Куприн усвоил неписаный закон: «Александровец, на тебя вся Москва смотрит!» Надо полагать, именно тогда он стал осознанно относиться к Москве, полюбил ее. На склоне лет, в эмиграции, он с удовольствием окунался в переживания юности и тщательно выписывал детали московской жизни, ушедшей навсегда: «Москва... оставалась воистину “порфироносною вдовою”, которая не только не склонялась перед новой петербургской столицей, но величественно презирала ее с высоты своих сорока сороков, своего несметного богатства и своей славной древней истории. Была она горда, знатна, самолюбива, широка, независима и всегда оппозиционна. Порою казалось, что она считает себя совсем отдельным великим княжеством, с князем-хозяином Владимиром Долгоруким во главе. Бюрократический Петербург с его сухостью, узостью и европейской мелочностью не существовал для нее. И петербургской аристократии она не признавала» («Юнкера»).

Хотя и не коренной, но определенно москвич, Куприн этим духом вполне пропитался. Он не сможет полюбить Петербург.

Саше предстояло провести в училище два года и выйти с младшим обер-офицерским чином подпоручика. Волнуясь до обморока, стоя в ряду других юнкеров на училищном плацу, он торжественно повторял за батальонным священником текст присяги: «Обещаю и клянусь Всемогущим Богом, перед Святым Его Евангелием, в том, что хощу и должен его императорскому величеству, самодержцу всероссийскому и его императорского величества всероссийского престола наследнику верно и нелицемерно служить, не щадя живота своего, до последней капли крови...»

Детство кончилось. Здесь все было всерьез, и вскоре после присяги Куприну выпала возможность почувствовать себя воином, от которого зависят судьбы страны. Он воочию увидел своего императора.

Повод для посещения Александром III Москвы был невеселый. 17 октября 1888 года он с семьей едва не погиб в железнодорожной катастрофе на станции Борки, под Харьковом. Россия, всего семь лет назад трагически лишившаяся его отца, Александра II, содрогнулась. «Как-то нелепо странна, как-то уродливо неправдоподобна мысль, что государю, вершинной, единственной точке той великой пирамиды, которая зовется Россией, может угрожать опасность

и даже самая смерть от случайного крушения поезда», — вспоминал Куприн свое тогдашнее смятение.

И вот весь Московский гарнизон выстроен по пути следования императора от вокзала до Кремля. Александровцы стоят от Золотой решетки до Красного крыльца. Александров, автобиографический герой «Юнкеров», в первой шеренге. Он видит помост, покрытый ковром, и думает: неужели возможно, что царь пройдет мимо него в трех-четырех шагах? Ждут долго. Но вот грянул их училищный оркестр, и показался Он.

«Сладкий острый восторг охватывает душу юнкера и несет ее вихрем, несет ее ввысь. Быстрые волны озноба бегут по всему телу и приподнимают ежом волосы на голове. Он с чудесной ясностью видит лицо государя, его рыжеватую, густую, короткую бороду, соколиные размахи его прекрасных союзных бровей. Видит его глаза, ласково и прямо устремленные в него. Ему кажется, что в течение минуты их взгляды не расходятся. Спокойная, великая радость, как густой золотой песок, льется из его глаз.

Какие блаженные, какие возвышенные, навеки незабываемые секунды! Александрова точно нет. Он растворился, как пылинка, в общем многомиллионном чувстве. И в то же время он постигает, что вся его жизнь и воля, как жизнь и воля всей его многомиллионной родины, собралась, точно в фокусе, в одном этом человеке, до которого он мог бы дотянуться рукой... И оттого-то рядом с воздушностью всего своего существа он ощущает волшебную силу, сверхъестественную возможность и жажду беспредельного жертвенного подвига» («Юнкера»).

Здесь нам впору воскликнуть: за Веру, Царя и Отечество! Однако вынуждены воздержаться. Происходила ли описанная сцена с самим Куприным, а не вымышленным юнкером Александровым, неизвестно. Слишком уж очевиден ее первоисточник: роман «Война и мир», том первый, часть третья, глава восьмая. Николай Ростов с восторгом видит Александра I и мечтает за него умереть.

Факт один — Куприн действительно учился в 3-м Александровском военном училище. Это отражено в его послужном списке и других документах. В остальном же — приходится доверять его рассказам. О том, что в училище все было по-военному, жесткая дисциплина, но, в отличие от корпуса, учащихся уважали. Дедовщины не было. Второкурсники, хотя и дразнили первокурсников «фараонами», а себя звали «обер-офицерами», рук не распускали. Однако

и здесь царил культ силы, но силы разумной, здоровой. Саша увлекся гимнастикой, верховой ездой (это станет страстью), плаванием. Был и другой культ, особый снобизм: делить общество на военных и штатских. Последних презрительно именовали «шпаками» и «штафирками». Куприну, несомненно, нравилось такое превосходство, в остальном же он поначалу в училище потерялся. Оно считалось одним из лучших в стране, поэтому вместе с ним за партами сидели отпрыски столбовых дворянских родов. К тому же из-за малого роста Куприна определили в четвертую роту, которую дразнили «блохами». Однако к исходу первого года учебы он и здесь заставил о себе говорить.

Как-то он встретил поэта Лиодора Пальмина, и тот напомнил: юноша, когда вы напишете рассказ? И Саша написал «Последний дебют», историю из закулисной жизни актеров, а Пальмин напечатал ее в московском журнальчике «Русский сатирический листок» (1889. № 48. 3 декабря). Этот свой первый триумф Куприн запомнил на всю жизнь:

«...наплыв радости был так бурен, что Александров не мог стоять на ногах. Его тело требовало движения. Он стал перепрыгивать без разбега через одну за другой кровати. <...>

Слава юнкера, ставшего писателем, молниями бежала по всем залам, коридорам, помещениям и закоулкам училища» («Юнкера»).

Вот оно: за ним ходят по пятам. *Этим* он снова смог выделиться. И князем быть не обязательно, и красавцем, и бастионов штурмовать не нужно, и переходить через Альпы незачем. Просто напечатай что-то и почивай на лаврах. Разве мог после такого огромного счастья его огорчить карцер? Ротный командир, капитан Фофанов, счел «бумагомарание» занятием для «шпаков» и наказал юнкера. Спасибо ему! Слава Саши Куприна, пострадавшего за литературу, от этого только приумножилась.

Много позже, вспоминая то время, писатель воскликнет: «...будь проклят тот день, когда я впервые увидел в печати свой рассказ! Почему мой ротный командир, капитан Фофанов, только посадил меня под арест, а не выпорол за это! Нет горше хлеба на свете!»[28] Куприн никогда не переиздавал «Последний дебют», стыдился его, однако же начало литературной деятельности неизменно отсчитывал с 3 декабря 1889 года. И с этого времени он действительно не переставал писать, теперь уже прозу. Как же можно поверить его рассказам о том, что он стал писателем случайно?

Став училищной знаменитостью, Саша наверняка говорил о своем будущем с печоринским безразличием: где писательская карьера и где армия? Почувствуйте, мол, разницу. Между тем он был обязан по окончании училища отслужить три года, а дальше уже определяться: то ли уходить в запас, то ли пытаться поступить в Николаевскую академию Генерального штаба, дававшую высшее образование и перспективу научной работы, то ли покорно тянуть лямку, выслугой добиваясь очередного звания. Он знал, что лучшие места при распределении достанутся тем, кто примерно учился: фельдфебелям и портупей-юнкерам. Они имеют право выбирать, например, лейб-гвардию в столице. Потом пойдут подразделения артиллерии, а потом, в самом хвосте, пехотные полки, и чем хуже успеваемость выпускника, тем захудалее полк его ожидает. Куприн понимал, что ни по успеваемости, ни по знатности происхождения ни в какой легендарный полк не попадет. Поэтому заявил себе и окружающим, что не место красит человека, и он своей персоной сделает «последнее место первым».

Сохранился список его выпуска, составленный по рейтинговому принципу. В столбике из 199 фамилий Куприн занимает порядковый номер 137. Стоит ли удивляться, что он попал в 46-й Днепровский пехотный полк, стоявший у черта на куличках, в городке Проскуров на Подолье? Не может быть, чтобы Саша не выяснил, что Проскуров расположен недалеко от границы с Австрией, что живут там в основном евреи и что туда, к счастью, проведена железная дорога. Он рассказывал, что при выборе места службы ткнул в этот полк наугад: «Сто полков будут мне даны на выбор, и из них я должен буду остановиться на одном. Разве это не самый азартный вид лотереи, где я играю на всю собственную жизнь?» («Юнкера»). Забегая вперед скажем, что если бы он ткнул в какой-то другой полк, может быть, никогда не стал бы тем, кем стал. Вот уж действительно, судьба — лотерея. Вместе с ним в 46-й Днепровский пехотный полк ткнули однокашники Коля Бутынский и Володя Ярчуков[29].

Десятого августа 1890 года, в неполные 20 лет, Александр Куприн был выпущен по первому разряду и с этого дня произведен в подпоручики со старшинством. Прощание с мамой и сестрами, получение прогонных денег, и вот он, поезд, и проводник, подобострастно называющий его «ваше благородие».

Москву покидал молодой офицер, уверенный в том, что

он — элита общества, а все остальные — «шпаки» и «штафирки». Прощай, казенное детство, побои и обиды, муштра и зубрежка... Теперь он сам будет строить свою жизнь.

Шестнадцатого августа 1890 года подпоручик Куприн прибыл в Проскуров.

Ваше благородие

Столь приятные для слуха обращения «ваше благородие» и «господин офицер» Куприн должен был услышать, едва сойдя на перрон проскуровского вокзала. Здесь дежурили местные евреи, наперебой предлагавшие людям в форме гостиницу, квартиру, женщину на ночь, дом, мебель, а еще себя в качестве... транспорта. На ходу засучивая штаны, они показывали себе на спину, повторяя: «По таксе 5 копеек». Куприн, правда, не вспоминал об этом, зато вспоминали другие — местный быт ошарашивал[30]. Городок стоял на густом черноземе и без специальных калош, «черпат», человек рисковал утонуть в грязи. Вот и родилось предложение — подвозить желающих на своей спине.

Теперь это город Хмельницкий, административный центр Хмельницкой области Украины. Здесь есть улица Куприна, а в литературном музее — постоянная экспозиция о писателе. Однако конкретики там мало, и те три года, что провел здесь Александр Иванович, почти сплошь миф. Над ним трудятся экскурсоводы Хмельницкого, показывая, к примеру, бывшую полковую церковь Святого Георгия Победоносца и заверяя, что Куприн в ней венчался, чего не было. Фактов практически нет, воспоминаний сослуживцев (а они не факт) мало, поэтому снова придется довольствоваться тем, что счел нужным рассказать сам писатель.

Итак, подпоручик направился по единственной в городе мощеной улице с говорящим для него названием Александровская в расположение 46-го Днепровского пехотного полка. Полк был славный. Он участвовал в Отечественной войне 1812 года, трех Русско-турецких войнах, Севастопольской кампании, но ко времени появления в нем нашего героя давно не воевал. Последним крупным делом стала Русско-турецкая война 1877—1878 годов, воспоминаниями о которой и жили. Полк входил в 1-ю бригаду 12-й пехотной дивизии (ее штаб размещался также в Проскурове), а дивизия — в 12-й армейский корпус Киевского военного

округа. Командовал войсками округа прославленный генерал Михаил Иванович Драгомиров, храбрый воин и известный военный теоретик, в прошлом начальник Николаевской академии Генерального штаба. О нем ходили легенды и анекдоты (Драгомиров выпивал), и его, посмеиваясь, Репин изобразил в образе атамана Сирко на знаменитой картине «Запорожцы».

Однако Драгомиров был высоко и далеко, а в Проскурове непосредственным начальником Куприна стал полковник Александр Прокофьевич Байковский. Каким явился пред ним будущий писатель, известно, потому что сохранился армейский портрет Куприна: глаза умные и озорные, ежик волос, легкий пух над верхней губой (в «Юнкерах» он сокрушался, что усы плохо росли). Очень симпатичный молодой офицер в мундире с обер-офицерскими погонами, на которых видна шифровка, цифра 12, — видимо, номер дивизии. Быстро выяснилось, что с Байковским они земляки: тот был из дворян Пензенской губернии.

Там, где Куприн некогда представлялся начальству, теперь раскинулся сквер имени Тараса Шевченко. В конце 1890-х годов Хлебную площадь, где были казармы и плац 46-го Днепровского пехотного полка, сделали местом отдыха. Почти всё теперь снесено. Время не пощадило и здания Офицерского собрания полка, в ресторан которого мечтал попасть каждый более-менее приличный проскуровский «шпак». Не сохранился и маленький одноэтажный домик, в котором, по словам местных краеведов, снимал квартиру подпоручик Куприн.

Однако все это осталось в «Поединке», купринской повести об армейских годах. Это топографически точная вещь, и при желании любой сможет пройти ночными полубезумными маршрутами главного героя Ромашова по современному Хмельницкому: «от еврейского кладбища до плотины и затем к железнодорожной насыпи» (глава XVII). Что-то пережил сам автор, сидя в той железнодорожной выемке, где его герой встретил несчастного солдатика Хлебникова (глава XVI), крепко пережил. Совсем не случайным видится нам то, что Куприн много лет спустя, выбирая дом в Гатчине, поселится рядом с железнодорожной насыпью, потом по этому же принципу выберет себе дачу в Севр Вилль д'Авре под Парижем, а потом — и квартиры на рю Ранеляг и бульваре Монморанси во французской столице. Он хотел, чтобы рядом было полотно железной дороги, а паровозы считал живыми:

«Где ты ту-ут?» — сердито и торопливо закричал паровоз.

А другой подхватил низким тоном, протяжно и с угрозой:

«Я — ва-ас!» («Поединок»).

Куприну в Проскурове было так одиноко, что только железнодорожная станция позволяла не сойти с ума, убеждала в том, что где-то есть другая жизнь. Он ходил туда смотреть на международные составы (до чего одичал вчерашний московский юнкер!) и едва не выл от тоски:

«Как нестерпимо были тяжелы первые дни и недели! Чужие люди, чужие нравы и обычаи, суровый, бледный, скучный быт черноземного захолустья... <...>

Днем еще кое-как терпелось: застилалась жгучая тоска службой, необходимыми визитами, обедом и ужином в собрании. Но были мучительны ночи. Всегда снилось одно и то же: Москва, церковь Покрова на Пресне, Кудринская Садовая, Никитские — Малая и Большая, Новинский бульвар...

И всегда во сне было чувство, что этого больше никогда я не увижу: конец, разлука, почти смерть. Просыпаюсь от своих рыданий. Подушка — хоть выжми. Но крепился» («Родина», 1924).

«Поединок» — в первую очередь повесть об одиночестве. Все остальные смыслы наносные. Вчера еще окруженный веселой толпой в казарме, Саша вдруг оказался один. У него теперь была собственная квартира, которую не представлял, чем обставить, потому что никогда не имел своего угла. Был денщик, снимавший с него сапоги и брюки. И была куча свободного времени, которое тянулось бесконечно, складываясь в три года, которые нужно отслужить.

Время приходилось убивать: спать до одури, делать визиты, а еще пить водку. Конечно, выпивал он и раньше, но теперь это можно было делать совершенно легально. Это тоже был своего рода признак взрослости, да и офицерская бравада: вечером лежал мертвецки пьяный, а на утреннем построении хоть бы хны, выбрит и свеж. Здоровье пока позволяло. Но этот порок совьет себе прочное гнездо и, наложившись на отцовскую наследственность, станет визитной карточкой Куприна. Среди литераторов Серебряного века ангелов не было, пили и дебоширили многие (хотя бы Леонид Андреев), но наш герой был «что-то особенного», как говорили тогда в Одессе. Он пил дико, буйно, с мордобоями, с тем небрежением к «шпакам» и полиции, что безусловно сформировалось в полку.

Проскуров привык к выходкам «господ офицеров». За-

метку об одной из них, имевшей место летом 1892 года, разыскал в прессе куприновед Афанасьев. Она любопытна тем, что похожий случай Куприн описал в рассказе «Свадьба» (1908): герой, подпрапорщик в местечке, вдрызг напивается на еврейской свадьбе, бьет по столам шашкой, за что местные евреи его скручивают, шашку разламывают о колено и срывают с него погоны.

Разысканная Афанасьевым заметка позволяет утверждать, что срывание погон было местной забавой. Если вкратце пересказать заметку, то неназываемый полностью офицер К. из 46-го Днепровского пехотного полка в 2 часа ночи напал возле Офицерского собрания на местного актера, который возвращался из летнего театра. К. сбил с его головы шляпу. Завязалась драка, и актер сорвал с К. погоны. Их разняли и развели. Спустя некоторое время в квартиру актера явился тот же К. в сопровождении офицера З. и, угрожая оружием, требовал вернуть погоны. Вовремя подоспевший подпоручик Сивохо (в «Поединке» он станет Лехом) унял сослуживцев, извинился перед актером, но помирить противников не смог... Расследование установило, что офицер К. был зол на актера за то, что тот незадолго до инцидента удалил его из-за кулис[31].

Уж очень подозрителен нам офицер К.! Особенно в связи с тем, что Куприн позже любил рассказывать байку из армейских лет: как-то проскуровский бомонд задумал поставить гоголевскую «Женитьбу», и он страстно хотел сыграть Подколесина. Требовалось разрешение командира полка Байковского. Тот, даже не вслушиваясь, заорал:

— Что? Женитьба? Запрещаю жениться. Еще рано.

— Разыгрывается комедия Гоголя «Женитьба», ваше высокоблагородие...

— Что? Гоголя? Мне все равно. Гоголя или Моголя, ломать комедию со шпаками запрещаю!![32]

То есть Александр Иванович интересовался театром, пусть даже любительским. Хотел играть главную роль, чувствовал в себе способности. Если допустить, что «офицер К.» — это он, то многое в его дальнейших стычках с актерами становится понятным.

Трудно представить, чтобы Байковский, презиравший театр, с уважением отнесся к тому, что подпоручик Куприн что-то там пишет и где-то там печатается (а тот под псевдонимами и криптонимами уже печатался в газетах «Киевлянин» и «Волынь»). Это ведь тоже занятие для шпаков! Куприн в «Поединке» признавался, что в это время писал

повесть втайне от сослуживцев. Видимо, в полку не уважали писателей, и Александр Иванович снова потерялся. Много лет спустя он обвинит своих однополчан:

«Что они читают? Абсолютно ничего, если не считать “Русского инвалида”, где печатаются только приказы. Существуют маленькие потрепанные полковые библиотеки. Еще подпоручики раза два в год берут какие-то бульварные романы, а поручики пренебрегают даже и этим родом литературы.

Полковой командир, считавший Бетховена французским писателем с вредным направлением, является не единичным явлением в офицерской среде. Военные произведения вовсе не читаются.

<...> Ученые, писатели, профессора, артисты являются в их представлении ничем иным как убогими, неполноценными, штатскими тварями, сбродом»[33].

История более-менее ясная. Чего еще наш герой ожидал от пехотного полка, расквартированного в захолустном еврейском местечке? Никто здесь не собирался ходить за ним по пятам, как это делали московские юнкера после напечатания его первого рассказа. Известный белый генерал Петр Николаевич Краснов писал, что предыстория «Поединка» видится ему такой: «Живой, впечатлительный, уже испытавший отраву литературного успеха молодой подпоручик Куприн попадает... к недалекому командиру полка, прототипу полковника Шульговича из “Поединка”. Командир полка просмотрел, что в лице юного подпоручика перед ним человек, отмеченный печатью Духа Святого. Если бы командир полка понял Куприна, угадал бы его увлечение спортом, охотой, любовь к животным, назначил бы его в полковую охотничью команду, как, возможно, совсем по-иному сложилась бы жизнь Куприна. Живая, впечатлительная натура его, со склонностью к артистическому миру, метнулась в этот мир литературно-актерской богемы, где тогда так много было либерализма, нелюбви и даже презрения к армии. А. И. Куприн ее глазами посмотрел на окружающую его офицерскую среду — и ужаснулся»[34].

Думаем, Краснов недалек был от истины. Автобиографический герой «Поединка» Ромашов, устав от окружающей тупости, находил интеллектуальное отдохновение единственно в общении со спившимся офицером Назанским. Мы уже никогда не узнаем, в какой мере этот персонаж был списан с реального Ивана Николаевича Назанского, генерала в отставке, предшественника Байковского.

Генерал покинул полк за год до появления в нем Куприна и продолжал жить в Проскурове. Городской миф утверждает, что Назанский славился гуманным отношением к офицерам и солдатам, что его уважали и что подпоручик Куприн его нередко навещал[35].

В остальном же, повторимся, все, что мы знаем о службе Куприна, мы знаем от него самого. Можно ли утверждать, что его рассказы — быль? Например, байка о том, как он держал на голове яблоко, в которое должен был попасть сослуживец? Или о том, как он однажды въехал в ресторан на второй этаж верхом на лошади, выпил рюмку коньяку и спустился обратно? (Жители Хмельницкого уже привязали эту байку к местности и показывают здание бывшего ресторана «Слон», не смущаясь тем, что оно было построено после выхода Куприна в отставку.) Можно, правда, поверить в историю о том, как он ходил изображать медиума в одно почтенное семейство, потому что и в дальнейшем будет играть эту роль, порой не без успеха. Генерал Адариди, возглавлявший в 1909–1914 годах штаб 12-го армейского корпуса, рассказывал, что видел объемную папку, в которой были собраны сведения о всех бесчинствах Куприна[36].

А вот документы говорят об обратном. Послужной список (хранится в РГВИА), составленный после выхода Александра Ивановича в отставку, рассказывает о его карьерном росте: 2 марта 1891 года он был утвержден командиром взвода, 15 октября того же года — полуротным*, 11 августа 1893 года переведен на должность ротного адъютанта. Однако Куприн мечтал о батальонном адъютанте; в этой должности полагалась лошадь. Позже выдаст желаемое за действительное: «Я... был армейским офицером, батальонным адъютантом»[37].

Так что же было на самом деле? Пьяный разгул и безразличие к будущему или пьяный разгул, но вместе с тем и жизненные цели? Уверены, что поначалу было первое, потому что Александр Иванович попытался поступить в Николаевскую академию Генерального штаба.

Это один из самых закрученных сюжетов купринского мифа. Писатель рассказывал первой жене, что в полку влюбился в девушку-сироту, воспитанницу его очень обеспеченного сослуживца. Хотел жениться, но сослуживец заявил, что не отдаст ее нищему без будущего. И что пускай господин Куприн сначала поступит в академию.

---

* То есть заместителем командира роты, состоящей из четырех взводов.

В то время офицер, решивший жениться, сталкивался со многими препятствиями. Во-первых, до двадцати трех лет это вообще запрещалось. Во-вторых, требовался реверс — необходимый минимум материальной обеспеченности брака. Для армейского офицера реверс составлял несколько тысяч рублей годового жалованья. Куприн же получал 477 рублей плюс 70 рублей «квартирных», да и те, по собственному признанию, видел только в ведомости, потому что все время был должен. Однако сумма могла быть гарантирована доходом невесты, и в этом случае сослуживец из легенды мог поставить условие, что внесет реверс, если будет поступление в академию, то есть будущее. Разрешение на брак давал (или не давал) командир полка.

Мы не стали бы закрывать глаза на очевидное: Куприн искал выгодной женитьбы. У него не было другого шанса пробиться и сделать карьеру. Поступление в академию было еще и вопросом самолюбия: он должен был доказать однополчанам, что умнее и талантливее их. И он начал готовиться.

Судьба между тем сама подталкивала его к свершениям: летом 1893 года повесть «Впотьмах», которую он писал тайком, напечатал очень авторитетный столичный журнал с десятитысячным тиражом «Русское богатство». В то время за ним стояли народники Владимир Галактионович Короленко, Николай Константинович Михайловский, Александр Иванович Иванчин-Писарев — тезка Куприна, с которым он много лет будет вести переписку. Трудно сказать, чем повесть «Впотьмах», очень слабая, с мелодраматическими эффектами, приглянулась народникам. Скорее они просто оказали любезность тетке Куприна, княжне Макуловой, которая принесла рукопись и с которой их связывала прошлая политическая работа. Интересно другое: Александр Иванович подписался полной фамилией, компрометируя Байковского. Дескать, получайте и оправдывайтесь перед Драгомировым. А может быть, он был уверен, что поступит в академию и в полк уже не вернется. Положенные три года службы истекали через месяц.

Потрясающая весть о дебюте в столичной прессе застала Куприна в Киеве, где ему предстояло перед экзаменами в академию пройти отборочный тур (отсев) при штабе Киевского военного округа: сдать тактику, политическую историю, географию, русский язык, верховую езду — и в случае успеха ехать в Петербург дальше держать испытания. В послужном списке читаем: «Командирован в штаб Киев-

ского военного округа для держания предварительного испытания на поступление в Николаевскую академию Генерального штаба в С.-Петербург, 1893 год, июня 14. Прибыл из этой командировки сентября 3»[38].

О том, что произошло между 14 июня и 3 сентября, Александр Иванович впоследствии сложит остросюжетные истории. Он расскажет первой жене, что в Киеве застрял, потому что встретил товарищей и загулял. Они оказались в плавучем ресторане, заняли столик, потребовали меню, и в этот момент перед ними вырос околоточный:

— Этот стол занят господином приставом. Прошу господ офицеров освободить места.

Это что за порядки?! В Проскурове ни одна полицейская «штафирка» не допускается есть вместе с офицерами в собрании!

— Это *нам* освободить стол для пристава? Ступай, ищи ему другой!

Начался скандал. Околоточный держался нагло, и Куприн (якобы) выбросил его за борт под общий (якобы) хохот. Потом под тот же хохот околоточный вернулся в ресторан и составил протокол «об утопии полицейского чина при исполнении служебных обязанностей».

Не придав инциденту никакого значения, Александр Иванович поехал в Петербург. Прекрасно сдавал экзамены и даже заслужил похвалу начальника академии генерала Леера. И вдруг... Тот же Леер вызвал его к себе и нехотя озвучил приказ генерала Драгомирова, запрещающий подпоручику Куприну поступление в академию сроком на пять лет за оскорбление чинов полиции «при исполнении». Так совершенно некстати всплыл киевский инцидент[39].

Этот сюжет разбивается о факты. Если Куприн уже 3 сентября вернулся в полк, значит, он срезался чуть ли не на первом экзамене в академию. Испытания шли весь сентябрь, и списки о зачислении появлялись в первых числах октября. И ведь еще до знакомства со своей будущей женой, в рассказе «Тэки» (1896) Александр Иванович, как нам кажется, рассказал правду: «Я провалился — и провалился с необычайным треском — на предпоследнем экзамене по фортификации. Мне оставалось только собрать пожитки и отправляться обратно в полк». Думаем только, что это был не предпоследний, а один из первых экзаменов. А с фортификацией, судя по «Юнкерам», у него и в училище были нелады.

Как бы там ни было на самом деле, небесный покровитель Александр Невский не захотел, чтобы Куприн стал

офицером Генштаба. Мы-то знаем почему, но Куприну-то каково было!.. «Что пережил я и передумал, когда за мной захлопнулась дверь Академии, — рассказывал он жене, — как с мыслью о самоубийстве я часами ходил по улицам Петербурга, я когда-нибудь напишу, и, я надеюсь, напишу неплохо»[40] .

Какой удар по самолюбию! По *купринскому*, бешеному самолюбию! Из того же рассказа «Тэки»: «Прибавьте к голоду острый стыд провала, близкую перспективу насмешек полковых товарищей... Я вам скажу искренно: что в эти дни я все время был лицом к лицу с мыслью о самоубийстве».

Как вернуться в полк? Засмеют.

А что делать?

И он вернулся, правда, не в Проскуров, а в Волочиск на самой границе с австрийской Галичиной, где в то время находилась его рота. Видимо, сломался и пил. Полагаем, именно в этот период произошла сцена, которую вспоминал его сослуживец Сослан-бек Бекбузаров (в «Поединке» Бек-Агамалов). Как-то Куприн особенно долго что-то из себя изображал, наконец промолвил: «Будь у меня сейчас пистолет, я бы застрелился». Бекбузаров тут же достал личное оружие и положил на стол со словами: «Если дело за пистолетом, то вот вам мой, стреляйтесь». Куприн, разумеется, этого делать не стал, а на Бекбузарова затаил обиду[41].

Еще целый год наш герой оставался в полку, не решаясь уйти в запас. Когда вера в себя растоптана, не до перемен, проще плыть по течению. Единственное, что согревало, — воспоминание о том, как в столице он нанес визит в «Русское богатство». Наверное, это было эффектно: молодой красавец в форме, прямо Лермонтов в редакции «Отечественных записок» или Толстой в «Современнике». Видимо, его попросили дать в журнале что-то обличающее из армейской жизни, и чтобы в центре — страдающий «солдатик». Куприн, как видно, уже тогда остро чувствовал «жареные темы», потому что написал рассказ «Дознание» о публичной порке рядового за кражу. И попал в нерв общественных дискуссий того времени о недопустимости телесных наказаний. Заметим, через год после Куприна по этому поводу громко выскажется Лев Толстой в статье «Стыдно» (1895), где также будет утверждать, что телесное наказание позорно не столько «для наказываемых, сколько для наказывающих».

Куприн отослал рассказ в редакцию, прекрасно понимая, что в случае его публикации у него будут большие не-

приятности в полку. Очевидно, ему уже было все равно. С одной стороны — столица, «Русское богатство», счастье творчества; с другой — казарма, водка, карты, мат, грязь:

«Уйти со службы? Но что ты знаешь? Что умеешь делать? Сначала пансион, потом кадетский корпус, военное училище, замкнутая офицерская жизнь... Знал ли ты борьбу? Нужду? Нет, ты жил на всем готовом, думая, как институтка, что французские булки растут на деревьях. Попробуй-ка, уйди. Тебя заклюют, ты сопьешься, ты упадешь на первом шагу к самостоятельной жизни... <...>

Прежде все казалось таким простым. Мир разделялся на две неравные части: одна — меньшая — офицерство, которое окружают честь, сила, власть, волшебное достоинство мундира и вместе с мундиром почему-то и патентованная храбрость, и физическая сила, и высокомерная гордость; другая — огромная и безличная — штатские, иначе шпаки-штафирки и рябчики; их презирали; считалось молодечеством изругать или побить ни с того ни с сего штатского человека, потушить об его нос зажженную папироску, надвинуть ему на уши цилиндр» («Поединок»).

Если он уйдет из полка, то станет «рябчиком»? И потом, как уйти теперь, когда ему уже дали поручика (1 июля 1894 года)?

Куприн не был человеком железной воли — многолетняя привычка повиноваться и быть исполнителем не формирует навык быстрого принятия решений. Мы почти уверены, что сам он уйти из полка вряд ли смог. Скорее всего, его «ушли» после какого-то скандала. Отголоски можно найти в воспоминаниях писателя Сергея Сергеева-Ценского, который увольнялся в запас почти одновременно с Куприным. Он утверждал, что Куприна выгнали «из полка за пьянство и дебоши в пьяном виде»[42]. Что-то такое припоминала и Ариадна Тыркова-Вильямс, близкая с первой женой писателя: «Ему и из полка пришлось выйти, потому что он, под пьяную руку, наскандалил в еврейском городишке, Проскурове»[43].

Вполне вероятно, что та сцена, которую сам писатель выдавал за причину разрыва с армией, была следствием этого скандала:

«Однажды полковой командир, в душе прекрасный, добрый и даже сентиментальный человек, но притворявшийся на службе крикуном, бурбоном и грубияном, так закричал на меня по пустяшному поводу, что я ему ответил только:

— Позвольте мне выйти в запас, господин полковник!»[44]

Эта сцена есть и в «Поединке»: «Вся комната вдруг потемнела, точно в ней задернулись занавески. Густой голос командира упал в какую-то беззвучную глубину. <...>. Странный, точно чужой голос шепнул вдруг извне в ухо Ромашову: “Сейчас я его ударю”».

Наступил предел? Последняя капля в череде унижений? Возможно.

В любом случае Александр Иванович ушел нехорошо. Если бы он расстался со своим полком полюбовно, никакого «Поединка» не было бы. Так совпало, что он еще и громко «хлопнул дверью»: одновременно с его уходом «Русское богатство» напечатало «Дознание» об истязуемом рядовом. Получай, родной полк, напоследок!

А ведь родной полк отнесся к нему с участием: 5 августа 1894 года поручик Куприн высочайшим приказом был зачислен в запас армейской пехоты по Киевскому уезду. Значит, скандал, если он и был, замяли — в то время офицер, удаляемый из армии в порядке дисциплинарном, не имел права быть зачисленным в запас.

Через 21 день Куприну исполнилось 24 года. А через два с лишним месяца скончался Александр III, которому он мечтал служить верой и правдой.

Начиналась новая эпоха, и наш герой вступал в нее, совершенно не представляя, что с ним будет. И жутко, и весело.

И началась эта новая жизнь в Киеве.

Глава вторая

«В ЖИЗНИ ВСЕ НАДО УМЕТЬ»

Вперед! без страха и сомненья...
А. Н. Плещеев. Вперед!

После выхода из полка Куприн оказался в труднейшей ситуации. Привыкший с детства повиноваться чужой воле, он впервые должен был самостоятельно решать, что делать. И в практическом, сиюминутном смысле (как заработать?), и в глобально-философском (что дальше?). Его закрутило и понесло, как щепку, по городам и весям в поисках ответа, который он позднее сформулирует так: «В жизни все надо уметь».

Перефразируя Ильфа и Петрова, скажем: генерала из нашего героя не вышло, нужно было переквалифицироваться... В кого? Однажды он набросает краткий перечень профессий, которые пытался освоить за годы неопределенности и неприкаянности. Он был:

«репортером,

управляющим при постройке дома,

разводил табак — махорку-серебрянку в Волынской губернии,

служил в технической конторе,

был псаломщиком,

служил на сцене,

изучал зубоврачебное искусство — исключительно протезную технику (изготовление искусственных зубов),

давал уроки детям,

пробовал постричься в монахи,

был заведующим учета кузницы и столярной мастерской при сталелитейном и рельсопрокатном заводе в Волынцеве,

в течение одного лета служил в артели подрядчика в Киеве по переноске мебели фирмы Лоскутова,

носил кирпич на козе,
работал осенью по разгрузке арбузов»[45].

Это неполный список, и экзотики в нем нет: человек бился за кусок хлеба. Тем не менее мало кто из писателей-современников мог тягаться с Куприным в таком широком знании человеческих занятий. «Он по-мальчишески щеголял этой своей многоопытностью, — рассказывал Корней Чуковский, — кичился ею перед другими писателями (перед Вересаевым, Леонидом Андреевым), ибо в том и заключалось его честолюбие: знать доподлинно, не из книг, не по слухам, те вещи и факты, о которых он говорит в своих книгах»[46].

Новый жизненный опыт позволил Куприну хорошо узнать тех самых нестроевых «шпаков» и научиться с ними ладить. Они и приведут его к славе.

Волка ноги кормят

Киеву 1890-х годов Куприн обязан своим творческим становлением. Здесь он стал журналистом: уяснил, что «волка ноги кормят», приобрел нюх на сенсацию, научился подавать материал броско и лаконично, не бояться и даже желать скандала, знать жизнь города до мелочей, проникать в его парадные и низовые сферы и везде по возможности быть своим. А главное — понял силу печатного слова, его приятную власть над чужой судьбой, привык писать на заказанную редакцией тему.

Этот период биографии писателя покрыт не меньшим туманом, чем проскуровский. Почему он оказался в Киеве? Почему не вернулся в Москву? Не хотел отвечать на вопросы московских знакомых, как же он оставил полк? Не мог показаться на глаза матери, которая прошла столько унижений ради его военной карьеры? Похоже, свои чувства он описал в пасхальном рассказе «Святая ложь» (1914): герой, чтобы нанести визит матери во Вдовий дом, просит у товарища напрокат пиджак и перед матерью бахвалится, что все в порядке, что карьера будет, и, «глядя на измученное, опавшее, покоробленное лицо матери, он испытывает одновременно страх, нежность, стыд и жалость». Потом он жадно ест остатки вдовьего ужина, не замечая, как по материнским щекам ручьями льются тихие слезы. И швейцар Никита, который помнит его еще мальчиком, полон к нему презрения.

Возможно, причина была в том, что, числясь в запасе по Киевскому военному округу, Куприн не имел права покидать границы этого округа. Возможно, в том, что в Звенигородке Киевской губернии поселились сестра Зина со «Стасей» Натом, ставшим помощником лесничего Звенигородского лесничества. У них Александр Иванович гостил сразу после выхода из полка, летом 1894-го. Хорохорился в письме Иванчину-Писареву («Русское богатство»): «...я военную службу бросил и теперь вольная птица». А получив из редакции гонорар за «Дознание» — 48 рублей 75 копеек, — не мог не подумать, что это равно его офицерскому жалованью и все, наверное, не так уж плохо, нужно попробовать жить беллетристикой. Однако посмотрим правде в глаза: Куприн стал «бывшим», а это всегда трагично, тем более быть бывшим офицером.

В киевском районе Подол на доме 4 по улице Сагайдачного сегодня висит мемориальная доска. Динамичная, резкая, она покрывает торец здания, из которого выступает узнаваемая голова с монгольскими скулами и чуть прищуренными раскосыми глазами. Надпись сообщает, что в 1894—1896 годах здесь жил писатель Куприн. Конечно, в то время наш герой выглядел не так: был он молод, взгляд застенчив. И дóма, на котором висит доска, не было. На его месте стояла убогая меблирашка «Днепровский порт». Тем не менее к этой доске мы условно можем привязать начало киевского купринского мифа.

Слагаемые этого мифа известны по книге Бориса Киселева «Рассказы о Куприне» (1964). Автор — сын киевского друга писателя, журналиста Михаила Киселева. Ребенком знавший Куприна, Борис Киселев на склоне лет собрал у старых киевлян воспоминания о нем. Разумеется, говорить о достоверности всего написанного в книге не приходится, но за неимением других данных мы вынуждены обращаться к ней. А значит, нам придется поверить в то, что Александр Иванович ютился в портовых ночлежках, чтобы изучать жизнь киевского «дна»; что как думский репортер выводил на чистую воду сильных мира киевского; что мог вместе с другом Киселевым, никого не предупредив, вдруг исчезнуть из Киева и вернуться через несколько дней буквально в последней рубахе, продав все, чтобы купить билет на поезд; что мог с тем же Киселевым на спор — где лучше ставят Чехова, в киевском театре Соловцова или в Московском Художественном театре — прямо из пивной перекоче-

вать в московский поезд, съездить на спектакль «художников» и спустя пару дней вернуться. Почему бы и нет?

Михаил Киселев (Куприн звал его Мих), судя по всему, стал первым близким другом «на гражданке», почти братом. Он был уже женат, имел детей, дачу в Приорках под Киевом. Эта семья и пригрела Сашу Куприна: он подолгу жил у Киселевых, научился с ними горланить украинские песни. Вместе с Киселевым работал в газетах «Киевское слово», «Жизнь и искусство», «Киевлянин»... Писал все, за что платили.

Так приходил литературный опыт. Имея наблюдательность художника, Куприн учился писать словесные портреты. Готовя интервью, строил диалоги, индивидуализировал речь, подмечал словечки. Думается, работа журналиста отвечала его темпераменту. По воспоминаниям, Александр Иванович был холерик: он не ходил, а бегал частыми, мелкими шажками («кружил», как говорил Корней Чуковский), не говорил, а бормотал «армейской скороговоркой» (по словам Ивана Бунина). Журналистская жизнь сформировала совершенно новый круг общения. За несколько киевских лет Куприн оброс богемным людом: репортеры и спившиеся актеры театра Соловцова, студенты и городские сумасшедшие, грузчики, художники, циркачи... Он напишет о них и не только о них газетный цикл «Киевские типы» (1895–1898), который выйдет отдельным изданием в 1896 году. Это будет первая книжка Куприна. Пусть в ней было всего 24 странички, но нужно ли объяснять, что такое первая в жизни книжка!

Нового Куприна лепили все кому не лень. Одни киевские студенты чего стоили: споры до драк между сторонниками народничества и марксизма, зачитанные до дыр Ницше и Шопенгауэр, «украинская национальная идея», «польская национальная идея»... Вчерашнему офицеру, должно быть, было интересно до жути. Совершенно другая жизнь.

В этой жизни нужно было разбираться. Куприна продолжали печатать в петербургском «Русском богатстве», и он внимательно прочитывал все номера, обращал внимание на новые имена, не зная, что и новые имена, в свою очередь, следят за его публикациями. Видел имя Ивана Бунина, а Бунин, как вскоре выяснится, видел его имя. В 1895 году Куприн отметил рассказ Горького «Челкаш», даже дважды перечитал, а вскоре получил письмо из Самары. Некий Иегудиил Хламида (еще один, журналистский,

псевдоним А. М. Пешкова) предлагал подключиться к редактированию «Самарской газеты». То есть «Иегудиил» следил за Куприным, а тот — разве о Самаре мечтал? Да и мог ли он подумать, что Горький через пару лет начнет греметь на всю Россию?

Куприн пока что набивал руку и внимательно следил за тем, что модно в столице. У него был долгий ученический период. При чтении его ранних вещей не покидает ощущение несамостоятельности автора, искусственности сюжетов и героев — не творчество, а ремесло. Об этом говорил и Бунин: «...беда в том, что в талантливость Куприна входил большой дар заражаться не только мелкими шаблонами, но и крупными, не только внешними, но и внутренними. И выходило как будто так: требуется что-нибудь подходящее для киевской газетки? пожалуйста, — в пять минут сделаю и, если нужно, не побрезгую писать что-то вроде того, что "заходящее солнце косыми лучами освещало вершины дерев..."; надо написать рассказ для "Русского богатства"? и за этим дело не постоит, — вот вам "Молох"»[47].

Конечно, повесть «Молох» (Бунин ошибочно называет ее рассказом), напечатанная в «Русском богатстве» в 1896 году, не была, что называется, выстрадана автором. Это история любви инженера крупного сталелитейного завода, которому избранница предпочла паука-капиталиста. Зато повесть отметили входившие в моду марксисты, для которых инфернальная символика в описании производства, того самого Молоха*, требующего теплой человеческой крови, была подарком.

Остается неясным, почему повесть приняло народническое «Русское богатство», ведь народники противостояли марксистам. Неясно и то, как уважаемый редактор журнала Николай Михайловский пропустил такие фразы: «бледное лицо Боброва искривлено внутренним страданием»; или: «сильный озноб потрясал его тело»; или: «большой белый прекрасный лоб прежде всего обращал на себя внимание на его лице». В этом Куприну вообще не везло: у него никогда не будет хорошего редактора.

Зато ему везло с женщинами. В Киеве он встретил Анну Георгиевну Карышеву. Это был многолетний роман, о котором муж Анны Георгиевны, известный киевский нотариус, знал, но смотрел на него сквозь пальцы. Куприн по-

* Молох (с кем герой повести сравнивает завод) — легендарный идол, бог огня и войны, которому древние моавитяне приносили человеческие жертвы. — *Прим. ред.*

могал в физическом воспитании трех сыновей этой семьи и постепенно, подобно Тургеневу, присел «на краюшке чужого гнезда». В отличие от Тургенева, он не мог материально участвовать в жизни Карышевых, напротив, в некоторой степени поступил к ним на иждивение.

Такой вот «семьей» они и прибыли весной 1897 года на дачу в Люстдорф, под Одессой. За неимением других данных допустим, что это была первая встреча нашего героя с «городом у Черного моря». В дальнейшем Одесса станет для него необходима как воздух. Он будет сбегать сюда из Петербурга в периоды тяжелых депрессий, усталости, разочарования. Он будет лечиться Одессой, подолгу жить здесь, напишет об Одессе один из лучших своих рассказов — «Гамбринус» (1907), чем навсегда пленит капризные сердца одесситов. Сейчас же этот город и Карышевы подарили Куприну судьбоносную встречу.

Бунин

Здесь и сейчас — в весеннем Люстдорфе 1897 года — началась одна из самых мучительных историй в жизни нашего героя. История многолетней ревности, раздражения, отчаяния, одним словом, его соперничества с Иваном Буниным. Куприн проиграет: в 1933 году не ему, а Бунину присудят Нобелевскую премию...

А начиналось все весело, да еще и в «веселом селе» — так переводится с немецкого название Люстдорф. Песчаные пляжи, пряный ветер, томящий зной и южная свобода нравов. Карышевы поселились на даче, где уже жил поэт Александр Митрофанович Федоров, у которого гостил приятель — молодой поэт Иван Алексеевич Бунин. Бунин и рассказал, как они с Куприным познакомились (хотя, конечно, это *его* версия, к тому же изложенная более чем через полвека).

Это случилось 29 мая 1897 года. С утра лил дождь. Бунин и Федоров скучали. Федоров вяло сообщил, что с Карышевыми приехал писатель Куприн. Бунин вспомнил, что видел эту фамилию в «Русском богатстве», предложил пойти познакомиться. Карышевы сказали, что Куприн купается. В такую-то погоду!

«Мы сбежали к морю и увидали неловко вылезающего из воды невысокого, слегка полного и розового телом человека лет тридцати, стриженного каштановым ежиком,

близоруко разглядывающего нас узкими глазами. — “Куприн?” — “Да, а вы?” — Мы назвали себя, и он сразу просиял дружеской улыбкой, энергично пожал наши руки своей небольшой рукой (про которую Чехов сказал мне однажды: “Талантливая рука!”). После знакомства мы сошлись с ним удивительно быстро, — в нем тогда веселости и добродушия было так много, что на всякий вопрос о нем, — кроме того, что касалось его семьи, его детства, — он отвечал с редкой поспешностью и готовностью своей отрывистой скороговоркой: “Откуда я сейчас? Из Киева... Служил в полку возле австрийской границы, потом полк бросил, хотя звание офицера считаю самым высоким... <...> Потом за гроши писал всякие гнусности для одной киевской газетки, ютился в трущобах среди самой последней сволочи... Что я пишу сейчас? Ровно ничего, — ничего не могу придумать, а положение ужасное — посмотрите, например: так разбились штиблеты, что в Одессу не в чем поехать... Слава Богу, что милые Карышевы приютили, а то бы хоть красть...”»[48].

Федоров (правда, тоже через много лет) в целом рассказывал то же: «У меня в то время гостил Бунин, как брат. <...> Он (Куприн. — *В. М.)* недавно перед этим оставил военную службу, путь куда ему открыл кадетский корпус, и, по его рассказам нам, три года постранствовал, был и актером в провинции на пробных ролях, и репортером в провинциальных газетах, но мечтал о серьезной литературе и относился ко всем житейским невзгодам по молодости своей и беспечности весьма юмористически»[49].

Так на люстдорфском берегу возникло трио, довольно долго хранившее добрую дружбу. Наверное, Куприн в этом трио был Портос, Бунин — Д’Артаньян, Федоров, несомненно, Арамис. Он был «по-мушкетерски» красив: аккуратная бородка, усы, томный и озорной взгляд. Эстетствовал. Бунин в те годы — заводной, острый на язык, тонкий, с мягкими, приятными чертами лица, ниточка усов, взгляд с чертовщинкой.

В том, что эти трое быстро подружились, нет ничего удивительного. И юг этому способствовал, и общность интересов. И потом они были ровесники: Бунин и Куприн одного года рождения, Федоров всего на два года старше. Они быстро перешли на «ты». Придумывали друг другу смешные имена и прозвища: Куприн называл Бунина Сережей, Петрушей, Валерием, Сашей, тот Куприна — Васей, Купришкой. Федорова в шутку звали «Федореско». Александр Иванович, возможно, ближе сошелся с Буниным, потому

что Федоров был человек семейный, а Бунин в то время свободен как ветер.

Поделившись с новыми приятелями теми деталями своего прошлого, которыми счел нужным поделиться, Куприн, в свою очередь, быстро понял, что Бунин гордится своим дворянским происхождением и тем, что из его рода был Афанасий Бунин, отец поэта Василия Жуковского. Богатством тем не менее знатный отпрыск похвастаться не мог, перебивался случайными заработками. В последнее время жил в Петербурге, до того в Полтаве, а родился в Воронеже. Сразу стало ясно, что Бунин более искушен в литературных делах. Он уже выпустил сборник стихов; совершенно спокойно рассказывал о том, что знаком со Львом Толстым, с Чеховым, что в столице успел завести связи, например, в журнале «Мир Божий», который в некотором роде оппонент «Русского богатства»...

Федоров был скромного происхождения. Родом из Саратова, отец — пастух, рано умер, он остался сиротой, хлебнул лиха, кое-как перебивался, но теперь всего себя посвятил литературе, тоже печатается в «Русском богатстве», уже выпустил в Москве первую книгу стихов, благосклонно встреченную критикой. Куприну пока оставалось молчать. Не мог же он блеснуть «Киевскими типами» в 24 странички! Срочно нужна была книжка посолиднее. На том и расстались до следующего лета.

Однако Люстдорф подарил Куприну еще одно знакомство, ставшее многолетней дружбой. Одесский спортсмен Сергей Уточкин заразил его любовью к норвежскому писателю Кнуту Гамсуну, и под влиянием этой новой страсти Куприн написал повесть «Олеся» (1898) о любви городского образованного человека и полудикой лесной девушки, внучки колдуньи. Вместе с открытием Гамсуна в жизни Куприна началась новая полоса. Отныне он исступленно искал тех же эмоций, что испытал герой гамсуновского романа, лейтенант Глан: один, в лесу, отгородившись от цивилизации. Тем более что это отвечало зову его души, и у него был Стася Нат, который мог ему обеспечить эти эмоции.

Целый год Куприна носило то в Полесье, то на Волынь. А перед Новым, 1898 годом он взял нужный барьер: в Киеве вышла его вторая книжка «Миниатюры (очерки и рассказы)», с нормальным объемом в 292 страницы. Опять же по легенде, тираж оплатила Анна Георгиевна Карышева: втайне от возлюбленного отнесла вырезки из газет с

его публикациями в типографию... Эту книжку уже можно было при случае подарить кому нужно. И такой случай представится.

И вот снова Люстдорф. Июнь 1898 года. И снова Бунин, счастливый от общения с Куприным. «Тут живет теперь еще Куприн, очень милый и талантливый человек, — писал он брату Юлию. — Мы купаемся, совершаем прогулки и без конца говорим»[50]. О чем говорили, известно: Бунин упрекал Куприна, что тот не пишет систематически, что разменивается на другие занятия, а тот «скулил» (по словам Бунина), что не может придумать сюжет, который мог бы заинтересовать столичного читателя, что он вот хорошо знает только армию, но кому это интересно? Сейчас или народничество или марксизм подавай, а где в армии марксизм и народничество? И то и другое офицер обязан искоренять. А Бунин говорил, что он еще совсем недавно был толстовцем и вообще хорошо знает деревню, но не знает армии, поэтому они сейчас возьмут и напишут о солдате, который на посту вспоминает деревню.

Так родился рассказ «Ночная смена» (1898) о солдате Меркулове, чье обыденное армейское наказание дневальным две талантливые головы превратили в целую философию. Тут и жуткая картина спящей казармы: только что смеявшихся и шутивших людей повалила неведомая сила, что-то бредят во сне... Тут и жуткая мгла, поглотившая ту же казарму, зловещая тишина, в которой бродит полубезумный Меркулов да еще дневальный другой роты, лица которого из-за тьмы не разглядеть. И безысходный хруст масляной краски, которую герой машинально сдирает ногтем со стены. И щемящая грусть о доме, родной деревне, брошенной жене-солдатке: «О-ох, и го-о-орько...»

Рукопись отправили в столичный журнал «Мир Божий», где Бунина хорошо знали. Рассказ увидел свет в феврале 1899 года (кн. 2), и этим дебютом в новом издании Куприн, вне всяких сомнений, был обязан своему люстдорфскому другу.

Пройдет не так много времени, и Куприн в гневе будет кричать Бунину: «Никогда не прощу тебе, как ты смел мне благодетельствовать!» Однако в то время он не мог не видеть очевидного: знакомство с Иваном открыло ему новые двери. В мае 1899 года он получил предложение о сотрудничестве из столичного «Журнала для всех», которым с недавних пор владел Виктор Сергеевич Миролюбов. Куприн поспешно ответил согласием, а уж от Миролюбова и

Бунина ниточки протянулись в том направлении, где определенно можно было вытянуть свой счастливый билет.

Весной 1900 года в судьбу Александра Куприна вмешался Крым, точнее — Ялта, а еще точнее — Антон Павлович Чехов.

Чехов

На заре наступившего XX века Ялта могла похвастаться тем, что здесь совершенно запросто можно было встретить Чехова. Писатель поселился в Крыму по настоянию врачей, страшно скучал и оживлялся обычно в пасхальные каникулы, когда в город съезжались друзья и коллеги.

В дореволюционной России, заметим, понятие сезона было другим: загар считался дурным тоном, поэтому в Крым по обыкновению ездили весной, в апреле — мае. Ехали за морским воздухом, за нужными знакомствами, за курортными романами. Цвет общества дефилировал по набережной, оживавшей после зимней спячки, встречавшей птичьим разноголосием, цветущим миндалем и вишней.

Существуют разные сведения о том, когда наш герой впервые оказался в Ялте. В куприноведении утвердилась дата — 1901 год. Однако мы ее оспорим и назовем апрель 1900 года, когда Чехов принимал коллектив молодого Московского Художественного театра. «Художники» тогда привезли Антону Павловичу показать его же «Дядю Ваню»; спектакли давали в Севастополе и в Ялте. Воспоминания об этих гастролях, первых для труппы, оставили и руководители театра, и актеры, и зрители. Многие запомнили Куприна. Бунин вспоминал: «...когда в Крыму играл Художественный театр, я тоже приехал в Ялту. Встретился тут с Маминым-Сибиряком, Станюковичем, Горьким, Телешовым, Куприным»[51]. Упомянутый Телешов, также называя Куприна, добавлял фамилии Елпатьевского, Найденова и Скитальца[52]. Станиславский, тоже вспомнив Куприна, называл еще Евгения Чирикова[53]. Вспоминала Куприна и прима МХТ актриса Мария Федоровна Андреева[54].

Есть и более веское доказательство. В ялтинском Доме-музее А. П. Чехова хранится шарж работы Александры Хотяинцевой, одной из подруг Чехова, подписанный «М. П. Чехова и А. И. Куприн на набережной Ялты» и датированный «1900–2 г.г.». В сторону городского мола удаля-

ется пара: Куприн в неказистом сюртуке, ноги «скобкой», галантно ведет под руку даму и что-то с жаром ей рассказывает (наверное, армейские анекдоты). Значит, в 1900 году он не просто был в Ялте, но уже успел представиться Марии Павловне, сестре Чехова.

Однако Мария Павловна это еще не Антон Павлович. Куприн в этот свой приезд был лишь пассивным наблюдателем; его личное знакомство с Чеховым состоится только через девять месяцев. Зато Александр Иванович (наверняка все еще под крылом Бунина) впервые попал в настоящую писательскую «тусовку», смотрел во все глаза и запоминал правила игры. В жизни ведь все надо уметь, а правила были нехитрые.

Прежде всего нужно как можно чаще бывать у Чеховых и коротко сойтись с Марией Павловной и Евгенией Яковлевной, матерью писателя. Не потому, что они имели на Чехова какое-то решающее влияние (почти не имели), а чтобы поближе подойти. За трапезой следует говорить о литературе и льстить Чехову, лучше за глаза, потому что он этого не любил, а сестра и мама — любили. Далее нужно подружиться со всеми, кто входил в круг ялтинского общения Чехова. В первую очередь с семьей его лечащего врача Сергея Яковлевича Елпатьевского, довольно известного литератора. И, конечно, необходимо бывать там, где бывают все «настоящие писатели»: в кондитерской Верне и в книжной лавке Синани. Нечего и говорить, что там постоянно бывает Антон Павлович.

Последнее было проще всего.

Попробуем представить, как Куприн, пока еще робея, направляется по набережной в сторону отеля «Франция». Издали он видит «Русскую избушку» — книжную лавку, стилизованную под сруб. У входа скамейка, на которую нужно обязательно присесть, — это любимая скамейка Чехова. Допустим, что Куприн зашел в лавку, пристроился в уголке и рассматривает большую толстую тетрадь в вишневом переплете — альбом для автографов знаменитостей. Видит летящий росчерк Чехова: «10 апреля 1899 г. выехал из Ялты». Ниже прямые каракульки Максима Горького: «А я выехал 13-го». Александр Иванович пока еще не смеет ничего сюда писать.

Он покупает свежие газеты, табак и направляется по второму обязательному адресу — в кондитерскую Верне. Возможно, припоминает начало «Дамы с собачкой»: «Говорили, что на набережной появилось новое лицо: дама с

собачкой. Дмитрий Дмитрич Гуров, проживший в Ялте уже две недели и привыкший тут, тоже стал интересоваться новыми лицами. Сидя в павильоне у Верне, он видел, как по набережной прошла молодая дама, невысокого роста блондинка, в берете; за нею бежал белый шпиц». Может быть, и Куприн тут же увидал даму со шпицем: после выхода чеховского рассказа это стало модно — гулять со шпицем. Он выбирает столик на открытой террасе и, ежась от ветра, слушает море: павильон стоит на сваях, и оно бьется под ногами.

Александр Иванович никогда еще не видел такого великолепия природы, как в Крыму. Море есть и в Одессе, но там нет гор. Нет и местной экзотики, татар-проводников, зазывающих расслабленных от красот и воздуха курортниц на верховые прогулки.

Благодатный Крым сделает свое дело и надолго войдет в душу и творчество Куприна. Но уж больно дорого! Пока еще он не мог себе позволить жить здесь подолгу, поэтому вернулся в Одессу и стал мечтать о том, как следующей весной снова поедет в Ялту, к Чехову.

Но сама гора пришла к Магомету.

Это случилось 13 февраля 1901 года, и об «этом» существуют разноречивые свидетельства.

Одесский приятель Куприна, Федоров, вспоминал: сидел он себе в редакции «Одесских новостей», и вдруг перед ним вырос Миролюбов. Сказал, что они с Чеховым только что прибыли из Италии, остановились в «Лондонской гостинице», ждут парохода в Крым и отчаянно скучают. Отвел Федорова к Чехову, тот пригласил зайти еще и вечером и привести кого-нибудь из литераторов. Федоров назвал Куприна, Чехов не возражал.

Дальнейшее очень живо передала жена Федорова:

«...А. М. Федоров, возбужденный и взволнованный, вбежал в комнату, где я сидела с А. И. Куприным. Куприн говорил о той тревоге, которая не покидает его со дня выхода его первой книжки рассказов.

— Что такое критик? Это кровожадный тигр, любящий молодое мясо.

— Вы тут спокойно разговариваете и не подозреваете, кто в Одессе! В Одессе Чехов!

— Ла-а-дно, — недоверчиво протянул Куприн. — Чехов за границей.

— Был, а со вчерашнего дня он здесь. Миролюбов отыскал меня в редакции “Одесских новостей”, чтобы пригла-

сить меня к Чехову. Я у него был, мы вместе гуляли по бульвару, по улицам, заходили в магазины.

— Счастливец! — искренно позавидовал Куприн.

— Напрасно завидуешь. А. П. просил меня привести тебя к нему сегодня вечером.

— Ну-у?! Это невозможно!

— Почему? Ты разве не знаешь, как Чехов всегда приветлив к молодым писателям? А тут еще козырь: вышла твоя первая книжка.

Куприн вскочил и схватился за голову.

— Да понимаешь ли, что ты говоришь? А вдруг он ее читал!

Это так было неожиданно, смешно, что мы расхохотались.

— Да перестаньте! — закричал А. И.

Зная обидчивость Куприна, мы замолчали»[55].

Однако на пути к счастью встречи обнаружилась досадная преграда: у Куприна были плохие ботинки, он не смел идти в них к Чехову. Федоров сказал, что купит ему новые. Куприн довольно долго упирался, но был побежден. Захватил подписанный экземпляр своих «Миниатюр» — «Глубокоуважаемому Антону Павловичу Чехову с чувством большой робости. Одесса, 1901, 13 февр.» — и пошел навстречу судьбе[56].

Позже он рассказывал своей первой жене все по-другому:

«Узнав, что Чехов остановился в гостинице “Лондонская”, я пришел в общую залу, спросил себе кружку пива и сосиску и стал ждать. <...> Дождавшись Чехова, я подошел к нему: “Бунин обещал меня представить вам, но я решился подойти, не будучи знакомым”.

Антон Павлович был в хорошем настроении, приветлив и пригласил меня к себе вечером.

Когда вечером я пошел к Чехову, по дороге мне встретился Федоров»[57].

Что заставило Куприна солгать? Да то же уязвленное самолюбие. Он не смог простить Федорову купленные из милости ботинки.

Куприн с Федоровым весь вечер провели у Чехова (пришел и Бунин). Сначала говорили о малоизвестных начинающих писателях, потом Антон Павлович стал вспоминать свое детство. Куприн внимательно за ним наблюдал: заметил и то, что у него слабая походка, и то, что откашливаясь, он сплевывает в бумажный кулечек, который тут же бросает в камин.

На следующий день Куприн с Федоровым провожали Чехова, а вскоре получили от него подарки: фотопортреты с автографом. По сохранившимся снимкам кабинета Федорова можно установить, что этот фотопортрет Чехова был сделан в Петербурге в 1899 году. Такой же был у Бунина.

...В 1902 году Куприн напишет рассказ «В казарме», где вложит в уста одного ефрейтора чудну́ю фразу: «Бачу я, Овечкин, что ты вже начинаешь старацця». Ему самому пришлось очень «старацця», чтобы стать своим в доме Чеховых. Так «старацця», что впоследствии он с первого взгляда отличал искренних своих поклонников от лицемеров. Последних не щадил.

После знакомства с Антоном Павловичем можно было спокойно ехать к нему в Ялту, и с наступлением очередных пасхальных каникул Куприн морем добрался из Одессы в Крым. Со временем он до мелочей выучит маршрут. У мыса Тарханкут обязательно будет «валять», потом потянутся рыже-красные окрестности Севастополя, затем обрушится сказочная красота Южного берега Крыма:

«Проплыл мыс Фиолент, красный, крутой, с заострившимися глыбами, готовыми вот-вот сорваться в море. Когда-то там стоял храм кровожадной богини — ей приносились человеческие жертвы, и тела пленников сбрасывали вниз с обрыва. Прошла Балаклава с едва заметными силуэтами разрушенной генуэзской башни на горе, мохнатый мыс Айя, кудрявый Ласпи, Форос с византийской церковью, стоящей высоко, точно на подносе, с Байдарскими воротами, венчающими гору. <...>

Прошли Алупку с ее широким, зеленоватым, мавританского стиля дворцом и роскошным парком, весь зеленый, кудрявый Мисхор, белый, точно выточенный из сахара, Дюльбер и "Ласточкино гнездо" — красный, безобразный дом с башней, прилепившийся на самом краю отвесной скалы, падающей в море» («Морская болезнь», 1908).

Десятого апреля 1901 года Куприн прибыл в Ялту и на следующий день, приободрившись, заседал в книжной лавке Синани и писал в альбоме почетных гостей: «Вчера приехал в Ялту, а сегодня ездил верхом в Уч-Кош. Великолепно!»[58]

Начиная свое ялтинское восхождение, Куприн снова присел «на краюшке чужого гнезда» — на сей раз Елпатьевских. Огромный дом этой семьи, который Чехов окрестил «Вологодской губернией», и по сей день стоит на вершине

ялтинского холма Дарсан*. Здесь Александр Иванович жил в первые дни по приезде.

Глава семьи, Сергей Яковлевич Елпатьевский, был коллегой Куприна по сотрудничеству с «Русским богатством». Бывший народоволец, он несколько лет прожил с женой и двумя дочерьми в ссылке, в Ялте поселился четыре года назад. Сергей Яковлевич имел непростой характер, внешне производил впечатление человека угрюмого.

Жена его Людмила Ивановна, которую все звали «мамашей», приняла Куприна так, как женщины «за сорок» умеют принимать бесприютных холостяков. Она его почти усыновила и через короткое время составила ему решающую в жизни протекцию. Александр Иванович до конца своих дней будет считать Людмилу Ивановну чуть ли не второй матерью.

Определенную пикантность в общение Куприна с Елпатьевскими вносила их дочь, двадцатилетняя Людмила («Лёдя»), недавно вышедшая замуж и уже имевшая ребенка. Муж был много старше, жил в своем имении, а Людмила подолгу гостила у родителей, вовсю флиртуя с молодыми гостями дома. Куприн ее заинтересовал. «Украдкой я и Александр Иванович рассматривали друг друга в стенном зеркале, — вспоминала она, — в котором отражалась картина темных гор Уч-Коша, а на подзеркальнике в бокале стояли белые подснежники. <...> Тогда... Куприн был молод, жизнерадостен, с военной выправкой, с походкой вразвалку и с застенчивостью офицера, жившего в глухом полку разгульной, полнокровной жизнью»[59]. А бывший офицер сразу и влюбился в Лёдю. Много лет спустя он признается ей:

«Вы, вероятно, и не подозревали того, что я в Вас был немножко влюблен? И, конечно, не помните, как смешно и печально окончился этот роман?

Мы спускались с Дарсановского холма <...>. И вот когда мы обогнули церковь, на самом крутом месте спуска и на самом критическом месте разговора случилась катастрофа. Мне помнится, будто я уже прижал левую руку к сердцу, а правую готов был простереть к голубому небу, как вдруг споткнулся, упал поперек густо пыльной дороги и покатился по ней, подобно кегли. Встал я белый как мельник, и на этом белом фоне — пунцовое от стыда лицо. Первым Вашим движением было — убежать или сделать вид, что Вы

---

* Современный адрес: улица Леси Украинки, 12.

вовсе не знакомы с экстравагантным молодым человеком, вздумавшим кувыркаться среди бела дня на улице модного курорта. Но природная доброта взяла верх. Вы не только не бросили меня в этом моем идиотском положении, но даже милостиво помогли мне привести себя в сравнительно человеческий вид»[60].

Романа не случилось, но флирт определенно намечался.

У Елпатьевских Куприн сразу узнал все новости. На Пасху в Ялту приехали Мария Павловна Чехова, Бунин, Миролюбов, а еще Ольга Леонардовна Книппер, актриса Художественного театра. Носился слух: Чехов женится на Книппер! Куприн оказался внутри этой интриги и, конечно, от всего закружилась голова. Своему киевскому другу Киселеву, который теперь виделся далеким прошлым, он писал: «Горы, море, кипарисы, розы, тополя, татары — красоты неописанные и в таком количестве, что охлебаешься... Я живу, работаю, обжираюсь, знакомых миллион»[61]. Так и тянет прибавить: с самим Чеховым на дружеской ноге.

Благодаря тому, что Книппер вскоре после Пасхи уехала в Москву и они с Чеховым стали переписываться, мы знаем о том, что происходило в это время с нашим героем. 24 апреля 1901 года Чехов сообщил Ольге Леонардовне: «Куприн сидит у нас целый день, только ночует у себя. Бунин в Одессе»[62]. Это был ответ на ее вопрос: «Как поживает Миров, Куприн? Последний не надоедает тебе? Кланяйся обоим от меня» (18 апреля)[63]. Чуть позднее, 26 апреля, Книппер поинтересуется: «Что делает Куприн? Ходит к тебе? Скучный он или ничего?»[64] На этот вопрос Чехов не ответил. Но и без этого очевидно, что как только Бунин уехал из Ялты, Куприн начал «старацця»: доказывать, что он ничем не хуже. Более того, принялся ухаживать за теми дамами, которые нравились Бунину.

Он пытался очаровать Марию Павловну. Между тем не мог не знать, что она симпатизировала Бунину и даже просила у брата благословения на брак с ним (Чехов отказал). Была еще одна женщина, о которой Бунин именно в 1901 году написал в дневнике: «Красавица Березина!» «Куприн, по-видимому, влюблен, очарован, — писал Чехов Ольге Леонардовне Книппер 26 апреля. — Влюбился он в громадную, здоровенную бабу, которую ты знаешь и на которой ты советуешь мне жениться»[65]. Чеховеды установили, что речь идет о миллионерше, владелице имения Суук-Су в Гурзуфе Ольге Михайловне Соловьевой-Березиной.

Березина — роскошная и во всех смыслах дорогая жен-

щина* — в прошлом году овдовела и была объектом повышенного внимания, однако, похоже, слабость питала исключительно к Чехову. Тем не менее через два года, когда Куприн привезет к Чехову молодую жену, та будет поражена бестактными шутками Антона Павловича:

«Острил (Чехов. — *В. М.*) над Куприным, рассказывая, как... будто бы присмотрел ему очень хорошую невесту — вдову лет пятидесяти с большими средствами. При упоминании имени Александра Ивановича вдова вздыхала и закатывала глаза. Но почему-то, несмотря на все авансы этой дамы, Александр Иванович не оценил ее прелестей и капитала <...>

Я чувствовала себя очень неловко»[66].

Наш герой продолжал «искать женщину», которая помогла бы ему утвердиться в жизни. Почему бы и нет? Во-первых, он уже подошел к тридцатилетию и жениться действительно было пора. Во-вторых, на него влиял Бунин, который в этом вопросе щепетильностью не отличался. Он не скрывал от Куприна, что ухаживал за дочерью миллионера, московского купца Андрея Александровича Карзинкина, но та предпочла ему писателя Николая Телешова. Знал Куприн и о том, что три года назад в Одессе Иван Алексеевич вдруг ни с того ни с сего женился на Анне Цакни, дочери издателя газеты «Южное обозрение». Ничего, правда, путного из этого не вышло, они скоро расстались, и теперь Бунин мучился от того, что ему редко разрешают видеть сына, а жена не дает развода. Куприн, конечно, понимал, что в отличие от Бунина не мог предложить супруге известную дворянскую фамилию, мог только обещать туманную перспективу, что когда-нибудь прославится и станет получать солидные гонорары.

Тем временем Чехов стал собираться в Москву (25 мая 1901 года он обвенчается с Книппер). Куприн, не видя смыс-

---

* О. М. Соловьева-Березина, по словам ее внука, была «высокого роста, с черными как смоль волосами, со свежим румяным лицом. Ольга Михайловна воплощала собой особую красоту русской женщины. Она любила дорогие меха и драгоценности. Она охотно показывалась в шикарных нарядах, которые потом дарила своим приятельницам. После ванны она обдавала себя болгарским маслом из роз и любила много душиться. Что касается еды, то она любила сельди и устрицы с шампанским и винами из собственного погреба. Помимо купания в море, она ловко стреляла и любила танцевать. Никто (разве только Распутин) и ничто не потрясало ее, и со всеми она обращалась на “ты”» (см.: *Соловьев Г. Н.* Скрещение судеб. СПб.: Алетейя, 2010).

ла сидеть в Ялте, тоже уехал, но переписывался с «мамашей» Елпатьевской. В одном из посланий, подписанных просто «Саша Куприн», он спрашивал: «Небось уже совсем забыли своего найденыша? А он помнит о Вас, любит по прежнему и никогда не забудет Вашей ласки и добродушия»[67]. В другом: «Мне бы сейчас хотелось прижаться лицом к Вашим коленям и не поднимать головы минут пять». Он стал членом семьи — это ясно.

Как только Чехов вернулся в Ялту, вернулся туда и Куприн. Обстановка у Чеховых была накаленная. Мать и сестра писателя (да и многие его друзья) приняли Книппер в штыки. «Я хлопочу о разводе», — зазывал Чехов Бунина, который также не одобрял случившегося и не хотел приезжать в Ялту. Мария Павловна была в таком смятении, что писала Бунину: «Начала думать даже о своем замужестве и потому прошу Вас, Букишончик, найдите мне жениха побогаче»[68].

Итак, Бунина нет, в доме Чеховых чувствуется нервозность, сам Чехов хмур (3 августа он составил завещание). И Александр Иванович снимает, по его словам, «комнатушку в шумной и многочисленной греческой семье», в доме неподалеку от чеховского, при случае жалуется Антону Павловичу, что работать там совершенно невозможно. А Чехов возьми да и скажи, чтобы он «непременно приходил к нему с утра и занимался у него внизу, рядом со столовой»:

«Вы будете писать внизу, а я вверху, — говорил он со своей очаровательной улыбкой. — И обедать будете также у меня. А когда кончите, непременно прочтите мне или, если уедете, пришлите хотя бы в корректуре» («Памяти Чехова», 1905).

Всё, Бунин побежден?

Не знаем. Скорее Чехов не хотел оставаться с домашними с глазу на глаз, а Куприн разряжал атмосферу.

Так и вышло, что Антон Павлович принял живое участие в рассказе, который писал в его доме Куприн. Это была история циркового атлета, умирающего от разрыва сердца в своей костюмерной после поединка.

Если в «Ночной смене» Куприн, зная армию, писал о связанном с ней, а Бунин помог написать ему деревню, то здесь Куприн знал цирк, а Чехов написал ему медицину. Кроме того, оказал Александру Ивановичу протекцию, о которой тот не мог даже мечтать. Чехов показал рассказ, получивший название «В цирке», Льву Толстому, приехавшему осенью 1901 года на отдых в Крым. Не только пока-

зал, но и написал Куприну: «Дорогой Александр Иванович, сим извещаю, что Вашу повесть “В цирке” читал Л. Н. Толстой и она ему *очень* понравилась (выделено Чеховым. — *В. М.*). Будьте добры, пошлите ему Вашу книжку*... и в заглавии подчеркните рассказы, которые Вы находите лучшими, чтобы он, читая, начал с них». Ну как было не сойти с ума?! Лев Толстой не просто узнал, что где-то на свете есть Саша Куприн, а читал его рассказ и очень хвалил. Отныне наш герой мог при случае блеснуть этим отзывом. Со временем издательская реклама использует этот факт — что Куприна особо отмечал великий Толстой.

Рассказом «В цирке» завершился начинающий, провинциальный, робкий литератор Куприн и начался новый, уверенный в себе, подающий большие надежды столичный писатель. Рассказ был напечатан в журнале «Мир Божий» в первом, январском номере за 1902 год. К этому времени его автор уже был женихом дочери издательницы журнала.

---

* Чехов имел в виду сборник «Миниатюры», который Куприн не отважился послать Толстому.

Глава третья

ЗЯТЬ ДАВЫДОВЫХ

Мужчина в браке подобен мухе, севшей на липкую бумагу: и сладко, и скучно, и улететь нельзя.

А. И. Куприн

Куприн заставил ахнуть не только своих киевских и одесских приятелей, но и видавших виды столичных литераторов. Он стал «зятем Давыдовых» — известнейшей петербургской семьи, издававшей журнал «Мир Божий». Как-то вдруг, из ниоткуда возник в столичном литературном мире и заставил с собой считаться. Правда, для этого пришлось несколько лет прожить с унизительным клеймом «зятя Давыдовых», но цель оправдывала средства.

Вообще история эта настолько туманная, что пора наконец подойти к ней вплотную.

Муся

Семья Давыдовых играла важную роль в общественной и культурной жизни Петербурга. Главу семьи — Карла Юльевича Давыдова — выдающегося виолончелиста, директора Петербургской консерватории, Куприн не застал. Тот давно скончался.

Вдова Карла Юльевича, Александра Аркадьевна Давыдова, родовитая дворянка, дама светская, очаровательная, говорившая большей частью по-французски, — некоторое время держала литературный салон, была знакома с Гончаровым, Тургеневым и семьей Виардо, материально и морально поддерживала поэта Надсона в его последние годы.

Благоволила к Гаршину, Мамину-Сибиряку, Горькому и не находила таланта у Чехова.

С 1892 года Давыдова издавала журнал «Мир Божий», который к началу нового века превратился в орган марксистов (Александра Аркадьевна звала их «марксятами»). За полемикой «Мира Божьего» и народнического «Русского богатства», с которым сотрудничал Куприн, увлеченно следила читающая Россия. И только посвященные знали, что на самом деле сотрудники обеих редакций дружат и что у Александры Аркадьевны был страстный роман с Николаем Константиновичем Михайловским, редактором «Русского богатства».

Марксистский уклон «Мира Божьего» возник отчасти потому, что дочь Давыдовой Лидия Карловна вышла замуж за Михаила Туган-Барановского, одного из первых теоретиков отечественного марксизма.

Лидия Карловна Давыдова была помощницей и любимицей матери. Она окончила Высшие женские (Бестужевские) курсы, знала несколько языков, отвечала в «Мире Божьем» за отдел переводной литературы и сама много переводила. С юности она отличалась живым умом и прогрессивными взглядами. Ее гимназическими подругами были Надежда Крупская и Ариадна Тыркова-Вильямс, и обе впоследствии занимались политикой. Давыдова предполагала именно Лидии передать «Мир Божий», но та умерла в 1900 году, совсем молодой. Эта смерть совершенно подкосила мать, тем более что незадолго до этого она пережила трагедию с сыном Николаем.

Николай Карлович Давыдов (в семье его звали Кока, Кикш) был типичный представитель «золотой молодежи», бонвиван и балагур, душа компании. Окончив юридический факультет Петербургского университета, он мог бы сделать блестящую карьеру, но судьба распорядилась иначе. Николай Карлович провалился в полынью, и его парализовало. На него надеяться Давыдовой не приходилось; он стал инвалидом, передвигался в коляске, хотя духом не падал и в шутку называл себя велосипедистом.

Был у Давыдовых и свой «скелет в шкафу». В семье воспитывалась приемная дочь Мария, для близких Муся, о которой судачил весь светский Петербург. Она-то и станет женой Куприна.

Никто точно не знал истории появления Муси в доме Давыдовых. Любопытным приходилось довольствоваться той версией, что озвучили сами Давыдовы. Якобы 25 марта

1881 года горничная доложила Александре Аркадьевне, что кто-то позвонил в дверь, она открыла, а там ребенок, на вид около года. И рядом никого. Бросились вниз к швейцару; тот вспомнил, что наверх прошла хорошо одетая дама с ребенком на руках, а вышла уже одна.

Девочку оставили, и дату ее появления записали как дату рождения. Окрестили Марией.

И пошли по Петербургу толки. Говорили, что это внебрачная дочь Александры Аркадьевны и Николая Константиновича Михайловского. Кто-то утверждал, что это ребенок от Надсона. Но более подозревали Карла Юльевича, который не отличался строгой моралью; предполагали, что мать Муси — кто-то из его консерваторских учениц[69]. Однако сама Мария Карловна, Муся, как-то обронила, что ее матерью была террористка-народоволка Геся Мироновна Гельфман, одна из двух женщин (вторая — Софья Перовская), осужденных по делу об убийстве 1 марта 1881 года императора Александра II. Геся не была казнена только потому, что на момент вынесения смертного приговора была беременна. По официальной версии, девочка, которую она родила в тюрьме, была помещена в воспитательный дом и, не прожив и года, умерла.

Сохранились и фотографии, и выразительные описания внешности Муси Давыдовой. «Черноглазая, жизнерадостная, остроумная женщина, Мария Карловна была необычайно привлекательна, и ее чуть хрипловатый, насмешливый голос звучал задорно и победно», — вспоминал Корней Чуковский[70]. Вера Николаевна Бунина писала, что Мария Карловна была похожа на красивую цыганку[71]. А вот Ариадна Тыркова-Вильямс несколько приоткрыла причины, заставлявшие Куприна страдать в этом браке:

«Муся была странная девушка. Очень хорошенькая. Стройная, с правильным лицом, с нежной кожей, с темными волосами и темными, насмешливыми глазами. Ее портил смех, недобрый, немолодой. Точно смехом своим она говорила:

— Какие вы все дураки, и до чего вы все мне надоели.

С раннего детства видела Муся вокруг себя знаменитостей, музыкантов, певцов, артистов, писателей, чьи имена повторялись с восхищением, иногда с искренним почтением. В Мусе все эти знаменитости дразнили беса насмешки. Она была очень неглупая девушка, но не было в ней ни крупинки энтузиазма ни к идеям, ни к людям. Беспощадно отмечала она в них все дурное, глупое, ничтожное и очень зло

всех и все высмеивала. В ней не было злости, не было желания делать людям что-то неприятное, дурное. Но сердце у нее было немолодое, подсушенное. Возможно, что на нее с детства шли холодные сквозняки от женщины, которую она звала мамой. Все же Муся была очень общительная, у нее было много приятельниц, приятелей, поклонников. Ей нравилось, когда за ней ухаживали. Кокетничать она была мастерица»[72].

Если добавить, что во время знакомства с Куприным Мусе было всего 20 лет, то картина будет полная. Безмятежного романа здесь просто быть не могло.

Но вернемся к герою. В конце 1901 года Куприн приехал в Петербург, приняв предложение Миролюбова возглавить отдел беллетристики «Журнала для всех». По пути вместе с Буниным заехал в родную Москву, где Бунин (снова!) представил его членам литературного кружка «Среда», собиравшимся в квартире писателя Телешова. А потом, как рассказывала Мария Карловна, тот же Бунин привел Куприна к ним домой.

В тот момент, когда горничная доложила, что приема дожидаются господа Бунин и Куприн, Муся Давыдова, слушательница историко-филологического факультета Высших женских курсов, зубрила конспекты. Мать, сославшись на нездоровье, к визитерам не вышла, и Мусе пришлось занимать их самой. С Буниным она была знакома довольно коротко — настолько, что они обменивались шутливыми письмами. Иван Алексеевич искрометно острил и в этот раз и, что называется, с порога затеял игру в сватовство, расхваливая ей якобы жениха, которого он привел: «Обратите благосклонное внимание — талантливый беллетрист, недурен собой. Александр Иванович, повернись к свету! Тридцать один год, холост. Прошу любить и жаловать»[73]. Все смеялись, Куприн то краснел, то бледнел. Потом разговорились об общих знакомых: Людмила Ивановна Елпатьевская, «мамаша», была близкой подругой Александры Аркадьевны Давыдовой, а ее дочь Лёдя — подругой самой Муси.

А вот Лёде запомнилось, что в «Мир Божий» Куприна привела как раз ее мать, а никакой не Бунин. Как было на самом деле, неизвестно, но складывается впечатление, что Куприна изначально привели сюда как жениха, иначе с чего бы вдруг Бунину затевать именно такую игру?

Дальше события разворачивались стремительно. Александр Иванович начал часто бывать у Давыдовых и в ре-

дакции «Мира Божьего», помещавшейся в той же квартире. Он познакомился с фактическим редактором Ангелом Ивановичем Богдановичем (был еще зитц-редактор), которого очаровать не смог; позже опишет его: «...человек, несмотря на внешнюю хилость и плюгавость, строгий до свирепости, придирчивый, недоверчивый, и дерзкий на язык» («Петр Пильский», 1931). Зато он подружился с инвалидом Кокой, пусть сводным, но все-таки братом гипотетической невесты. Добавим к этому веселый купринский нрав, обаяние, покладистость (в меру) — и дело сделано. «Незаметно все привыкли к Куприну, — вспоминала Мария Карловна, — и он стал у нас своим человеком. Моей матери он нравился: его непосредственность, жизнерадостность отвлекали ее от постоянных тяжелых дум о своей болезни и о смерти старшей дочери. Она охотно слушала его рассказы о военной службе, различных эпизодах его жизни, знакомых писателях»[74].

Однако в качестве зятя Александра Аркадьевна, конечно, Куприна не рассматривала. Что это за партия для столичной барышни из известной семьи? В 1900 году она собиралась отдать Мусю за Ивана Ивановича Иванова, ведущего критика «Мира Божьего», человека почтенного и широкообразованного. Вот это партия! (Почему-то брак не состоялся.)

А вот Куприн, как оказалось, очень даже видел себя в качестве жениха. Всего через месяц после знакомства с Мусей, в сочельник 24 декабря, он сделал ей предложение, а в канун Нового года подарил обручальное кольцо с гравировкой: «Всегда твой — Александр. 31. XII. 1901 года». И девушка его тут же надела, вызвав слезы матери: «Не слишком ли это рано? Только купеческие невесты носят кольца до свадьбы»[75].

Почему Муся так себя повела, прекрасно зная, что у матери больное сердце и нервничать ей нельзя? Потому что не любили ее и хотела поскорее покинуть этот дом? Потому что в голове был ветер? Или придумала себе высокую миссию по продвижению этого молодого таланта? Наверное, все вместе.

Что и говорить, это был мезальянс. Куприн для Муси — человек совсем не ее круга: не слишком образован, провинциален, красотой, которая сражает наповал, не блистал, не дворянин и к тому же беден. Для него же она во всем была «слишком»: слишком красивая, слишком светская, слишком умная, слишком... Если не рассматривать версию, что

это была любовь с первого взгляда (а о том, что это не так, говорят дальнейшие события), то остается предположить взаимовыгодный договор.

Александра Аркадьевна, которая чувствовала себя все хуже, противилась этому браку недолго. В первых числах 1902 года она сдалась. Вдруг заговорила о завещании и скорой кончине, призвала Мусю и ее жениха: «Я говорила вам, Александр Иванович... что не следует торопиться со свадьбой, прежде чем вы и Муся хорошо не узнаете друг друга. Но теперь я чувствую, что мне осталось недолго жить. После моей смерти ей будет тяжело остаться одной с больным братом на руках и теми обязанностями, какие я возлагаю на нее моим завещанием»[76]. Давыдова смирилась, понимая, что юную Мусю, а с ней и инвалида Коку просто не на кого оставить. А этот Куприн все же бывший офицер, жизненный опыт определенно есть, в конце концов, он просто физически здоров и силен. Вытянет как-то. Просила их венчаться скорее, до Великого поста.

Некоторые подробности этого решающего разговора передавала Вера Николаевна Бунина со слов мужа. Якобы Давыдова дала свое благословение только для того, чтобы Куприн подхватил «Мир Божий»: «Александра Аркадьевна больше думала о журнале, чем о счастье дочери, у которой, как и у Куприна, был бешеный характер и которая к Куприну не чувствовала ничего, кроме дружбы. Кажется, и Куприн отдавал предпочтение Лёде Елпатьевской, к тому же он уже пил»[77]. Бунин вроде бы при всем этом присутствовал, и когда потрясенная Муся вылетела из спальни матери с возгласом «Что мне делать?!», он не стал ее отговаривать.

Прочитав эти опубликованные строки в 1958 году, Мария Карловна напишет Буниной, что никакого благословения Александра Аркадьевна «высказать не могла... Она считала Куприна молодым, подающим надежды беллетристом, но никогда не видела в нем большого таланта, который когда-либо выдвинется в первые ряды. <...> Поэтому она была настроена против моего брака с Куприным. И если бы не влияние ее любимой приятельницы, Людмилы Ивановны Елпатьевской, которая настраивала Александру Аркадьевну, особенно во время ее болезни, в пользу Куприна, то этот брак не состоялся бы... Мнение о том, что Куприн был желательным членом редакции такого старого журнала как "Мир Божий" и мог бы способствовать его успеху, было в то время нелепым»[78].

Значит, «мамаша» Елпатьевская помогала своему «найденышу». В остальном же Мария Карловна еще более все запутала; не хотела, чтобы стала известна правда об этом браке.

Хотя свадьба не афишировалась, весть о ней быстро распространилась. Долетела и до Киева, откуда в Петербург немедленно пришло письмо Анны Георгиевны Карышевой с карами небесными для неверного возлюбленного. Опасаясь каких-нибудь скандальных действий с ее стороны, Александр Иванович ответил, что всё — слухи и никакая свадьба не планируется.

Всполошились друзья и коллеги Александры Аркадьевны Давыдовой. Писательница Варвара Николаевна Цеховская просила подругу Давыдовой, поэтессу Ватсон, передать той, что, «живя на юге России, слышала страшные вещи о выходках, которые позволял себе Куприн в пьяном состоянии. <...> Ватсон выполнила ее просьбу, на что Давыдова якобы ответила: "Все русские писатели — пьяницы!"»[79].

Мария Карловна вспоминала, как ее пришел отговаривать Ангел Иванович Богданович. Он тоже намекал, что недурно бы навести справки в Киеве о том, что за человек ее жених. А потом начал бить на самолюбие: утверждал, что Куприн — талантливый беллетрист, но и только. Он никогда не прославится, никогда не подымется выше среднего уровня, никогда не напишет большой вещи, о которой заговорит вся Россия. Стоит ли растрачивать свою молодость, красоту и ум на посредственного литератора?

Знал бы об этом Александр Иванович! В глаза-то ему, будущему зятю Давыдовой, никто не смел ничего говорить. 30 декабря 1901 года (за день до того, как он подарил Мусе обручальное кольцо) он познакомился в большой писательской компании с Федором Федоровичем Фидлером. Это был интересный человек: немец, страстно влюбленный в русскую литературу и собиравший дома «литературный музей». Туда попадали и книги, и автографы (он всегда носил с собой специальные альбомы), и личные вещи писателей, даже окурки. Так вот Фидлер, искушенный в литературном общении, после знакомства с Куприным удивленно записал в дневнике: «Молодой Куприн держался столь естественно, будто всю жизнь провел исключительно среди именитых писателей — ему, новичку, следовало бы проявлять больше робости»[80]. И чуть позже, под впечатлением от обеда в ресторане: «Присутствовали также: Мордовцев, Мамин и Куприн. С последним (безымянный новичок) все

обращались как с равным: без оттенка снисходительности и опеки»[81].

Свадьба приготовлялась хоть и спешно, но с вывертом. Венчать молодых должен был Григорий Петров, скандально известный в то время проповедник. На его проповеди в церкви Святого Благоверного и Великого князя Александра Невского при Михайловском артиллерийском училище ходили толпами. К нему-то и отправили Куприна договариваться.

Оказалось, что в числе документов, необходимых для совершения обряда, должно быть свидетельство о говении. Времени на это не было, и, по словам Марии Карловны, они просто купили документ, презрев формальности. Только потом она узнала, что Куприна это больно ранило: он с трепетом относился к грядущему событию.

Венчались 3 февраля 1902 года. Мария Карловна вспоминала, что было разослано очень много приглашений, а народу явилось еще больше. Главным образом, чтобы услышать что-нибудь этакое от Петрова, но тот всех разочаровал, ничего этакого не произнес. На банкете многие перепились. «3 февраля была свадьба моя с Мусей, — писал Куприн «мамаше», Людмиле Ивановне Елпатьевской. — Ангел (Богданович. — *В. М.*) напился до потери человеческого образа»[82]. То есть Елпатьевская не присутствовала. Не были приглашены ни родные жениха, ни его друзья и коллеги. Последние узнали о свадьбе по слухам. В конце февраля Телешов писал Бунину:

«Говорят, Куприн женился на Мусе и теперь “Мир Божий” — его, и Ангел — его секретарь.

Правда ли?»[83]

Бунин отвечал: «Куприн действительно женился на Мусе Давыдовой. Знаю из верного источника»[84]. То есть и он, общий друг «молодых», на их венчании не присутствовал.

Из писателей был только Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк, близкий человек в семье Давыдовых. С недавних пор он был женат на бывшей бонне Муси — Ольге Францевне Гувале, которая любила свою воспитанницу, а потому печалилась: «Обвенчали мы Мусю на скорую руку, так что все было грустно и тоскливо. Александра Аркадьевна, предчувствуя, что ей все делается хуже и хуже, просила, чтобы Муся скорее венчалась»[85].

Не думаем, чтобы и Куприну было весело. Не такой он представлял себе свою свадьбу. Здесь явно не он — офицер — оказывал честь девице, а его «брали в семью».

И снова вопросы, ответы на которые напрашиваются сами собой. За чей счет игралась свадьба? На что Александр Иванович собирался содержать свою светскую жену? Достаточно сказать, что первую брачную ночь, по ее словам, они провели в какой-то съемной комнате, за нехитрой трапезой, и муж развлекал ее частушками:

Нет ни сахару, ни ча-аю,
Нет ни пива, ни вина,
Вот теперь я понимаю,
Что я прапора жена...

А потом было так: днем Муся жила дома (этого требовала мать, которая была уже при смерти), а на ночь уходила к мужу. Представляем себе, каких мучений самолюбия стоило ему все это. Но приходилось «старацця», особенно во время бесконечных обедов и ужинов, которые давались в их честь родственниками Давыдовых. Наверное, каждый такой визит был для Куприна испытанием: нужно было следить за манерами, поддерживать светскую беседу, блистать остроумием. Вроде удавалось. Так, в первых числах марта они навещали Мамина-Сибиряка с Гувале, и та написала родным: «Вчера вечером была у нас Муся с мужем, последний нам начинает все больше и больше нравиться»[86]. Для сравнения — через три года Мамин напишет матери о Мусе Куприной: «Бедняжка очень несчастна со своим мужем, с которым никак не может разойтись. Пьяница и т. д.»[87].

Уж Мамин мог бы не развешивать ярлыков! И сам не был ангелом, и сам привел Куприна в трактир Давыдова (в просторечии «Давыдка» или «Капернаум») на Владимирском проспекте. Это дешевое пристанище «третьей власти», репортеров, пленило Александра Ивановича на долгие годы и обрело бессмертие в его рассказе «Штабс-капитан Рыбников» (1906):

«Как и всегда, братья-писатели сидели вокруг длинного стола и, торопливо макая перья в одну чернильницу, быстро строчили на длинных полосах бумаги. В то же время они успевали, не прекращая этого занятия, поглощать расстегаи и жареную колбасу с картофельным пюре, пить водку и пиво, курить и обмениваться свежими городскими новостями и редакционными сплетнями, не подлежащими тиснению. Кто-то спал камнем на диване, подстелив под голову носовой платок. Воздух в кабинете был синий, густой и слоистый от табачного дыма».

Сюда-то и сбегал наш герой от светских раутов. Здесь была привычная для него по Киеву и Одессе атмосфера, и здесь он начал обрастать той свитой забулдыг, какой неизбежно обрастают пьющие люди. В «Капернауме» начался теперь уже петербургский миф биографии писателя, который утверждает, что стал этот кабак его штаб-квартирой, что даже письма ему сюда адресовали, что платил Александр Иванович репортеришкам за каждого приведенного ими забавного человека.

Но это позже, а пока рушилась последняя преграда на карьерном пути Куприна. 24 февраля 1902 года, через три недели после свадьбы, скончалась Александра Аркадьевна Давыдова. По ее завещанию издательство и «Мир Божий» перешли к Мусе, совладельцами назначались Кока Давыдов и Ангел Богданович. Куприн возглавил отдел беллетристики, покинув одноименный отдел в миролюбовском «Журнале для всех». Всё, можно было больше не «старацця». Возможно, так он думал, недопонимая, какая ответственность легла на его плечи, и не представляя, что отныне ради успеха семейного дела его будут буквально заставлять писать. А ведь за ним следили с пристрастием. «Умерла... Давыдова, и Мир Б<ожий> перешел к мужу ее дочери, — сообщала Зинаида Гиппиус своему корреспонденту. — Говорят, пошатнется Мир»[88].

Об этом говорили не только из-за Куприна. Вскоре после Александры Аркадьевны скончался официальный редактор журнала. Мария Карловна с Богдановичем стояли перед выбором, кого пригласить на его место. Так в один прекрасный день Куприн увидел перед собой Федора Дмитриевича Батюшкова, «породистого» столичного профессора, читавшего курс истории всеобщей литературы в Петербургском университете и на Высших женских (Бестужевских) курсах. Это был обаятельнейший человек средних лет, блондин с окладистой бородой, глаза которого всегда улыбались. Он носил слишком известную фамилию — был внучатым племянником поэта Константина Николаевича Батюшкова. Никакой симпатии поначалу между ним и Куприным не возникло, скорее наоборот. Только через несколько лет Федор Дмитриевич станет самым близким и преданным другом Александра Ивановича.

Обновленная редакция «Мира Божьего» переехала на новое место: вместе с ней молодые Куприны поселились в роскошной квартире на Разъезжей, 7. И вот в Киев, Одессу, которые помнили Александра Ивановича еще Сашкой, стали

доходить фантастические слухи: «Куприн живет в Петербурге, женился, он в первых рядах молодых талантливых беллетристов, пользуется всеобщим признанием, тонкий "Журнал для всех" он оставил, сейчас он редактор-издатель толстого журнала "Мир Божий". Теперь у него денег куры не клюют. У него квартира из десяти комнат, собственная дача в Крыму. Он барин. Своим новым положением Куприн очень доволен. Всем киевлянам, очутившимся в Питере в затруднительном положении, он выдает по 25 рублей»[89].

Эти слухи запомнились Борису Киселеву, сыну киевского друга Куприна. Запомнились и рассказы отца о том, как он навестил Александра Ивановича в той самой барской квартире. Куприн сам был ошарашен переменами в своей жизни, шутил, что Киселев должен явиться к ним на обед только во фраке, и повторял: «Миша, Миша, куда мы с тобой попали!», хотя Миша так до конца своих недолгих лет никуда и не попал.

Приезжали в Питер и другие приятели из прошлого. Один из них шокировал Марию Карловну, ввалившись в гостиную в пальто и мокрых галошах, а на ее вопрос: «Что вам угодно?» — рявкнул: «Да мне не вас, а Сашку, где он, черт его побери, здесь у вас?»[90]

Наверное, не меньшим открытием стали для Марии Карловны родные ее мужа. Вдовий дом, где до сих пор жила Любовь Алексеевна, и съемные квартиры, где обитали семьи Натов и Можаровых, были совсем из другой жизни, нежели гостиные ее родственников.

Покончив со срочными делами и переездом, Куприн повез жену в Москву знакомить с матерью. Нечего и говорить, что Вдовий дом рассматривал Марию Карловну во все глаза и потом судачил, что дамочка-то питерская, модная, свекровь по имени-отчеству называла, а вот «мамашей» так назвать и не смогла. Однако Любовь Алексеевна была счастлива! Она искренне полюбила Марию Карловну и до конца своих дней признавала только ее (вторую жену Куприна она не примет).

Бог весть, понравилась ли невестка сестрам мужа Соне и Зине, которые жили тогда в Подмосковье: первая в Троице-Сергиевом Посаде, вторая в Коломне. Мария Карловна вспоминала лишь о том, что ей удалось познакомиться со знаменитым Стасей.

Надо полагать, из-за траура молодожены отказались от медового месяца за границей. Куприн и не хотел туда; ему не терпелось побывать в Ялте. Сразу после свадьбы он

писал Чехову: «Застану ли я Вас в Ялте, если приеду туда в марте или в начале апреля? Мне бы Вас очень, очень хотелось видеть и познакомить с Вами мою жену»[91]. Неизвестно, ответил ли Антон Павлович. В то время серьезно болела Ольга Леонардовна, он переживал, уезжал к ней и в Ялте подолгу отсутствовал. Тем не менее Куприны все-таки поехали в Крым. Чехова не застали, но кого-то да застали, тех же Елпатьевских. И впервые в жизни наш герой мог сказать им: «Раз Антона Павловича нет, мы с женой поедем пока на нашу дачу». Ему не терпелось увидеть дачу Давыдовых в Мисхоре (татарском поселке неподалеку от Ялты), которая по завещанию Александры Аркадьевны перешла Коке.

Странное дело: до сих пор никто из крымских краеведов не интересовался этой дачей. Казалось бы, все адреса Куприна давно установлены, однако дача Давыдовых, где он встретил бродячих артистов, описанных в «Белом пуделе», и где написал первые шесть глав «Поединка», оставалась фантомом. Мы впервые устанавливаем ее адрес, руководствуясь очень четкими указаниями в мемуарах Марии Карловны.

Теперь это территория элитного санатория «Морской прибой» в Мисхоре, а в начале XX века это был поселок Новый Мисхор, принадлежавший (при Куприных) графу Павлу Петровичу Шувалову. Местность, достаточно пустынная, благоустраивалась членами царской фамилии и богатейшими семьями России, строившими здесь дачи. Соседями четы Куприных оказались князья Юсуповы и великий князь Петр Николаевич Романов, владелец прекрасного дворца в арабском стиле «Дюльбер». А за благами цивилизации нужно было ходить в соседнюю Алупку, через роскошный парк имения графа Михаила Семеновича Воронцова.

Сегодня трудно установить, сохранилась ли сама дача Давыдовых. Один из ее фасадов запечатлела семейная фотография: Куприн держит Марию Карловну на плече. За ними добротный дом с открытой верандой и деревянными резными, «татарскими» балконами. Наверное, обходя дачу, Александр Иванович не верил глазам своим: и от самого дома, и от видов кружилась голова. Окна одного фасада показывали бескрайнее море, другого — зубчатую вершину горы Ай-Петри. Неподалеку среди древних седых сосен журчал горный ручей. И никого. Вот она, пустыня лейтенанта Глана, царство Пана!

Но полного одиночества не было, да Куприн его и не любил. С ними приехал Кока, и они хохотали, сочиняя непристойные эпиграммы на соседей. А потом пришла теле-

грамма от его мамы, что она едет к ним, и Куприн сорвался в Ялту ее встречать. Любовь Алексеевна, впервые оказавшаяся в крымском южнобережном раю, не могла удержать слез. Из какой беспросветной бедности вырвался ее Саша! Разве не об этом она мечтала! Разве не ради этого принесла себя в жертву! Теперь она стала для сына и невестки одной матерью на двоих. А вскоре собиралась стать и бабушкой — Мария Карловна была беременна.

Бывая в Ялте, Куприн все никак не мог застать Чехова, общался с Елпатьевскими и знал из первых уст то, о чем говорила тогда вся читающая Россия. В Гаспре с прошлого года жил Лев Толстой и беспрестанно хворал. Сначала перенес воспаление легких, едва не умер, а весь апрель 1902 года (когда приехали Куприны) болел брюшным тифом. Елпатьевский ездил его консультировать и, вероятно, рассказывал Куприну то, что рассказывал многим: «...ездил через день из Ялты в Гаспру и дежурил у его (Толстого. — *В. М.*) постели с восьми вечера до восьми утра: впрыскивал ему камфару, давал дигиталис и шампанское. Благодаря этому Толстой выжил. <...> Для современной литературы он точно "идолище поганое": хотел бы поглотить всех, кто пытается, хотя бы мимоходом, бросить тень на его славу; признает только мертвых. <...> О Горьком Толстой отзывается так, что его слова, ввиду их сугубо откровенно характера, даже и передать нельзя»[92].

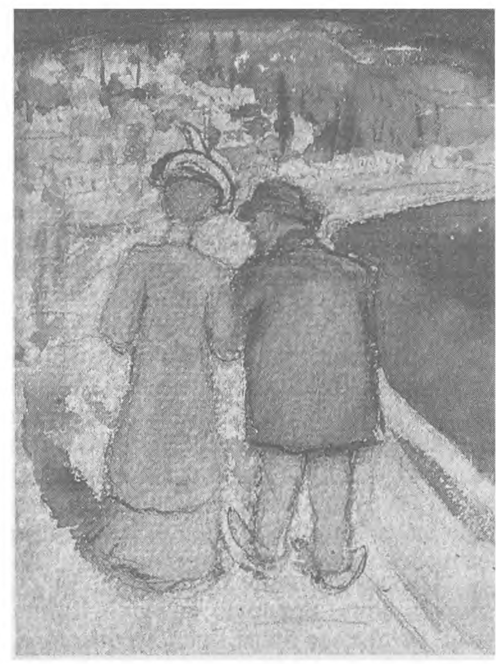
Куприн узнал, что Горького водил к Толстому Чехов, а Елпатьевский организовал встречу со Львом Николаевичем для Короленко. Александр Иванович наверняка просил при случае представить и его.

Существует два очерка Куприна о том, как он познакомился с Толстым. Первый — «О том, как я видел Толстого на пароходе "Св. Николай"» (1908); второй — «В гостях у Толстого» (1928). Между ними пролегло 20 лет, и некоторые детали не совпадают. В первом Куприн рассказывал, как однажды к нему приехал Елпатьевский и сказал, что завтра утром Толстой будет в ялтинском порту — он уезжает из Крыма; есть возможность подойти познакомиться. Во втором уточнял: «Должен оговориться: представили ему (Толстому. — *В. М.*) меня не по моей просьбе, а по его желанию». В первом утверждал, что встреча состоялась весной 1905 года, во втором — летом 1904-го. У Куприна была плохая память на даты: Толстой выехал из Ялты 25 июня 1902 года и больше никогда там не бывал.

Судя по всему, это было минутное общение; слишком

Куприн и Лев Толстой. *Шарж Петра Троянского. 1900-е гг.*





«М<ария> П<авловна> Чехова и А<лександр> И<ванович> Куприн на набережной в Ялте. 1900—1902». *Шарж Александры Хотяинцевой*

многие хотели проводить Толстого из Ялты. Но оно точно было, потому что сам Лев Николаевич вспоминал о Куприне: «Познакомили меня на пароходе. Мускулистый, приятный... силач»[93]. Куприна же поразило несходство Толстого с его портретами. Он ожидал увидеть «громадного маститого старца, вроде микельанджеловского Моисея», а увидел «очень старого и больного человека», похожего «на старого еврея, которые так часто встречаются на юго-западе России» («О том, как я видел Толстого на пароходе "Св. Николай"»). Еще минута — и Куприну стало нечем дышать от осознания, что его жизнь на какой-то миг пересеклась с жизнью гения, что одним этим воспоминанием он должен быть счастлив до конца своих дней...

Ранней осенью удалось наконец повидаться с Чеховым. 26 сентября 1902-го Антон Павлович сообщил жене в Москву: «Вчера был у меня Куприн, женатый на Давыдовой ("Мир Божий"), и говорил, что его жена плачет по нескольку раз в день — оттого что беременна. И совы по ночам кричат, и кажется ей, что она умрет во время родов. А я слушал его и на ус себе мотал. Думал: как моя супруга станет беременной, буду ее каждый день колотить, чтобы она не капризничала»[94]. Это горький юмор: мечта Чехова о ребенке никак не осуществлялась, а чувствовал он себя уже очень плохо. Куприн же потом ему напишет: «Я до сих пор помню и никогда, вероятно, в моей жизни не забуду того вечера, когда я заходил прощаться с Вами и как Вы говорили со мною о родах и о прочих сюда относящихся вещах»[95].

Женатый мужчина, ожидающий пополнения в семействе, Куприн подал в отставку и получил ее 12 сентября 1902 года. Так закончилось его служение Вере, Царю и Отечеству; теперь он собирался служить другому богу и думал, что с армией расстался навсегда. Жизнь рисовалась в радужных красках; все удавалось. Оставалось мечтать о двух вещах: написать роман и чтобы жена родила сына. Он и имя выбрал: Алексей.

Ребенка ждали к концу года.

Лида

Третьего января 1903 года у Александра Ивановича родилась дочь, которую назвали Лидией. Ему не нравилось имя, но такова была предсмертная воля Александры Арка-

дьевны Давыдовой: девочку назвали в честь Лидии Карловны, сестры Муси. Ребенка крестил тот же Григорий Петров, что год назад венчал ее родителей.

Немедленно полетела телеграмма Чехову: «Поздравляем Новым годом. Желаю счастья. 3 января жена родила девочку. Куприн»[96]. И вдогонку — письмо: «Если Вы получили мою телеграмму, то знаете из нее, что 3 января у нас родилась девчонка. Она появилась на свет... с самой монгольской физиономией. Теперь орет, спит и ест с невероятной жадностью, или, как говорит наша акушерка, “жакает”. Ну, вот я и pater familias*, что и требовалось доказать»[97].

Не будем упрекать нашего героя в том, что так навязчиво изливал радость на Чехова. Конечно, он был счастлив, хотя и мечтал о сыне. Однако он тут же взял с жены обещание, что они никогда не будут сумасшедшими родителями: не будут считать, что их ребенок — пуп земли, заставлять всех вокруг им восхищаться и впадать в идиотизм. Мария Карловна согласилась (выполнить это обещание не удастся).

Появление Лиды стало началом конца семейной пары Куприных. О причинах можно лишь догадываться. Во-первых, по поводу рождения дочери Александр Иванович запил. 19 января 1903 года (то есть через 16 дней после радостного события) Фидлер, наблюдая его на Товарищеском обеде, записал в дневнике: «...третьего числа сего месяца <Куприн> стал отцом; выпил со мной на брудершафт и был в конце концов настолько хорош, что на ногах не держался»[98]. Вполне вероятно, что Мария Карловна впервые поняла то, о чем ее предупреждали перед свадьбой: муж — пьющий человек.

Во-вторых, в их жизнь мрачной тенью вползло киевское прошлое Куприна, о котором Марию Карловну тоже предупреждали. Она стала получать письма с оскорблениями и угрозами от Анны Георгиевны Карышевой. По словам Марии Карловны, сначала она их читала, потом стала отдавать мужу (нетрудно представить, с какими комментариями), а потом они начали отправлять их обратно нераспечатанными. Эта история закончится безобразно. В 1904 году «Мир Божий» (который Карышева, конечно, читала) опубликует рассказ Куприна «Корь», где он опишет свою связь с Анной Георгиевной, не изменив ее имени и отчества, и подчеркнет, что герою после этой связи было невыразимо

---

* Отец семейства (*лат.*).

гадко. Каково?! Нам почему-то видится за этим злая воля Марии Карловны: слишком женская месть.

У Куприных начались размолвки, длительные отлучки Александра Ивановича и жалобы на то, что дома из-за крика ребенка он не может писать. Потом он стал намекать, что его рутинная работа в «Мире Божьем» по чтению бесконечных рукописей не дает тех денег, какие дают гонорары, а отвлекает страшно. Не пора ли ему бросить это и заняться творчеством? Александр Иванович бил наверняка: с некоторых пор он заговорил о том, что собирается писать роман об армии, с которой недавно простился. Уже и название придумал — «Поединок», то есть в некотором роде его дуэль с вскормившей его системой и, разумеется, родным 46-м Днепровским пехотным полком. Мария Карловна дрогнула: через пару месяцев после рождения Лиды она отпустила мужа в Крым, на дачу, с единственным условием — писать.

Трудно сказать, как это условие сочеталось с тем, что она разрешила пригласить на дачу киевлянина Мишу Киселева. «Две недели мы с тобой посвятим на то, что обойдем почти весь Южный берег Крыма пешком, — сообщал ему Куприн. — Это путешествие так меня манит, что, думая о нем, я испытываю ощущение щекотки»[99]. Он с удовольствием планировал детали: «Выеду в воскресенье 2-го марта, буду в Севастополе в среду утром на пароходной пристани. Ты же... тоже будешь в Севастополе, в среду утром. Валяй!»[100] Но Миша не смог приехать.

И вот Александр Иванович один на мисхорской даче. Теперь он настоящий лейтенант Глан, осталось найти Эдварду. И она нашлась (может быть, в воображении):

«Я тогда жил в Мисхоре, на южном берегу моря, в пустой даче. Никого кругом не было. Зеленели кусты. Черные дрозды прилетели уже дней пять-шесть тому назад и насвистывали своими довольно фальшивыми голосами смешные мотивы.

И вот наступила эта чудесная пасхальная ночь. Ночь была так темна и ветер так силен, что я должен был обнимать ее за талию, помогая ей спускаться вниз по вьющейся узенькой дорожке.

Мы легли на крупном мокром песке около самой воды. Море было неспокойно. Это было приблизительно часов около 12 — 2 ночи. Черное небо, порывистый ветер с Анатолийского берега, свет только от звезд и едва различимые пенные гребни последних волн. <...>

Это была моя последняя пасха, моя последняя весна. Так красиво и нетерпеливо шуршало около наших ног море, так неожиданно послушны, готовы и радостны были эти гордые губы...» («Мой паспорт», 1908).

Разумеется, Куприн ездил к Чехову, просил дать что-нибудь для «Мира Божьего», взахлеб рассказывал тому о Люлюше, как они с женой уже называли Лиду, впав в то родительское помешательство, которого боялись. Чехов был грустен. Его семейная жизнь не клеилась: он жил в Ялте, а Ольга Леонардовна в Москве. Они месяцами не виделись. С огромным трудом Чехов заканчивал новую пьесу о гибнущем вишневом саде... И знал, что сам погибает.

Куприн тоже сел за работу. Решено: он напишет большую вещь, повесть или роман, чтобы доказать «им», своим сослуживцам, что не пропал без них, не опустился, а сделал карьеру, стал столичным писателем... И вот уже в памяти всплыли проскуровское захолустье, тоска, бессонные ночи, казармы, полковые смотры. И сам он, тогдашний, двадцатилетний, стоит в кромешной тьме на проскуровском вокзале и, как на чудо, смотрит на сверкающий курьерский поезд, остановившийся на минуту в этом Богом забытом углу. Допустим, его будут звать Юрочкой Ромашовым, хорошая фамилия, нежная и наивная. Сколько было у него надежд! Ведь он видел себя генералом... И как горько он плакал по ночам из-за гибнущих иллюзий. А что, если сделать так, чтобы вместе с этим начинающим Куприным-Ромашовым служил Куприн уже такой, каким он был на момент выхода из полка? Во всем разуверившийся. Фамилия его, скажем, будет Назанский. И пусть они спорят, стоит ли вообще служить...

Так, или примерно так, рождались первые главы «Поединка» и, возможно, родилось бы и все остальное, если бы в один прекрасный день Александр Иванович не встретил в своей «отшельнической пустыньке» колоритного бродягу. Здоровенный мужичина с воловьей шеей и мрачным взглядом исподлобья остановился у дачи и спросил дорогу на Ялту. Куприн пригласил его выпить — и в ближайшие 15 лет они не расставались.

Петр Дмитриевич Маныч — так звали нового приятеля Куприна — сразу займет в его свите из мелких литераторов и репортеров особое место. Он будет его оруженосцем и телохранителем, будет вовлекать в самые грязные скандалы и побоища. Современники в один голос называли Маныча страшным человеком: охотник гулять за чужой счет, он

мог обокрасть пьяного, мог ударить исподтишка. Силищи он был такой, что с ним боялась связываться даже полиция. Сам Куприн сложит о нем двустишие:

Когда увидишь Маныча,
Дай стрекоча!

Со временем всех членов свиты Куприна в Петербурге станут звать «манычарами», а Федор Фидлер запишет в дневнике: «У Куприна стоят по обеим сторонам два ангела: черный — Маныч, втягивающий его в любой скандал, и белый — Батюшков, вытягивающий его из любого скандала»[101]. Однако дружбы с Батюшковым пока еще даже не намечалось. Пока Куприн бесился от того, что Мария Карловна в его отсутствие слишком тесно по делам журнала общалась с Батюшковым. И страшно ревновал.

Александр Иванович притащил Маныча в Петербург и поселил в своей квартире. Мария Карловна (по ее словам) восприняла это спокойно. Когда она спохватится, будет поздно.

Жена потребовала отчета о работе. Очень волнуясь, то и дело проверяя ее реакцию, Александр Иванович начал читать историю Ромашова. И скоро убедился, что жена не в восторге. Слушала внимательно и вдруг резко оборвала:

— Я не понимаю, почему в монолог Назанского ты вставил Чехова. «Пройдет двести — триста лет, и жизнь на земле будет невообразимо прекрасна» и так далее. Это же просто дословно из «Трех сестер»!

Секунда — и рукопись, изорванная в клочки, полетела в камин.

В лице Марии Карловны Куприн приобрел холодного и жесткого критика. Она не щадила его любви к Чехову, а он так хотел убедить ее, что Антон Павлович — гений!

Убедить так и не смог, хотя летом повез семью в Крым и на сей раз уже с женой побывал на даче Чехова. Даже много спустя, в советские годы, когда Чехов был канонизирован, Мария Карловна писала о знакомстве с ним сдержанно, без восторгов и патетики. Скорее критично. Вспоминала, что он балагурил, мол, они с Ольгой Леонардовной тоже «молодые», подшучивал над женой: «Уверяет всех, что она урожденная баронесса фон Книппер, а на самом деле ее фамилия Книпшиц», а та снисходительно улыбалась. Потом Чехов стал вгонять в краску Куприна, рассказывая байки о каких-то его поклонницах. Все это казалось Ма-

рии Карловне дурным тоном. Вероятно, она вела себя высокомерно (она — издательница, а это всего лишь литератор, один из многих), и бедный Куприн выбивался из сил, пытаясь сгладить углы этой не самой ровной встречи, судя по ее воспоминаниям:

«Когда мы возвращались в Мисхор, то Александр Иванович спросил меня:

— Как тебе понравилось у Чеховых?

— Не понравилось мне одно: ты вначале очень конфузился — не знаю кого, а потом разошелся и стал занимать общество военными анекдотами. И мне хотелось сказать тебе словами ефрейтора Верещаки: "Вижу я, что ты уже начинаешь старацця". А когда ты это делаешь в обществе, то мне это неприятно»[102].

Сразу видно: Мария Карловна была дама резкая, нелицеприятная. И с мужем не церемонилась. Однако ладила с его матерью Любовью Алексеевной, которая вновь присоединилась к ним. Вернее, думается, Любовь Алексеевна умела ладить с ней; она давно научилась ладить с кем угодно. И всегда занимала сторону невестки. Тем более теперь, после рождения Люлюши, к которой она очень привязалась.

Куприну приходилось всем угождать. Чтобы потушить скандал с Карышевой, он даже пригласил в Мисхор ее сыновей.

То ли желая отомстить мужу за его прошлое, то ли по легкомыслию молодости, Мария Карловна постоянно заставляла его ревновать. Вот и теперь ее подруга, соседка по даче, случайно (а может быть, очень даже специально) разоткровенничалась с Куприным о том, что брат ее мужа раньше ухаживал за Мусей, но вы не подумайте, ничего такого... Видимо, произошла крупная ссора, потому что в конце августа Куприн оказался в одиночестве в Одессе и так бурно заливал там горе, что писал Миролюбову с просьбой выслать 50 рублей. Вернуться в Петербург ему было не на что.

Остановиться он уже не мог и всю осень пребывал в пьяной депрессии. Тяжело переживал трагическую весть из Киева: летом скоропостижно скончался Миша Киселев. В октябре поделился с его вдовой: «Моей девочке 10 месяцев и 25 фунтов. Это самый суровый и капризный деспот, каких только можно себе вообразить. Она — радость, но все остальное скверно. Тяжела жизнь, сплетни, пересуды, зависть, ненависть. О, во сколько раз я был беззаботнее,

счастливее, сильнее и талантливее, когда жил у вас на печке и воровал вашу наливку»[103]. Александр Иванович начинал тяготиться пребыванием в своем семейном доме. Именно в это время он писал «Белого пуделя», где ему чрезвычайно удалась картина детской истерики: «...виновник... суматохи, ни на секунду не прекращая своего визга, с разбегу повалился животом на каменный пол, быстро перекатился на спину и с сильным ожесточением принялся дрыгать руками и ногами во все стороны». Думаем, он видел это ежедневно, потому большей частью заседал в «Капернауме» и дошел наконец до рецидива.

Поздним октябрьским вечером 1903 года к Марии Карловне явился дворник с вестью о том, что внизу ждет городовой, а где-то в участке сидит ее муж, у него нет документов, так вот нужно удостоверить личность. Мария Карловна, дочь почтенных родителей, оказалась в участке! Там, содрогаясь, увидела мужа и его закадычного приятеля карикатуриста Петра Троянского. При составлении протокола поняла, что они повздорили с полицией из-за каких-то девиц легкого поведения, помешали какой-то облаве... Куприна не смутило, что его жена вынуждена при всем этом присутствовать. Когда он стал читать протокол, под которым должен был расписаться, рассвирепел и стукнул пристава протоколом по физиономии. Снова проснулся поручик! Троянский не возражал против дебоша — он тоже в прошлом был военным, и тоже презирал полицию.

Куприна и Троянского судили, и две недели они просидели под арестом в Литовском замке. Так начиналась скандальная слава писателя в Петербурге и вместе с ней кончалось терпение Марии Карловны.

Закончился же этот непростой 1903 год катастрофой: Александр Иванович заболел брюшным тифом и чуть не умер. Это было первое «чуть не умер» в его лихой биографии. Болел Куприн тяжело, с бредом, страшными брюшными и головными болями. Испугался. Как любой здоровый человек, он раньше здоровья не замечал. И не думал о смерти. Теперь же настойчиво просил жену в случае трагического исхода выполнить его волю. Во-первых, до последнего момента держать его за руку, но как только он умрет, больше не смотреть на него. Во-вторых, не носить траура. И в-третьих, проследить за тем, чтобы на похоронах не произносились пошлые, трафаретные речи.

Предполагаем, что Мария Карловна ухаживала за мужем без особого сочувствия, потому что после выздоров-

ления он написал Чехову: «...в Крыму летом не буду и вообще начинаю кочевую жизнь»[104]. Похоже, что он говорил уже только о себе. Бунин в середине января 1904 года интересовался у Федорова, переехал ли в Одессу «Купришка»[105]. В том же январе Александр Иванович сложил с себя редакторские обязанности в «Мире Божьем». Он так и не сумел поладить с Богдановичем и Батюшковым, к тому же устал от сплетен: мол, этого «зятя Давыдовых» печатают в журнале только потому, что родственник.

Куприн хотел самостоятельности, строил какие-то планы, но 27 января 1904 года о многих планах пришлось забыть. Началась война с Японией, ставшая первым тяжелым испытанием для России в наступившем XX столетии. Она же стала первой войной, которую довелось пережить нашему герою (впереди будут Мировая, или, как ее называли — Великая, и Гражданская).

Живя в Петербурге, Куприн не мог остаться в стороне от того патриотического подъема, который охватил столицу. Однако смотрел на события сугубо прагматично. «На войну меня взять не могут, я в отставке, — писал он Чехову, — но корреспондентом, тысячи на полторы в месяц, я бы сейчас же поехал»[106]. Позже, в 1909 году, Александр Иванович поделится с Батюшковым: «...очень может быть, что завяжется война. Я не хочу ее прозевать, как прозевал японскую. Тогда я слишком поздно спохватился. Все лучшие газеты (богатые) были уже расхватаны, а мне остался один Нотович*, предложивший 400 р. в м-ц, чего не хватило бы на чаи телеграфистам и другой челяди. <...> Каждый человек, по чьему-то замечательному выражению, должен испытать славу, любовь и войну»[107]. Вот такое интересное смешение практицизма и пафоса.

А ведь война — это то, к чему Куприна готовили с малолетства. К слову, Чехов хотел ехать на фронт отнюдь не корреспондентом. «Если буду здоров, — писал он А. В. Амфитеатрову, — то в июле или августе поеду на Дальний Восток не корреспондентом, а врачом»[108]. (Роковое «если»: 2 июля 1904 года Антона Павловича не станет.)

Стремление Чехова на фронт какое-то более гуманное, если не сказать — гражданственное. Впрочем, удивляться нечему — в это время Куприн уже находился под сильнейшим влиянием тех, кто не разделял ура-патриотических настроений. В его жизнь клином вошел Максим Горький.

* *Осип Константинович Нотович* (1849—1914) — в то время редактор газеты «Новости».

Горький

На закате жизни Александр Иванович признается: «...я много раз бросал "Поединок", мне казалось — недостаточно ярко сделано, но Горький, прочитав написанные главы, пришел в восторг и даже прослезился. Если бы он не вдохнул в меня уверенность к работе, я романа, пожалуй, своего так бы и не закончил»[109].

Максим Горький сыграл в судьбе нашего героя такую громадную роль, что позволим себе подробнее остановиться на истории их знакомства и сотрудничества. Для этого вернемся несколько назад.

Начать следует с осени 1902 года, когда Куприны жили предстоящим рождением ребенка. Тогда Александр Иванович, не веря своему счастью, вел переговоры о выпуске сборника рассказов в издательстве «Знание». «Если это выгорит, я буду и богат и знаменит»[110], — писал он Мише Киселеву.

Издательство «Знание» — высокая планка. Оно было создано в 1898 году коллективом пайщиков, от которого со временем остались двое: Константин Петрович Пятницкий и Максим Горький, властитель дум тогдашней молодежи, новый пророк и бунтарь. Пятницкий был «ногами», а Горький «головой», то есть принимал решение, что именно следует издавать. «Знание» выпускало в основном книги молодых писателей-реалистов, в первую очередь участников московского кружка «Среда», куда входил сам Горький. Писатель, рекомендованный Горьким (а именно так следовало трактовать выход в «Знании» той или иной книги), имел все шансы прославиться молниеносно. Так случилось, к примеру, с Леонидом Андреевым после выхода в 1901 году сборника его рассказов. Разумеется, Куприн считал, что пишет не хуже Андреева, а тот факт, что Бунин ввел его в «Среду», позволял надеяться на успех. Однако он не был уверен в выпуске сборника и, возможно, не без задней мысли делился с Чеховым: «Все теперь зависит от Горького»[111]. (Чехов имел на Горького огромное влияние.)

Куприн был знаком с Горьким шапочно. Они встречались в Ялте, на гастролях Московского Художественного театра, и позднее, но раскланивались и только. А вот Мария Карловна хорошо знала Пятницкого, который некогда был ее преподавателем в гимназии, да и с Горьким достаточно близко общалась в той же Ялте. Словом, она не уди-

вилась, когда в ее гостиной появился Пятницкий и сказал, что Горький напрашивается в гости: мол, в издательстве не дадут поговорить, а он хотел бы как следует познакомиться с Куприным.

Так Мария Карловна писала в своих мемуарах. На самом деле все могло быть чуть-чуть не так: она сама могла организовать эту встречу, дабы Горький подтолкнул мужа к серьезной работе. Мария Карловна не забывала неприятных прогнозов своей матери и Ангела Богдановича о том, что Куприн никогда не напишет большой вещи, и не собиралась с этим мириться. Ее муж будет знаменитостью, и для этого все средства хороши.

И вот Горький сидит у них на Разъезжей и расспрашивает Куприна о том, что тот сейчас пишет. Всё рассказы да рассказы? А когда же будет роман или повесть? Тот возьми и скажи: думаю, мол, об этом, и если писать, то об армии, которую знаю хорошо. Горький оживился, ухватился за идею и велел завтра прийти к нему для длинного и серьезного разговора: «Если не возражаете, вы посвятите меня в план этой работы и разрешите мне, как старшему товарищу, дать вам несколько советов»[112].

Куприн пошел. Вернулся весь просветленный (по словам Марии Карловны) и с твердой верой в то, что роман или повесть об армии очень нужны. И вот почему, по словам Горького: в стране обострился конфликт революционного движения и армии, подавляющей выступления. Что позволяют себе господа офицеры, кем себя возомнили? Ведут себя, особенно в пьяном виде, вызывающе, студентов не жалуют. Нужно вскрыть со знанием дела внутренние пороки армии, а кто же лучше бывшего офицера сможет это сделать? Это будет злободневно. И прибавил: «Если вы эту повесть не напишете — это будет преступлением»[113].

Каким хорошим психологом был Горький! Как умело нажал на нужные пружины: купринскую обиду на армию и желание прославиться. А вскоре и простимулировал наилучшим образом: дал добро на издание купринского сборника рассказов, а в перспективе — двухтомника.

«Дела мои литературные так хороши, что боюсь сглазить, — писал Куприн Чехову в начале декабря 1902 года. — “Знание” купило у меня книгу рассказов. Не говоря уж об очень хороших, сравнительно, материальных условиях, — приятно выйти в свет под таким флагом»[114]. Через два месяца Антон Павлович уже держал в руках книжку «Рассказы» с автографом от «вечно и неизменно преданно-

го» автора. Получил ее в Ясной Поляне и Толстой с уважительным письмом: «Я был бы бесконечно счастлив, если бы хоть что-нибудь в ней оказалось достойным Вашего внимания». Конечно, за это счастье наш герой готов был платить, не задумываясь о последствиях. А ведь Горький с его идеей об антиармейском произведении выступил чистым демоном-искусителем: дескать, опорочь все то, что было когда-то свято, за это сделаю тебя знаменитым.

Контролировать работу над долгожданной большой вещью взялась Мария Карловна. Она достаточно насмотрелась у матери, как это делается. Александра Аркадьевна доходила до того, что запирала Мамина-Сибиряка в комнате, оставив ему пару бутылок пива, и не выпускала до тех пор, пока он не просовывал в приоткрытую дверь рассказ.

Куприн загорелся. Название пришло сразу — «Поединок». Чуть позже пришло имя главного героя Ромашова. И любовная линия уже родилась в голове, и руки чесались сесть за работу. Вот тогда-то он и поехал на дачу в Мисхор, о чем мы рассказывали выше. Рассказывали и о том, как после критики жены писатель разорвал рукопись. Однако хитрая женщина собрала все кусочки, склеила и терпеливо ждала. Куприн же не возвращался к «Поединку» полтора года и делал вид, что такой рукописи никогда не существовало.

Мефистофель-Горький довольно долго к нему не приближался. Закончился 1902 год, прошел 1903-й, начался 1904-й. И тут, в январе, Горький не только появился, но и спровоцировал, как получилось, один нехороший поступок Куприна.

Семнадцатого января, в день рождения Чехова, Московский Художественный театр давал премьеру «Вишневого сада». В присутствии автора! Узнав об этом, Александр Иванович сорвался в Москву, предварительно запросив у Чехова (срочной телеграммой) два билета. Приехал, правда, один и, передав Антону Павловичу визитную карточку, просил: «...приткните меня куда-нибудь». А дальше начались чудеса, потому что в день приезда он встретился с Горьким и Пятницким и узнал, что буквально на днях уходит в набор второй «Сборник “Знания”»*, в котором выйдет «Вишневый сад», и если он немедленно что-то напишет, то это еще успеют включить в «Сборник».

Куприн недолго колебался между встречей с Чеховым и

* «Сборники товарищества “Знание”» выпускались в 1904–1913 годах (издано было 40 «Сборников»).

возможностью блеснуть рядом с ним под одной обложкой. Махнув рукой на премьеру, он уехал в Троице-Сергиев Посад, к сестре Соне, где спешно написал рассказ «Мирное житие». Чехову же солгал, что его вызвали неотложные дела. А Чехов даже время спустя, 5 мая 1904 года (когда был уже при смерти), в письме все извинялся: до него-де дошли слухи, что Куприн на что-то обиделся, на плохое место, что ли, но он-де лучшего места не смог достать и до последнего держал для него билет...

Видимо, совесть Куприна все же мучила, потому что в том же мае он поехал в Ялту, но Чехова не застал, он выехал в Москву. Они больше никогда не увидятся. Новости Куприн узнал от Марии Павловны: брат уже не встает с постели, Книппер хочет везти его лечиться за границу, а им с матерью кажется, что он уже оттуда живым не вернется. В первых числах июня Александр Иванович прочитал в газетах, что Чехов прибыл в Баденвейлер.

На этом невеселом фоне подоспело событие, которое буквально толкнуло Куприна в объятия Горького. В начале июля Александр Иванович все-таки ушел от жены (как тогда думал, навсегда). Скандал произошел на даче под Петербургом, в деревне Малые Изори. Куприн запил, притащил с собой собутыльников, с которыми в пьяном и голом виде купался в местном озере. У Марии Карловны сдали нервы, и она огрела его по голове графином. Как она утверждала, это случилось 2 июля 1904 года.

Оскорбленный, Куприн уехал в Петербург. Вернувшись с дачи домой, Мария Карловна обнаружила от него записку: «Между нами все кончено. Больше мы не увидимся. А. К.».

Когда Александр Иванович писал записку, он уже должен был знать страшную весть: 2 июля умер Чехов. Тихая смерть. Еще полгода назад она бы вызвала волну горя, а теперь газеты ежедневно приносили страшные цифры потерь на Дальнем Востоке. К смерти привыкли. Куприн узнавал из газет, что Книппер хотела хоронить мужа в Германии (домой не довезти!), но русская общественность выступила с протестом, и она везет его через Вержболово в Петербург... О том, что привезет в вагоне-рефрижераторе для устриц, конечно, и помыслить не мог.

С отвращением Куприн читал некрологи. Вот она, пошлость, какой покойный не выносил! «Чехов сошел в могилу, оставив яркий след в русской литературе»... «Чехов... Это звучит как родина, как мать, как детство»... На литератур-

ном небосклоне померкла звезда первой величины. Стало темнее, стало сиротливее»... «Умер лучший друг, который проникновенно...» Да разве так нужно писать?! То же переживал Горький. «Газеты полны заметками о Чехове, — делился он с женой, — в большинстве случаев — тупоумно, холодно и пошло»[115].

Горький и Куприн встретились на похоронах Чехова в Москве. Но перед этим Александр Иванович, судя по всему, был среди тех, кто 8 июля 1904 года встречал тело Антона Павловича на петербургском Варшавском вокзале. «Точно сон припоминаются его похороны, — писал он. — Холодный, серенький Петербург, путаница с телеграммами, маленькая кучка народу на вокзале, "вагон для устриц", станционное начальство, никогда не слыхавшее о Чехове и видевшее в его теле только железнодорожный груз*» («Памяти Чехова», 1905).

В Москве поезд из Петербурга уже встречала многотысячная толпа. На одной из фотографий с похорон ясно видны опрокинутые лица Куприна и Горького. Позднее Горький поделится с Буниным: «Мне страшно понравился Куприн на похоронах Чехова. Это был единственный человек, который молча чувствовал горе и боль потери. В его чувстве было целомудрие искренности. Славная душа!»[116]

Оба они были взбешены и раздавлены унизительными сценами, которые пришлось наблюдать и на московском Николаевском вокзале, и по пути следования траурной процессии к Новодевичьему монастырю, и при отпевании в церкви. Горький потом выплеснется в письме жене:

«От Ник<олаевского> вокзала до Худ<ожественного> театра я шел в толпе и слышал, как говорили обо мне, о том, что я похудел, не похож на портреты, что у меня смешное пальто, шляпа обрызгана грязью, что я напрасно ношу сапоги, говорили, что грязно, душно, что Шаляпин похож на пастыря и стал некрасив, когда остриг волосы, говорили обо всем — собирались в трактиры, к знакомым и никто ни слова о Чехове. Ни слова, уверяю тебя. Подавляющее равнодушие, какая-то незыблемая каменная пошлость и — даже улыбки. <...> Везде, где я и Шаляпин являлись, мы оба становились сейчас же предметом упорного рассмат-

* О. Л. Книппер в телеграмме перепутала время прибытия поезда, поэтому гроб встречала немногочисленная группа людей. Встречающие поинтересовались у начальника вокзала, на какой путь придет поезд с телом Чехова, в ответ услышали: «Чехов? Да, кажется, есть такой покойник... Впрочем, точно не знаю, у меня их в поезде два».

ривания и ощупывания. <...> Было нестерпимо грустно. Шаляпин — заплакал и стал ругаться. “И для этой сволочи он жил, и для нее он работал, учил, упрекал”. Я его увел с кладбища»[117].

Общение с Горьким на похоронах, помноженное на взвинченные горем нервы, дало два результата. Во-первых, Куприн предложил Горькому выпустить в «Знании» сборник памяти Чехова — без пошлости и штампов, и чтобы писали для него только четверо: он сам, Горький, Бунин и Леонид Андреев. Горький согласился и немедленно послал Андрееву с Буниным письма. Андреев, знавший Чехова шапочно, ответил ревниво: «...почему ты напираешь на Куприна? Души нет у Куприна, талант большой — но пустой. <...> Не нравится он мне, совсем чужой»[118]. Неприязнь была взаимной.

Во-вторых, Александр Иванович вдруг решил снова взяться за «Поединок». А немного подумав, договорился с Горьким и Пятницким, что отдаст его в «Сборник “Знания”», Батюшкову же написал, чтобы «Мир Божий» на «Поединок» не рассчитывал. Не преминул заметить: «...меня всегда тяготила моя “родственная” связь с журналом; часто мне приходилось слышать темные намеки, отголоски сплетен, смысл которых заключался в том, что меня печатают и хвалят в журнале ради моей близости к нему. <...> И вот поэтому-то ту повесть, которая для меня составляет мой главный девятый вал, мой последний экзамен, я и хочу отделить от этого родственного благоволения»[119].

Так в заброшенную было рукопись потекли новые токи. И направлялись они умелой рукой: с сентября 1904 года и вплоть до окончания работы Горький контролировал процесс. В это время сам Горький уже был фигурой ведóмой: недавно он примкнул к РСДРП (осенью 1905-го станет членом этой партии) и выполнял совершенно конкретные политические задачи. В условиях тяжелейшей войны с Японией, расшатывая ситуацию внутри страны, революционные партии стремились к разложению армии. Разложить армию — разложить государство. Большевики вели антивоенную пропаганду, и в этом смысле на повесть Куприна, думается, возлагались большие надежды. «Поединок» должен был «выстрелить», стать бестселлером, дойти в самые глухие углы России.

Даже поверхностного взгляда на «Поединок» достаточно, чтобы понять: повесть была сделана с учетом всех модных тенденций того времени. Здесь и толстовство, и ницшеан-

ство, и анархизм, и эсеровские идеи. К тому же создатели шли по проторенной дороге, имея готовый рецепт литературного скандала в военной среде — историю с романом Фрица Освальда Бильзе «Из жизни маленького гарнизона» (1903). Автор, лейтенант 16-го прусского обозного батальона, стоявшего в городке Форбах в Эльзасе, живописал многие уродливые явления в германской армии. Хотя он и скрылся под псевдонимом, но был разоблачен, тираж книги конфискован. Бильзе судили, материалы процесса над ним публиковались и были популярны не менее самого романа. Скандальную книгу немедленно перевели на русский, и именно в 1904 году вышло несколько ее изданий. Куприн впоследствии будет отрицать, что он ее читал, во что трудно поверить.

Горький, консультируя Куприна, прекрасно знал, что делает. В конце года (то есть накануне январских событий 1905-го) он писал Леониду Андрееву: «Как только ты пришлешь свой “Красный смех” — сейчас же мы его в типографию отдадим, не волнуйся! И выходит очень гармонично: ты изображаешь войну, Куприн — военных — банзай!»[120] То есть и «Красный смех» и «Поединок» — это агитационное оружие, с которым можно идти в атаку на «проклятый царский режим». В подтверждение своей мысли приведем свидетельство современника: «В то время как в течение всей войны японская литература в поэзии, прозе и песне старалась поднять дух своей армии, модные русские писатели также подарили нам два произведения... Это были “Красный смех” Андреева, стремящийся внушить нашему и без того малодушному обществу еще больший ужас к войне, и “Поединок” Куприна, представляющий злобный пасквиль на офицерское сословие»[121].

Вряд ли Александр Иванович думал обо всем этом летом 1904 года. Ему скорее снова пришлось «старацця», потому что он взял у Горького с Пятницким аванс под будущий «Поединок» и обязался высылать повесть главами. Между тем он запойно пил в Одессе, горюя из-за ссоры с женой и смерти Чехова, о котором пытался написать воспоминания, но не получалось ровно ничего. Повесть тоже шла туго. Восстановив в общих чертах те главы, что были написаны когда-то в Мисхоре, и выслав их в «Знание», Александр Иванович намертво застопорился. Серьезное творчество и запой — вещи все-таки несовместные. Да и не был уверен в себе. «Я не удивился бы, если бы Вы их вдруг забраковали», — писал он Пятницкому о высланных главах.

Наконец он не выдержал без жены и дочери, которые поехали догуливать лето в Балаклаву, городок под Севастополем. Мария Карловна рассказывала, что Куприн по ним соскучился, потому и появился чудным сентябрьским вечером на балаклавской набережной. Приехал без вещей, поскольку решение ехать в Крым было спонтанным и он ворвался на пароход, когда уже подымали сходни. Предполагаем, что такое внезапное решение могла продиктовать ревность. Кто-то в Одессе, прибыв из Крыма, что-то этакое сказал...

Словом, из Одессы Куприн пароходом добрался в Севастополь, а оттуда лошадьми в Балаклаву. Едва ступив на землю, застыл в изумлении. Пыльная дорога между лысыми холмами вдруг уперлась прямо в море, но море необычное. Скорее это была огромная округлая лужа, налитая до краев и неподвижная. Откуда она налилась, понять было невозможно, потому что открытого моря не было видно. В конце лужи сошлись зигзагом два утеса. На одном средневековые башни, которые он так часто видел с борта парохода, когда ходил из Одессы в Ялту. Но ведь этой лужи со стороны открытого моря он тоже не видел. Это какое-то пиратское гнездо!

С этого момента начинается самый яркий миф биографии писателя — балаклавский. Ни одно место на земле не пленит его с такой силой. Он словно бежал, бежал, и от трудностей, и от самого себя, и вдруг оказался в сказке. Из Балаклавы не хотелось убегать никуда. Древняя земля разбудит в нем какую-то глубинную разбойничью память, и Куприн, выросший на Майн Риде и Стивенсоне, начнет играть «в пиратов». Он снова почувствует себя лейтенантом Гланом, открывшим экзотический мир: прокопченных греков-рыбаков, возникающих на лодках прямо из скал. Но подробнее о Балаклаве мы расскажем позже, а сейчас вернемся к семейной истории.

Мария Карловна вспоминала, что вид ее мужа был ужасный и швейцар не пустил его в отель, а когда она повела его ночевать к себе в номер, балаклавцы лишились дара речи. Утром под их окнами собрались зеваки, судачившие о том, до чего пали нравы столичных дам. Явился половой от хозяина отеля и потребовал, чтобы бродяга предъявил документы, а потом подоспел и помощник пристава. Пришлось показать паспорт, и поводов посудачить прибавилось: ба, да это законный муж такой красивой дамы!

Куприны помирились. Может быть, Александр Иванович рассказал жене о воскресшем «Поединке», что уже отослал первые шесть глав Горькому и с тревогой ждет его

мнения, что вот о Чехове сборник затеял... И она, все еще ждавшая, когда же он прославится, сдалась и простила его, но при условии, что бросит пить и возьмется за работу.

Покорившись, Александр Иванович, как говорится, вернулся в приличное общество. Жена успела свести знакомство с местной библиотекаршей Еленой Дмитриевной Левенсон и фельдшером Евсеем Марковичем Аспизом. Левенсон вспоминала, что Александр Иванович не стремился общаться и заговаривал с ней лишь тогда, когда других не было. Аспизу тоже запомнилось, что Куприн был угрюм и подавлен.

Еще бы! Поводов для ревности было сколько угодно. Тот же Аспиз, холостой и молодой красавец. А еще Александр Иванович обнаружил, что вокруг его жены увивается какой-то смазливый юнец. Так в жизни нашего героя появился Василий Александрович Раппопорт, бывший питерский гимназист, весельчак и богема, подлинный Панург. Очень скоро Куприн понял, что юнец не влюблен, а одержим своего рода корыстью: после исключения из гимназии он начал пописывать в газетах, потому и не упустил случая приударить за издательницей «Мира Божьего». Куприн имел нюх на таланты: обласканный им Вася вскоре начнет работать в столичных газетах под псевдонимом Регинин и станет легендарным «желтым» журналистом. Подобно Манычу, подобранному в Мисхоре, Вася, подобранный в Балаклаве, станет верным оруженосцем писателя. Мы еще не раз с ним встретимся.

Однако более всего Куприна занимали балаклавские аборигены. Вот, например, владелец их дачи (которую они сняли) — бирюк, ничем не интересуется, кроме своего сада, о котором может говорить часами. Сосед из домика пониже, грек Коля Констанди, живет морем и непонятно, кого любит больше: красавицу-жену или свой баркас «Светлана». Ему безразлично, что Куприн писатель; он полагает, что это то же самое, что писарь. И снисходительно разрешает «кирийе Александру» (господину по-гречески) иногда выходить с ним в море. А как греки поют в местной кофейне! Напьются молодого вина, закусят «макрелью на шкаре»* и затянут старинные южные рыбачьи песни. А то вдруг грянут современное — «балаклавскую страдательную»:

Ах, зачем нас отдали в солдаты,
Посылают на Дальний Восток?

* Скумбрия, запеченная в собственном соку на черепице.

Неужли же мы в том виноваты,
Что вышли ростом на лишний вершок?

Куприн мурлыкал в такт и не представлял, что мелодия этой песни через десять лет зазвучит повсеместно, став маршем «Прощание славянки».

В Балаклаве было удивительно спокойно, люди жили в полном ладу с природой, и Куприну казалось, что перед ним оживший затерянный мир Гамсуна, необитаемый остров Дефо, вокруг бегают Пятницы — полудикие греки. Он впервые увидел наяву то, о чем читал и о чем мечтал. Быстро пришло понимание: в Балаклаве должен быть его Дом — такой, какого он никогда не имел. С цветником и огородом, собаками и кошками, лодкой и снастями в сарае и с морем в двух шагах. Так ли уж был одинок и несчастен Чехов на своей ялтинской Белой даче?.. Не был ли это желанный покой? Как Антон Павлович говорил о своем саде? Кажется, так: «Послушайте, при мне здесь посажено каждое дерево, и, конечно, мне это дорого. Но и не это важно. Ведь здесь же до меня был пустырь и нелепые овраги, все в камнях и чертополохе. А я вот пришел и сделал из этой дичи культурное, красивое место». Прав Чехов: каждый должен хоть кусок земли облагородить... Куприн на одном дыхании написал очерк «Памяти Чехова» и послал Пятницкому. Лед тронулся.

Но «Поединок»! Что с ним? Горький молчит, Александр Иванович извелся, Мария Карловна сердится, что он бездействует. И вдруг — телеграмма, содержание которой он процитирует Горькому через 15 лет: «...как не вспомнить мне одного утра в Балаклаве. Мы только что пришли под парусом с моря, где ночью на створе маяков Херсонесского и Форосского ловили белугу. Вылезли мы из баркаса — я и мой капитос Коля Констанди — осипшие, в рыбьей чешуе, немного пьяные и тащили на палке полуторапудового белужонка. Вдруг подходит фельдшер Евсей Маркович Аспиз. “Вам телеграмма, вы ждали”. Это Вы телеграфировали по поводу одолевших меня сомнений: “Товарищ, не робейте, роман и т. д.”. Какой теплотой тогда сказалось во мне это слово — товарищ. Это одно из самых нежных моих воспоминаний»[122].

Горький одобрил! «Поединку» быть!

В «Знание» из Балаклавы полетели еще две главы — седьмая и восьмая.

Вновь вспоминая себя двадцатилетним подпоручиком,

Куприн пишет о своем командире полка, который орал «рычащим басом, раздававшимся точно из глубины его живота». Наорал он на Юрочку Ромашова, а потом как ни в чем не бывало пригласил обедать. И тупо-покорный Ромашов не смог отказать. А ведь его только что унизили криком... Как научиться ни на что не обращать внимания? А сам-то он? Придет сейчас домой и наорет на своего денщика. Захочет — наорет, захочет — ударит. Ничего ему за это не будет. Круговорот унижений...

А вот Ромашов идет в Офицерское собрание на бал и видит паноптикум полковых дам, глупых, жеманных, пустых: «Они употребляли жирные белила и румяна, но неумело и грубо до наивности: у иных от этих средств лица принимали зловещий синеватый оттенок». И Ромашова преследует ужасная мадам Петерсон, с которой у него роман просто потому, что нельзя не иметь романа. «О, какая она противная!» А Шурочки, светлой Шурочки Николаевой, жены сослуживца, в которую он влюблен, на этом балу нет. Ромашов еще не знает, что ее нужно бояться. Он вообще еще не знает, что такое женщина...

Сам Куприн уже знал. Перед отъездом в Петербург жена заявила, что свет уже оповещен о их разрыве, поэтому им неприлично возвращаться вместе и жить в одном доме. Она поедет одна, вернется на Разъезжую, а он должен снять холостую квартиру. Конечно, он может приходить к ней, но ночью, чтобы никто не видел. И при одном условии: сначала показывает новые страницы «Поединка», а только потом заходит.

Повесть брала Куприна измором, висела над ним дамокловым мечом, тем более что Пятницкий новые главы сразу отправлял в набор. Такая технология не оставляла шансов на переделку, даже на простое осмысление написанного, на полировку «свежим взглядом».

Куприн устал, и потом он пил. Фидлер, встретивший его 26 ноября 1904 года, записал в дневнике: «На мой вопрос, чем он занимается, Куприн ответил: “Пью, развратничаю, пишу”. — “Как же ты можешь при этом писать?” — “Могу. Обливаюсь холодной водой и пишу. Сейчас пишу повесть — ого! Когда она появится, это будет для публики как винт в задницу. Четыре листа уже готовы, осталось написать еще шесть. Я напишу их здесь”. — “А долго ты здесь пробудешь?” — “Еще месяц!” — “Ты хочешь написать за месяц шесть листов?” — “Я могу писать по листу в день”»[123]. Запись во многом характеризует душевное состояние Алек-

сандра Ивановича: он зло сообщает Фидлеру, что его жена, освободившись от него, теперь может вернуться в любимое общество «дам в шелковых платьях», а самого его просят не появляться в «Мире Божьем» и «уже не хотят принимать ни в одном приличном обществе». Что ему надоел алкоголь и хотелось бы перейти на кокаин. Что его дочь Лида «превратилась в какого-то зверя»: любой каприз должен быть исполнен немедленно[124].

...Александр Иванович снял комнату на Казанской улице, и иногда появлявшаяся там жена для посторонних именовалась двоюродной замужней сестрой. Жестоко? Конечно. Но, наверное, эта месть была адекватна его выходкам. Прознав о холостой квартире, растленная богема повалила сюда толпами. «Поединку» угрожала реальная опасность, но закончить его помог трагический 1905 год.

Глава четвертая

«ПОЕДИНОК» ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

Ни одна звезда не засияет, пока не найдется человек, который будет держать сзади черное полотно.

У. Черчилль

Армия была не наша, она была во власти «присяги царю и отечеству» — эту власть надо было разрушить.

С. Познер,
член Боевой группы РСДРП

1905 год стал решающим в жизни Куприна: он вознес его на вершину литературного олимпа. Еще зимой, бражничая в «Капернауме», писатель был всего лишь подающим надежды, а уже летом он слыл мэтром и гордо подписывался: «Александр Куприн, ауктор* “Поединка”». Все случилось очень быстро, на волне неслыханных для России событий, чуть было не похоронивших империю. Тех событий, которые Ленин назовет «генеральной репетицией» перед Октябрем.

Купринский «Поединок» станет одной из судьбоносных книг XX века. Начав свое разрушительное действие в годы первой русской революции, он взорвет армию во время Первой мировой войны. Тогда-то автору придется расплачиваться за славу. И не только тогда — за нее он будет расплачиваться всю жизнь.

Накануне

Накануне больших потрясений Куприн собирался ехать в Троице-Сергиев Посад дописывать «Поединок». Мария Карловна вспоминала, что о событиях Кровавого воскре-

* Автор (*лат.*).

сенья 9 января он узнал все в том же «Капернауме», кричал: «Подумай только, какая выдумка — идти с иконами к царю! А этот дурак ничего не понял и приказал стрелять в безоружных людей...»[125] Однако далее ничего сверхобычного он, видимо, не ожидал, потому что все-таки уехал в Троице-Сергиев Посад. Там-то он и понял, что что-то происходит.

Ночью к нему постучали. Полуголый, босиком побежал отворять:

— Телеграмма?

— Телеграмма, — ответили.

Пришли с обыском. Перетрясли все бумаги, многое забрали, в том числе черновик XIV главы «Поединка» (Ромашов на пикнике впервые объясняется с Шурочкой). Главу пришлось восстанавливать по памяти, отсылать ее Пятницкому с заклинанием: «Скоро конец». А тот торопил: до Пасхи нужно сдать в печать, скорее!

Куприн уже был близок к кульминации. Он подвел своего героя к торжественной сцене полкового смотра; в подробностях изобразил истерическое нервное напряжение, до которого люди были доведены репетициями. А потом живописал ночной кошмар любого военного: Ромашов, замечтавшись, «потерял ногу» (сбился с шага), смял и расстроил движение своей роты, и она превратилась в бесформенное стадо. На глазах корпусного командира! И вот катарсис: от Ромашова отвернулись сослуживцы, мужу Шурочки что-то донесли, и он явился выяснять отношения, все на Ромашова орут, а он понимает, что впору застрелиться. И ропщет: «Бог! Зачем ты отвернулся от меня? Я маленький, я слабый, я песчинка, что я сделал тебе дурного, Бог? Ты ведь все можешь, ты добрый, ты все видишь, — зачем же ты несправедлив ко мне, Бог?» В тяжелых мыслях, ночью он лежит в траве у железнодорожной насыпи и вдруг оказывается не один. Поблизости возникает солдатик Хлебников, посмешище всего полка: «Он увидел перед собой мертвое, истерзанное лицо, с разбитыми, опухшими, окровавленными губами, с заплывшим от синяка глазом». Зачем пришел сюда Хлебников? Бежать хотел или под поезд броситься? И рушатся преграды и субординации. Раздавленный жизнью офицер Ромашов обнимает изможденного, избитого солдата и называет его братом...

Не успел Александр Иванович отослать это Пятницкому, как ему дали знать: Горький доволен, хочет встретиться. Мы уже никогда не узнаем, о чем они говорили и какие

новые рекомендации последовали, но после сцены с солдатом Хлебниковым, над которой Горький прослезился, повествование приобрело новую тональность. Герой переживает кризис, и автор вместе с ним последовательно приходит к мысли о греховности военной службы: «...вся военная служба с ее призрачной доблестью создана жестоким, позорным всечеловеческим недоразумением. “Каким образом может существовать сословие, — спрашивал сам себя Ромашов, — которое в мирное время, не принося ни одной крошечки пользы, поедает чужой хлеб и чужое мясо, одевается в чужие одежды, живет в чужих домах, а в военное время идет бессмысленно убивать и калечить таких же людей, как они сами?”»

Эта и другие фразы были написаны тогда, когда русская армия сдала Порт-Артур (23 декабря 1904-го), когда пришли вести о провале сражения под Мукденом (10 марта 1905-го)... Не слишком ли глобальные выводы позволил себе Куприн, прослуживший всего четыре года? Неужели не осознавал, что повесть, которую он задумал в мирном 1902 году, совершенно иначе зазвучит в военном 1905-м? Почему не остановился? Потому что большая часть текста была уже набрана? Потому что не понимал силы печатного слова?

Все он понимал, но время было такое. Досадно было за неудачи на Дальнем Востоке, но досадно этак на расстоянии. Этакая «диванная революция»: сижу я тут в трактире за рюмкой, читаю газеты и возмущен, что не побеждаете.

В 1908 году случится характерный инцидент. Как-то в Театральном клубе Куприн «зацепится» с поручиком, на груди которого увидит орден Святого Владимира 4-й степени. Ему покажется, что высокая награда мало соответствует невысокому армейскому чину поручика. И Куприн поинтересуется:

«— А за что вы получили “Владимира”?

— За отличие в сражении под Мукденом, — гордясь, отвечал визави.

— Почему же вы его носите не там где надо? — спросил, щурясь и злясь, Куприн.

— А где же надо?

— Где?.. А на том самом месте, какое вы показывали японцам, когда удирали от Мукдена! — эта хамская реплика была произнесена резко и очень громко, чтобы слышали все»[126].

Александр Иванович считал себя вправе обличать даже фронтовиков, в то время как сам играл в шпионов, пресле-



А. Куприн



Иван Иванович Куприн, отец писателя. *Наровчат. Около 1866 г.*



Любовь Алексеевна Куприна, мать писателя. *1890-е гг.*

Дом Куприных в Наровчате, воссозданный по уцелевшему фундаменту и воспоминаниям; ныне Дом-музей А. И. Куприна. *Современное фото*





Кадет Саша Куприн.
Начало 1880-х гг.



Ваше благородие Куприн, подпоручик 46-го Днепровского пехотного полка. *1890—1894 гг.*

Старшая сестра Куприна Зинаида с мужем Станиславом Натом, «вторые родители» писателя. *1900-е гг.*





Вид на Ялту со стороны порта. *Открытка 1900-х гг.*

Семья Чеховых: Антон Павлович с матерью Евгенией Яковлевной, сестрой Марией Павловной и женой Ольгой Леонардовной Книппер (справа). *Ялта. 1901—1903 гг.*



Куприн в пору знакомства
с первой женой Марией Карловной
Давыдовой (Мусей). *1901 г.*

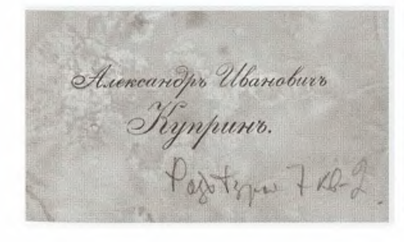


Жена писателя
с дочерью Лидией. *Около 1904 г.*

Гранатовый браслет Муси, ставший
символом возвышенной любви

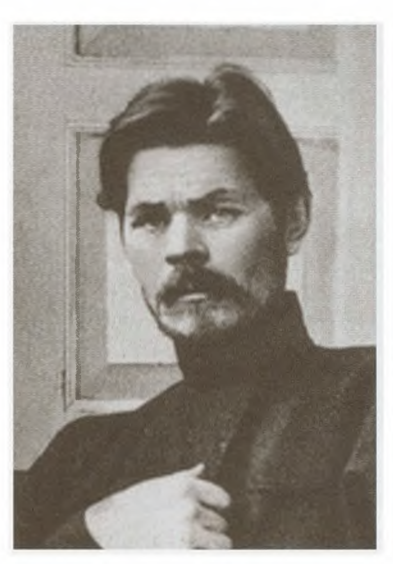


Визитная карточка писателя
с автографом: Разъезжая, 7, кв. 2.
Петербург



«Муся на шее». *Мисхор.*
1902—1903 гг.





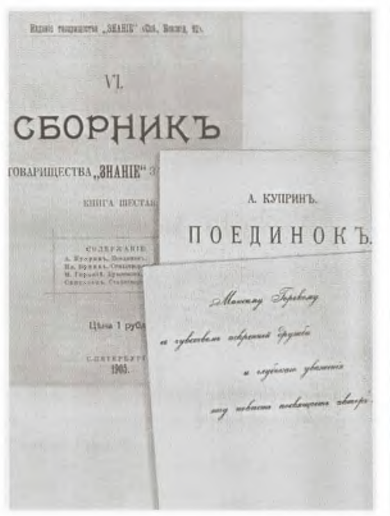


Буревестник революции
Максим Горький в 1905 году

Офицер Куприн,
автор антиармейской повести
«Поединок». *1900-е гг.*

Обложка сборника Товарищества
«Знание», где опубликован
«Поединок» с посвящением
Горькому. *1905 г.*

Властитель дум Куприн.
Шарж А. Любимова в сатирическом журнале «Сигналы». 1906 г.







Потерянный рай. *Балаклава. Открытка 1900-х гг.*

В Балаклаву нельзя! Ф. Д. Батюшков, А. И. Куприн,
Е. М. Аспиз на балконе балаклавского Гранд-отеля. *Сентябрь 1906 г. Фото М. Куприной*



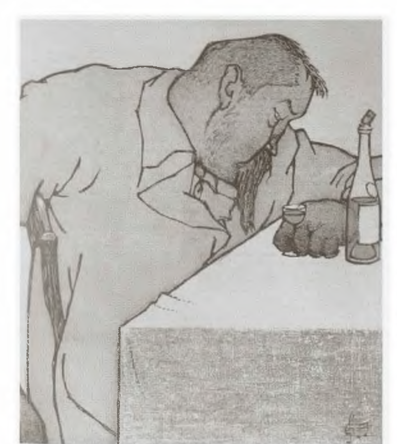
Шарж на скандал Куприна с Фомой Райляном работы Пьер-О (С. Животовского) в «Огоньке». *1911 г.*



«А. И. Куприн тщетно пока старается выбраться из своей “Ямы”, чтобы написать 2-ю часть». *Шарж работы Пьер-О*

Александр Куприн и его «манычары». Сидят за столом слева направо: Василий Регинин, Куприн, Петр Маныч, Анатолий Каменский, Борис Лазаревский. *Петербург. 1913 г.*

«Поединок». *Шарж работы Ре-ми в «Сатириконе». 1908 г.*



«Писатель-Куприн и его литератор-“собака”». *Шарж работы Б-ка в приложении к «Новому времени». 1911 г.*



РОЛИ И МАСКИ



«Водолаз». *Одесса. 1909 г.*



Шарж на Куприна-водолаза.
Работа Пьер-О. 1909 г.

«Воздухоплаватель». *Одесса. 1909 г.*



Шарж на Куприна-воздухоплавателя.
Работа С. Шмитова. 1909 г.





«Татарский хан». *Гатчина. 1913 г.*

«Огородник». *Гатчина. 1910-е гг.*



«Охотник». *Гатчина. 1910-е гг.*





Гатчинский домовладелец Куприн со второй женой Елизаветой Морицовной и дочерью Ксенией. *1913 г.*

«Зеленый домик» писателя. *Гатчина. 17 июня 1911 г.*

С дочерью на хозяйственном дворе. *Гатчина. 1913 г.*





В начале мировой войны с дочерью в костюме сестры милосердия. *Гатчина. 1914 г.*

Сослуживцы писателя: офицеры и рядовые 323-й Новгородской пешей дружины ополчения. *Гельсингфорс. 1914—1915 гг.*

Поручик ополчения
Куприн с женой.
Гатчина. 1914 г.



Воспоминания
о мирной жизни:
с другом Федором
Шаляпиным.
Фото К. Буллы.
Петербург. 1911 г.



Любимая фотография писателя с Сапсаном. *Гатчина. 1910-е гг.*

дуя какого-то несчастного вояку по фамилии Рыбников, внешне похожего на японца. По воспоминаниям Чуковского, Куприн целый месяц дожимал этого Рыбникова, чтобы тот признался, что он шпион: водил его во Владимирский собор, зорко следя, умеет ли он креститься по-русски. Потом эта история ляжет в основу рассказа «Штабс-капитан Рыбников» (1906), который современники считали одним из лучших у Куприна. В рассказе Рыбников все же окажется шпионом: проговорится проститутке в борделе.

Однако в «Поединке» писатель не просто обличал. Устами спившегося философа Назанского он вынес приговор армейской пехоте, «несчастным армеутам», и даже предсказал ей скорую гибель. Страшно читать монолог Назанского из XXI главы! Правда, он вроде бы говорил всего лишь о своем полке, убеждая Ромашова бежать из него без оглядки: «Все, что есть талантливого, способного, — спивается. У нас семьдесят пять процентов офицерского состава больны сифилисом. Один счастливец — и это раз в пять лет — поступает в академию, его провожают с ненавистью. <...>. Настанет время, и оно уже у ворот. Время великих разочарований и переоценки ценностей. <...> И я глубоко, я твердо уверен, что настанет время, когда нас, господ штаб- и обер-офицеров, будут бить по щекам в переулках, в темных коридорах, в ватер-клозетах, когда нас, патентованных красавцев, неотразимых соблазнителей, великолепных щеголей, станут стыдиться женщины и, наконец, перестанут слушаться наши преданные солдаты. И это будет и за то также, что мы, начальственные дармоеды, покрывали во всех странах и на всех полях сражений позором русское оружие, а наши же солдаты выгоняли нас из кукурузы штыками». Митингующие толпы потом выхватят из монолога Назанского нужное и будут скандировать: «Господ штаб- и обер-офицеров будут бить!!!!!»

Весь этот монолог ощутимо инородный в повествовательной стилистике «Поединка», прямо вставная прокламация. С заманчивым посулом: солдаты, ждите, скоро будет время, когда можно будет не подчиняться офицерам, бить их. И для студенчества с интеллигенцией, вгрызавшихся в Ницше и Макса Штирнера, в монологе Назанского есть посул: «Настанет время, и великая вера в свое Я осенит, как огненные языки святого духа, головы всех людей, и тогда уже не будет ни рабов, ни господ, ни калек, ни жалости, ни пороков, ни злобы, ни зависти. Тогда люди станут богами». Вообще же, как писал современник, в «Поединке» «...прос-

той народ натравливается на войско, солдаты — на офицеров, а эти последние на правительство»[127].

Теперь уже не узнать, кто помогал Куприну писать этот монолог, но помогали явно. Он мог позволить постороннее вмешательство хотя бы потому, что запойно пил. В марте 1905 года Корней Чуковский, только что появившийся тогда в столице, писал жене: «Куприн здесь. Он от пьянства распух»[128].

Судьба Ромашова плескалась на дне пивной кружки. Поссорив его с мужем Шурочки и устроив между ними грязную драку, Куприн задумал их дуэль. По законам жанра. Но Горький не советовал (вульгарщина! офицерщина!), а предлагал дать философский финал, в котором герой, осознав всё и решившись, порывает с армией и начинает путь к себе. На глубокий финал у Куприна не было ни времени, ни сил. 8 апреля 1905 года он отослал Пятницкому главу XXI (ту самую, с монологом Назанского) и поклялся: «Вечером обязательно пришлю конец. Это наверняка. И вздохну радостно»[129].

Так родился очередной миф: вроде бы последнюю главу — сухой рапорт о гибели Ромашова на дуэли — написали за Куприна. Миф возник в 1936 году в докладе о Горьком тогдашнего генерального секретаря Союза писателей СССР Владимира Петровича Ставского. Среди других фактов, попутно, без ссылок на источники, Ставский привел и такой: «Когда Куприн писал свою повесть “Поединок”, у него не выходила последняя глава. Собрались Куприн, Андреев, Бунин, Горький. Куприн жаловался на свою неудачу. Тогда каждый из этих писателей сел и написал от себя главу. Прочитали Куприну, и тот выбрал главу, которую написал Горький». Эту версию позднее закрепил писатель Петр Павленко, сославшись на то, что слышал эту историю от самого Горького. Версия шаткая: Горького, Андреева и Бунина в апреле 1905 года не было в Петербурге, и собраться вместе они не могли. Однако ничего не берется из ничего, и главное в этом мифе то, что Горький участвовал в процессе создания «Поединка».

Вскормил миф и тот факт, что имеются два рукописных варианта последней главы повести: черновой набросок в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки («Публички») и полный вариант в Российском государственном архиве литературы и искусства (далее РГАЛИ). Последний написан не купринской рукой.

Литературоведы еще в 1960-е годы предположили, что это

рука Петра Маныча, но экспертизы не проводили[130]. В недавно опубликованных дневниках Фидлера появилось подтверждение: «...Маныч обратился ко мне с предложением передать в мой литературный музей два варианта концовки “Поединка”. Сказал, что Куприн, когда писал вторую половину повести, жил у него и все время пил. Пятницкий его торопил, требуя окончание, и тогда он попросту решил умертвить своего героя. Поначалу Куприн намеревался оставить Ромашова в живых и вывести его во второй части повести»[131].

Мария Карловна рассказывала со слов очевидцев, что участь Ромашова была решена в том же «Капернауме». Куприн после безумного ночного бегания по городу в поисках финала пришел в пивную рано утром, отправил лакея на Казанскую, где ночевал Маныч, велел привезти оттуда дуэльный кодекс, из которого и взял нужную форму рапорта. Выходит, вместе с кодексом явился и Маныч, потому что сам Александр Иванович уже не мог даже писать! Он набросал что-то вчерне, сколько смог (этот вариант в РГАЛИ), а потом, дорабатывая, диктовал Манычу окончательный вариант, который заверил своей подписью.

Так 9 апреля 1905 года каторга кончилась. Последняя глава «Поединка» исчезла в типографии. Ромашов погиб.

Горький и Пятницкий придавали повести Куприна большое значение: «Поединком» открывался очередной, VI «Сборник товарищества “Знание”». Когда Бунин спрашивал Пятницкого в письме, есть ли там еще место, тот отвечал: «...это зависит от Куприна: раньше он говорил, что даст повесть в 10 листов, а теперь обещает чуть не 20»[132]. Больше десяти листов Куприн не даст, место для стихов Бунина найдется, но он пойдет вторым. Наконец-то!

По хитрому плану Горького и Пятницкого верстку сборника передали цензору в субботу на Страстной неделе, за которой следовали пасхальные каникулы. В то время цензор обязан был рассмотреть книгу за неделю, максимум за десять дней, и цензор не успел вчитаться как следует. Об этом Куприн рассказал Фидлеру 2 мая 1905-го все в том же «Капернауме»: «На днях появится его повесть “Поединок”. Он ожидает крупных неприятностей за “оскорбление” офицерского сословия. Рукопись была искусно преподнесена цензору в тот момент, когда он мог лишь бегло ее просмотреть, а потому пропустил без изъятий»[133]. Фидлер не преминул отметить, что Александр Иванович был совершенно трезв, понимал важность момента и сказал ему: «Спасибо, что ты веришь в меня!»

Ему очень хотелось, чтобы в него верил еще один человек. 5 мая Куприн написал Горькому, жившему тогда в Ялте: «Завтра выходит VI Сборник <...> Теперь, когда уже все окончено, я могу сказать, что все смелое и буйное в моей повести принадлежит Вам. Если бы Вы знали, как многому я научился от Вас, и как я признателен Вам за это»[134]. Признательность писатель выразил и в посвящении «Поединка»: «Максиму Горькому с чувством искренней дружбы и глубокого уважения эту повесть посвящает автор».

Мария Карловна утверждала, что муж получил солидный гонорар: тысячу рублей за лист. И разыграл сцену. Когда она сидела в редакции и вела деловой разговор с Богдановичем, он вполз в дверь на четвереньках. В зубах болтался какой-то пакет. Дополз до нее и приподнялся на корточки:

— Гав, гав, гав, твой верный песик принес тебе свой гонорар[135].

Фидлер со слов Петрова-Скитальца называл другую сумму: «Самая низкая плата за печатный лист в... "Сборниках" — 300 руб.; такой гонорар получил Куприн за "Поединок"»[136]. Даже в этом случае Александр Иванович заработал приличную сумму — 3000 рублей. Может быть, поэтому Мария Карловна снова допустила его к себе. 29 апреля Фидлер записал: Куприн «ворчливо сообщил мне, что вновь помирился с женой»[137].

Оставалось ждать выхода «Сборника». 18 мая Фидлер встретил Куприна в «Капернауме» и записал в дневнике: «Я спросил, правда ли, что его антиармейская повесть "Поединок" уже вызвала ожидаемый скандал. "Пока еще нет. Книга вообще расходится куда хуже, чем я надеялся. Тома четвертый и пятый разошлись тиражом от ста до ста пятидесяти тысяч экземпляров, а шестого продано до сих пор всего лишь двадцать пять тысяч"»[138].

Полагаем, что 25 тысяч экземпляров за столь короткое время («Сборник» вышел 6 мая 1905-го) — прекрасный результат, но Куприну, похоже, не нравилось, что все еще нет скандала. В какой же момент он случился? По какой причине сборник вдруг начали расхватывать так, что в июне потребовалась допечатка тиража?*

А вот именно в тот момент, когда Куприн мирно беседовал в «Капернауме» с Фидлером.

---

* Всего в 1905 году было продано 40 493 экземпляра VI «Сборника».

Банзай!

«Поединок», по словам одного из первых серьезных комментаторов повести, появился «после поражения при Мукдене и страшной Цусимской катастрофы, когда русское общество более чем когда-либо было подавлено совершавшимися событиями и искало причин наших неудач»[139].

Если точнее, сборник поступил в продажу в дни Цусимской катастрофы. 14—15 мая 1905 года в проливе между Кореей и Японией, к востоку от острова Цусима, произошло морское сражение, определившее исход войны. Российская 2-я эскадра флота Тихого океана была разгромлена Императорским флотом Японии. Большая часть русских кораблей была потоплена противником (в том числе флагманский корабль; командующий эскадрой получил тяжелое ранение в голову и попал в плен) или затоплена своими экипажами, часть капитулировала, некоторые интернировались в нейтральных портах и лишь четырем удалось вернуться домой. Общественный резонанс был колоссальным: и ругались, и плакали, и стонали от бессилия и досады. Это был предел, за которым разочарование руководством страны и армией уже ничто не могло сдержать.

Революционные политические силы не упустили момента. Играя на уязвленном национальном самолюбии, они начали агитационную атаку. Похоже, одной из первых взрывные возможности «Поединка» оценила газета правых земцев «Слово». 22 мая 1905 года она ехидно заявила: «Удивительно ли, что полк, жизнь которого описывает автор, окончательно провалился на смотру... Удивительно ли, добавим, что мы проваливаемся на большом кровавом смотру на Дальнем Востоке»[140]. И пошло-поехало. Леволиберальная газета «Наша жизнь», созданная членами Союза освобождения, заявила, что другой армии и не может быть «в бюрократическом государстве, где связана воля и мысль народа»[141]. В общественное сознание вбрасывался тезис: «Поединок» объясняет причины поражений русской армии на Дальнем Востоке. Этого оказалось достаточно. Начался бум.

«Проект Горького» успешно осуществился: повесть Куприна не только подогрела неприязнь либеральной общественности к «военщине», но и начала разъедать изнутри саму военную среду. Но Горький хотел именно этого. «Великолепная повесть! — заявил он в конце июня. — Я пола-

гаю, что на всех честных, думающих офицеров она должна произвести неизгладимое впечатление... <...> Куприн оказал офицерству большую услугу. Он помог им до известной степени познать самих себя, свое положение в жизни, всю его ненормальность и трагизм!»[142] Ту же мысль озвучит большевик А. В. Луначарский, прибывший в октябре 1905 года из-за границы для подготовки вооруженного восстания. Назвав разоблачающие сцены «Поединка» «обращением к армии», он выразит уверенность, что повесть разбудит в офицерстве «голос настоящей чести»[143].

И офицерство, разумеется, заинтересовалось, что за «Поединок» такой. Тем более что почва уже была подготовлена книгой Бильзе «Из жизни маленького гарнизона» и многие воспринимали повесть Куприна как ее русскую версию. Маршал Советского Союза Борис Михайлович Шапошников, бывший в 1905 году молодым офицером и служивший в 1-м стрелковом Туркестанском батальоне в Ташкенте, вспоминал: «Перевод с немецкого книги Бильзе “Из жизни маленького гарнизона” и в особенности роман Куприна “Поединок” вызвали самую живейшую дискуссию. Многие в романе увидели если не себя, то своих знакомых. Как это ни горько, а нужно признать, что типы в романе Куприна схвачены верно. В нашем батальоне не нашлось дон-кихотов, которые бы посылали Куприну вызовы на дуэль, как это было в некоторых полках, расположенных в европейской части России. Во всяком случае, кое на кого роман “Поединок” произвел отрезвляющее действие, и не только на офицеров, но и на их жен»[144].

Как и следовало ожидать, офицерство разделилось на два лагеря: тех, кто не принял «Поединок» и счел его личным оскорблением, и тех, кто, призадумавшись, согласился, что Куприн во многом прав. Последние, группа офицеров Петербургского военного округа, уже в конце мая отправили ему официальный благодарственный адрес с двадцатью подписями: «Язвы, поражающие современную офицерскую среду, нуждаются не в паллиативном, а в радикальном лечении, которое станет возможным лишь при полном оздоровлении всей русской жизни»[145]. Сегодня в РГВИА можно прочитать материалы дознания по этому делу: выявление офицеров, подписавших адрес[146]. Фразу о язвах поставил эпиграфом к своей статье «Обреченные» (Мир Божий. 1905. № 8) Федор Дмитриевич Батюшков. Он сравнил сцену полкового смотра в «Поединке» с картиной И. Е. Репина «Торжественное заседание Государственного

совета 7 мая 1901 года» (1903): и там и там, по мысли Батюшкова, наружно блестящая и мощная машина, обреченная на скорую и страшную гибель.

Оздоровление России, о котором мечтали смельчаки, подписавшие адрес, уже подготавливали эсеры и эсдеки, — и те офицеры, что одобрили «Поединок», в грядущих кровавых осенне-зимних событиях вооруженного восстания в Москве всерьез задумывались, выполнить ли команду «Пли!» или только сделать вид, что выполняешь. Кстати сказать, по воспоминаниям участников первой большевистской боевой группы, в те весенние дни 1905 года у них были сторонники из гвардейских офицеров, мечтавшие о перевороте и искавшие сотрудничества с революционерами[147]. Некоторые из тех, кто не мечтал, сломаются в недалеком будущем. Мария Карловна вспоминала, как к ним домой явились офицеры лейб-гвардии Семеновского полка Назимов* и князь Федор Николаевич Касаткин-Ростовский**. У обоих была дурная репутация: все знали, что они участвовали в расстреле толпы 9 января 1905-го на набережной Мойки. Когда же полк во время декабрьских беспорядков в Москве и Голутвине снова был отправлен для подавления митингующих, наступил предел. Назимов буквально рыдал: их, армейскую элиту, отправили воевать с собственным народом! Стрелять в мирное население! Он день за днем записывал все свои мысли в тетрадь и хотел бы отдать ее Куприну. Однако больше не пришел.

Трудно сказать, кого тогда было больше: поклонников или противников «Поединка». Бесспорно одно — равнодушных не было. Куприн попал в нерв событий. Он оказался отважнее Бильзе, выпустившего свою книгу под псевдонимом, — поставил подлинное имя. Очень скоро о «Поединке» узнали его бывшие сослуживцы по 46-му Днепровскому пехотному полку. Узнали быстро, потому что в их Офицерском собрании, расписанном в повести всеми красками, теперь работала городская библиотека. Современник, служивший тогда писарем в штабе 12-й пехотной дивизии, вспоминал, что на «Сборник “Знания”» немедленно был наложен запрет. Тех, кто все-таки попадался за чтением «Поединка» и других вещей Куприна, наказывали[148].

Можно представить, что пережили бывшие начальники

---

* Мария Карловна не назвала имени; в Семеновском полку служили два брата Назимовы: Семен Иванович и Павел Иванович.

** Известный в литературных кругах поэт, будущий автор гимна Добровольческой армии «Трехцветный флаг».

Александра Ивановича. Например, комполка Байковский, который пятый год был в отставке и время для чтения имел. Неизвестно, содрогнулся ли генерал Драгомиров, которого после поражения под Мукденом император планировал назначить главнокомандующим русской армией. Генерал скончался 15 октября 1905 года на своем хуторе под Конотопом, вдали от Петербурга, в котором теперь издавались такие повести. К счастью, не докатился позор до генерал-майора Ивана Николаевича Назанского (предшественника Байковского), чья фамилия в повести досталась спившемуся философу-революционеру. Он умер еще в 1902 году.

Как-то Борис Лазаревский, приятель Куприна, опросил некоего офицера 46-го Днепровского пехотного полка и поделился сведениями о прототипах героев повести с Фидлером: «Шульгович — А. Н. Байковский, генерал-майор в Киеве; Петерсон — Плисова (в Киеве); Бег-Агамалов — Бек Буазаров в городе Проскуров <...>; Осадчий — Гржегоженский* (Харьков); Слива — Андрусский; Федоровский — Стемиковский (±); Дорошенко — Дорошевич; Лех — Сивоха (±); Арчаковский — Кочеровский, Тальманы — Волжинские (он — в Проскурове, она ±), Липский — Ващенко»[149]. Как видим, некоторые персонажи до сих пор служили в Проскурове, то есть, с точки зрения автора повести, продолжали влачить животное и бездуховное существование.

Особенно взбешен был «горец» Бек-Буазаров, узнавший себя в Бек-Агамалове, свински напивающемся в публичном доме (глава XVIII). Так Куприн спустя много лет отомстил своему однополчанину за эпизод с предложением застрелиться, о котором мы рассказывали выше. Желая драться с Куприным на дуэли, Бек-Буазаров несколько раз приезжал то в Петербург, то в Москву, но не смог разыскать обидчика[150].

Очень скоро писатель получил коллективный протест от своих бывших сослуживцев, на который невозмутимо отвечал: «Я не имел в виду исключительно свой полк. Я не взял оттуда ни одного живого образа»[151]. Интересно, что это цитата из интервью для ведущей в то время австрийской либеральной газеты «Neue Freie Presse» («Новая свободная пресса»). «Знание» оперативно познакомило европейского читателя с подноготной русской армии: «Поединок» (еще в рукописи!) был переведен на немецкий, французский, польский, шведский, итальянский языки.

---

* Правильно: Гржегоржевский Константин Александрович.

Особенно показателен французский перевод 1905 года. Обложка была оформлена в подражание обложке книги Бильзе, и название поставили такое: «Une petite garnison Russe (Le Duel)» — «Из жизни маленького русского гарнизона (Поединок)». А под фамилией Куприна значилось: «Ancien Officier de l'Armée Russe» (бывший офицер русской армии). То есть читателю давали понять, что повесть не плод вымысла, автор знает, что пишет. Заметим, что с сентября 1905 года представителем и защитником авторских прав Куприна (и других писателей-«знаньевцев») в Европе стало социал-демократическое издательство «Демос», созданное по инициативе ЦК РСДРП. Сначала оно работало в Женеве, а с декабря 1905 года было перемещено в Берлин.

Итак, скандал состоялся. Конечно, громко возмущались военные издания: солидная газета «Русский инвалид», которую Куприн читал еще с кадетских лет, «Военный голос», «Разведчик». Своего рода итог этим публикациям с присоединением собственного негодующего голоса подведет Александр Иванович Дрозд-Бонячевский в работе «“Поединок” с точки зрения строевого офицера» (1910). Автор аргументированно доказывал, что Ромашов — alter ego Куприна — на самом деле простой неудачник и слабак: «Нашему солдату далеко не по душе эти тряпичные, нестроевые Ромашовы, которые только и способны, что изгадить смотр!»[152] Назанский же, еще одно alter ego, вообще человек конченый, «алкоголик и эсер по убеждениям»[153]. Дрозд-Бонячевский счел все его монологи чистой агитацией: «...самая решительная и страстная агитация против армии ведется через посредство Назанского <...> Ну разве это не та же пропаганда, которая разбрасывается повсюду всеми этими “новыми, гордыми и смелыми людьми”? Но пропаганда, облаченная в художественную форму, — не анонимная, а подписанная крупным литературным именем!»[154] В 1909 году Дрозд-Бонячевский станет комендантом Гатчины, а Куприн в 1911-м купит там дом. Их противостояние продолжится.

Сбылась мечта нашего героя: он, приютский мальчишка с тяжелыми комплексами, не поступивший в академию и неудавшийся офицер, стал знаменитостью. Причем не как «зять Давыдовых», а сам! Его осаждали корреспонденты и узнавали на улице. Он всем доказал, что у него было иное, высокое предназначение, и теперь уже не собирался считаться ни с кем и ни с чем. «Слава и деньги дали ему

одно, — утверждал Бунин, — уже полную свободу делать в своей жизни то, чего моя нога хочет, жечь с двух концов свою свечу, посылать к черту все и вся»[155].

Однако слава вышла геростратова. На долгие годы Куприн обрек себя на унизительные сцены. Одна из них запомнилась Людмиле Сергеевне Елпатьевской, Лёде: в конце 1906 года на каком-то званом ужине на Куприна обрушился офицер, только что вернувшийся с Дальнего Востока. Еле разняли[156]. Другую сцену, случившуюся в 1910 году в Одессе, вспоминал борец Иван Заикин, близкий друг Куприна. Он и Александр Иванович пировали с шумной компанией в ресторане одесского отеля, и там же наверху, в ложах, проходил банкет какого-то полка. Офицеры, увидев Заикина, во главе с генералом подошли к барьеру ложи с бокалами в руках:

«Генерал сказал:

— Пью за здоровье борца и авиатора Ивана Михайловича Заикина!

— Благодарю вас, разрешите, ваше превосходительство, познакомить вас с моим наилучшим другом Александром Ивановичем Куприным.

Генерал шевельнул усом, как таракан, и молчит. Я второй раз:

— Благодарю, ваше превосходительство, разрешите представить моего наилучшего друга.

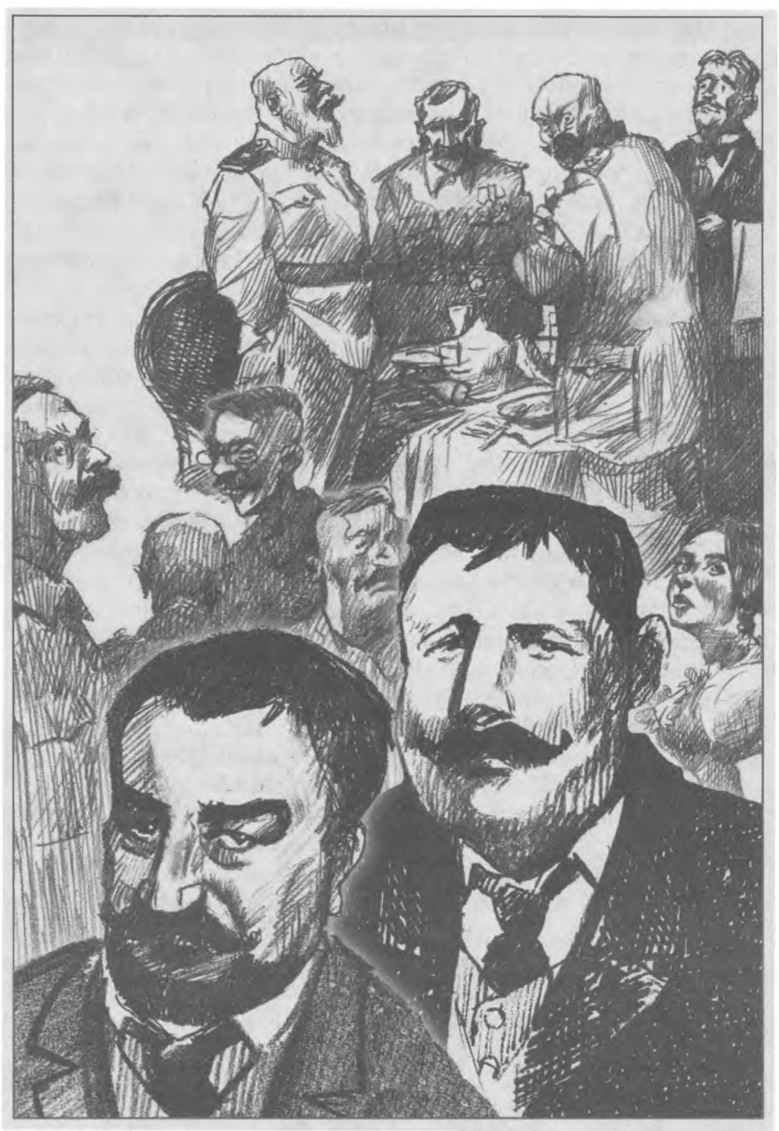
Куприн встал. Генерал будто не слышит и не видит. Я третий раз говорю:

— Ваше превосходительство, познакомьтесь.

— А, это тот самый Куприн, который написал “Поединок”. Я не считаю возможным подать ему руку»[157].

Далее было еще унизительнее: свита Куприна начала стыдить генерала, а тот просто развернулся и ушел. Куприн якобы сказал: «Вот такими я их и вывел в повести “Поединок”»[158]. То есть — обиделся!..

Разумеется, Александр Иванович с замиранием сердца ждал отзыва Льва Толстого. Не знаем, дождался ли. По воспоминаниям, Толстому читали «Поединок», он слушал очень внимательно, хвалил хорошее знание армейской жизни и образ Шульговича. Однако отмахнулся от сцены братания Ромашова с Хлебниковым; счел ее фальшивой. О монологах Назанского сказал: «Жалкое это рассуждение Назанского. Это — Ницше»[159]. «Что за мерзость речь Назанского», — написал он дочери Марии 15 октября 1905 года. — Я не читаю этих гадостей, сделал исключение и не рад»[160].



«Такими я их и вывел в “Поединке”», — зло сказал Куприн Ивану Заикину.
Рис. Василия Вознюка. 2016 г.

Ни Толстого, ни других образованных читателей обмануть не удалось: рука Горького в «Поединке» была видна отчетливо. «Герой г. Куприна... мыслит по-горьковски со всеми его специфическими вывертами и радикализмом»,— утверждала газета «Московские ведомости»[161]. По мнению «Русского вестника», близость к «“великому” Максиму» испортила купринскую повесть «тенденциозными проповедническими страницами», а в основе «злобно-слепой критики армии» лежит «тот же рецепт Максима Горького: “Человек! Это звучит гордо”»[162].

Словом, Куприна сочли очередным «подмаксимовиком», а это налагало определенные обязательства. Он понял, что нужно вживаться в новую роль — революционера, и старательно «учил текст». Полного перевоплощения, впрочем, не выйдет. Погоны ведь прирастают к коже...

Знал ли Александр Иванович, что представлял собой Горький весной—летом 1905 года? О том, что он оказывал финансовую помощь большевикам и был в курсе готовящегося вооруженного восстания? Догадывался ли о том, кто такой «Никитич», Леонид Борисович Красин, которого он встречал у Горького? Красин был прислан Лениным из Женевы возглавить боевую группу большевиков. Вряд ли Александр Иванович был посвящен в детали. У Горького было минимум две причины, чтобы ему не доверять: его офицерское прошлое и его пьянство. Пьющие люди ненадежны. А вот использовать в агитационных целях — это да.

Летом 1905-го Горький жил под надзором в финской Куоккале, знал о том, что его товарищи по партии через Финляндию ввозят в страну оружие, что распространяют его среди петербургских рабочих, что уже установили контакты с Кавказом, Уралом, Латвией, Эстонией... Самуил Яковлевич Маршак, любимец Горького, вспоминал его планы в то время: «...займем арсенал, возьмем главный штаб, телеграф, государственный банк». Во время Декабрьского восстания в Москве в его московскую квартиру, охраняемую кавказской дружиной, будет свозиться оружие для боевых отрядов.

Куприн бывал у Горького и один, и с Марией Карловной. Долгожданная слава их окончательно помирила. Принимая поздравления, в каждой компании они рассказывали одно и то же. «Вскоре после того как “Поединок” появился в печати (и имел такой грандиозный успех), — вспоминал Чуковский, — Куприн стал очень картинно, со множеством забавных подробностей рассказывать друзьям и знакомым,

как он дописывал последние главы повести и какую благодатную роль сыграла в этом деле Мария Карловна. Рассказывал при ней... или, вернее, рассказывали они оба, перебивая и дополняя друг друга, потому что, как и многие молодые супруги, они часто говорили зараз об одном и том же, в одном и том же стиле, с одинаковым выражением лиц и смеялись одинаковым смехом»[163].

Обоим особенно запомнился визит к Горькому 5 июня 1905 года, когда они были приглашены на авторскую читку пьесы «Дети солнца». Дело было в «Пенатах», усадьбе Ильи Ефимовича Репина. Тогда-то Куприн и познакомился с Репиным, любовь к которому сохранит до конца жизни. Атмосферу того дня передает рисунок Репина: Горький читает пьесу; опустив голову и весь превратившись в слух, сидит Владимир Васильевич Стасов; подперев голову рукой, пристально смотрит на Горького Гарин-Михайловский... Куприна не сразу увидишь: он находится за спиной Горького, на отлете, и выражение лица скорее равнодушное. На рисунке нет ни Леонида Андреева, ни Петрова-Скитальца, которые тоже гостили у Горького, но на читку не пошли, слышали пьесу и раньше.

Куприн завидовал Андрееву и Скитальцу, что не может себе позволить общаться с Горьким так, как они. Даже после выхода «Поединка» он не стал «своим». Как вспоминала Мария Карловна, когда они возвращались из Куоккалы, зашел такой разговор:

«— А Скиталец сказал сегодня интересную вещь, — вспомнил Александр Иванович. — Горький предлагал ему быть на “ты”, но Скиталец ответил: “Мы с вами не пара. Я горшок глиняный, а вы — чугунный, если слишком близко стоять с вами рядом — разобьешься”.

— Да, конечно, — вздохнул Александр Иванович, — а как ты думаешь, Маша, мне Горький предложит быть с ним на “ты”?

— Нет, Саша, не предложит.

— Так что же, по-твоему, я горшок глиняный?

— Нет, не в этом дело... Ведь Алексей Максимович уже раз сказал тебе, когда вы говорили о дуэлях, и сказал, как ты передавал мне, с раздражением: “Однако крепко сидит в вас, Александр Иванович, офицерское нутро!”

Некоторое время мы молчали»[164].

Однако Куприн не отступился. Он начал упорно бывать в Куоккале, как некогда бывал на даче Чехова. «Он участвовал в прогулках в лес, в традиционных горьковских кос-

трах, увлекательно рассказывая о своей необычайно яркой, полной скитаний и встреч жизни, — вспоминал Юрий Желябужский, сын актрисы Марии Андреевой, в то время гражданской жены Горького. — Видно было, как ему дороги минуты, проведенные с Горьким»[165]. Александр Иванович изводил Горького своими творческими сомнениями, все еще не понимая: он больше не нужен. Горькому было неинтересно слушать о том, что вот как бы оживить Ромашова, да чтобы он проходил какие-то там стадии... И однажды Горький вспылил: «Да что это такое! Что вы все оплакиваете своего Ромашова! Умно он сделал, что наконец догадался умереть и развязать вам руки. По руслу автобиографического течения плыть легко, попробуйте-ка поплавать против течения».

И Куприн вдруг *понял* и задумчиво поделился с женой: «Знаешь, Маша... я чувствую, что Горький во мне разочаровался. <...> Я перестал интересовать его. Он считает, что он меня исчерпал. <...> Я понял, что у Алексея Максимовича накопилось против меня раздражение и сейчас он не мог или не хотел больше его сдерживать. <...> Видишь, Маша, больше говорить нам с Алексеем Максимовичем не о чем, друг друга мы все равно не поймем»[166].

Теперь уже невозможно установить, когда именно случилось это прозрение. Полагаем, что не раньше конца 1905 года, потому что летом и осенью Куприн еще хотел быть полезен Горькому и «товарищам».

В середине июня, в разгар поездок Куприна к Горькому в Куоккалу, газеты принесли ошеломляющие вести с Черноморского флота. Новенький броненосец «Князь Потемкин Таврический» 12 июня вышел из Севастополя в район Тендровской косы, 14 июня экипаж (свыше семисот матросов) взбунтовался, казнил некоторых офицеров и пошел в Одессу, узнав, что там начались беспорядки. К вечеру встал на внешнем рейде, повергнув городские власти в оцепенение.

Мог ли Куприн оставаться в Петербурге, когда началась такая заваруха в его любимой Одессе?! Биографами этот период освещен путано. В канонической хронологии жизни и творчества писателя, составленной Ф. И. Кулешовым, сообщается, что Куприн прибыл в Одессу только в середине июля 1905 года. Но как быть с записью в дневнике Чуковского: «Я помню его (Куприна. — *В. М.*) в Одессе... в 1905 (как он прятался в Потемкинские дни на Большом фонтане)»? Конечно, Корней Иванович по прошествии многих лет мог спутать «Потемкинские дни» и «послепо-

темкинские дни», но мог быть точен. В таком случае дальнейшие события выглядят логичнее.

Если Куприн действительно был в «Потемкинские дни» в Одессе, то видел и слышал страшные вещи. Здесь несколько дней бушевали бунт и погром. Сожгли деревянную эстакаду в порту, пакгаузы и склады РОПиТ, потопили пароходы... Уверенные в поддержке артиллерии мятежного броненосца, какие-то личности заявляли, что Одесса отделяется от России. Хватит ее кормить! Создается независимая Южнорусская республика! Нужно только еще Крым забрать с Севастополем и Черноморским флотом! Моряки не подведут! И на этом фоне «Потемкин» дал несколько залпов по Одессе.

Обыватели не представляли, что это только начало. Люди посвященные (Куприн вполне мог быть среди них) знали, что большевики готовили масштабное восстание на Черноморском флоте, но планировали его позже, осенью. Команда «Потемкина» нарушила их планы, и все пошло наперекосяк. На борту также царила растерянность. Напугав Одессу, 18 июня броненосец покинул порт и куда-то ушел.

Большевики потеряли связь с мигрирующим кораблем. Именно этим мы беремся объяснить реплику в июльском письме Горького писателю Евгению Чирикову: «...Куприн... на днях едет на Кавказ, ему охота поступить командиром на “Потемкина”»[167]. В эти же дни Фидлер записал в дневнике: «Куприн... как мне сказали, на Кавказе. “Что он там делает?” — спросил я. — “Революцию”, — улыбнувшись, ответил Горький»[168]. То же находим в письме Бунина Федорову от 17 июля 1905 года: «Купришка удрал на Кавказ. Видел ли ты его и какое он произвел на тебя впечатление?»[169]

Что же получается? Не успев попасть на борт в Одессе, Александр Иванович поехал разыскивать броненосец на Кавказе. Значит, он был посвящен в планы восстания. В случае успеха в Одессе броненосцу предписывалось идти к берегам Кавказа, лучше всего в Батум, где гарнизон и крепость сочувствовали большевикам, и начинать масштабный бунт.

Хотелось бы понять, командиром чего мог стать Куприн на броненосце? Что он, пехотный поручик, понимал в корабельной артиллерии? Остается предположить, что ему поручили разложить своим «Поединком» еще и флот.

Видимо, не найдя броненосец (25 июня экипаж сдался румынским властям), Куприн снова прибыл в Одессу, от-

куда 15 июля морем ушел в Ялту. Принято считать, что он пробыл в Ялте, у осиротевших Чеховых, с 15 по 27 июля, однако Мария Павловна Чехова в письме Бунину замечала, что Куприн приезжал всего «дня на три». Где он был все остальное время? Общался в портовых пивных с матросами? Выяснял настроение? Вполне вероятно.

Покидая Ялту, Александр Иванович дал интервью местному репортеру с обещанием: «...у...у...у! Да и работать же буду, как вернусь!»[170] И обещание сдержал: едва вернувшись из Крыма, 30 июля 1905 года, он читал монолог Назанского на большом литературно-художественном вечере в Териоках, устроенном Горьким и Андреевой. Часть сбора пошла на поддержку забастовки рабочих Путиловского завода, часть — в пользу Петербургского комитета РСДРП. «Программа <вечера> сплошь революционная, — вспоминал поэт Иван Рукавишников, также выступавший там. — Настроение взвинчивается с каждым номером. "Настанет время, когда обер- и штаб-офицеров будут бить!" — Зала гудит»[171].

Куприн был прекрасный чтец, это отмечали все современники. И нет ничего удивительного в том, что выступить с монологом Назанского его пригласят и в Севастополь, где Александр Иванович попадет в самое пекло событий.

Балаклавская глушь

Случайность ли, что Куприн в сентябре 1905 года оказался в Севастополе? Точнее, неподалеку от него, в балаклавской глуши, где можно было, с одной стороны, знать все, чем дышит по соседству база флота, а с другой — особо не попадаться на глаза? До сих пор считалось, что да, чистая случайность, просто приехал отдыхать. Мария Карловна рассказывала, что была обеспокоена затянувшимся бездельем супруга, что он много рассуждал о продолжении «Поединка», романе «Нищие», за который сядет... вот-вот сядет... И ничего не менялось. Вспомнив чудо, случившееся год назад в Балаклаве, она вновь решила везти его туда. Но какие-то смутные сомнения остаются.

Прежде чем Александр Иванович появится в Балаклаве, стоит напомнить, чем в это время затишья перед бурей жил Севастополь.

«Потемкинские дни» уже отгремели, панихиды по убитым офицерам отслужены, официальные акценты газетами

расставлены: прискорбное, позорное, беспримерное в летописях русского флота событие. С неофициальной оценкой было сложнее. Значительная часть населения сочувствовала восставшим потемкинцам; офицеров оскорбляли прямо в глаза. Главный командир Черноморского флота и портов Черного моря вице-адмирал Григорий Павлович Чухнин, хорошо осведомленный о бунтарских настроениях судовых команд и подрывной деятельности эсеровских и эсдековских агитаторов, был начеку. Обстановка накалилась еще и потому, что 23 августа 1905 года позорным для России миром была окончена война с Японией.

Чтобы отвлечь население от революции и поднять патриотический дух, городские власти готовились пышно отметить 50-летие обороны Севастополя 1854—1855 годов. Планировалось открытие целого ряда памятников, для чего в конце сентября в Севастополь прибыл председатель Комитета по восстановлению памятников Севастопольской обороны Его Императорское Высочество великий князь Александр Михайлович.

В эти дни Куприны и приехали в Балаклаву. Вскоре к ним присоединилась семья Маминых: Дмитрий Наркисович, его жена Ольга Францевна (бывшая бонна Марии Карловны) и дочь Аленушка.

Если в прошлом году на появление Куприна никто не обратил внимания, а швейцар не пустил его в отель, но теперь это был триумфальный въезд. Прокопченные греки-рыбаки, конечно, так и не поняли, кто, собственно, такой этот «кирийе Александр», но поняли, что за прошедший год он стал чем-то знаменит. Однако местная интеллигенция! Она-то все знала.

Библиотекарь Левенсон, задыхаясь от неслыханной чести лицезреть сразу Мамина-Сибиряка и Куприна, о котором столько писали газеты, немедленно завела альбом почетных посетителей по образцу тетради в ялтинской лавке Синани. И первый же автограф оставил Александр Иванович:

Что за странная пора,
Что за век теперь такой?
То кричали мы: «Ура!»,
А теперь кричим: «Долой!»

Интересный автограф. Скорее растерянный, нежели боевой.

На этот раз Александр Иванович сменил гнев на ми-

лость и по отношению к фельдшеру Евсею Марковичу Аспизу. Счастье ведь делает нас великодушными. «...это уже был и не прошлогодний Куприн, — вспоминал Аспиз, — даже внешность его как будто изменилась. От прежней угрюмости и замкнутости не осталось следа. Перед нами был веселый, жизнерадостный, яркий, подвижной, общительный человек»[172].

И почти сразу на Куприна обрушилось еще одно счастье. Балаклавские власти, кланяясь и заискивая, предложили известному писателю участок земли на выгодных условиях. Чтобы, так сказать, осчастливил своим присутствием.

Участок в Балаклаве! Место, где будет Дом!

Оказалось, что по берегам бухты все уже распродано, но есть земля в балке Кефало-Вриси, что по пути к средневековой крепости. Куприн возликовал, вспомнив чеховский завет: мало чести тому, кто просто поддерживает в порядке возделанную до него землю; попробуйте-ка превратить пустырь в цветущий сад. А пустырь был выдающийся: голая скала, к которой прилепилась узенькая полоска выжженной солнцем земли. Зато вид на древние башни, а воздух...

Аспиз вспоминал, что участок был огромный: четыре десятины (то есть более 400 соток). Купчая была оформлена на имя Марии Карловны, и Куприн забыл обо всем. О том, что он новый «буревестник», что на набережной нужно «играть в писателя», что нужно вообще-то что-то писать. Он утонул в заботах о своей земле; мотался по Крыму в поисках саженцев, бредил планом дома.

Решено: он вообще сюда переедет. Будет с местными греками-пиратами рыбу ловить. Куприн сделал все для того, чтобы сосед Коля Констанди разрешил ему быть пайщиком и вторым гребцом на его баркасе «Светлана». Море — не шутки, кого попало туда не берут. Нужны железные нервы, выносливость, физическая сила, умение работать в спайке. И совершенно конкретные знания и навыки. Куприн вызубрил имена ветров, типы морских узлов, крючков и крюков, как ставить парус, как выбирать якорь. А уж местные обычаи и суеверия руки просто чесались записать: «...нельзя свистать на баркасе; плевать позволено только за борт; нельзя упоминать черта, хотя можно проклинать при неудаче: веру, могилу, гроб, душу, предков, глаза, печенки, селезенки и так далее; хорошо оставлять в снасти как будто нечаянно забытую рыбешку — это приносит счастие; спаси Бог выбросить за борт что-нибудь съестное, когда баркас еще в море, но всего ужаснее, непростительнее и зловред-

нее — это спросить рыбака: “Куда?” За такой вопрос бьют» («Господня рыба», 1907).

Однажды Коля Констанди популярно объяснил ему, почему нельзя спрашивать рыбака, куда он собирается и где будет ставить сети. «Никогда не спрашивайте моряка, куда он идет. Пойдет он туда, куда захотят судьба и погода. Может быть, в Одест, на Тендровскую косу, а если подымется трамонтана, то, пожалуй, унесет в Трапезунд или Анатолию, а может и так случиться, что вот, как я есть, в кожаных рыбачьих сапогах, придется мне пойти на морское дно, рыб кормить» («Колесо времени», 1929). Вряд ли Коля сказал так красиво, но суть Куприн запомнил на всю жизнь.

Он очень хотел стать здесь своим, упоенно интересовался балаклавским бытом. Он растрогался, узнав от того же Коли, что у любого судна, не важно, лодки или броненосца, есть душа. Поэтому в местном храме под куполом на ниточках висят модели корабликов, точные копии тех, что погибли в море. Через несколько лет, оказавшись в Марселе, Куприн увидит в тамошних морских костелах такие же, узнает, что их называют «экс-вото», и живо вспомнит Балаклаву.

Так он и мотался по городку — в кепке, куртке, пропахшей рыбой и облепленной чешуей, с истертыми в кровь пальцами, исцарапанный, но счастливый. Все кричало о том, что он станет балаклавским Гланом. Он уже убедил Колю Констанди выкрасить его баркас белой краской, а бортик — золотой. Как у яхты «Bel ami» Мопассана. И он мог уже выдохнуть: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» Но за все приходится платить, и те же силы, что возвели его на вершину олимпа, потребуют в жертву обретенный рай — Балаклаву. (Этой причинно-следственной связи наш герой почему-то никогда не поймет.)

На дворе был октябрь 1905 года, и писателю пришлось вспомнить о том, что он «буревестник». Газеты принесли телеграммы о начале забастовки в Москве, а затем и в Петербурге: остановились железные дороги и городской транспорт, закрылись почта, телеграф и магазины. В Севастополе внешне было спокойно, однако местные революционные организации готовились в любой момент вступить в игру. Они-то и пригласили Куприна почитать на благотворительном вечере что-нибудь из «Поединка». Назначили дату: 14 октября. Аспиз рассказывал, что вечер был организован якобы с целью сбора средств «в пользу бедных студентов», а на самом деле часть денег шла «на революцию».

Для прикрытия пригласили отставного генерал-майора Павла Дмитриевича Лескевича, общественника, либерала, главу Народного дома. Его использовали втемную: потом окажется, что он не представлял, кто такой Куприн и о чем его «Поединок».

Думаем, что дата была выбрана не случайная. На следующий день, 15 октября, был назначен армейский призыв. Его планировалось сорвать уже накануне, и Куприн с пацифистской пропагандой оказался как нельзя кстати. В Балаклаву за ним прислали экипаж, и он с женой и Аспизом прибыл к зимнему зданию Городского собрания. В зале было много взвинченной молодежи, но много и военных, пришедших из уважения лично к Лескевичу. Александр Иванович выступал последним, после концертной программы, поэтому сидел за кулисами. Сюда-то, по словам Аспиза, к нему явился какой-то офицер и стал хвалить «Поединок». Когда он ушел, Куприн долго смотрел ему вслед и проронил: «Какой-то удивительный, чудесный офицер»[173]. Когда вскоре писатель увидел в газетах портрет Петра Петровича Шмидта, идейного вдохновителя революционных событий в Севастополе, то узнал этого «чудесного офицера»*.

Но вернемся в Городское собрание. Дождавшись своего выступления, Александр Иванович начал читать монолог Назанского — тот самый, об офицерах, которых скоро будут бить. Это в Севастополе-то, где понятия воинского долга и чести всегда были традиционны. Да еще в дни празднования 50-летия обороны города! Конечно, начался скандал, и вечер, по словам Аспиза, «превратился в политическую демонстрацию». Офицеры покидали зал, а революционно настроенная публика, улюлюкая им вслед, аплодировала Куприну.

---

* Сведения о знакомстве Куприна со Шмидтом спорны. В 1939 году, при первой публикации воспоминаний Аспиза об участии писателя в событиях 1905 года, в них это знакомство не упоминалось (см.: *Боцяновский В. Ф.* Комментарий // *Куприн А.* События в Севастополе // Резец [Ленинград]. 1939. № 15–16. С. 24–26). Позже, при повторной публикации в 1959 году, уже упоминалось. Мария Карловна в первом издании своих мемуаров 1960 года писала, что Шмидт подошел к Куприну представиться, а в переиздании 1966 года уже утверждала, что Шмидт после скандала на вечере приезжал к ним в Балаклаву. Возможно, Аспиз с Марией Карловной додумали этот эпизод, дабы «революционизировать» писателя, иначе неясно, почему он сам не упоминал об этом знакомстве даже в рассказе «Гусеница» (1918) о ноябрьском восстании в Севастополе.

На Лескевича было страшно смотреть. Он бросился к Куприну:

«— Вы меня подвели, милостивый государь, оскорбили офицерство. Черт знает что читали!

Куприн объяснил ему, что он читал выдержки из "Поединка", книги, пропущенной цензурой.

— Какого "Поединка"? — недоумевал генерал.

Наконец Куприн, который во время разговора стоял по старой привычке навытяжку, не выдержал и, переменив тон и позу, заявил:

— Генерал, я сам поручик в отставке. Если господа офицеры чувствуют себя обиженными, я готов дать им удовлетворение. Мой адрес — Балаклава, дача такая-то.

— Драться! Я сам буду с вами драться! — взвизгнул генерал.

— С вами драться я не буду, а с ними хоть со всеми»[174].

Бог знает, чем кончилась бы эта история, если бы через несколько дней не произошли события, сразу ее зачеркнувшие. 17 октября 1905 года Николай II, подчиняясь сложнейшей ситуации в стране, подписал Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», гарантирующий свободу слова, совести, собраний. Как можно было теперь призвать Куприна к ответственности? Свобода слова — можно критиковать кого угодно, хоть самого императора. Однако же за ним был установлен негласный полицейский надзор. Судя по всему, его осуществляли балаклавский пристав Цемко и городовой Федор, которых Куприн потом вспоминал без всякой опаски. Если верить его рассказам, то весь надзор свелся к совместным пирушкам.

В Севастополь весть о Манифесте пришла 18 октября. Мы ничего не знаем о реакции Александра Ивановича на Манифест, но наверняка она была такой же, как у его друга Бунина, оказавшегося в тот день в Севастополе: «Купил "Крымский вестник", с жадностью стал просматривать возле памятника Нахимову и вдруг слышу голос стоящего рядом со мной бородатого жандарма, который говорит кому-то в штатском, что выпущен манифест о даровании свободы слова, союзов и вообще "всех свобод". Взволновался до дрожи рук, пошел повсюду искать телеграммы, нигде не нашел и поехал в "Крымский вестник". В кабинете редактора... прочел наконец манифест. Какой-то жуткий восторг, чувство великого события»[175].

Стихийную и бурную радость горожан революционные партии быстро и умело направили в нужное русло: ми-

тинг, а потом огромная толпа подошла к городской тюрьме с требованием немедленного освобождения политических заключенных. Когда митингующие стали напирать на ворота, охрана открыла по ним огонь. Погибли люди.

Весь следующий день Севастополь роптал, а 20 октября торжественно хоронил убитых. Многотысячная толпа на кладбище была потрясена пламенной речью лейтенанта Шмидта, приносившего клятву памяти погибших: «Клянемся им в том, что мы никогда не уступим никому ни единой пяди завоеванных нами человеческих прав!» «Клянемся!» — вторила толпа. «Клянемся им в том, что всю работу, всю душу, самую жизнь мы положим за сохранение нашей свободы!» — «Клянемся!»

Эти новости Куприн должен был прочитать в том же «Крымском вестнике». Вместе со многими наверняка негодовал, узнав о том, что Шмидта после этой речи арестовали и собирались судить за воинское преступление: лейтенанту флота нельзя было участвовать в революционном митинге. Севастопольцы проклинали главного командира Черноморского флота Чухнина и требовали освобождения Шмидта...

Столичная пресса, получаемая из-за забастовки с большим опозданием, порадовала Куприна новой газетой «Новая жизнь», в которой он смог прочитать горьковский цикл «Заметки о мещанстве»[176]. Думаем, Александр Иванович знал, что это большевистская газета и что Горький руководит в ней литературно-художественным отделом. Репортером там пристроился его прошлогодний балаклавский знакомец Вася Раппопорт-Регинин, который потом расскажет, что работал бок о бок с создателем большевистской партии Владимиром Ильичом Ульяновым, Лениным[177].

Вряд ли, конечно, Куприн жил одной политикой, у него было много других дел. Больших забот требовал купленный участок, где он высаживал плодовые деревья, задумал разбить виноградник. Ежедневно нужно было контролировать рабочих, которые взрывали скалу, выравнивали площадки под посадку. Вместе с тем он узнавал из газет, что Шмидта освободили, читал его телеграмму «Спасибо, товарищи, я снова в ваших славных рядах». Читал, что Чухнин, устав разбирать дела об оскорблениях офицеров флота гражданским населением, пригрозил, что офицерам разрешат прибегать к оружию, а виновные в оскорблении будут арестованы или оштрафованы на значительные суммы. А потом — началось.

Одиннадцатого ноября 1905-го газеты и слухи принесли вести о том, что на Корабельной стороне Севастополя, во флотских казармах, во время митинга произошло столкновение между матросами и офицерами. В результате были ранены контр-адмирал Писаревский и штабс-капитан Штейн (через несколько часов умерший). Восставшие избрали тут же в казармах Совет матросских, солдатских и рабочих депутатов, приступивший к разработке плана дальнейших действий. Экипажи некоторых боевых кораблей поддержали Совет; лидировал в этом новейший и мощнейший крейсер Черноморского флота «Очаков». Для командования восставшей эскадрой нужен был боевой офицер — пригласили Шмидта. 14 ноября он прибыл на «Очаков»; на крейсере были подняты красный флаг и вымпел командующего флотом. К этому времени Севастополь уже был объявлен на осадном положении. Для усмирения бунта прибывали верные правительству войска...

На следующий день разыгралась трагедия.

Куприн рассказывал в очерке «Севастопольские события»* (1905), что 15 ноября, услышав какие-то далекие залпы, они в Балаклаве решили, что прибыла очередная делегация на празднование 50-летия обороны Севастополя. На самом деле это были первые залпы расстрела восставших, прозвучавшие в 15 часов 20 минут. Через два часа все было кончено. И все это время Александр Иванович, узнав о случившемся от извозчиков, пытался выехать в Севастополь. Наконец удалось.

Добирался долго: шоссе было запружено колясками, повозками, телегами. Перепуганное население спасалось.

— Что в Севастополе? — кричал им Куприн.

Извозчики, обычно разговорчивые, отвечали неохотно и кратко:

— Пальба идет.

—Там все друг друга постреляли.

— Поезжайте, сами увидите.

---

* Такое заглавие очерк имел при первой публикации в петербургской газете «Наша жизнь» (1905. № 348. 1 декабря). В сокращенном виде под названием «События в Севастополе» переиздавался в «Календаре русской революции» (1907), составленном В. Л. Бурцевым и выпущенном издательством «Шиповник» (тираж был уничтожен по постановлению Петербургского окружного суда). В 1917 году Бурцев переиздал календарь под тем же названием, но очерк Куприна получил заголовок «Гибель “Очакова”». После долгого перерыва был переиздан В. Ф. Боцяновским под названием «События в Севастополе» (Резец. 1939. № 15–16).

Уже стемнело, и, спускаясь к городу, Александр Иванович видел в небе лучи прожекторов. И вот — апокалиптическая картина:

«С Приморского бульвара вид на узкую и длинную бухту, обнесенную каменным парапетом. Посредине бухты огромный костер, от которого слепнут глаза и вода кажется черной, как чернила. Три четверти гигантского крейсера — сплошное пламя. <...> Когда пламя пожара вспыхивает ярче, мы видим, как на бронированной башне крейсера, на круглом высоком балкончике, вдруг выделяются маленькие черные человеческие фигуры. До них полторы версты, но глаз видит их ясно.

Я должен говорить о себе. Мне приходилось в моей жизни видеть ужасные, потрясающие, отвратительные события. Некоторые из них я могу припомнить лишь с трудом. Но никогда, вероятно, до самой смерти, не забуду я этой черной воды и этого последнего слова техники, осужденного вместе с сотнями человеческих жизней на смерть сумасбродной волей одного человека» («Севастопольские события»).

Под «одним человеком» Куприн подразумевал адмирала Чухнина. Он позволил себе и более смелое высказывание: «Это тот самый адмирал Чухнин, который некогда входил в иностранные порты с повешенными матросами, болтавшимися на ноке». Откуда Александр Иванович это взял? Не важно. В репортаже главное не правда, а выражение причастности к событиям. Писатель, пропустивший сам расстрел, интервьюировал свидетелей: «Тут в толпе многое узналось о том, что в начале пожара предлагали "Очакову" шлюпки, но что матросы отказались. О том, что по катеру с ранеными, отвалившему от "Очакова", стреляли картечью. Что бросавшихся вплавь расстреливали пулеметами. Что людей, карабкавшихся на берег, солдаты приканчивали штыками. Последнему я не верю: солдаты были слишком потрясены, чтобы сделать и эту подлость».

Сын Петра Шмидта Евгений тем не менее подтверждал то, что рассказали Куприну. Он был с отцом на горящем «Очакове» и позже вспоминал: «Повстанцы бросались в воду, лезли в трюмы, на ванты... В воде их продолжали беспощадно расстреливать из орудий и пулеметов; кому чудом удавалось доплыть до берега, того приканчивали солдаты карательного отряда, расположенные длинной цепью. <...> Цепь... расставленная... по берегу, принимала на штыки каждого подплывавшего матроса... публика, наблюдавшая

за ходом трагедии с Приморского бульвара, поспешила на помощь погибавшим повстанцам и там, где представлялось возможным, укрывала матросов от разъяренных солдат»[178].

А вот Куприн пишет, что солдатики Литовского полка, которых он видел, были жалкие, перепуганные, твердившие: «Господи, Боже мой, Господи, Боже мой».

И, конечно, автор «Поединка» не забыл о своей главной мишени: «...подходит офицер, большой, упитанный, жирный человек. <...> Это все происходит среди тревожной ночи, освещенной электрическим светом прожекторов и пламенем умирающего корабля.

— Это еще что-о, братцы! А вот, когда дойдет до носа — там у них крюйт-камера, это где порох сложен — вот тогда здорово бабахнет...

<...> Солдаты повернулись к нему спиной».

Куприн приехал, когда все уже было кончено, и тем не менее его свидетельство очень ценно. Всей правды о событиях 1905 года мы не знаем до сих пор. К тому же Севастополю, первую оборону которого запечатлел Лев Толстой, снова удалось привлечь внимание большого мастера слова. И так же, как Толстой после севастопольской трагедии передумал быть военным, Куприн, нам кажется, передумал быть революционером. Кровь быстро приводит в чувство.

Дальнейшее, по воспоминаниям Аспиза, — оживший приключенческий роман. Вернувшись из Севастополя поздним вечером, Александр Иванович не мог уснуть и встретил таких же бессонных и озабоченных Аспиза и библиотекаршу Левенсон.

«Мы сообщили ему, — рассказал Аспиз, — что у нас находятся спасшиеся матросы, и повели его к ним. Я не могу найти слов для описания сцены, как он приветствовал их, жал руки, говорил что-то ободряющее, значительное, сердечное... Хорошо помню слова Куприна, когда мы вышли с ним в другую комнату:

— Какие люди! — говорил он с удивлением и восхищением. — Над ними витает смерть, а они думают только о судьбе Шмидта!»[179]. (Шмидт к этому времени уже находился под арестом на броненосце «Ростислав».)

Сам Куприн описал эту сцену в рассказе «Гусеница», говоря о себе в третьем лице. Некий живущий в Балаклаве писатель на него похож: «Явился, черт его знает откуда, весь в рыбьей чешуе, но с водкой, с колбасой, с таранью и с жареной камбалой. И грубый какой! “Нечего, говорит, вам здесь петрушку валять. Ну-ка, ребятушки, тяпнем после

трудов праведных". Кто-то было захотел возмутиться: "Позорно в дни таких великих событий думать о пьянстве". Но если бы вы только видели, как они накинулись на еду и с каким наслаждением пили водку».

Спасшихся матросов нужно было где-то спрятать, а потом уже «товарищи» собирались их вывозить по поддельным паспортам. Задача не из легких. Даже если переодеть матросов, то как вывести из Балаклавы? Единственная дорога, на которой по ночам всегда дежурит городовой («по слухам, служивший в тайной политической полиции»), проходит мимо дома пристава Цемко. И потом матроса, даже переодетого, сразу выдадут походка и рост. К тому же в Балаклаве не бывает в ноябре посторонних: все друг друга знают.

Писатель из рассказа «Гусеница» не растерялся: городового он засадил пить и играть в домино с Колей Констанди, а Цемко взял на себя: «...пойду к приставу и буду всю ночь слушать его вранье, как он был на Кавказе джигитом. Он, дурак, думает, что я все это в газетах опишу».

Аспиз добавлял подробности:

«Куприн предложил план: я должен был пойти вперед, как бы прогуливаясь, и таким образом показать путь матросам. Сам он пошел "занимать" полицейских... Когда я проходил мимо участка, я слышал голос Александра Ивановича и хохот городовых, которым он что-то рассказывал и выкидывал разные штуки, притворившись пьяным.

План удался. Через несколько минут вся группа вышла на Ялтинское шоссе, и к ней присоединился Куприн. Я вернулся домой, а Куприн повел их степью в Чоргунь и благополучно доставил в условленное место»[180].

В деревне Чоргунь было имение композитора П. И. Бларамберга и барона А. К. Врангеля, которые согласились разместить матросов у себя под видом рабочих виноградника. Никто из них не был арестован.

Порядок в Севастополе, остававшемся на осадном положении, был более-менее восстановлен к 18 ноября, и в этот же день Куприн прочитал в «Крымском вестнике» официальный отчет о событиях, от которого осатанел. Потери были представлены совсем незначительные, поведение Шмидта дегероизировалось: дескать, при первых же выстрелах по «Очакову» он сбежал, а брошенные своим вождем матросы метались в панике.

Александр Иванович сел писать опровержение: те строки о горящем «Очакове» и карательном отряде, которые

мы цитировали выше. Он выражал общее мнение севастопольцев: люди были потрясены и подавлены и беспримерной, какой-то немотивированной жестокостью по отношению к восставшим, и официальным фарисейством. «Длинная, по-жандармски бессмысленная провокаторская статья о финале этой беспримерной трагедии, помещенная в “Крымском вестнике”, — возмущался Куприн, — набиралась и печаталась под взведенными курками ружей. Я не смею судить редактора г. Спиро за то, что в нем не хватило мужества предпочесть смерть насилию над словом. Для героизма есть тоже свои ступени. Но лучше бы он попросил авторов, адъютантов из штаба Чухнина, подписаться под этой статьею».

Купринский репортаж с Приморского бульвара полетел в Петербург. Почта в те дни работала плохо, поэтому он был напечатан поздновато, 1 декабря 1905-го, явно подрастеряв свою сенсационность. Со времени трагедии на «Очакове» прошло уже две недели; шло следствие. Однако и «позавчерашние новости» такого характера были нужны: Петербург ничего не знал и питался чудовищными слухами. Газеты наперебой сообщали, что «Очаков» потоплен, пол-Севастополя разрушено артиллерийским огнем и т. д.

Имя Куприна снова оказалось у всех на устах. Тем более что революция вступала в кульминационную фазу: 7 декабря началось восстание в Москве. Оно бушевало более недели: с уличными баррикадами, захватом восставшими вокзалов, открытыми вооруженными столкновениями с казаками и полками, погромами магазинов, обстрелами зданий артиллерией.

Александр Иванович все это пропустил; именно в эти дни над ним самим сгустились тучи. Им одновременно заинтересовались комендант Севастопольской крепости Неплюев и командир Черноморского флота Чухнин. Первый впоследствии сообщал, что «местный землевладелец писатель А. И. Куприн... 6 декабря 1905 года во время устроенного в Городском собрании вечера прочел стихи собственного сочинения, возбудившие волнение среди публики и давшие в результате вечеру демонстративно-революционный характер»[181]. Неясно, о каком вечере идет речь и как вообще он мог состояться: Севастополь до сих пор жил на осадном положении. Неплюев имел полномочия высылать из крепости политически неблагонадежных, и 7 декабря балаклавский пристав Цемко получил указание выпроводить Куприна.

События этого дня Александр Иванович красочно вспоминал 29 лет спустя в одном из рассказов: сидел он себе в Балаклаве, безмятежно пил утренний кофе, когда на пороге вырос Цемко. Вроде такой же, как всегда, но выражение лица каменное:

«— Извольте прочитать и в извещении расписаться.

Это была бумага ко мне от крупного севастопольского начальника, и она кратко гласила: “Именующему себя литератором, поручику в отставке такому-то, предлагается через двадцать четыре часа выехать из Балаклавы, со строгим воспрещением впредь появляться в районе радиуса Севастополь — Балаклава. В получении этого предложения — расписаться”.

Я спокойно, без лишних вопросов и протестов, подчинился воле властей предержащих: в течение получаса уложил все свои вещи в два походных чемодана и сказал:

— Я готов.

Пристав Цемко любезно нанял мне парного извозчика до севастопольского вокзала и прощай, прощай навсегда, моя милая Балаклава. Прощай, купленный мною и любовно возделанный участочек “Кефаловриси”, прощайте, дорогие друзья, балаклавские рыбаки, все эти Константи, Паратино, Капитанаки, Стельянуди, Ватикиоти, Мурузи и другие храбрые грекондосы, с которыми я разделял прелесть и труды морской жизни» («Светлана», 1934).

На самом деле Куприн выехал из Балаклавы не сразу. Выселение было отложено на три дня в связи с тем, что к нему имел претензии еще и Чухнин. Прочитав очерк «Севастопольские события» и узнав о том, что он, оказывается, входил в иностранные порты с повешенными на ноке матросами, адмирал подал на автора иск в Симферопольский окружной суд. Требовал привлечения к уголовной ответственности по статье за опорочение должностного лица. 11 декабря Куприн сидел на допросе у судебного следователя и, учитывая то, что оставаться в Крыму он не мог, с него взяли подписку о невыезде из Петербурга до разрешения дела.

Наш герой не придал особого значения обоим инцидентам. Списал все на условия осадного положения и, можно предположить, гордился собой. Столичные газеты немедленно затрубили: «Известный беллетрист А. И. Куприн по сведениям, полученным его женой, арестован в Севастополе, где он собирал материал по поводу последних событий»[182]. Вышел очередной скандал, Куприн пострадал

за правду. Чего же достойнее для сумасшедшего декабря 1905 года?

Однако оба инцидента будут иметь роковые последствия. Они отберут у Куприна Балаклаву. А ведь счастье было так возможно, так близко...

Нельзя!

Куприн больше никогда не сможет жить в Балаклаве. Но поймет это не сразу. Не раз и не два он будет в отчаянии упираться лбом в непрошибаемое «нельзя!».

Под новый, 1906 год писатель вернулся в Петербург. Корней Чуковский, ходивший тогда за ним по пятам и просивший что-нибудь для сатирического журнала «Сигнал», который редактировал, писал жене: «...Куприн мне очень понравился. Так как он пьянствует, то жена поселила его не в своей квартире, а в другой, — специально для этой цели предназначенной. В особнячке, куда можно пройти через кухню Марьи Карловны. Там — обрюзгший, жирный, хрипящий — живет этот великий человек, получая из хозяйской кухни — чай, обед, ужин»[183]. Ужасный портрет. Таким же Куприна изобразил карикатурист «Сигналов»* (1906. № 4) Александр Любимов: безобразно толстый, неряшливо одетый, сутулый человек, на котором фрак топорщится во все стороны, а из жилетного кармана свисает рюмочка на цепочке. Это одна из первых карикатур на Куприна; со временем из них можно будет составить галерею.

В первые же дни нового года «Знание» выпустило второй том рассказов писателя, куда вошел «Поединок». Однако Александр Иванович уже был не тот, что три года назад, когда Горький с Пятницким выпустили первый том. У него самого теперь было издательство, и «Мир Божий» выпустил два тома его рассказов, верстался третий. Он и сам теперь стал знаменит, да и обижался на Горького, словом, не собирался дальше оставаться «подмаксимовиком». В мае он обронит в разговоре с Фидлером, что Горький его «сейчас мало интересует»[184]. К концу года Куприн расстанется со «Знанием» и начнет подыскивать авторов для ли-

---

* «Сигнал» — сатирический журнал, выходивший в Петербурге в 1905 году (№ 1—4, ноябрь — декабрь). После цензурного запрещения возобновился в 1906 году под названием «Сигналы» (№ 1—4, январь—февраль).

тературных сборников, которые намеревался издавать под собственной маркой. Горький же в феврале 1906 года покинет Россию, спасаясь от ответственности за участие в революционных событиях. Вплоть до конца 1913 года он будет следить за творчеством Куприна с итальянского острова Капри и расстраиваться. Тот явно изменит революционному лагерю.

Александр Иванович мысленно еще долго был в Балаклаве, откуда приходили неприятные вести. Он прочитал в «Русском слове», что Неплюев потребовал увольнения Левенсон и Аспиза. Последний вспоминал, что за них вступился балаклавский городской голова, утверждая, что их некем заменить. На что Неплюев якобы ответил: «Если не удалят, вышлю голову»[185].

Куприн тоже ходил по Петербургу в ореоле политического мученичества, и о причинах его высылки из Балаклавы немедленно родилась байка. Якобы Александр Иванович в сильном подпитии отправил телеграмму царю: «БАЛАКЛАВА ОБЪЯВЛЯЕТ СЕБЯ ВОЛЬНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ РЫБАКОВ ТЧК КУПРИН». Вскоре пришел ответ: «КОГДА ПЬЕШЬ ЗАКУСЫВАЙ ТЧК СТОЛЫПИН».

Всерьез расследовать истоки байки мы не станем, иначе придется признать, что демократия тогда была невероятная: каждую шальную телеграмму подданного передавали царю, и тот на нее отвечал или поручал кому-то из министров. А вот допустить, что Александр Иванович, пародируя тогдашние сепаратистские лозунги, мог что-то подобное присочинить, можем. Хотя сам потом отпирался.

«Это было в знаменитые октябрьские дни, — рассказывал он. — Вдруг какой-то шутник, а может быть, наивный враг распустил слух, что я задумал “отложиться с Балаклавой от России и провозгласить себя президентом демократической рыбацкой республики”.

Всякий, кто знаком с моими политическими убеждениями, конечно, поймет нелепость даже самой мысли о подобном коварном заговоре с моей стороны. Но, представьте, вскоре после этого слуха меня выслали из Балаклавы»[186].

Тем самым писатель поддерживал версию, будто его выслали из-за этой байки. Может быть, сам и додумался вмешать сюда Петра Аркадьевича Столыпина, назначенного в апреле 1906 года министром внутренних дел и одновременно премьер-министром России. Литературная братия склоняла его имя на все лады, потому что, наводя порядок в стране, Столыпин занялся и совершенно потерявшей страх прессой.

Репрессивные меры не обошли «Мир Божий». В свете последних событий журнал еще более полевел и стал изданием откровенно социал-демократического толка. Мария Карловна, очарованная сотрудником редакции, красавцем меньшевиком Николаем Ивановичем Иорданским, вовсе перестала считаться с народником Богдановичем. Тот уже не мог сопротивляться, потому что был тяжело болен. И вот в августе 1906 года обласканный Иорданский поместил в «Политическом обозрении» «Мира Божьего» (№ 8) статью такого толка (один из ее пунктов — «Крушение “истинно-либеральной” политики г. Столыпина»), что журнал был закрыт, а редактор Батюшков отдан под суд.

В том же августе, в день 36-летия Куприна, вышла его статья «Армия и революция в России» в венской газете «Neue Freie Press» (1906. 26 августа. № 15103). Автор, снова пройдясь по порокам офицерства, напомнил иностранному читателю, что русская армия — крестьянская армия: «Если армию охватит пожар, то тем же пламенем будет воспламенено и крестьянство. Если взрыв произойдет среди крестьянства, то он зажжет и армию <...> Мы в настоящее время накануне... бунта. Армия и народ обоюдно поставили себе это целью и взаимно подбадривают друг друга». Далее Александр Иванович выразил восхищение революционерами, которые не в пример офицерам «...действуют не по готовым образцам и не по мертвым канцелярским приказам, а по собственной инициативе и вдохновению, и в этом залог их силы». И в один прекрасный день, утверждал он, они ударят: «И нельзя ни одной минуты сомневаться в том, что... они обратят в бегство офицеров, выступивших для подавления восстания: ведь они нисколько не хуже и не лучше тех офицеров, которые постыдно, без боя сдавали целые эскадроны неприятелю, низко вели себя на восставших судах “Потемкин” и “Очаков”, и теперь, при взрыве недовольства среди солдат, совершенно потеряли голову. И этот первый пушечный залп будет сигналом к всеобщему разложению армии и к народному восстанию». Статья, перепечатанная многими русскими газетами, вызвала большую полемику.

С таким вот шлейфом — антиармейских суждений, запрещенного «Мира Божьего» и вовсю гремящего «Поединка» — Александр Иванович в сентябре 1906-го как ни в чем не бывало явился в Балаклаву. Он рассчитывал, что история с его выселением уже забыта. Осадное положение в Севастополе было снято. Коменданту крепости Неплюеву эсеры недавно сделали последнее предупреждение, совер-

шив на него покушение. Чухнина же эсеры убили. Таким образом, его иск к Куприну, рассмотрение которого в апреле 1906 года было перенесено в Санкт-Петербургский окружной суд, остался без истца.

Словом, у Куприна были свои резоны. Были они и у Марии Карловны: она все еще ждала от мужа новой громкой вещи, а он говорил, что хотел бы написать о Балаклаве, о лове белуги.

На набережной они встретили Батюшкова, который с некоторых пор сопровождал их неотступно (об этом чуть ниже). Зашли к Аспизу, затем в «Гранд-отель», где Мария Карловна сделала фотографию: Куприн, Батюшков и Аспиз на балконе гостиницы. А потом разыгралась неприятная сцена. Перед Александром Ивановичем возник пристав Цемко, который его высылал. Аспиз вспоминал, что он был растерян: «...по закону он должен арестовать Александра Ивановича, но ему это тяжело и он просит немедленно уехать, так как иначе он, пристав, пострадает»[187]. Распоряжения о высылке никто не отменял.

Что Куприн мог возразить на это? Перед ним, как это бывало не раз, вырос приказ. Непрошибаемое «нельзя». И он — знаменитый писатель, кумир Петербурга — вмиг стал маленьким, жалким, нашкодившим кадетиком, которого сейчас возьмут и посадят в карцер. Это было страшное унижение, хотя он не подал виду и шутил:

В Балаклаву, точно в щелку,
В середине сентября,
Я приехал втихомолку,
Но приехал зря.
Не успел кусок кефали
С помидором проглотить,
Как меня уж увидали
И мгновенно — фить.

(«Административная высылка»)

Куприн больше никогда не вернется в Балаклаву. Эту цену пришлось заплатить за славу «буревестника».

...А слава ширилась. Жизнь «Поединка» уже никак не зависела от воли его автора. Повесть зачитывали до дыр. В 1906 году ее переводы появились там, где были особо сильны антирусские настроения: в Польше и в Финляндии.

Сейчас, по прошествии столетия, можно трезво оценивать значение «Поединка». Повторимся: для России XX века это была одна из самых судьбоносных книг. С одной

стороны, она была очень нужна. Сколько офицеров, узнав себя в персонажах повести, тогда призадумались, подтянулись, начали исправляться! В 1924 году белый генерал Петр Николаевич Краснов напишет Куприну о своем впечатлении от «Поединка»: «Мое сердце горело негодованием, лицо пылало от стыда — не на Вас, а на то, что такие сцены, такие картины могли быть найдены Вами в Русской Армии и могли послужить Вам яркими, незабываемыми типами. Уже тогда я понял, что многое блестит у нас не золотом, а позолотой, и со всею силою молодого организма я принялся за работу, чтобы исправить те прорехи, на которые Вы указали со всею силою Вашего таланта».

А как славно сражался потом на фронтах Первой мировой войны 46-й Днепровский пехотный полк! И другие полки. Куприн радовался этому и чувствовал свою сопричастность положительным сдвигам. В первые месяцы войны, беседуя с молодым офицером, он задумчиво подведет итоги:

«— И все-таки один человек понял меня правильно. И я был вознагражден за все. Да, за все.

— Кто же это?

— Государь...

— Государь..?!

— Да, государь. После японской войны были проведены в армии реформы. Прекрасные реформы. Офицерский ценз был поднят. "Шмаргонские академии", легендарные юнкерские училища для второгодников и недоучек... превратились в военные училища. Туда уже пошла охотно способная, хорошая русская молодежь по окончании гимназий и реальных училищ. <...> Материальное положение офицерства было улучшено. Рукоприкладство начало исчезать... Ах, я знаю, конечно, у государя были честные и гуманные советники генералы, они составляли проект реформ. Они проводили. Но мне говорили, что государь читал "Поединок". И, может быть, в первый раз, тогда с моих слов он узнал, как живут его пехотные офицеры в медвежьих углах его громадной империи»[188].

Всё это так. Но была и обратная сторона медали. Мы не зря сравнили эту купринскую повесть с миной замедленного действия. В 1905-м она еще не разорвалась, а так, сработали первые ловушки. Мина продолжала тикать. Для того чтобы она сработала, потребовалось, чтобы каждый маломальски грамотный русский солдат прочитал повесть и узнал себя в избиваемом Хлебникове. И восстал.

Это случится в 1917 году: солдаты и матросы подымут на штыки своих офицеров. И им за это ничего не будет.

Глава пятая

ОМУТ

У Куприна-человека сто тысяч недостатков. У Куприна-писателя есть одно великое достоинство: он сам.

Петр Пильский

Куприн называл «Поединок» своим «девятым валом». А что может быть после девятого вала? Зыбь и плавающие обломки.

Так с ним и случилось. Ранняя исчерпанность творческой биографии. Прогремев в годы первой революции, писатель вместе с ее сворачиванием начал погружаться в вязкий омут демонстративных и бытовых скандалов. Слова «Куприн» и «хулиган» в общественном сознании стали синонимами. А началась полоса порицания с того, что писатель оставил семью.

Лиза

В 1907 году в жизни нашего героя появилась другая женщина — Елизавета Морицовна Гейнрих. Ей будет суждено разделить с ним всё: его тяжелейшее расставание с первой семьей, лечение в клиниках от хронических запоев, смерть общей дочери, революцию, эмиграцию, его болезни в старости. До последнего вздоха Александра Ивановича его верная Лиза будет рядом.

Куприн не терпел, когда вторгались в его личную жизнь. Считал, что она не имеет никакого отношения к творчеству. Однако без понимания его личной жизни невозможно объяснить многие известные произведения этих лет: рассказы «Суламифь» (1908), «Морская болезнь» (1908), знаменитый «Гранатовый браслет» (1911). К тому

же история его отношений с Елизаветой Морицовной до сих пор лежала под спудом семейного мифа. Все сведения об этой женщине черпались из мемуаров ее дочери Ксении, которая чего-то о матери не знала, что-то недоговаривала. Между тем недавно опубликованная переписка Мамина-Сибиряка разрушает миф о безропотной, «бедной Лизе», рисует в ином свете и ее саму, и ее родословную. Вообще это была настоящая «мыльная опера», потому что герои этой истории были связаны между собой почти родственными узами.

Куприн впервые мог увидеть Лизу еще тогда, когда с молодой женой Мусей наносил первые визиты ее родным и близким. Лиза, почти ровесница его жены, воспитывалась в семье Мамина-Сибиряка. Это грустная история. В 1890 году, в Екатеринбурге, Мамин без памяти влюбился в актрису Марию Морицовну Абрамову (в девичестве Гейнрих). Отец Марии, Мориц Гейнрих Ротони, происходил (якобы) из древнего графского венгерского рода; принял активное участие в венгерской революции 1848—1849 годов, бежал от преследований в Россию, осел в Оренбурге, где стал именоваться Морицем Григорьевичем Гейнрихом, продолжая оставаться австрийским подданным. Женился. Потом переехал в Пермь, где открыл фотоателье. Семья была большая; у Марии было десять братьев и младшая сестричка (так принято считать) Лиза.

После конфликта с отцом Мария ушла из дома, забрав Лизу, и стала жить самостоятельно. Вышла замуж за актера Абрамова, сделала театральную карьеру, а потом связала свою судьбу с Маминым-Сибиряком. Это был страстный, но гражданский брак: Абрамов не давал развода. Счастье оказалось недолгим: в 1892 году, вскоре после родов, возлюбленная Мамина скончалась. У него на руках остался младенец, дочка Аленушка, и десятилетняя Лиза.

Дмитрий Наркисович не представлял, что делать с детьми. Ему помогла Александра Аркадьевна Давыдова, будущая теща Куприна. Она взяла Лизу к себе; ее вместе с Мусей воспитывала Ольга Францевна Гувале. Несколько лет приемыш Давыдовых Муся, будущая Мария Карловна Куприна, видела рядом с собой девочку, — еще большего приемыша, и привыкла относиться к ней как бедной родственнице. Они вместе учились в гимназии, где Лиза, до десяти лет остававшаяся неграмотной, совсем не блистала.

Быстро выяснилось, что девочка незаконнорожденная. Всей правды мы не знаем. Есть версия, что на самом деле она была не сестра, а дочь актрисы Марии Абрамовой. Это вполне вероятно: в момент рождения девочки Марии Морицовне было 17 лет. Кстати, за год до смерти она обронила в письме отцу загадочную фразу: «Метрика Лизы у меня, о ней можно не беспокоиться, для девочки это безразлично»[189] . Что — «это»? Истинное происхождение? Эту интересную версию подтверждает одна реплика Федорова, одесского друга Куприна: «...женился вторично, прожив с Елизаветой Морицовной Абрамовой до смерти своей»[190]. Оговорился Федоров, назвав фамилию «Абрамова», или знал правду? Может быть, актер Абрамов девочку не признал, поэтому пришлось Морицу Гейнриху — на самом деле деду, а не отцу — записать Лизу своей дочерью? Узнать правду интересно еще и потому, что дочь Елизаветы Морицовны и Куприна станет актрисой. Возможно, гены: актрисой была ее бабушка.

В 1894 году Мамин поселился в Царском Селе, забрал у Давыдовых Лизу и неожиданно обнаружил, что ее призвание — возиться с детьми. Она всей душой приросла к Аленушке (то ли племяннице, то ли на самом деле сводной сестре), а та к ней. Перешла в дом Мамина и «тетя Оля» Гувале, помогать по хозяйству. Вскоре она стала женой Дмитрия Наркисовича. Лиза, к тому времени красивая молодая девушка, ее раздражала, потому что напоминала о предшественнице, актрисе Абрамовой. Дмитрий Наркисович жаловался на Лизу своей матери: «...все ссорится с тетей Олей. Измучила она меня и решительно не знаю, что с ней делать». К Аленушке Гувале относилась спокойнее: девочка была больная, жалкая.

Лиза окончила профессиональную школу рукоделия в Царском Селе, став учительницей. У нее обнаружился талант к рисованию. И вот однажды она увидела, как Мамин горюет о кончине Александры Аркадьевны Давыдовой, а вскоре в их доме появилась вместе с мужем, писателем Куприным, насмешливая красавица Муся, ставшая во главе семейного дела Давыдовых... Лиза тоже мечтала выйти замуж, чтобы наконец избавиться от «тети Оли», а Мамин никак не мог оформить ей паспорт. Он делился с матерью: «Вчера я, наконец, получил паспорт Лизы, стоивший больших хлопот. Она теперь Елизавета Морицовна Гейнрих... Как оказывается, это было даже совсем не трудно: дает отчества и фамилии незаконнорожденным детям казенная палата»[191].

Кто-то сватался к Лизе. В октябре 1903 года у нее появился очередной жених. «Это третий по счету, — писал Мамин матери. — Очень хороший молодой человек, с университетским воспитанием, из хорошей семьи. Не знаю, пойдет она за него или нет — девица мудреная»[192]. Не пошла.

Между тем ей нужно было бежать из дома Маминых. Поползли слухи о том, что Дмитрий Наркисович неравнодушен к Лизе, которая становилась все больше похожа на его погибшую любовь, актрису Абрамову. «Тетя Оля» изводила ее, и девушка ушла в Евгениевскую Общину сестер милосердия, при которой можно было жить. А потом началась Русско-японская война. В отличие от Куприна, высчитывавшего, сколько может получать фронтовой корреспондент, Лиза поехала с санитарным поездом в Харбин. «У нее на руках 18 человек тяжелораненых. Сначала, говорит, было жутко, а потом привыкла и словно отупела. Она прежде не выносила крови, а тут и к этому привыкла», — делился с матерью Мамин. Потом она заведовала перевозкой тифозных больных, и Мамин печалился: «По моему мнению, Лиза может уцелеть в этом аду только чудом».

В середине мая 1905 года, когда Куприн нервно ожидал первых откликов на только что вышедший «Поединок», Лиза приехала в отпуск. Рассказала, что встретила в Иркутске любовь, военного врача с Кавказа, показала его фотографию. «Партия для нее очень хорошая, — писал Мамин матери. — Только мне не нравится его физиономия. Какой-то дикарь, хотя и настоящий русский дворянин». Мамин оказался прав: однажды Лиза увидела, как ее избранник избивал беззащитного солдата. С ним сразу все было кончено, а несчастная девушка оказалась близка к самоубийству от разочарования и очередного краха в личной жизни.

Вернувшись с фронта, Лиза работала в больнице на Васильевском острове. Иногда бывала у Маминых, и Дмитрий Наркисович радостно сообщал матери: «Лиза гостит у нас в ожидании жениха или места. Последнее было бы лучше, тем более, что благодаря военной карьере и миловидной наружности места сколько угодно»[193]. Вышло так, что и место, и жениха Лиза нашла в семье Куприных. Мария Карловна возьми да и предложи «бедной родственнице» поработать бонной их дочери Лиды, а та возьми и согласись.

В начале мая 1906 года все вместе они выехали в Даниловское, родовое имение Федора Дмитриевича Батюшкова (о нем мы подробнее расскажем позже).

Считается, что именно в Даниловском случилось зарождение романа Куприна и Лизы, но четкой картины не выходит. Их дочь Ксения, вспоминая семейные рассказы, писала:

«В Даниловском Куприн... влюбился в Лизу. <...> Однажды во время грозы он объяснился с нею. Первым чувством Лизы была паника. Она была слишком честной, ей совсем не было свойственно кокетство. Разрушать семью, лишать Люлюшу отца казалось ей совершенно немыслимым, хотя у нее зарождалась та большая, самоотверженная любовь, которой она впоследствии посвятила всю жизнь.

Лиза... обратилась в бегство. Скрыв ото всех свой адрес, она поступила в какой-то далекий госпиталь, в отделение заразных больных, чтобы быть совсем оторванной от мира»[194].

Полная абракадабра. Госпиталь — это, скорее всего, больница, где Лиза работала еще до поездки в Даниловское. И никакого бегства не было. Осенью, уже после Даниловского, Мамин писал матери, что у них гостили дочка Куприных Лида и Лиза в качестве ее бонны. Вера Николаевна Бунина вспоминала, как они с Буниным в то же время обедали у Куприных, Иван Алексеевич поцеловал руку у гувернантки Лизы, а Куприн, багровея, заорал: «Ты знаешь, что у барышень руки не целуют!»[195] Очевидно, что он был влюблен, если так ревновал, но Лиза жила у них на Разъезжей, никуда не сбегала.

Есть и другие несостыковки. Той же осенью Куприн расточал в письме комплименты Марии Павловне Чеховой:

«Дорогая Мария Павловна! <...>

Вы помните, Бодлер как-то сказал:

"Я испытал в жизни все неистовства любви. Я знал великанш, карликов, уродов. Но каждый раз, когда я встречал чистую, изящную женщину с нежной душой, мне хотелось носить ее на руках и плакать от умиления".

По отношению ко мне это сказано, конечно, слишком густо. Но нечто подобное я всегда испытывал к Вам.

Я думаю о Вас часто, часто... Рад, что Вы позволяете мне это.

С наслаждением помчался бы в Москву. Но звено за звеном сковывает меня дурацкая, скучная, обязательная работа. Впрочем... и цепи ведь разрываются. Я постараюсь.

Ваш душою, умом и сердцем

А. Куприн»[196].

Их встреча в Москве состоялась, но закончилась не очень хорошо — Куприн уехал, не попрощавшись. Так завершился этот флирт. Следующим летом Александр Иванович уже приедет в Ялту с новой женой, а Мария Павловна замуж не выйдет никогда. Ни в одной биографии Куприна нет упоминания об этой истории его сердца, но ведь она была.

Так что же получается? Думаем, объяснение с Лизой случилось гораздо позже лета 1906 года. Однако в Даниловском все-таки разыгралась семейная драма с бурным выяснением отношений. Какую-то роковую роль в этой драме сыграл Батюшков, который чуть позже пожалуется в письме Владимиру Галактионовичу Короленко: «...мне — невинно виноватому в разъезде — приходится расхлебывать и думать за других <...> Надо мне было уйти из журнала два года назад. Я это чувствовал, но смалодушничал»[197]. Почему невинно виноватому? То ли потому, что на самом деле не давал никаких поводов для ревности, то ли потому, что решающая ссора произошла в его имении Даниловское. Чувством вины Федор Дмитриевич будет угрызаться много лет и сделается добрым ангелом Куприна, взвалив на себя всю ответственность за его выходки. Отчего бы, спрашивается?..

Корней Чуковский прямо писал, что Батюшков «...б<ыл> влюблен в Марию Карловну Куприну. Та над ним трунила — и брала взаймы деньги для журнала "Мир Божий". <...> Он закладывал имения — и давал, давал, давал...»[198]. А ведь Федор Дмитриевич, пожалуй, был хорошей партией для Марии Карловны. Выходец из старинного дворянского рода, уважаемый ученый, светский человек. Учитывая то, что Куприна почти никогда не было дома, сближению Марии Карловны и Батюшкова ничто не препятствовало.

Федор Дмитриевич был холост; его личная жизнь не сложилась. В молодости он сватался к дочерям ректора Санкт-Петербургского университета Бекетова, сначала к Александре, затем к Екатерине. Получил отказы. В первом случае это было во благо русской литературы: Александра Бекетова выйдет замуж за Александра Львовича Блока и родит сына Сашу, который станет великим поэтом.

Вряд ли Мария Карловна отвечала Батюшкову взаимностью, скорее она придумала этот роман, чтобы позлить мужа. Во всяком случае, уже после разрыва с ней Куприн напишет Батюшкову:

«Помни, ради Бога, что я не только люблю тебя несравненно, но и горжусь твоей дружбой. Могу ли я дурно говорить о тебе? Подумай!

Иногда я бывал несправедлив к тебе, но только тогда, когда М<ария> К<арловна> уверяла меня, что ты был ее любовником. Я не верил, но впадал в сильное бешенство.

Она выдумывала про тебя дурацкие анекдоты, выдумывала прозвища и через день ссылалась на меня!»[199]

Обращение к Батюшкову на «ты» тоже появилось после Даниловского. Федор Дмитриевич приезжал туда, у них с Куприным состоялся какой-то задушевный разговор, после которого и случились такие метаморфозы. Потом была поездка в Крым (с инцидентом в Балаклаве), все еще с Марией Карловной, а под новый, 1907 год Куприн приехал в Даниловское уже один. Оттуда просил Батюшкова: «Напиши мне, прошу тебя, о Марии Карловне. Ты знаешь все, что меня интересует. Потому что я, вопреки моим героическим решениям, уже тоскую и скулю. В Даниловском мне всё-всё напоминает лето, и ее, и Люлюшку. Ты ведь понимаешь всю горькую сладость и неисходную тихую печаль этих воспоминаний...»[200]

Во-первых, неясно, о каких героических решениях идет речь. Во-вторых, совершенно очевидно, что он все еще любит свою жену.

Даниловское «зацепило» Куприна не только волнующими воспоминаниями. Здесь, в огромном господском доме постройки конца XVIII столетия*, он мог почувствовать себя и владельцем «дворянского гнезда», и опять же лейтенантом Гланом. Это была непролазная глушь по соседству с городком Устюжна — тем самым, где произошел случай с самозванцем, принятым за ревизора, «подаренный» Пушкиным Гоголю для его будущей комедии. Даниловское чем-то походило на Балаклаву, только там были море и рыбалка, а здесь лес и охота. Александр Иванович полюбит это место, многое здесь напишет. Сейчас же, в начале 1907-го, он вернулся из Даниловского в Петербург в состоянии близком к помешательству. Поселился в «Пале-Рояле», но на Разъезжей иногда появлялся. Мария Карловна тактично писала, что у него начались приступы неврастении, и приводила пример. Как-то они с Батюшковым пришли после премьеры пьесы Леонида Андреева «Жизнь человека» **, и

---

* Ныне Музей-усадьба Батюшковых и А. И. Куприна.

** Премьера пьесы «Жизнь человека» состоялась 22 февраля 1907 года в Театре В. Ф. Комиссаржевской.

на мрачный вопрос мужа: как пьеса? — она посмела сказать, что пьеса хороша. Александр Иванович, прикуривая в этот момент, бросил горящую спичку на подол ее газового платья... 28 февраля Чуковский по секрету написал Валерию Брюсову: «Куприн заболел белой горячкой»[201].

Если верить Марии Карловне, то ее муж был болен. Если верить Ксении Куприной, то в это время он уже страдал по Лизе и поэтому был не в себе. В любом случае, Куприн больше себя не контролировал и его срочно нужно было лечить. Вот в этот-то момент и появилась Лиза, без которой (опять же согласно мифу) он не смог бы победить запой. Вроде бы с ней встретился Батюшков и использовал все методы убеждения: мол, вся надежда только на нее, от нее зависит будущее русской литературы, она должна дать Александру Ивановичу шанс начать новую жизнь и т. д. Лиза поверила, ведь она своими глазами видела такое преображение: буйного и пьющего Мамина-Сибиряка «тетя Оля» вполне цивилизовала. Одним словом, она согласилась ехать с Куприным в клинику в Гельсингфорсе.

Вышел страшный скандал. Потрясенный Фидлер записал в дневнике: «...Куприн находится в Гельсингфорсе, причем с гувернанткой своей дочери. Это — не кто иная, как Лиза, то есть Елизавета Морицовна Гейнрих, милое и невинное существо... родная сестра Маруси, покойной "жены" Мамина; есть подозрение, что Мамин и сам был влюблен в нее. Какой это для него удар! Говорят, что Муся желает развестись с Куприным»[202].

Семья Маминых сразу отреклась от Лизы. Возмущенная «тетя Оля» жаловалась свекрови: «...Лиза порадовала нас, и при этом имела дерзость написать Мите очень развязное письмо, оправдывая себя тем, что каждый человек имеет право на частичку счастья. Митя ей, кажется, не ответил на такое похабное письмо»[203]. Хороша частичка счастья! Три недели избранник Лизы лечился в закрытой клинике от алкоголизма, а сама она жила в пансионе. Что у них были за свидания? Скорее встречи медсестры и больного.

У обоих было время подумать, и думы их не могли быть веселыми. Самый трудный вопрос — пятилетняя дочь Куприна Лида. Александр Иванович страдал от того, что бросает ее, а Елизавета Морицовна — что оставляет без отца эту девочку, которую хорошо знала и любила. Они даже решили как-то отобрать Лиду у Марии Карловны, которую Куприн считал плохой матерью. «Конечно, ей хорошо на каждом шагу совать мне Люлюшу, — жаловался он Батюшкову

в письме. — Это и выгодно и выставляет ее в привлекательном свете — любящей матери, оставленной негодяем мужем. Я для Люлюши готов сделать решительно все, что в моих силах. Что же касается Ел<изаветы> Морицовны, то она Люлюшу любит чуть ли не более, чем я, и всякий намек на то, чтобы девочку ограничить чем-нибудь, ее возмущает. Но ведь самая-то жизнь Люлюши при ней будет несчастная. М<ария> К<арловна> только притворяется любящей матерью. <...> Вся ее забота о Лидуше заключалась только в том, что она по утрам брала ее в грязную постель и давала ей играть косой или, уезжая из дома, дразнила ее: “а мама уезжает, бедная мама, а тебе не жаль мамы?” и т. д. <...>»[204].

Тридцать первого марта 1907 года Мария Карловна официально объявила о начале бракоразводного процесса. Эта весть огорошила Любовь Алексеевну Куприну, мать писателя. Она не приняла Елизавету Морицовну. Отвернулась от Куприна и сестра Соня.

Начинался этот роман непросто. Однако «медовый месяц» для своей новой избранницы Александр Иванович организовал: Одесса, а оттуда в Крым.

Второе дыхание

Новая любовь подарила Куприну второе дыхание. В первые годы жизни с Елизаветой Морицовной он напишет те произведения, что принесут ему репутацию «генерала от русской литературы». Не все, правда, считали их талантливыми. Георгий Адамович писал:

«Имя Куприна было популярно в России после выхода “Поединка”. Некоторые критики видели в нем законного наследника русского литературного престола и, в подтверждение своего мнения, ссылались на отзыв Толстого. Как все знают, Толстой был крайне суров в оценке новейшей беллетристики: два-три его снисходительно-ласковых слова о Куприне были поэтому сильнейшей поддержкой.

Но мало-помалу внимание к Куприну ослабевало. Его не перестали читать, но о нем перестали говорить. Всё, что последовало за “Поединком”, убедило даже самых горячих поклонников Куприна, что художественные средства его ограничены, вкус не безупречен и кругозор не широк. <...>

Поэтому, мне кажется, Куприна будут читать только до тех пор, пока жив быт, который он отразил. Его творчество преходяще, как все, что создано не-поэтом»[205].

Жизнь показала, что Адамович заблуждался: читать со временем перестали как раз «Поединок», а «Гранатовый браслет» и «Гамбринус» любят до сих пор. Именно в них Куприн оказался поэтом.

Писатель прекрасно понимал, что нельзя останавливаться на «Поединке». Эта повесть должна была стать началом чего-то нового, освободив его от груза армейского прошлого. Но каким должно быть это новое? Что заинтересует читателя теперь, когда революция пошла на спад?

Критики подзадоривали. «Первый крупный успех Куприна — его “Поединок”, — писал в обзоре журнала «Весы» Евгений Аничков. — Но в “Поединке” читали не столько его, сколько какого-то воображаемого русского Бильзе. Этому дало повод художественное несовершенство повести для одних, а для других страстное желание иметь своего Бильзе, и именно Бильзе, а не Куприна или вообще художника. И Куприну грозила опасность стать автором “Поединка”. Опасность серьезная. К чести его как художника надо прежде всего сказать, что эту опасность он благополучно миновал»[206]. И критик хвалил только что вышедший в издательстве «Мира Божьего» третий том рассказов.

«Не увидишь ли ты Аничкова? — спрашивал Александр Иванович в письме Батюшкова. — Или не знаешь ли ты его адреса? <...> Он очень умно, ловко и по-дружески отцепил меня от “Поединка”, к которому меня ни с того ни сего хотят притачать на веки веков»[207].

Расхваленный том рассказов был выслан Толстому в Ясную Поляну, и в ответ оттуда пришел его портрет с автографом. Он занял место рядом с портретом Чехова и стал самой дорогой реликвией нашего героя.

Расставшись с Марией Карловной, писатель больше не хотел снабжать своими рассказами «Мир Божий», возродившийся после запрета под названием «Современный мир». Оставаясь членом редакции, он был обязан что-то туда давать, и давал, но большей частью литературные рецензии. Последний рассказ — «Гамбринус» (1907) — был напечатан в журнале как раз в момент ссоры Куприных.

В то время в обществе и, разумеется, в литературе началось осмысление прошедших кровавых событий 1905–1906 годов. В их оценке интеллигенция, — и без того расколотая на монархистов и марксистов, консерваторов и социал-демократов, патриотов и либералов, — разделилась на тех, кто вступал в Союз русского народа, и тех, кто сочувствовал еврейству, скопом обвиняемому противоположной

стороной в организации и разжигании революционных беспорядков. Куприн примкнул к сочувствовавшим, показав в «Гамбринусе» трагедию еврея-скрипача из одесской пивной.

Казалось бы, чем, помимо политики, оригинально это произведение? И «маленьких людей» в русской литературе достаточно, и нравы питейных заведений Куприн описывал и до этого, но своим «Гамбринусом» он сразу вписался в городской миф. Это талант: уловить настроение, атмосферу города. Гости Одессы и сегодня приходят в Литературный музей, чтобы увидеть памятник герою купринского рассказа. Сидит Сашка-музыкант на бочке, играет на скрипке, и сам он зачарован своей мелодией. А неподалеку, на Дерибасовской, слушают скрипачей посетители нынешнего «Гамбринуса», потягивая фирменное пиво. Это не тот подвал, где разворачивалось действие купринского рассказа, но не будь того, не было бы и этого. И, уж конечно, одесситы (без ссылок на источники!) рассказывают налево и направо, что Александр Иванович дружил со скрипачом Сашкой, что подарил ему журнал с напечатанным рассказом, да еще и серебряный портсигар в придачу[208].

Тот, купринский «Гамбринус» помещался на Преображенской, 32. Его мир и воссоздал писатель, смешав внешние реалистические приметы с глубокой романтической, мифопоэтической образностью. В рассказе за очерковой поверхностностью видна архаичная двухуровневая структура «верхнего» и «нижнего» города. Первый ослепляет фальшивым блеском и огнями, второй, подземный, «ископаемый», мир пивной-подвала, поражает ощущением ада: «Становилось все жарче. С потолка лило, некоторые из гостей уже плакали, ударяя себя в грудь, другие с кровавыми глазами ссорились из-за женщин и из-за прежних обид и лезли друг на друга». Выразителен образ «капитана» этого преисподнего ковчега — инфернальной буфетчицы с маской вместо лица: «...полная, бескровная, старая женщина, которая от беспрерывного пребывания в сыром пивном подземелье походила на бледных ленивых рыб, населяющих глубину морских гротов. Как капитан корабля из рубки, она с высоты своей буфетной стойки безмолвно распоряжалась прислугой и все время курила, держа папиросу в правом углу рта и щуря от дыма правый глаз. Голос ее редко кому удавалось слышать».

На фоне этих Дантовых картин жизни Вечного города личная история Сашки-музыканта, на наш взгляд, вы-

глядит как-то мелковато. Вот он пошел на Русско-японскую войну, потом пришел, потом грянул 1905 год, потом он попал в участок по политическому делу (разбил скрипку о голову провокатора) и вернулся искалеченным: левая рука, обычно державшая скрипку, была приворочена локтем к боку, а пальцы торчали у подбородка. Однако неугомонный музыкант достал окарину и засвистал: «Человека можно искалечить, но искусство все перетерпит и все победит».

Давно установили прототип Сашки — Александр Яковлевич Певзнер — и даже нашли его фотографию 1910 года. Поразились, что внешне не похож он на купринского героя, моложе, да и больно презентабелен. И с руками у него все в порядке, хотя Куприн напустил тумана, рассказывая друзьям, что оказался провидцем: когда писал рассказ, Сашке ничто не угрожало, а «через год или полтора после напечатания рассказа... жизнь проделала над этим героем все так, как было описано у Куприна»[209].

Как было на самом деле и читал ли скрипач Певзнер «Гамбринус», кто теперь скажет? А вот о том, что балаклавский рыбак Коля Констанди прочитал рассказ «Господня рыба» (1907), где Куприн сделал его имя достоянием широкой общественности, известно доподлинно. После выхода рассказа скромный «атаман рыбачьего баркаса Коля Констанди, настоящий соленый грек, отличный моряк и большой пьяница», не знал отбоя от дачников, которые хотели кататься только на его «Светлане».

Куприн, возможно сам того не осознавая, нашел в «соленом греке» своего Макара Чудру, свою Старуху Изергиль, романтического героя, вдохновенного рассказчика, пленяющего верой в чудо. Портрета Коли нет в «Господней рыбе», не появится в дальнейшем, а он станет сквозным героем нескольких произведений. Внешность — это преходяще, это неважно. Главное — душа, дух этого человека, сотканный из бурь и бризов, гулкой памяти древней земли. И что с того, что на самом деле Коля был прозаический толстяк и носил кличку Подтяжка? Что домик его, сохранившийся в Балаклаве, неказист?.. В «Господней рыбе» он предстает Учителем Куприна, кладезью рыбацкой мудрости и всяких морских сказок: «Живет где-то среди моря, на безлюдном острове, в глубокой подводной пещере царь морских раков. Когда он ударяет клешней о клешню, то на поверхности воды вскипает великое волнение».

Сохранился отзыв Коли Констанди на «Господню

рыбу». Шуточно адресуя свое письмо «капитану каботажного плавания А. Куприну», Коля сетовал, зачем тот придумал легенду о царе морских раков. Он не говорил такого: «Это вы написали ерунду и даже чепуху. Такого большого рака быть не может. Про Летучего Голландца — это правда. Я сам о нем слышал. А вот рак — бабьи сказки». Кто-то из балаклавских «соленых греков» сделал сверху приписку: «брехуну писателю»[210].

«Господня рыба» откроет целый балаклавский цикл очерков и рассказов, который писатель назовет «Листригоны». Это тоже слово из мифа: Гомер называл «лестригонами» (через «е») кровожадных великанов, напавших на Одиссея и его спутников в 10-й песне «Одиссеи». Они жили по берегам пиратского залива, описание которого у Гомера удивительно напоминает балаклавскую бухту. «Листригоны» по праву считаются вершиной творчества Куприна. Это сплав поэзии и прозы, это щемящее признание в любви и одновременно прощание с потерянным раем...

То, что рай потерян, Александр Иванович понял во время «медового месяца» с Лизой. По его просьбе Батюшков просил ходатайствовать об отмене запрета на въезд в Балаклаву сенатора и члена Государственного совета Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского. Вот отрывок из его прошения, поданного Столыпину:

«Дело идет об одном очень талантливом беллетристическом писателе — Александре Ивановиче Куприне, владельце маленького участка земли и виноградника в Балаклаве. Он был выслан оттуда по распоряжению генерала Неплюева за то, что произносил какие-то буйные речи.

Может быть, суровая мера изгнания его из единственного собственного угла, в котором он может преклонить свою буйную голову, и была временно необходима. Но с тех пор он вполне протрезвился, пройдя полный курс лечения в санатории близ Гельсингфорса, откуда медики послали его на полное выздоровление на юг, советуя ему окрепнуть, работая в своем саду и на рыбной ловле и доканчивая живо его интересующее высокохудожественное произведение — начатую повесть.

Он художник в душе и революционером никогда не был, о чем свидетельствует его служба в рядах русской армии (где он был офицером).

Возвращение в родной угол, на собственную землю, в обстановку мирных и любимых занятий есть единственный луч спасения для гибнущего таланта и вот почему я реша-

юсь обратиться к Вашему великодушию с ходатайством о возвращении Куприна в Балаклаву в надежде, что присутствие его там в своем скромном уголке, при некотором надзоре за ним близких, никому никакого вреда принести не может».

Ходатайство не помогло.

Александр Иванович не стал испытывать судьбу, заявившись в Балаклаву «на авось», — не хватало, чтобы повторилось прошлогоднее унижение. Он с Елизаветой Морицовной остановился в Гурзуфе — сказочном местечке под Ялтой. Можно представить, с какой тоской писатель смотрел на древние башни Балаклавы, когда проходил мимо них на пароходе. «Я решил продать Балаклаву за шесть тысяч рублей, — писал он Батюшкову из Гурзуфа, — из которых большую половину отдам Марии Карловне. Подумай, платить каждый месяц сторожу, платить налоги, платить работникам, садовникам, в плодовых питомниках и т. д. и т. д. — и не иметь возможности даже выехать в эту землю обетованную — ужасно оскорбительно! Доверить же все это Марии Карловне никак нельзя. Она не будет ровно ничего платить, земля останется без призора, виноградник быстро выродится и станет не плюсом, а минусом земли, фруктовые деревья одичают и земля потеряет стоимость»[211].

В таких невеселых мыслях, все еще тяжело переживая семейный разрыв, Куприн открывал любимой женщине Крым. Апрельский, пасхальный, барский и взбалмошный Крым, когда-то ослепивший и зачаровавший его, начинающего писателя из провинции. Он приезжал сюда с первой женой, теперь вот привез возлюбленную.

Об этих днях напоминают несколько фотографий. На одной Куприн с Лизой запечатлены верхом; на другой позируют на веранде, увитой гроздьями глицинии. На третьей веселая компания пирует на винзаводе в Массандре. Рядом с Куприным, нахлобучившим на голову турецкую феску, сидит на бочке крошечная Лиза. Куприн со стаканом в руке.

Полностью отвратить его от спиртного Елизавете Морицовне не удалось. И санаторий не помог. Однако она держала его на «порционных выдачах», разрешала выпить за обедом, но в меру. Видимо, поначалу он слушался, потому что был влюблен.

Этому душевному подъему мы обязаны появлением рассказа «Суламифь» (1907) о любви царя Соломона и простой девушки из виноградника. «Сцены в “Суламифи” таковы, — признавался автор Батюшкову, — что я должен

часто выбегать на улицу и глотать снег для охлаждения и приведения себя в нормальное состояние»[212].

К слову, этот рассказ наряду с «Гамбринусом», похоже, сделал Куприна героем еврейского народа. Так, в качестве писателя, целовавшего еврейским женщинам руку со словами «Нижайшее мое почтение царице Саломее», изобразил Куприна в романе «Мэри» (1912) еврейский писатель Шолом Аш.

По возвращении в Петербург Куприн поселился в пригороде столицы Гатчине. Думаем, потому, что не хотел встречаться с людьми из той жизни, в которой он был мужем Марии Карловны. Елизавета Морицовна, напротив, пыталась навести мосты с близкими, ведь очень любила и Мамина-Сибиряка и Аленушку, но Гувале была непреклонна. Александру Ивановичу доброжелатели донесли, что Мария Карловна уже утешилась в обществе Николая Иорданского.

Это был удар! Иорданского трудно было вынести не только из-за ревности и уязвленного самолюбия. Он был хорош собой и считался по тем временам романтическим героем, которым Куприн так и не стал. Революционер с большим стажем (товарищами его студенческих лет были Борис Савинков, тогдашний руководитель Боевой организации эсеров, и член этой организации Иван Каляев, убивший 4 февраля 1905 года великого князя Сергея Александровича, генерал-губернатора Москвы), Иорданский в дни революции входил в состав Петербургского совета рабочих депутатов вместе с Троцким. На VI (Объединительном) съезде РСДРП в Стокгольме (10–25 апреля 1906 года) он был избран кандидатом в члены ЦК. В «Мире Божьем» Иорданский печатался с 1903 года, с 1905-го стал членом редакции. Напомним: именно из-за его статьи журнал был запрещен.

Мария Карловна вспоминала, что муж (пока еще законный) пришел на Разъезжую и чуть ли не с порога заявил: «Твой верный песик побегал, побегал и вернулся». А потом спросил в лоб:

«— Слышал я, что мое место занял сосиаль-демократ Иорданский <...> Но это неправда?

— Правда.

— Нет, неправда! Скажи мне, скажи, что это неправда, и даю слово, что я тебе поверю.

— Это правда, Саша.

Он молча встал, взял свой потрепанный старый чемодан и, слегка горбясь, пошел к двери»[213].

Мария Карловна не стала его останавливать; она знала, что Елизавета Морицовна уже беременна. Разрыв с мужем дался ей нелегко, из-за стресса обострился процесс в легких, она кашляла кровью. «Я очень любила твоего отца, Лиданька, — писала она своей дочери много лет спустя, — и решиться разойтись с ним было очень трудно, но когда я убедилась в том, что больше не могу служить ему опорой и поддержкой потому, что он сам же довел меня не только до острой неврастении, но даже и до более серьезного нервного расстройства, то я порвала с ним, и было действительно лучше для нас обоих, потому что каждый устроил свою дальнейшую жизнь по-своему, и мы перестали, наконец, мучить друг друга с ожесточением, на которое способны только страстно любящие люди»[214].

Куприн действительно устроил свою дальнейшую жизнь. Что же касается Марии Карловны, то здесь поначалу все обстояло сложнее. Мы не стали бы отметать версию о том, что она была для Иорданского заданием партии. Став ее гражданским, а затем законным мужем, Иорданский занял пост редактора «Современного мира», и социал-демократы получили в свое распоряжение популярный толстый журнал с приличным тиражом.

Мария Карловна не скрывала, что Иорданский не хранил ей верность, что на него «женщины вешались, как на вешалку»[215]. Перед подругами она кокетничала: «Не везет мне <...> Первый муж пьяница. Второй социал-демократ. Не знаю, что хуже»[216]. На самом деле, Иорданский тоже выпивал, и его вспоминали как завсегдатая кабаре «Бродячая собака». Молотов рассказывал о том, как встретился с ним в 1917 году в президиуме Петросовета: «Этот Иорданский был, так сказать, выпивоха большой. <...> У него все дела вела некая Мария Карловна, которая вместе с ним жила»[217]. Как пренебрежительно: «вместе с ним жила». В этакой-то обстановочке кому было дело до Лиды Куприной? Александр Иванович не зря беспокоился.

Наш герой не прощал обид и хорошо умел мстить печатным словом. Полагаем, что его ответом жене и Иорданскому стал рассказ «Морская болезнь» (1908). Героиня, социал-демократка с безликой фамилией Травина, плывет на пароходе из Одессы в Ялту, где ее должен встречать муж, тоже социал-демократ. В пути она страдает приступами морской болезни, при которых реальность куда-то уплывает, сознание двоится, троится. Привычная, размеренная жизнь осталась где-то там, на берегу, и там же вернется, а

пока Травина во власти моря и пароходной команды. Под предлогом отдыха от качки в свою каюту ее заманивает помощник капитана, и в каком-то полуобморочном мареве она с ужасом понимает, что происходит. Потом помощник капитана отдает ее юнге, потом снова приходит сам... На ялтинском причале она видит мужа, который вроде бы такой же до боли родной, а вроде бы уже и какой-то скучный. Не в силах снести позор случившегося, ночью она признается ему во всем. И что же? В ответ слышит какие-то банальные, книжные фразы. Скука, скука...

Возможно и то, судя по определенной символике сюжета, что Куприн всё прекрасно понимал про «задание партии», и содержание рассказа шире семейной разборки (что уловил Горький, но об этом чуть ниже).

«Морская болезнь» наделала шума. Критики были озадачены грубостью и пошлостью рассказа, тем более что его первоисточник в те годы знали все — была в ходу такая народная песня «Однажды морем я плыла»: героиня укачалась на пароходе, капитан в каюту пригласил, шампанского налил, через год родился сын, и т. д. Однако Александр Иванович и хотел, чтобы всё было пошло и мерзко. Его коллеги, не зная истинных мотивов, встревожились, увидев в «Морской болезни» симптом погружения в порнографическое болото, разлившееся в то время шире некуда.

Куприн без всяких видимых причин
в «Морской болезни» смело
разделся неумело... —

иронизировал Саша Черный, ведущий поэт только что появившегося журнала «Сатирикон».

На Капри огорчился Горький: «...Куприн... предал социал-демократку на изнасилование пароходной прислуге, а мужа ее, эсдека, изобразил пошляком»[218] . И еще резче высказался в одном из писем: «Не находите ли вы, что армейский поручик Куприн слишком часто сморкается на социал-демократию? Талант хорошо, но скандалить не обязательно»[219]. Революционная миссия Куприна далее уже была невыполнима, Горький это понял.

В то же время массовый читатель, охочий до «клубнички», читал «Морскую болезнь» взахлеб и верил, что это быль. Даже много лет спустя, в 1920 году, Борису Лазаревскому в Константинополе показали пароход «Трувор», на котором якобы служит тот самый помощник ка-

питана по фамилии Марандо, описанный Куприным. Сгорая от любопытства его увидеть, Лазаревский записывает в дневнике:

«Для этого я даже поеду на пароход. Нужно посмотреть такую знаменитость.

Тамаре (подруга Лазаревского. — *В. М.*) он очень нравится.

Помощник этот говорит о случае “Морской болезни”: “Бог послал мне в каюту счастье...”

Я совершенно согласен с такой точкой зрения»[220].

Когда эту запись прочитает сам Куприн, Лазаревский с его слов сделает сноску: «Он соврал. Куприн выдумал. Paris 1921».

Итак, социал-демократам Александр Иванович отомстил. Финансовые дела с Марией Карловной кое-как решил, передав им с Лидой большую часть своих авторских отчислений. Он остался членом редколлегии «Современного мира». Творческие связи с первой женой не прекратятся, она будет самым преданным его читателем и критиком. Елизавета Морицовна здесь недотягивала. Может быть, поэтому, когда после разрыва с Марией Карловной Куприн взялся за «Яму», некому было его удержать от этого шага.

Так называется повесть о публичных домах, вызвавшая едва ли не больший скандал, нежели «Поединок». Есть уверенность, что это был заказ от альманаха «Земля», специализировавшегося на подобной тематике, и часть работы у Куприна уже была сделана. В романе «Нищие», который ему никак не давался, по воспоминаниям, был такой сюжет: Ромашов выздоравливает после дуэли, подает в отставку, переезжает в Киев, становится репортером и однажды в публичном доме встречает Шурочку. Та рассказывает, что муж провалил экзамены в академию и застрелился... Видимо, отложив рукопись, писатель развил именно этот ее фрагмент в отдельное повествование. Эскизно «Яма» была набросана уже в рассказе «Штабс-капитан Рыбников». Старт взят. Теперь нужно сесть и написать повесть. Но как сесть?!

Внешние обстоятельства этому мало способствовали. Елизавета Морицовна, будучи на последних месяцах беременности, ослабила вожжи, и Куприн снова запил. Теперь его часто видели в петербургском богемном ресторане «Вена» на углу улиц Гоголя, 13 (Малой Морской), и Гороховой, 8. Владелец уж и не знал, чем угодить Александру Ивановичу, на которого публика шла валом. Кто-то даже пустил по Петербургу шутку:

Ах, в «Вене» множество закусок и вина.
Вторая родина она для Куприна...

В апреле 1908 года пошла гулять и другая эпиграмма, написанная поэтом-сатириконцем Петром Потемкиным:

Водочка откупрена,
Плещется в графине...
Не ругнуть ли Куприна
По этой причине?

В том же апреле в «Сатириконе» (№ 3) появилась характерная карикатура: Александр Иванович, криво восседая за столом в «Вене», уже спит (видны белки закатившихся глаз), однако огромной ручищей властно удерживает полную рюмку. Под рисунком ядовитая подпись: «Поединок».

Свиту своих собутыльников Александр Иванович теперь называл «венскими друзьями». Вокруг него вились знакомые нам Маныч, Вася Регинин, но появились и новые персонажи. Например, критик Петр Моисеевич Пильский, сотрудник «Современного мира», бывший юнкер того же 3-го Александровского военного училища, которое окончил Куприн. Пильский входил тогда в моду, чему немало способствовала его близость к Куприну. Александру Ивановичу импонировала задорная злость Пильского, о чем говорит сохранившаяся эпиграмма:

— Чтоб не писать безграмотные басни,
Навек угасни!
И на холме крутом
с отвагой фермопильской
Надгробный камень твой
обгадит критик Пильский.

(1909)

Очень близко к нашему герою подобрался и Александр Иванович Котылев, тезка и редкий нахал. Он зарабатывал литературным маклерством: брал у писателей рукописи, пристраивал их, получая за это проценты. Славился Котылев и редким умением выбивать (иногда в прямом смысле) авансы из издателей.

В этой компании Куприн шумно отмечал радостное событие: 21 апреля 1908 года у него родилась вторая дочь, которую назвали Аксиньей (Оксаной, Ксенией). Ее имя, правда, на французский манер — Кисá Куприн — через

20 лет прогремит в европейском кинематографе. У этой девочки будет более счастливая судьба, чем у Лиды Куприной, которую отец все еще пытался как-то отобрать у Марии Карловны.

«Лиза Гейнрих мало того, что отбила у Муси мужа, хлопочет еще и о том, чтобы отбить у нее ребенка», — рассказывал Мамин-Сибиряк матери в том же апреле 1908 года. И дальше сообщал:

«А наша Лиза... недавно произвела на свет девочку. Бедный ни в чем не повинный ребенок.

Сам же Куприн безнадежно погибший человек... запойный... и пока его спасает только богатырское здоровье... Но все это до поры — до времени...»[221]

Маминых не разжалобило рождение Ксении. Счастливая мать послала им фотографию младенца, но скоро получила ее обратно. Не лучше повела себя и Любовь Алексеевна Куприна. Приехав погостить в Гатчину, она всем своим видом выказывала неодобрение, к внучке почти не прикасалась. Потом все-таки взяла на руки. Обрадованная Елизавета Морицовна хотела сделать фотографию, но Любовь Алексеевна спешно положила ребенка обратно... Никем не одобряемый младенец, которого нельзя было даже крестить! Родители не венчаны, и сделать это невозможно, пока не получен развод.

В эти же дни закончилось слушание дела, возбужденного против Куприна адмиралом Чухниным, уже покойным. Писателю, за давностью лет, был вынесен смехотворный приговор: штраф 50 рублей с заменой арестом на 10 дней в случае несостоятельности. Вот она, цена потерянной Балаклавы!

Исполнение приговора, однако же, затянулось. Куприна не могли найти. Сначала он был в Ессентуках, где лечился от ишиаса, потом уехал в Даниловское, где закончил первую часть «Ямы». В мельчайших деталях, с запахами, звуками, слухами, писатель изобразил один день из жизни «двухрублевого заведения Анны Марковны» в неназванном большом южном городе, на Большой Ямской улице. Обитательницы заведения едят, пьют, развратничают, рыдают, дерутся, и все это сопровождается рассуждениями автобиографического героя с философской фамилией Платонов. О том, что весь ужас существования домов терпимости в том, что нет никакого ужаса, все к этим домам привыкли; что «наши русские художники слова — самые совестливые и самые искренние во всем мире художники — почему-то

до сих пор обходили проституцию и публичный дом». Под воздействием этих обличительных речей один из героев повести, студент Лихонин, решается спасти падшую душу: забирает из публичного дома проститутку Любу. На этом первая часть обрывается.

Александр Иванович продал рукопись «Московскому книгоиздательству» (которое выпускало альманах «Земля»), получил гонорар, собрал вещи и... окончательно исчез из Петербурга.

Житель города Житомира

Мало кто знает, что формально до конца своих дней Куприн оставался жителем Житомира. В этом городе в августе 1909 года он получил новый паспорт, с ним 17 лет прожил в эмиграции и в конце концов вернулся в СССР. Этот документ хранится в купринском личном фонде ИРЛИ РАН, и до сих пор так и не найден внятный ответ на вопрос: какая нелегкая занесла писателя в Житомир?

Сам Александр Иванович в интервью представлял все так — мол, просто решил «осесть на земле»: «Моя давнишняя мечта иметь свою землю, заниматься садоводством и огородничеством. Я уже было осуществил это в Балаклаве, где приобрел имение и посеял виноград. Но меня лишили радости видеть плоды моих трудов»[222]. Однако разве нельзя было заняться тем же, к примеру, в Одессе? Батюшков утверждал, что его друг поехал в Житомир изучать нравы публичных домов, что было необходимо для продолжения «Ямы». Тоже слабый аргумент: публичных домов хватало повсюду. Так почему же Житомир?

При активной помощи местного историка Игоря Валерьевича Александрова, сопоставив массу фактов, мы пришли к единственно возможному объяснению. Осенью 1908 года сестра писателя Зинаида Нат вступила во владение усадьбой в Житомире, наследством от свекра*. В отличие от матери и сестры Софьи, она не отвернулась от брата после его разрыва с Марией Карловной. Зинаида Ивановна, невестка и жена уважаемых в городе Натов, возможно, могла помочь Куприну узаконить его новую жену и дочь. Мы не станем уходить в хитросплетения юридических фор-

* Дом Натов стоял на углу Киевской улицы и переулка Кудрявцева (ГАЖО. Ф. 27. Оп. 1. Д. 10918. Л. 2–3); он не сохранился. Сведения предоставлены И. В. Александровым.

мальностей тех лет, просто отметим: как только Александр Иванович сумеет узаконить свою семью, он из Житомира уедет.

Куприн прожил в этом маленьком волынском городке всего полгода, но память по себе оставил громкую. Здесь с ним случилось несколько историй такого рода, что в летописи провинции они составили целую авантюрную главу, а городским властям в то непростое пореволюционное время доставили немало хлопот. Его надолго запомнили и местный полицмейстер, и надзиратель его околотка, и, конечно, городовые, к помощи которых не раз прибегала Елизавета Морицовна, разыскивая мужа.

Писатель успел сменить в Житомире как минимум три адреса. Сначала он остановился у сестры, затем в доме по улице Хлебной, 15, на котором сегодня висит мемориальная доска*. В то время дом принадлежал генералу Бадаеву, и его дочь вспоминала, что Елизавета Морицовна видела мужа редко, гораздо чаще его видел сброд из шинка еврея Пини на Соборной площади. Ах, какую здесь готовили фаршированную рыбу! А «заїдки», каменные крендели, обсыпанные солью?! А сушеная тарань, такая дубовая, что ее нужно долго бить о стол?! А фирменные житомирские «деруны»?!

Соня Нат, племянница писателя, бегавшая к нему по сто раз на дню, припоминала, что по утрам дядя Саша выходил на охоту за газетами, которая нередко затягивалась на несколько дней: «Получалось это так — не найдя газет в городе, он шел за ними на вокзал, по дороге обязательно встречал каких-нибудь знакомых или вовсе даже не знакомых ему рыбаков и, не возвращаясь домой, отправлялся с ними на рыбалку».

Однажды он пропал так надолго, что близкие всерьез перепугались.

«Как сейчас помню — мы сидим на веранде: вдруг возле калитки словно из-под земли вырастают три зловещие, совершенно невообразимые фигуры, лица у всех черные, заросшие щетиной, все обвешаны патронташами, ножами, за плечами ружья.

Мне стало очень страшно. Не разбойники ли пришли убивать и грабить нас?

Двое незнакомцев — тощие, третий же — низенький, круглый, как шар.

---

* Мемориальная доска – с портретом Куприна и текстом: «У цьому будинку в 1909 році жив видатний російський письменник Купрін Олексадр Іванович» — установлена в 1971 году.

— Зина! — весело кричит похожий на шар разбойник. — Не узнаешь? Да ведь это же я!

— Боже мой, Саша, откуда ты? На кого ты похож! Мы все так волнуемся!

Дядя Саша сказал, что дома будет ровно через полчаса, и, не переодеваясь, отправился со своими спутниками в ресторан. Летняя площадка ресторана с обвитыми диким виноградом ажурными беседками и с эстрадой, на которой выступал румынский хор, была видна с террасы нашего дома.

Что же будет дальше?

Сначала охотники, усевшись за столик и, видимо, не успев вдоволь наговориться за неделю бродяжничества, долго беседовали, пили пиво. Затем Куприн поднялся на эстраду и начал дирижировать хором. Раздались громкие аплодисменты.

Вечером дядя Саша рассказал нам о своих приключениях. Как и следовало ожидать, виной всему оказались все те же злополучные газеты. Проходя в тот день по базару, он увидел двух незнакомых охотников. Разговорились. Они пригласили его с собой. Один из них даже сбегал за ружьем. Ночевали в лесу, на сеновалах, в избушке лесника, угодили в болото, по грудь в воде переходили речку...»[223]

Какие же, наверное, бурные сцены повидал тогда скромный домик на Хлебной! Не потому ли и оттуда пришлось съехать? И вот, наконец, третий купринский адрес в Житомире, интересующий нас более всего: Пушкинская улица, дом Яницкой*. Здесь писатель попытался создать Дом, который не удалось создать в Балаклаве.

Соня Нат утверждала, что обстановка была очень скромной. Запомнились много-много книг и то, что все окна дядиной квартиры выходили в сад, которым он занялся всерьез: «Дядя Саша был заядлым огородником и садоводом. Считал, что это его второе призвание. В саду у него был розарий и небольшой парничок. Почему-то вдруг решил разводить артишоки. Бывало, ходит между грядками и мурлычет песенку. В ней всего одна строчка: “Артишоки, артишоки не растут у меня в кармане”».

Таким огородником Куприна как-то застал корреспондент «Петербургской газеты»:

---

* Литератор В. Ф. Боцяновский, навещавший писателя, называл точный адрес: улица Пушкинская, 46. Житомир был сильно разрушен во время Великой Отечественной войны, сопоставить старую нумерацию с современной сложно, но четная сторона улицы сохранилась.

«А. И., приветливо улыбаясь, перекладывал с одной руки на другую лейку, которой только что он поливал цветы.

— Простите, господа, не подаю вам руки, она грязная, в земле. <...> Вот, видите, пребываю в самом первобытном состоянии, вожусь с огородами, пачкаюсь... А, знаете, теперь я в истерзанном виде, но вы бы посмотрели, когда “скребницей чищу я коня”!

— Какого?

— Своего верхового. Вот на днях во время верховой езды слегка вывихнул себе ногу, как видите, хромаю; если хотите, пойдемте потом посмотреть мою лошадку...

Прошли на веранду.

— Скажите, А. И., как вы здесь себя чувствуете?

— Прекрасно»[224].

Неисправимый Куприн! Даже свою хромоту из-за ишиаса выдал за «спортивную травму». Он разбил сад, приобрел лошадь, о которой мечтал и юнкером, и поручиком в полку. Еще он с детства мечтал о сенбернаре, но вряд ли домовладелица мечтала о том же. В результате в жизни писателя появилась собака, которая первой стала частью его образа. Впоследствии таких животных будет много, и мы расскажем о них в свое время, а пока посмеемся вместе с очередным корреспондентом, явившимся к писателю:

«Толкаю калитку... небольшой, коротко остриженный пудель с громким лаем бросается на нас. Я машинально замахиваюсь палкой.

— Негодяй!! — прокричал чей-то голос. В недоумении поднимаю глаза.

— Негодяй... не смей лаять, — почти спокойно произнес тот же голос.

Мы невольно рассмеялись»[225].

Ксения Куприна, которая пока еще сидит в коляске, потом рассказывала, что Негодяй стал семейной легендой. Якобы он приводил подвыпившего Куприна домой. Благодаря ему близкие понимали, где находится Александр Иванович: если Негодяя вечером и ночью нет дома, значит, они вместе ушли на рыбалку или охоту.

Пес был беспокоен настолько, что его несколько раз отдавали другим людям, но он неизменно прибегал обратно, грязный и довольный. Нельзя сказать, что его кличка была такой уж оригинальной — можно вспомнить чеховского мангуста по кличке Сволочь. Однако Негодяй навсегда остался в истории русской литературы: Куприн описал его в очерке «О пуделе», который напечатал в житомирской га-

зете «Волынь» 22 апреля 1909 года. Возможно, это был подарок дочери: накануне ей исполнился год.

Перед отъездом из Петербурга Куприн заявил корреспондентам, что хочет начать новую жизнь на новом месте, что не желает больше быть писателем, мол, это стало профессией, магия ушла и т. д. А если и будет писать, то по нескольку рассказов в год, и то для детей: «В этом направлении я бы, пожалуй, приблизился к характеру рассказов Киплинга»[226]. В то время он болел Киплингом и проштудировал его настолько хорошо, что в конце ушедшего 1908 года напечатал в «Современном мире» (№ 12) критическую статью «Редиард Киплинг».

Думается, без влияния «собачника» Киплинга вряд ли Куприн написал бы столько рассказов о собаках. «О пуделе» — лишь один из них. Это умилительная миниатюра о маленьком песике, которому исполнился год и в нем проснулось сознание. Он обожает бегать за экипажами, пытаясь укусить лошадь за ноздрю, и недоуменно спрашивает хозяина: «...отчего колесо вертится? Зачем я существую на этом свете?» Позже Куприн расскажет, что в Житомире приманил еще и некоего кобеля по имени Мистер Томсон, и в том, как он приглашал его сбежать от законных хозяев, тоже не обошлось без Киплинга: «Мистер Томсон, не угодно ли вам прогуляться?.. По пути мы можем встретить маленькую беленькую домашнюю кошечку. Попробуем ее укусить» («Чужой петух», 1912).

С этой свитой Александр Иванович являлся даже в местный театр:

«На театральных представлениях в ложе Мистер Томсон дремал у меня на коленях, но Негодяй почему-то считал нужным вмешиваться в актерскую игру, и, главное, в самые неподходящие, в самые трогательные моменты. Он не мог терпеть, ежели кто-нибудь кого-нибудь обижал. Он считал своим долгом вступиться за слабого. Но тогда приходил господин околоточный надзиратель и говорил:

— Господин полицмейстер просит уйти Негодяя, а вместе с ним и его хозяина» («Чужой петух»).

Господин полицмейстер вообще присматривался к Александру Ивановичу. Россия читала и переваривала «Яму», вышедшую 25 марта 1909 года в сборнике «Земля» (книга 3). Не зря Куприн «охотился» по всему городу за газетами: рецензии шли потоком. И странно ли, что после их чтения он запивал: положительных среди них почти не было. Повесть принесет Александру Ивановичу столько огор-

чений, что он лишится сна и закончит 1909 год в лечебнице для нервнобольных.

Скандал получился вполне, но не такой, как после «Поединка». Сравнивая «Яму» с «Поединком», критики хватались за голову: как низко пал революционный разоблачитель армейских беспорядков, до какой пошлости! Был в хоре возмущенных голосов и другой оттенок — ирония. Ну как не ухмыльнуться, когда «обличает» нравы человек, известный собственной безнравственностью, завсегдатай тех же публичных домов, кабаков, бросивший жену и дочь и живущий с гувернанткой дочери...

Так, в иллюстрированном приложении к «Новому времени» появилась характерная карикатура: Куприн старается выползти из глубокой ямы с вывеской «Ресторан», его тянут вниз крепкие руки. Подпись: «А. И. Куприн тщетно пока старается выбраться из своей "Ямы", чтобы написать 2-ую часть» (художник Пьер-О). Киевский критик Войтоловский, который некогда одним из первых воспел «Поединок», на сей раз констатировал, что «Яма» не вносит ничего нового в литературу о проституции и значительно уступает «Заведению Телье» Мопассана или рассказу Горького «Васька Красный». Газета «Речь» устами Корнея Чуковского уличала автора: «Если бы Куприну... и вправду был отвратителен этот "древний уклад", — он сумел бы и на читателя навеять свое отвращение. Но... он так все это смакует, так упивается мелочами... что и вы заражаетесь его аппетитом»[227]. Ерничало «Новое время», издеваясь над эпиграфом повести: «Знаю, что многие найдут эту повесть безнравственной и неприличной, тем не менее от всего сердца посвящаю ее *матерям и юношеству*» (выделено Куприным. — *В. М.*). Приложение к газете поместило карикатуру: над выгребной ямой столкнулись Куприн и свинья:

«— А преаппетитные помои!

К у п р и н. Проваливай, проваливай! Это для матерей, дочерей, для юношества!»[228]

Критик «Нового времени» не без оснований задавался вопросом: каким образом может перевоспитать проститутку Любу студент Лихонин, о котором сказано, что он «по убеждениям анархист-теоретик, а по призванию — страстный игрок на бильярде, на бегах и в карты, игрок с очень широким, фатальным размахом»?[229] Поэт-символист Борис Садовский (Садовской) саркастически интерпретировал эпиграф к повести: «Матери и юношество! Читайте "Яму" смело, не опасаясь нареканий в безнравственности и не-

приличии. Это гениальное творение написано мною для вашей пользы». Утверждал, что Куприн прекрасно просчитывает своего читателя, охочего до «пикантного чтения»: вставляет нецензурные слова, казарменный юмор... И резюмировал:

«Весь г. Куприн состоит из трех элементов: ученического малевания “с натуры”, семинарского резонерства и смакования всевозможных жизненных уродств. <...> Начав совершенно слабым “Поединком”, имевшим злободневный успех “обличительного” произведения, г. Куприн высказался в этой повести весь, уложив туда целиком свой наивный и небольшой талантик. <...>

В “Яме” г. Куприн в последний раз собрал в кучу все, что у него оставалось за душой. Получился опять тот же “Поединок”».

Также недоумевая, с чего вдруг Лихонин связался с проституткой, Садовский пророчески замечал: «...вторая часть никогда в свет не выйдет, что вероятнее всего, она и не написана, а если когда-нибудь в печати появится продолжение “Ямы”, то оно окажется роковой ямой прежде всего для таланта самого автора. <...> Еще раз советуем от души г. Куприну остановиться на этом и покончить с “Ямой”»[230].

Можно представить, с каким возросшим любопытством, на фоне этакого-то бума, писателя разглядывали житомирцы. Тем более что в его жизни на Пушкинской случались свои пикантные моменты. В пяти шагах располагались 2-я мужская гимназия и городская публичная библиотека, в которую гимназистов, конечно, не пускали. Тем не менее они слышали о скандальной славе прибывшего в их город писателя. Один из гимназистов вспоминал:

«...всех нас поразила весть: в наш город приехал Александр Иванович Куприн. Потекли слухи: будто бы выслан из Петербурга или запутался в какую-то историю и уехал сам. Прибыл с семьей. Поселился в какой-то гостинице. Ищет квартиру. Нашел квартиру...

Последнюю весть заинтересовавшемуся нашему классу я мог принести из достоверных источников: поселился он в том же самом особняке на Пушкинской, где живет француженка, у которой я беру частные уроки. Француженка эта, Алиса Девос, рассказала мне с зажегшимися от любопытства глазками: “Поселился мосье Куприн — лэ гран экривен рюсе*”. И тут же спросила меня, слегка покраснев: правда

---

* Большой русский писатель (*фр.*).

ли, что он пишет немного неприличные рассказы, даже целый роман, который происходит, ну, в таком доме?..

К Алисе я ходил три раза в неделю, изучая с нею французскую литературу. Естественно, что там — на улице, у крыльца, на дворе, в саду — я должен был встретиться с автором “Поединка”. И увидел. Первый раз в образе идеального отца семейства: он выходил со двора, толкая перед собой колясочку с каким-то блаженно заснувшим беби. Небольшого роста, полный, не очень идеально выбритый, с косовороткой под обыкновенным гостинодворским пиджаком, — нет, с типом денди у него было мало общего, и первое мое впечатление было разочарование»[231].

Горечь разочарования испытывал и сам Куприн. Он знал все несовершенства своей «Ямы», вызванные, как обычно, торопливостью из-за безденежья и невозможностью доработать, чертыхался по адресу «Московского книгоиздательства», которое не возвращало уже набранные главы первой части, а он уже не помнил всего, что там было. Теперь над ним не стояли ни Горький с советами, ни Мария Карловна с хлыстом, и Куприн раскис. Писал — и рвал, кормил издателей «завтраками», корреспондентов — громкими заявлениями о якобы пишущейся второй части «Ямы»...

А тут еще возник новый повод понервничать! Весной 1909 года судьба решила испытать на прочность их дружбу с Буниным. Сначала все было радужно. Академия наук присудила им обоим Пушкинскую премию: Куприну за трехтомник рассказов, вышедший в «Мире Божьем», — полную, 1000 рублей, Бунину — половинную, 500 рублей. Однако вскоре оказалось, что средств недостает, и обоих решили премировать половинными суммами. Куприн писал Бунину: «Судьбе угодно было, чтобы я оттягал от тебя половину Пушкинской премии <...> Да, я ужасно рад, что именно мы с тобой разделили премию Пушкина». Бунин тоже был безукоризненно вежлив: «Дорогой и милый Ричард, я не только не жалею, что ты “оттягал” у меня полтысячи, но *радуюсь* этому, — радуюсь (и, ей богу, не из честолюбия!) тому, что судьба связала мое имя с твоим. Поздравляю и целую от всей души! Будь здоров, расти велик — и загребай как можно больше денег, чтобы я мог поскорее войти в дом друга моего, полный как чаша на пиру Соломона. (Одно слегка дивит меня: почему на Житомир пал выбор его?) <...> Пожалуйста, напиши мне, — напиши, как живешь, и что творишь, продолжаешь ли “Яму” (в Москве только и толку, что о “Яме”!) и что за город Житомир?»[232]

А потом подоспеет испытание: в конце года Бунина вдобавок изберут почетным академиком, а Куприна — нет. Как Александр Иванович это пережил? Ведь еще осенью 1907-го, когда впервые был поставлен вопрос о подаче работ на конкурс Академии наук, он писал Батюшкову: «Почетным академиком я быть не прочь. <...> А что же? После Чехова **по языку** я один и имею на это право» (выделено Куприным. — *В. М.*). Тяжело пережил!

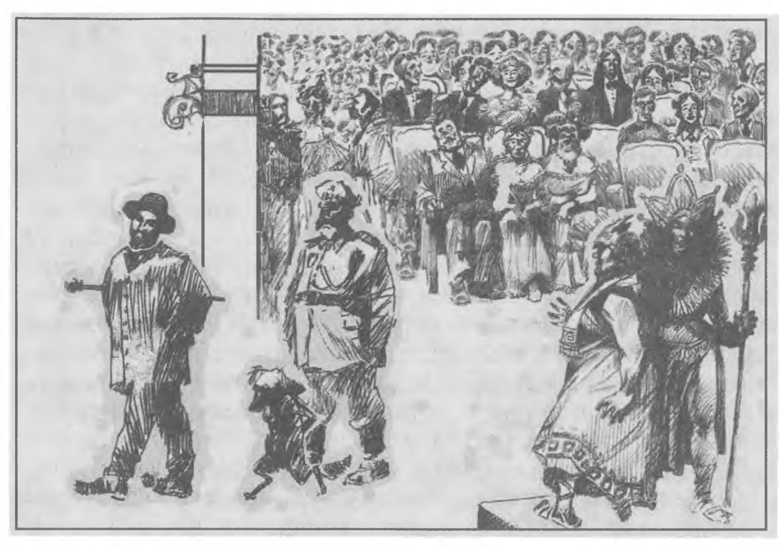
«Свидание наше было неважное. Попрекнул меня с первого слова академией», — рассказывал Бунин[233]. Много спустя Бунин объяснит, почему (якобы) так обошлись с Куприным. Почетный академик имел право, приехав в любой город, потребовать себе любой зал для выступлений, и без всякой цензуры. «...Куприна не избрали в почетные академики... только потому, что он под влиянием вина мог злоупотреблять где-нибудь в провинции этим правом»[234].

Позже, в эмиграции, Бунин станет кичиться высоким званием академика, как покажется Куприну (впрочем, игра амбиций в творческой среде — дело обычное). А потом Бунину дадут Нобелевскую премию. Но об этом в свое время.

В Житомире наш герой пребывал в крайне взвинченном состоянии еще и из-за материальных трудностей. Он жаловался Батюшкову, что все заложено в ломбарде, что он весь в долгах, что вокруг него вьются житомирские нетопыри: «...на 1000 людей приходится 999 факторов, посредников, сводников, мишуресов»*. Похоже, что он вообще опасался за свою жизнь, потому что обратился к местному полицмейстеру с письменной просьбой о выдаче ему документа на право ношения огнестрельного оружия. Возникло целое дело, копия которого сегодня хранится в купринском фонде в ИРЛИ. Полицмейстер запросил мнение начальника Волынского губернского жандармского управления: нет ли препятствий к удовлетворению просьбы писателя? Получил ответ: «Уведомляю, что отставной поручик А<лександр> Иванович Куприн, 38 лет, православного вероисповедания, по имеющимся в делах вверенного мне управления сведениям, ведет переписку с Женевской С<оциал> Д<емократической> эмигрантскою кассою... почему ходатайство его о выдаче ему билета на право держания огнестрельного оружия полагал бы оставить без удовлетворения»[235]. Видимо, ввиду бедственного материального положения Александр Иванович просил денег (на-

---

* Мишурес — на сленге то же, что и посредник, сводник или махинатор.



«Господин полицмейстер просит уйти Негодяя, а вместе с ним и его хозяина». *Рис. Василия Вознюка. 2015 г.*

«Куприн, напоив житомирского городового, сбегает из-под домашнего ареста». *Рис. Василия Вознюка. 2015 г.*

помним, что переводами его произведений занималось социал-демократическое издательство «Демос»).

В тот же злополучный житомирский период внесла определенную нервозность и мать Куприна, приехавшая погостить. Приведем фрагмент ее письма Марии Карловне, отправленного перед отъездом к сыну: «Если бы Вы знали, как дорога мне Люленька и что я должна скоро ломать свою душу при виде второй дочки моего Саши. <...> Я числа 12 (мая 1909 года. — *В. М.*) еду в Житомир... Вот где и начинается моя душевная ломка... <...> Пишите мне, Муся моя дорогая, на имя Зины для передачи мне»[236]. Значит, Зинаида Нат, не отталкивая брата, покрывала переписку его бывшей жены с его матерью. Можно только посочувствовать Елизавете Морицовне, тем более что она осталась одна — Куприн отсутствовал почти все лето.

Для работы над продолжением «Ямы» он уехал в Даниловское. Перед отъездом, окрыленный, видимо, Пушкинской премией, решился посетить Толстого в Ясной Поляне и отправил телеграмму Софье Андреевне: «Провожая Вас из Ялты, получил милостивое приглашение посетить Ясную Поляну. Не обеспокою ли я Вас и Льва Николаевича, если в середине июня заеду всего на час?» Однако эта встреча не состоится. Возможно, до Куприна дойдет отзыв Толстого на «Яму», чего он опасался: «Если он отзовется не лестно о первой части, то это может неблагоприятно отразиться на дальнейшей моей работе. Слова Л. Н. для меня имеют большой вес»[237]. (Как признается Куприн в одном из интервью: «Я боюсь его. Ну, что я скажу ему? О чем спрошу? Он все знает. Глянет — и уж насквозь видит тебя. Вот это-то и страшно!»[238]) Хороших слов о «Яме» Лев Николаевич не нашел: «Я знаю, что он как будто обличает. Но сам-то он, описывая это, наслаждается. И этого от человека с художественным чутьем нельзя скрыть»[239].

Куприн прожил в Даниловском около месяца, затем вынужден был ехать в Петербург по случаю получения развода с Марией Карловной. Надо сказать, это было грустное расставание: «Поздно бросил я играть в лейтенанта Глана, и вот куда это завело. Прощай, Маша»[240].

А тут, в Петербурге, и соблазн — «венский» омут. В эти дни его увидел поэт Виктор Гофман, о чем рассказал в одном из писем: «Первое впечатление: пьяное и неопрятное животное. Затем виден чрезвычайно острый проницательный ум, громадное знание и понимание людей. Перед ним нельзя притворяться (он увидит малейшее притворство), и это смущает. Человек позирующий и рисующийся... будет

чувствовать себя с ним невыносимо. Он е́док, беспощаден, несколько груб в своих опытах над человеком: совершенно не умничает, так как знает, что умен. Мне он наговорил сначала много любезностей, которые я, однако, остерегся принять за чистую монету; затем не без задних мыслей стал допрашивать о том, что я думаю о критике и т. д. Впрочем, в конце концов он представляет собою довольно безобразное зрелище»[241]. Чуть позже, в другом письме, Гофман добавил деталей: «Окружают же его совершенные психопаты... Они не только тешат его всевозможными способами, но выполняют и более существенные услуги: напр<имер>, приглашают для него проституток и т. д. Делается это вполне открыто. Лично же вести "переговоры" Куприн, по-видимому, уже слишком ленив»[242].

Явившись в столицу для оформления развода, Александр Иванович, судя по всему, как-то легализовался, чем облегчил работу прокурора Санкт-Петербургского окружного суда (поместившего в газетах даже объявление о его розыске). «Дело Чухнина» требовало удовлетворения, и по возвращении в Житомир писатель был ознакомлен с бумагой из столичной судебной палаты с требованием к местной полиции или взыскать с него 50 рублей штрафа, или посадить под домашний арест. В тот момент Александру Ивановичу нужно было смирить свои офицерские замашки и дружить с полицией: от нее зависела выдача новых документов, куда была бы вписана Елизавета Морицовна. Он выбрал домашний арест, о чем и сообщили газеты 10 августа 1909 года.

Дальше начинаются загадки. Александр Иванович должен был находиться под арестом примерно до 20 августа. Однако 16 августа он каким-то образом обвенчался с Елизаветой Морицовной! Ситуация для него была не из легких: требовалось уговорить священника сделать вид, будто Ксения — не годовалая девочка, а младенец, крестить ее и сделать метрическую запись о ее рождении. А дату венчания поставить такую, чтобы она опережала дату рождения ребенка.

Это была целая спецоперация, в которой много тумана и даты «пляшут». Улики по этому делу сохранились в метрической книге церкви Рождества Пресвятой Богородицы* села Гуменники, что под Житомиром. Запись священника Иоанна Чернодубровского не оставляет сомнений в том, что он совместно с псаломщиком 16 августа 1909 года совершил

* Церковь не сохранилась; снесена в 1930-е годы.

таинство венчания. Стоящий пред ним жених был «временно жительствующий в городе Житомире отставной поручик Александр Иванов Куприн православного вероисповедания разведенный по первому браку, 39 лет». Невеста — «жительница города Житомира* дворянка Елизавета Морицовна Гейнрих православного вероисповедания первым браком, 27 лет». Среди поручителей (свидетелей) со стороны жениха назван «магистр истории всеобщей литературы императорского С.-Петербургского университета надворный советник в отставке Феодор Димитриев Батюшков»[243].

Последнее очень странно. Всего за два дня до этого, 13 августа, Куприн писал Батюшкову, что сидит под домашним арестом по чухнинскому делу, сообщал, что собирается ехать в Гагру, и ничего больше. Правда, житомирский миф повествует о том, что арест этот был одной лишь видимостью: Куприн-де зазывал сторожившего его городового за стол, щедро поил-кормил, тот засыпал, а арестант спокойно сбегал. Однако сам писатель, рассказывая о домашнем аресте, был серьёзен: «Уже к концу третьего дня мной стали овладевать тоска и тяжелая злоба при одной мысли, что чужой волей я прикован к определенному маленькому месту. На пятый день я уже просил начальство, чтобы остальные дни мне заменили деньгами. Оказалось, что это не так-то легко»[244]. Как же он мог отлучиться в Гуменники? Тем не менее на гравировке сохранившегося обручального кольца Елизаветы Морицовны та же дата венчания: «Александр 16 августа 1909».

Если углубиться в метрическую книгу церкви Рождества Пресвятой Богородицы, то можно с изумлением прочесть запись о рождении и крещении Ксении Куприной. Те же Чернодубровский с псаломщиком засвидетельствовали, что 26 августа 1909 года они крестили девочку, родившуюся 16 августа. То есть в день венчания ее родителей! И затем указано, что при сем присутствовал магистр, а вместе с ним Зинаида Ивановна Нат. Однако 26 августа Куприна уже не было в Житомире. 22 августа в его паспорте была сделана запись о прибытии в Одессу.

Совершенно запутавшись, предоставим слово Ксении Куприной, которой позже эту семейную историю рассказывали с хохотом родители:

---

* Трудно объяснить, почему Елизавета Морицовна названа жительницей Житомира в отличие от «временно жительствующего» Куприна.

«Священник наотрез отказался крестить годовалого ребенка, не желая марать таким безобразием церковные книги. Его долго упрашивали, и наконец он согласился с тем условием, что запишет меня как новорожденную. Подумав, мои родители согласились, зная, что для женщины впоследствии всегда будет приятно быть моложе в официальных бумагах.

Рассказывали, что когда по ходу церемонии нужно было опустить меня в купель, я вытянулась дугой и так закричала, что задрожали своды сельской церквушки. Услышав мой вопль, наш пудель Негодяй ворвался с диким лаем в церковь, что, конечно, вызвало переполох.

Федор Дмитриевич Батюшков, дрожа от беззвучного смеха, не заметил, как, держа в руках зажженную свечку, нечаянно поджег длинную гриву священника. Пока тушили попа, выводили из церкви Негодяя, прошло довольно много времени, и измученный священник согласился не окунать меня в купель, а только окропить мою голову»[245].

Что называется — без комментариев. Напрашивается только один вопрос: как Александр Иванович, первая свадьба которого была такой неудачной, позволил себе превратить и вторую в фарс?

Итак, два года унижений для Елизаветы Морицовны кончились; она стала законной женой Куприна. 18 августа 1909 года Житомирское городское полицейское управление выписало ей бессрочную паспортную книжку. Когда была выписана книжка Куприну, мы не знаем, знаем только, что его постоянным местом жительства в ней обозначен Житомир[246]. Вместе с тем, оформив отношения и получив документы, Куприны собрали вещи, прихватили няньку Ксении, сгребли в охапку Негодяя и уехали в Одессу. «Опять один Аллах ведает, как, почему и зачем очутились мы вместо Гагры в Одессе», — сообщал Куприн Батюшкову, с которым породнился; тот стал его кумом.

Один Аллах ведал и то, как Негодяю удавалось теперь находить хозяина. Одесса значительно больше Житомира, и радиус поисков шире.

Одесский угар

Одессу трудно удивить. Здесь всякое видали, и каждый — гений. Тем не менее компания, что ранней осенью 1909 года начала появляться в местных ресторанах, поражала.

По описаниям ее можно представить. Вы сидите себе за столиком, тихо наслаждаетесь местным вином и жареной камбалой... И вдруг с грохотом распахивается дверь, в нее влетает некто, с разбега делает над вами сальто-мортале. Оглушительно лает влетевший за ним черный пудель. «Тихо, Негодяй!» — топает на него ввалившийся следом приземистый плотный человек. Хмельной, глаза сердитые, на бритой голове тюбетейка, бородка, «татаро-монгольские» висячие усы. За ним, неуклюже задевая стулья, пробирается богатырь: квадратный, пиджак в плечах трещит, крепкая голова, роскошные усы. На ходу с ним спорит какой-то рыжий, долговязый, машет руками, заикается. И завершает процессию негр в феске. Гам, шум, пудель заливается... Сцена!

Конечно, читатель узнал Куприна и Негодяя. Представим остальных. Акробат — это лучший клоун петербургского цирка Чинизелли, итальянец Жакомино (Джакомо Чирени). Богатырь — борец Иван Заикин. Рыжий — легендарный одесский спортсмен Сергей Уточкин. Негр — борец Хаджи Мурзук из Туниса. И, уж конечно, вокруг этой экзотик-компании кружили вездесущие одесские журналисты: тонкий, элегантный местный корреспондент сытинского «Русского слова» Илья Абрамович Горелик, главред «Одесских новостей» Израиль Моисеевич Хейфец и другие, помельче.

С Заикиным Куприн познакомился именно в Одессе.

«Удивительное дело: мы с ним как-то сразу перешли на ты, — вспоминал Заикин.

— Откуда ты? — спрашивает меня знаменитый писатель.

— Я-то?.. Из Симбирской губернии.

— А... симбирский обротник.

— Обротник, а ты откуда?

— Я пензенский.

— А... Пенза косопузая»[247].

До конца своих дней Заикин будет рассказывать о Куприне с восторгом и придыханием, считать его самым близким человеком, почти отцом. Александр Иванович тоже примет близко к сердцу этого «милого губошлепа», как назовет его в одном из писем, и станет, как ни странно, его ангелом-хранителем. Зная о том, что Заикину с его силищей нельзя ввязываться в драки — убьет! — он не раз в последний момент останавливал друга: «Ваня, ради меня!» Близкие атлета знали этот универсальный рецепт и в крайних случаях к нему прибегали.

Это одесское окружение Куприна не походило на столичных «психопатов» — «венских друзей» писателя. Оно помогало ему создавать новый, «здоровый» имидж спортсмена. «Критика и публика начинают меня забывать, — жаловался Куприн приятелю. — Денег нет, никто меня не любит»[248]. Чтобы критика и публика его не забывали, Александр Иванович организовал несколько громких акций.

Первую он осуществил сразу по приезде в Одессу, и теперь уже хватался за голову местный генерал-губернатор Толмачев. Куприн и компания заявили, что полетят над городом на воздушном шаре. Толмачев опасался, что они станут с воздуха разбрасывать прокламации. Но что он мог поделать с этими людьми, которые были неприкасаемы в силу своей огромной славы? «...если есть в Одессе два популярных имени, — писал Куприн, — то это имена Бронзового Дюка... и Уточкина» («Над землей»). В то время Уточкин болел воздухоплаванием, и одесская публика болела воздухоплаванием, и редактору «Одесских новостей» Хейфецу нужна была сенсация, и вот — летят! Заинтересованы были все стороны: одесский аэроклуб получал рекламу, потому что полетами на шаре тогда зарабатывали; Хейфец в перспективе получал от Куприна очерк о полете для своей газеты; Куприн же — прекрасный повод напомнить о себе.

Друзья каркали по поводу даты полета: 13 сентября. Уже знакомый нам поэт Федоров разразился эпиграммой:

Прощай! С тобой в ином уж мире
Мы повстречаемся, Куприн!
Исчезнешь ты от нас в эфире...

Конечно, это была сенсация. Собралась тысячная толпа с журналистами всех мастей. За Куприным ходили по пятам: «...тащат сниматься, щелкают кодаком один раз, другой, третий, просят не шевелиться, наклонить голову влево, вправо, назад и принять непринужденный вид» («Над землей»). И полетели во все концы и газеты фотографии: писатель Куприн в гондоле воздушного шара с пилотом Уточкиным и журналистами Хейфецем и Гореликом; шар на расстоянии сажени от земли; 35 метров от земли... Толпа с азартом наблюдает, задрав головы; много гимназистов и женщин... На одном из групповых снимков (Куприн и провожающие) можно разглядеть Елизавету Морицовну в кокетливой белой шляпе.

Петербург, конечно, отреагировал, но не так, как хо-

телось бы Куприну. Похоже, там никто не поверил в искренность его спортивного порыва. Карикатурист «Нового времени» (1909. 3 октября) изобразил гондолу, в которой разместилась теплая пьяная компания. Куприн мирно спит; некто свесился тряпочкой за борт; негр Мурзук с каким-то еще бодрствующим участником полета продолжают пить. И подпись — цитата из очерка Куприна о полете «Над землей»: «...мне кажется, что я нахожусь в каком-то сладком, легком, спокойном и ленивом сне, в котором забываешь о времени и пространстве. Наши ощущения уже в достаточной мере устоялись».

Наш герой, не чувствуя, или не желая чувствовать оттенков, продолжал чудить. И вскоре после воздушного шара столица уже разглядывала в газетах его фотографии в водолазном скафандре и читала о том, что он опускался на дно моря в Одесском порту: после пятиминутной подводной экскурсии писателя подняли, но он стал протестовать, выпил коньяку — и опустился вторично, а потом и в третий раз... Случайными свидетелями этого потрясающего зрелища стали «рабочие, моряки, босяки, чины портовой администрации»[249]. Конечно, некоторые, особенно из литературной братии, задавались вопросом: случайно ли при этом оказались фотограф и корреспондент «Одесских новостей»?..

Пока Куприн осваивал в Одессе спортивное поприще, Петербург готовил ему удар. Актер Николай Ходотов, премьер Александринского театра, написал пьесу «“Госпожа” Пошлость», при чтении которой Батюшков, в то время глава Театрально-литературного комитета, оторопел. Один из героев пьесы, литератор Гаврилов, был вылитый Куприн. И вел он себя не лучшим образом: цинично торговал своими рукописями и почти постоянно был пьян. Батюшков предупредил Куприна, и тот, как говорится, вышел из берегов.

Это был старый конфликт, причины которого мы можем лишь предполагать. Актерство осталось несбывшейся мечтой Куприна, а он считал, что у него были способности. Из его переписки с Чеховым известно, что тот даже советовал ему поступить в МХТ, но Куприн вроде бы в последний момент не рискнул. Может быть, кто-то перед этим убил его веру в себя? В таком случае многолетняя купринская месть актерскому сословию, впервые громко явленная в юмористическом рассказе «Как я был актером» (1906), становится объяснимой. Старые счеты он сводил и в «Яме»,

карикатурно изобразив актера под вычурным именем Евмения Полуэктовича Эгмонт-Лаврецкого. Разговаривал Евмений чужими словами из чужих пьес, собственное лицо давно потерял, потому что каждую минуту кого-то изображал: то пожилого светского льва, то директора банка. Под конец попойки он очень натурально «подражал жужжанию мухи, которую пьяный ловит на оконном стекле, и звукам пилы; смешно представлял, став лицом в угол, разговор нервной дамы по телефону, подражал пению граммофонной пластинки и, наконец, чрезвычайно живо показал мальчишку-персиянина с ученой обезьяной» («Яма»).

Разумеется, актеры «Яму» читали. Более того, в одном из интервью Куприн признавался: «Ненавижу актеров. Все народ неискренний, лживый, самовлюбленный. Дело у него расходится со словом. <...> У всех актеров я всегда замечал наряду с воспаленным самолюбием страшную боязнь публики, низменность и пресмыкательство перед нею»[250].

Прочитав эти слова, Ходотов утвердился в мысли о нужности своей пьесы. Скандал покатился снежным комом. Батюшков, взволновавшись, спросил Ходотова: как же быть со столь явным сходством Гаврилова с Куприным? Ходотов заявил, что он-де и не думал об этом, сходство есть только в нескольких фразах, вроде: «Ненавижу актеров! Снял бы с ноги грязную галошу и с наслаждением отхлестал бы их по бритой роже!» А так как эти слова Александр Иванович сам недавно произнес в интервью, то пусть зритель и думает, что Гаврилов и есть Куприн[251]. Это же Ходотов повторил в интервью «Петербургской газете», которую, в свою очередь, прочел Куприн. «Вот тебе и твой Хохоходотов! — негодовал он в письме Батюшкову. — <...> Подумай: “Петербургская газета” расходится в 30 000 экземпляров, да умножь это количество хоть на 5, потому что такие скандальные заметки перечитываются повсюду, — получается сознательная, ловкая и подлая реклама, устроенная Ходотовым своему произведению»[252].

Ходотов вспоминал, что Куприн даже прислал телеграмму: «Запрещаю ставить пьесу Ходотова “‘Госпожу’ Пошлость”, пока я ее не прочту»*. Так что приходится отмести версию о том, будто Куприн с Ходотовым, вообще-то

* Подтверждение находим в заметке из «Огонька»: «В день первого представления дирекция получила телеграмму от имени А. И. Куприна с “запрещением” ставить пьесу» (см.: «Госпожа Пошлость», пьеса Н. Н. Ходотова на сцене Александринского театра 5-го ноября // Огонек [Санкт-Петербург]. 1909. № 46).

приятели, просто сговорились (хотя скандал был выгоден им обоим).

Напуганная шумихой в прессе, мать писателя Любовь Алексеевна умоляла Батюшкова в письме прекратить «карикатуру», ведь «это поведет к дуэли или еще чему-нибудь плохому»[253]. А вот Мария Карловна была заинтригована. Батюшков рассказал ей, что в пьесе выведена и она, и сам Батюшков, и что одно из действий разворачивается в редакции «Современного мира». Словом, к премьере пьесы, назначенной на 5 ноября 1909 года, все билеты были распроданы и страсти накалены до предела.

Куприн сорвался из Одессы в Петербург. В положенное время он сидел в ложе вместе с женой, Елизаветой Морицовной, Батюшковым, Петром Пильским и Васей Регининым. Последние сгорали от любопытства, зная по слухам, что и они в пьесе есть. Александр Иванович обратил внимание на то, что публика глазеет не только на него, но и на соседнюю ложу. Глянул: там Мария Карловна и Иорданский с друзьями. Регинин добровольно стал связным между конфликтующими сторонами, бегал из одной ложи в другую...

Прежде чем начнется представление, скажем несколько слов о самой пьесе «“Госпожа” Пошлость». До сих пор ее содержание, дискредитирующее облик писателя-классика, целомудренно опускалось. О чем же она?

Сюжет незамысловат. Петербургский студент Володя Добрынов пробует свои силы в литературе. Его поддерживает издательница солидного неназываемого журнала Зимина, его тайная любовница. Редактор журнала Гурин, который давно и безнадежно влюблен в Зимину, вместе с ней обеспокоен тем, что Володя, едва ступив на литературное поприще, попал в дурное окружение: его тянет в бездну пошлости лихая компания литераторов, считающих творчество чем-то вроде товара. Рукопись можно выгодно несколько раз перепродать, о качестве заботиться незачем — не возьмут в одном журнале, обязательно возьмут в другом. При этом погоня за дешевой славой и мания величия. Глава этой компании — известный писатель Гаврила Гаврилович Гаврилов (то есть Куприн). Его полупьяная и нахальная свита и узнаваема и нет. Критик Стальский наверняка Пильский, Саша Фельтенштейн похож на Васю Регинина (Раппопорта). Все они картинно разлагаются, пьяными валяются под столом, Стальский пытается соблазнить юную сестру Володи... Гаврилов прямо-таки методически затяги-

вает начинающего писателя Володю в свои тенета, чтобы погубить. Он не может ему простить покровительства Зиминой, а та, не в силах спасти молодой талант, в финале гибнет от разрыва сердца. Вот в общем-то и всё.

Конечно, Александр Иванович себя узнал. Хотя Гаврилов был гиперболизированно груб, циничен, пьян, то и дело горланил дурацкую песню «Генерал майор-Бакланов, Бакланов-генерал!», пытался выгодно пристроить свой рассказ «Водобоязнь» (разумеется, «Морскую болезнь»). К тому же ругал актеров, между прочим сообщая: «...сам хотел быть актером, сам пробовал — ничего не вышло... Понимаете ли, хотел — и ничего!»[254] Герои пьесы на примере Гаврилова рассуждают о том, что хороший писатель совсем не обязательно хороший человек, что Гаврилов не дорожит своим именем и его поработила Госпожа Пошлость...

Публика в зале была увлечена отгадыванием прототипов. Мария Карловна, узнавшая некоторые свои черты в издательнице Зиминой, вспоминала, что в антракте в их ложу вбежал Регинин. Он был очень горд, узнав себя в Саше Фельтенштейне, который в первом действии зажигательно исполнял еврейскую плясовую под выкрики Гаврилова: «Ну, гишпанец, зажаривай!» И Мария Карловна, и Куприн, и Батюшков, конечно, узнали редакцию «Современного мира» в начале третьего действия и, конечно, узнали в редакторе Гурине Батюшкова. Автор в пьесе открыто заявил, что у Гурина и Зиминой в прошлом был роман.

В остальном же Ходотов, якобы обличавший опошлившихся литераторов, сам оказался пошляком. Посвященные быстро догадались, что он показал в пьесе собственную историю любви с актрисой Верой Федоровной Комиссаржевской, которая была много старше; она многое для Ходотова сделала и в тот момент была жива. Куприн не мог не знать этого подтекста, поэтому должен был успокоиться.

Вместе с тем для дальнейших валовых театральных сборов скандал подогревался. Популярный журнал «Огонек» поместил на обложке целый цикл карикатур по мотивам прошедшей премьеры. Куприн в скафандре и с воздушным шариком в руке, а затем во всех стадиях страшной попойки. Ходотов с его шальным замыслом: «В море опускался — не утонул. На шаре летал — не свалился. Не попробовать ли утопить его в грязи?»[255]

Однако бедный Александр Иванович тонул и без посторонней помощи. Он запил. Может быть, встреча с Марией Карловной в компании Иорданского так ударила по

нервам, но только в Даниловском, куда он вернулся из Петербурга, произошел срыв. Фидлер со слов Батюшкова записал в дневнике: «...Куприн, гостивший у него в имении, разбил около тридцати окон: дом выглядел как после обстрела. Затем он схватил ружье и стал стрелять в потолок. Тогда Батюшков отвез его в нервную клинику (в Риге)»[256].

Секрета из поездки не делали, рижские газеты даже клинику называли — санаторий Соколовского в Торнсберге, — но тактично сообщали, что причина госпитализации нервный срыв и длительная бессонница. Другие газеты были не столь щепетильны и раструбили, что Куприн сошел с ума, у него белая горячка. Отсюда уже было недалеко до очередного мифа:

«В беседе с нашим корреспондентом А. И. Куприн категорически опроверг все слухи о том, будто бы он сжег вторую часть своей повести “Яма”.

— Я не Гоголь, — заметил А. И.»[257].

И уж не знаем, каким образом этот скандал связан с тем, что одновременно с пребыванием в Риге «сумасшедшего» Куприна Ходотов привез туда «Госпожу “Пошлость”», которая прошла с аншлагами. Также не можем сказать, кто из них двоих пустил слух: Куприн в нервной клинике работает над ответной пьесой «Господин Хам».

Александр Иванович пробыл в Риге чуть больше недели, оставил там семью и вернулся в Даниловское дописывать «Яму». Газеты туда доходили, поэтому местные жители от него шарахались. «Появление мое было похоже на визит Каменного гостя, — писал он Батюшкову. — Очевидно, и до них дошел слух о моем сумасшествии»[258]. О том, что творилось дальше в батюшковском имении, желающие могут прочесть в очерке А. Боброва «А. И. Куприн в Даниловском» (1992)[259]. Ничего значительного к облику писателя Куприна последующие угарные месяцы там не добавляют.

Ясно одно: Александр Иванович подошел к первому серьезному возрастному рубежу — 40 лет — в полном смятении чувств. Однако именно этому смятению мы обязаны появлением рассказа «Гранатовый браслет».

«Гранатовый браслет»

Этот рассказ и сегодня — визитная карточка Куприна. Он причислен к лучшим образцам отечественной классики, потому что он о вечном. И пусть тогдашние критики

ворчали, что это очередная подделка под Гамсуна, под его роман «Виктория»... После выхода «Гранатового браслета» тысячи юношей, робея и краснея, стали дарить любимым девушкам украшение, как в рассказе Куприна, с «густо-красными живыми огнями»[260]. Горький на Капри ликовал: «А какая превосходная вещь “Гранатовый браслет” Куприна...! Чудесно! И я — рад, я с праздником! Начинается хорошая литература»[261].

Герой рассказа — еще одна ипостась «маленького человека». Как и требует традиция, он мелкий чиновник, носит соответствующую фамилию Желтков, «очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми глазами и упрямым детским подбородком», у него, разумеется, нищая съемная комната на шестом этаже с заплеванной лестницей. Однако в жизни его держит огромный смысл: любовь к женщине, которой он никогда не посмеет даже представиться, — княгине Вере Николаевне Шеиной, жене губернского предводителя дворянства. Когда-то давно, когда она была еще не замужем, он писал ей... Своей фамилии стеснялся, поэтому подписывался «Г. С. Ж.». В семье Шеиных смеялись потом над этой странной историей, изобразили ее в забавных рисунках и подписях в домашнем юмористическом альбоме. Семь лет Желтков не беспокоил Веру Николаевну, наконец не выдержал и послал ей в день именин подарок: гранатовый браслет. На ее вкус, «он был золотой, низкопробный». В футляре она обнаружила также «сложенную красивым восьмиугольником записку»:

«...Я бы никогда не позволил себе преподнести Вам что-либо, выбранное мною лично: для этого у меня нет ни права, ни тонкого вкуса и — признаюсь — ни денег. <...>

Но этот браслет принадлежал еще моей прабабке, а последняя, по времени, его носила моя покойная матушка. Посередине, между большими камнями, Вы увидите один зеленый. Это весьма редкий сорт граната... По старинному преданию, сохранившемуся в нашей семье, он имеет свойство сообщать дар предвидения носящим его женщинам и отгоняет от них тяжелые мысли, мужчин же охраняет от насильственной смерти.

Все камни с точностью перенесены сюда со старого серебряного браслета, и Вы можете быть уверены, что до Вас никто еще этого браслета не надевал.

Вы можете сейчас же выбросить эту смешную игрушку или подарить ее кому-нибудь, но я буду счастлив и тем, что к ней прикасались Ваши руки. <...>».

Муж и особенно брат Веры Николаевны обеспокоились, что этот случай может поощрить неведомого дарителя: а завтра он пришлет кольцо с брильянтами, послезавтра жемчужное колье, там, глядишь, сядет на скамью подсудимых за растрату, и князья Шеины будут вызваны в качестве свидетелей... Недопустимо!

Установив имя и адрес «Г. С. Ж.», они пошли к нему, чтобы вернуть браслет и сделать внушение. Желтков оказался «высок ростом, худощав, с длинными пушистыми, мягкими волосами». Понимая, что любовь к Вере Николаевне — его счастье и трагедия, он добровольно ушел из жизни, чтобы не нарушать ее покой. Узнав об этом, княгиня отправилась домой к покойному, чтобы проститься с ним. И квартирная хозяйка ей сказала, что перед смертью жилец просил ее повесить гранатовый браслет на икону и передать той женщине, которая, может быть, придет, что у Бетховена самое лучшее произведение Son. № 2, op. 2. Largo Appassionato. Дома Вера Николаевна просит сыграть ей эту вещь, и каждый такт превращается в слова, куплеты с молитвой «Да святится имя твое»: «Успокойся, дорогая, успокойся, успокойся. Ты обо мне помнишь? Помнишь? Ты ведь моя единая и последняя любовь. Успокойся, я с тобой. Подумай обо мне, и я буду с тобой, потому что мы с тобой любили друг друга только одно мгновение, но навеки. Ты обо мне помнишь? Помнишь?.. Вот я чувствую твои слезы. Успокойся. Мне спать так сладко...» Вера Николаевна, вся в слезах, понимает: «Нет, нет, он меня простил теперь. Все хорошо».

В слезах и читатель. Возможно, от досады, что это сказка и в жизни так не бывает.

«Когда я о ней (повести; сначала писатель задумывал повесть, но вышел рассказ. — *В. М.*) думаю — плачу, – признавался Куприн Батюшкову, — недавно рассказывал одной хорошей актрисе — плачу. Скажу одно, что ничего более целомудренного я еще не писал».

«Гранатовый браслет» — одно из самых изученных и одновременно дискуссионных произведений Куприна. Мало кто знает, что при первой публикации в «Земле» (1911. Сборник 6) оно имело посвящение В. С. Клестову. Это брат Николая Семеновича Клестова, руководившего альманахами «Земля» до 1909 года, а затем высланного в Туруханский край. Символично, что целомудренный рассказ пошел в той же «Земле», где увидела свет «Яма»: Куприну хотелось и перед читателем оправдаться, и самому очиститься. Пропал при переизданиях и нотный эпиграф: графическое изоб-

ражение 5–8 тактов сонаты. Остался только словесный — «L. van Beethoven. 2 Son. (op. 2, № 2). Largo Appassionato».

Более всего до сих пор спорят о прототипах, хотя сам автор в письме Батюшкову выражался определенно: «Это — помнишь? — печальная история маленького телеграфного чиновника К. П. Жолтикова, который был так безнадежно, трогательно и самоотверженно влюблен в жену Любимова».

Так, спустя много лет Александр Иванович обратился к истории, которую услышал еще после женитьбы на Марии Карловне. Нанося тогда визиты родным жены, он попал в семью Дмитрия Николаевича и Людмилы Ивановны Любимовых. Людмила Ивановна была сестрой Михаила Ивановича Туган-Барановского, мужа Лидии Карловны Давыдовой. У Любимовых Куприн и увидел семейный юмористический альбом и услышал историю о человеке, который несколько лет преследовал Людмилу Ивановну. Любимовы, правда, считали его психически больным. Но в том и суть творчества, чтобы приподнять банальный факт до возвышенной идеи. Герой Куприна не сумасшедший. Скорее сумасшедший мир, в котором чистую любовь считают безумием.

Что же заставило Куприна обратиться к этой старой истории осенью 1910 года? Полагаем, что глубокие личные переживания.

Вскоре после встречи на премьере «“Госпожи” Пошлости» с бывшей женой в компании Иорданского он узнал, что планируется свадьба, «молодые» поедут за границу и обязательно побывают на Капри у Горького. Александр Иванович тоже попытался получить загранпаспорт, но одесский генерал-губернатор Толмачев по политическим причинам отказал ему. Думаем, что наш герой хотел опередить на Капри Марию Карловну, не дать ей очернить себя в глазах Горького. Он опасался не зря: так и случится. После визита Иорданских Горький посетует в одном из писем: «Плохо с Куприным — пьет все и близок болезни опасной. <...> Я очень удручен»[262].

Мария Карловна вышла замуж 9 июня 1910 года. Куприн тяжело это переживал, не представляя, какой удар будет следующим. 14 июня он потерял маму.

Любовь Алексеевна скончалась тихо, во Вдовьем доме, после болезни, о которой сын знал. «Безнадежна, но ты не приезжай», — сообщила она ему. Он успокаивал в ответном письме: «Милая мама, совсем напрасно ты смотришь

так мрачно на свое здоровье. Во-первых: я уже дал тебе обещание, что не я тебя, а ты меня похоронишь — а ты знаешь, что мои предсказания всегда исполняются. Во-вторых, я всегда (как и ты) чувствую тебя на расстоянии — потому что, согласись, нет у нас с тобой более близких людей, чем ты и я. <...> Не болей»[263]. Александр Иванович не почувствовал серьезности положения.

Он все сделал, как она хотела: засыпал гроб доверху цветами и пригласил на отпевание хороших певчих. На московском Ваганьковском кладбище вырос новый могильный холмик, под которым упокоился самый дорогой для Куприна человек. Он не мог простить Марии Карловне того, что в этот момент ее не было рядом, ведь Любовь Алексеевна так ее любила! «Похоронили маму, — написал он ей. — А ты не могла приехать — занялась собачьей свадьбой со своим социал-демократом».

Так в один момент Куприн лишился двух близких людей. Он напишет Батюшкову: «...смерть матери — это похороны молодости». А через пару месяцев он отметил 40-летие, и как было не подводить итоги собственной жизни, в том числе личной?

По нашему мнению, «Гранатовый браслет» — это прощание с Марией Карловной, и подлинный смысл рассказа могли разгадать лишь она и Батюшков. Оба были свидетелями того, какое впечатление на Куприна произвело исполнение той самой сонаты Бетховена. Это было летом 1906 года в Даниловском (на хуторе «Свистуны»), когда произошла решающая ссора супругов. Впервые услышав эту вещь, Куприн всю ночь не спал, бродил по парку, там встретил Батюшкова, до утра они проговорили и именно тогда перешли на «ты». Нам даже кажется, что фраза Желткова, обращенная к Шеину: «Трудно выговорить такую... фразу... что я люблю вашу жену», могла в ту ночь прозвучать из уст Батюшкова.

Только Мария Карловна знала, почему Желтков подарил любимой женщине именно гранатовый браслет. С ее слов, это украшение стало причиной их семейной размолвки. Браслет достался ей по наследству; со временем на внутренней стороне появились темные пятна. Александр Иванович, желая сделать ей приятное, отнес его ювелиру и попросил свести пятна. А тот, не предупредив заказчика, вызолотил браслет, чего с гранатовыми украшениями не делают. Мария Карловна сердилась, Куприн расстроился. Вспоминала она и другой случай: муж подарил ей золотые

часы, которые ему казались очень красивыми, а она назвала их «старушечьими»... Вот этот страх — желание порадовать любимую женщину и не угодить ей — отражен и в рассказе. Браслет же действительно существовал. Сегодня он хранится в ИРЛИ, куда поступил после смерти дочери Регинина, Киры Васильевны[264].

Имел личные истоки и «привкус смерти» в финале рассказа. Это и недавние переживания на похоронах матери, и, в большей степени, очередное «чуть не умер» в судьбе самого Куприна. 12 ноября 1910 года, в разгар работы над «Гранатовым браслетом», Куприн с Иваном Заикиным совершали рекламный полет на аэроплане «Фарман» и разбились. Крови было много, и эта кровь навсегда их сроднила.

Если бы Куприн не был прежде всего писателем, ловцом впечатлений, мы могли бы сказать: как он смел так рисковать, ведь только что Елизавета Морицовна родила ему еще одну дочь. Девочка, названная Зинаидой, оказалась больной. «Ребенок родился, — расскажет Куприн Марии Карловне, если верить ее мемуарам. — Прелестная девочка. Но она идиотка: совершенно не реагирует ни на шум, ни на свет — а у нее чудесные синие глаза. Какое это горе! И в этом виноват я. Да, я виноват. Пил как зверь...»[265]

Были и другие личные впечатления, благодаря которым в «Гранатовом браслете» разлиты «пушкинский» и «толстовский» тексты.

В одно время с рассказом Куприн увлеченно работал над статьей о Пушкине, которую ему заказало издательство Брокгауза и Ефрона для тома «Избранного» поэта. Что такое весь «Гранатовый браслет», как не иллюстрация пушкинского «Я не хочу печалить вас ничем»? Пушкинист, несомненно, задержится на описании мертвого лица Желткова: «Глубокая важность была в его закрытых глазах, и губы улыбались блаженно и безмятежно, как будто бы он перед расставаньем с жизнью узнал какую-то глубокую и сладкую тайну, разрешившую всю человеческую его жизнь». Сравним с описанием мертвого лица Пушкина в письме Жуковского отцу поэта: «...что выражалось на его лице, я сказать словами не умею. <...> какая-то глубокая, удивительная мысль в нем развивалась, что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубокое, удовольствованное знание. Всматриваясь в него, мне все хотелось у него спросить: “Что видишь, друг?”»[266]. Не зря княгиня Шеина при взгляде на Желткова «вспомнила, что то же самое умиро-

творенное выражение она видела на масках великих страдальцев — Пушкина и Наполеона».

Что же касается «толстовского текста», то во время работы над рассказом Куприн узнал о смерти Льва Николаевича (7 ноября 1910 года). Не стало человека, который открыл ему высоту и ответственность литературного творчества, в Ясную Поляну к которому он так и не отважился съездить, чьим портретом с автографом так дорожил. Позже он вспоминал: «Жил я тогда в Одессе. Жил одиноко, скучно и бедно. Стояла тоскливая, мокрая, грязная южная зима. Окно моей комнаты выходило прямо на одесский морг» («Ночные бабочки», 1928). В ту ночь, когда не стало Толстого, он перечитывал его «Казаков»... В письме Батюшкову, впрочем, Александр Иванович был далек от пафоса: «...что Старик умер, это тяжело. Так я с ним верхом и не поездил. Но зато в тот самый момент, когда он протягивал ноги на станции, я как раз перечитывал "Казаки" и плакал от умиления и благодарности. Теперь я пишу "Браслет", но плохо дается. Главная причина — мое невежество в музыке. Есть Op. № 2, № 2. Largo Appassionato у Бетховена; оттуда и вся соль моей повести, а у меня слух деревянный; пришлось запрягать несколько людей, пока не зазубрил»[267]. Выходит, работа с музыкальным материалом давалась Куприну тяжело, но он упорно ее продолжал. Зачем? Значит, хотел подняться до уровня Толстого в «Крейцеровой сонате».

«Гранатовый браслет» был очень дорог Куприну. Много лет спустя, уже в эмиграции, случится инцидент, описанный Лидией Арсеньевой (Часинг). Как-то поэт Антонин Ладинский сказал Куприну, что не понимает его «Гранатовый браслет», потому что там неправдоподобная фабула.

«— А что в жизни правдоподобно? — с гневом ответил Куприн. — Только еда да питье, да все, что примитивно. Все, что не имеет поэзии, не имеет духа.

<...> В пылу спора Ладинский не замечал... главного...: какое-то дорогое воспоминание, какое-то "драгоценное чувство" было связано у Куприна с "Гранатовым браслетом". <...>

И вдруг только что сильно горячившийся Куприн очень тихо сказал, отчеканивая слова:

— "Гранатовый браслет" — быль. Вы можете не понимать, не верить, но я терпеть этого не буду и не могу. Пусть вы чином постарше меня — это не имеет значения, я вызываю вас на дуэль»[268].

Спорщиков удалось помирить. Арсеньева осталась оза-

даченной: «Какое событие в жизни Куприна создало его “Гранатовый браслет”, я так до сих пор и не знаю. Спросить самого Куприна я не решалась, т.к. понимала, что нечто очень дорогое и личное — “драгоценное” — связано с этим рассказом».

Мемуаристка не могла знать того, что теперь знаем мы. Куприн никогда не распространялся о своей личной жизни.

Первые отзывы на «Гранатовый браслет» писатель будет получать уже в Петербурге. Вполне вероятно, что происшествие с Заикиным на летном поле переполнило чашу терпения одесского генерал-губернатора. В конце 1910 года Куприны вернулись в столицу.

Всероссийский гатчинский житель

Мудреные жизненные дороги Куприна снова уперлись в Гатчину. С 1911 года и вплоть до бегства из России в 1919-м писатель будет гатчинцем. Будет здесь жить и работать. Будет возмущать спокойствие и нервировать полицию, вызывать восторг извозчиков своей неслыханной щедростью. «Всероссийскому жителю уездного города Гатчины — ура!» — будут кричать они, едва завидев знакомую коренастую фигуру. Будет совершать вылазки в столицу.

Возвращение в Петербург было громким. О его катастрофе на аэроплане с Заикиным читали все, разглядывали с интересом. Фидлер, встретивший загулявшего с Манычем Куприна в пригородном поезде накануне Нового года, злословил в дневнике: «...один его внешний вид выдавал в нем горького пьяницу: низкий лоб, бычья шея, опухшее лицо, короткие ноги, пропитой голос»[269].

Александра Ивановича сразу облепили «венские друзья». В январском «Огоньке» (№ 2) за 1911 год появилась карикатура «Собрание академиков Венского отделения русского языка и изящной словесности». В ресторане «Вена» Куприн сидит за неизменным штофом и о чем-то оживленно беседует с драматургом Юрием Беляевым, которого снисходительно треплет по затылку Вася Регинин. В том же январе карикатура «Новые нравы» (в приложении к «Новому времени») пополнила коллекцию новых нравов, сообщив, что Куприн появляется в гостях с неким литератором, которого рекомендует так:

— Это — мой пес.

И тут же командует:

— Лай!!

Литератор проворно становится на четвереньки и заливисто лает[270].

Мы догадываемся, кто был этот «литератор-собака». Те, кто дочитает эту книгу до конца, тоже догадаются.

Петербургские знакомцы присматривались к жене и дочери Куприна. Тот же Фидлер записал в дневнике о Елизавете Морицовне: «...сердце у нее не доброе и не злое, поскольку у нее вообще нет сердца; она не образованна, безынициативна и не понимает своего мужа, отчего он и пьет: он влюблен в нее — и только»[271]. Интересно, чего еще он хотел от женщины? Не понравилась Фидлеру и трехлетняя Ксения: «Дерзкое, с холодным эгоистическим взглядом, неприятное... существо!»[272] Возможно, такое впечатление объясняет поэт Саша Черный, который через пару лет надпишет ей свою детскую книжку так: «Мрачной девочке Ксении». А вот Александр Грин, примерно в это время появившийся в окружении Куприна, полюбил малышку и всю жизнь потом вспоминал, как она по научению отца молилась за «всех бодилок и пулеток» (блондинок и брюнеток)[273].

Итак, писатель решил осесть в Гатчине, несмотря на то, что жена хотела в Царское Село, поближе к Маминым. Куприн хорошо знал Гатчину. Он периодами жил здесь и раньше, когда прятался от «венских друзей»; к тому же в Гатчине поселился его близкий друг Павел Егорович Щербов, замечательный художник-карикатурист. Александр Иванович давно обжил это пространство, знал каждую тропинку Гатчинского парка, помнил весь репертуар трактира Веревкина на площади у Варшавского вокзала. И вот, отринув и Одессу, и Балаклаву, он решил стать гатчинцем.

Видимо, о Балаклаве Куприн к этому времени перестал даже мечтать, хотя не совсем понятно почему. Положения чрезвычайной охраны (как, например, в Ялте) в Балаклаве не было; наказание по делу Чухнина он отбыл в Житомире, а генерала Неплюева, отдавшего приказ о его выселении, Куприн теперь встречал... в Гатчине. Почтенный старик после выхода в отставку поселился здесь, на Николаевской улице. Ирония судьбы!

Думается, о Балаклаве пришлось забыть не из-за запрета на въезд, а потому что участок принадлежал Марии Карловне: Куприн не хотел у нее одалживаться, а перекупить было не на что. Вряд ли к этому времени он считался политически неблагонадежным, ведь в Гатчине (где нахо-

дилась царская резиденция!) ему позволили и жить, и дом купить. И это при том, что комендантом Гатчины был генерал-майор Александр Иванович Дрозд-Бонячевский, всего год назад разнесший писателя в пух и прах в своей работе «“Поединок” с точки зрения строевого офицера». Военных отставников и их вдов в Гатчине вообще было много. К тому же с прошлого, 1910 года здесь работали военный аэродром и первая в России воздухоплавательная школа. Особо не забалуешь.

Куприну приглянулся домик на Елизаветинской улице. Собственно, это был флигель (№ 19-а) при усадьбе баронессы Любови Александровны Тизенгаузен. Бедная баронесса! Флигель немедленно начал греметь фортепиано, петь на разные голоса, среди которых, правда, нередко солировал Шаляпин. Бесплатно.

Сохранилось множество фотографий и самого дома (снесенного в 1950-х), и интерьеров, и хозяйственного двора, и сада. Одна из первых гатчинских фотографий появилась в марте 1911 года на обложке «Синего журнала» (№ 14): Куприн в кабинете что-то увлеченно пишет. Подпись уверяла, что пишет он «Нищих» (шестой год подряд?), и что в свободное время писатель занимается спортом, ходит на лыжах, ездит верхом, тренируется в стрельбе из ружья.

Через месяц после оформления купчей*, 17 июня, писатель пригласил в гости фотографов И. И. и Ксению Глыбовских, сделавших серию снимков, ныне растиражированных. Это те фотографии, где Елизавета Морицовна красуется в кокетливом пестром платье с рукавами «фонариком», нянька в нарядном кокошнике держит на руках грудную Зину, а Куприн то верхом на лошади, то что-то картинно пишет, устроившись в оконном проеме. Снимки появились и в приложении к «Новому времени» (1911. 2/15 июля), и в «Синем журнале» (№ 24).

Дом был одноэтажный, деревянный, выкрашенный в зеленый цвет. Обстановку некоторых комнат (всего их было пять) можно воссоздать по фотографиям и многочисленным воспоминаниям. В кабинете писателя — лиловые занавески, у окна рабочий стол из грубо оструганной сосны; на столе — рабочий беспорядок, книги, рукописи, старинная фарфоровая чернильница. Над столом — портрет матери, чуть дальше, на почетном месте — портрет Толстого с размашистой дарственной надписью. В детской —

---

* Домик сначала арендовали, а 17 мая 1911 года купили в кредит.

куча игрушек и удивительный кукольный домик, такой же, как у княжон Романовых. Отец купил Ксении на трехлетие. Была еще комната в восточном стиле, с низкими диванами и хорасанскими коврами. Впрочем, Ксения вспоминала, что назначение комнат постоянно менялось; папа не терпел однообразия.

Сбылась мечта Куприна: у него появился собственный угол. Он шел к этому 40 лет! Со временем Александр Иванович создаст тот Дом, о котором мечтал. Разобьет цветник, огород, построит птичник. Весной в окна его кабинета будут заглядывать пышные ветви сирени. А еще он заведет настоящих собак, не какого-то пуделя Негодяя. И будет их звать «зверями».

Первого пса, Малыша, Александр Иванович унаследовал от предыдущего хозяина. Потом осуществилась мечта его детства — Леонид Андреев подарил ему двух щенков сенбернара. Однако даже их имен история не сохранила. Не про них наш герой мог бы сказать словами любимого Киплинга: «Мы с тобой одной крови!» Около 1912 года в его жизни появилась главная собака — меделян Сапсан.

Вот они сидят вместе на известной фотографии: Куприн обнимает Сапсана за шею, заставляя смотреть в объектив. Достаточно мельком взглянуть, чтобы понять: вот где уместен Киплинг! «У отца с Сапсаном были свои разговоры, секреты, ссоры, примирения», — вспоминала Ксения Куприна.

Обычно эту фотографию воспроизводят по экземпляру, подаренному Ивану Бунину с надписью: «И. А. Бунину — А. Куприн и Сапсан II с любовью». Интересно, задумывался ли кто-нибудь, почему «Сапсан II» написано так коряво? Мы же уверены, что это автограф самой собаки. Гатчинец Федор Грошиков вспоминал, как летом 1918 года Куприн подарил ему этот снимок, надписал сам и, водя лапой Сапсана, изобразил автограф собаки[274]. Да это и неудивительно, ведь к тому времени меделян уже стал писателем: хозяин создал от его имени рассказ «Мысли Сапсана о людях, животных, предметах и событиях» (1916)*. Были и другие фокусы. Гордясь тем, что огромный зверь признает в нем

* Так рассказ был озаглавлен в первой публикации (Вечерние известия. 1916. 29 июля. № 1047). Позже печатался под названием «Мысли Сапсана XXXVI. О людях, животных, предметах и событиях» (Альманах «Творчество». 1917. Январь. Вып. 1) с посвящением кинологу В. П. Приклонскому. В эмиграции выходил под названием «Сапсан» (Зеленая палочка. 1921. № 1(7)).

Хозяина, Куприн хватал его за передние лапы, клал их себе на плечи и с детским восторгом показывал гостям, что стоя пес выше его!

Александр Иванович уверял, что Сапсана вырастил «на ласке, внимании и доверии», а не на «злобности ради специальных охотничьих целей» («Одиночество», 1923). Однако домашние боялись собаку. Боялись и гости. Вероятно, шарахались и соседи, когда Куприн с Сапсаном направлялись на прогулку в Приоратский парк... Впрочем, по воспоминаниям, рядом с домом Куприна прогуливался еще один бесхозный меделян, его подкармливали и иногда приглашали в дом.

Андреевские сенбернары постоянно плодились. Ксения вспоминала, что настал тот момент, когда по дому бегало восемь сенбернаров. Двух щенков Александр Иванович подарил старшей дочери Лиде. Их отношения возобновились; девочка приезжала в Гатчину погостить. Она росла очень красивой, и отцу нравилось, чтобы и она подчеркивала свои татарские корни. На одной из фотографий 1910-х годов Лида в тюбетейке, две тугие косы до пояса.

Словом, Куприн начал «княжить» в Гатчине, сделав ее столицей своей манычарской Орды. Не снимал тюбетейки и широкого восточного халата. Манычары же сделали все для того, чтобы он продолжал быть легендой.

Куприн великий и ужасный

Свита писателя создавала его образ, играя на романтической и классической темах. Первая рождалась из стихии протеста, странничества, риска, спорта, вторая — из утверждения в Куприне «нового Толстого». В «Петербургской газете» был его почитатель Миша Ялгубцев, в «Биржовке» — Вася Регинин и Котылев. В 1911–1913 годах благодаря им восторженные заметки, интервью писателя и репортажи о Куприне буквально заполонили прессу. К тому же в числе близких друзей и поклонников писателя оказались достаточно модные в то время критики Петр Пильский и Александр Измайлов, довершавшие вполне благополучную картину.

Параллельно с этим Куприным, вполне в традиции двойничества, существовал другой Куприн, фольклорный, герой баек и анекдотов. Этого Куприна знали лишь посвященные, но предпочитали судачить о его выходках в личной переписке и в доверительных беседах. Вот, к примеру,

едва Александр Иванович вернулся в Петербург — тут же байка:

«Сидят... денег нет. Александр Иванович оглядывает свиту своих "маньчаров" (сам прозвал) и вопиет:

— У кого из вас есть рассказ?

Кто-нибудь откликается.

— Давай.

Под рукописью ставится подпись "А. Куприн", и рассказ везется кем-либо из "маньчаров" в редакцию поплоше, напр<имер> в "Петербургскую газету". Худяков смотрит подпись, видит, что она настоящая, купринская, и приказывает: выдать деньги.

Ему замечают:

— Подпись купринская, но рассказ — такая дрянь, что, поверьте, не купринский.

— А мне какое дело?..»[275]

Кто автор байки, неизвестно, а пересказал ее маститый литератор Александр Амфитеатров не менее маститому Максиму Горькому.

Бог весть, в каком виде до того же Горького дошел слух о том, что Куприн согласился быть арбитром на чемпионатах по французской борьбе. Алексей Максимович краснел за бывшего «знаньевца»: «Куприн — публичный писатель, которому цирковые зрители орут: "И де Куприн? Подать сюда Куприна!" Тургеневу или Чехову — крикнули этак?»

Два Куприна, «белый» и «черный», довольно долго сосуществовали параллельно, однако осенью 1911 года равновесие нарушилось. О «новом Толстом» читателю рассказали «горькую правду». Подробности очередного скандала до сих пор оставались неизвестны, и мы впервые приводим их не из праздного любопытства. Во-первых, это была определенная веха в жизни нашего героя, и весьма тяжелая. Во-вторых, все это характеризует ту эпоху, и не такие виды видавшую.

Двадцать четвертого сентября в столичной газете «Против течения» (№ 26) был напечатан фельетон ее владельца, художника Фомы Райляна*, о том, как он познакомился с Куприным. Имя Райляна в то время было на слуху, и слух этот имел мрачный оттенок. Поговаривали, что он своей клеветой свел в могилу художников Архипа Куинджи и

---

* *Фома Родионович Райлян* (1870–1930) — художник, иконописец; на гонорар, полученный за роспись Нового Варшавского собора, издавал журнал «Свободным художествам» и газету «Против течения».

Константина Крыжицкого*. Последний повесился 4 апреля 1911 года, за несколько месяцев до того, как Райлян избрал своей новой жертвой Куприна.

Название фельетона — «Новелла» — вполне соответствовало его ренессансному сюжету в духе Боккаччо. Предваряя этот сюжет, Райлян рассказывал о том, как манычары пристраивали в его журнал «Свободным художествам» рукописи Куприна. Сначала они требовали 600 рублей за лист, потом быстро сдались и намекнули, что подешевле будут старые вещи Куприна. Можно перепечатывать его юношеские рассказы, их всё равно все забыли. И ничего страшного: так все делают, даже Максим Горький.

И вот Райляна пригласил в гости писатель-«порнограф» Анатолий Каменский, сказав, что будут «все свои» и Куприн тоже будет. Райлян поехал. Позвонил в дверь и окаменел: ему открыл... совершенно голый Котылев. Пригласил войти. Появился такой же голый хозяин квартиры и повел Райляна к Куприну. Тот насильно обнажил сидевшую рядом с ним девицу, обращаясь к Райляну: «Нет, художник, посмотрите, какие формы, какое тело, а спина, спина!» Далее цитируем Райляна:

«Кому приходилось наблюдать обитателей арестных домов, тот легко может представить себе тип симпатичного, добродушного горемыки-пропойцы из хороших мастеровых. Небольшого роста, коренастый, с сутуловатостью, не столько толстый, сколько обрюзгший, с потным блестящим лицом простого склада, с выцветшими от алкоголя некогда серыми глазами, коротко остриженной головой, с какими-то усишками под носом и такой же бороденкой — тень человека, неизвестно за какие грехи злым роком брошенного в одну трущобу с рецидивистами и иными, коим имя легион.

Это — Александр Иванович Куприн. На нем какая-то не то голубая, не то розовая русская рубашка, старые, виды видавшие “по пьяному делу” брюки на одной подтяжке — другая сорвалась и как-то жалко повисла сзади наподобие хвоста, — да грязные носки вместо сапог на ногах дорисовывали облик несчастного писателя.

“Каролина, Каролина...” “О, Сусанна, о, Сусанна” — неистово выкрикивали известную кабацкую песню два Александра Ивановича — “друзья” Куприн и Котылев —

* Райлян обвинил Крыжицкого в плагиате, указав на сходство его картины «Морозный день» с полотном Якова Бровара из цикла «Беловежская пуща».

под аккомпанемент тапера “Васи” Регинина. Обнявшись, они орали, что было мочи, плясом перебегая с одного места на другое и опять благим матом ревели: “О, Сусанна”».

Может быть, фельетон и остался бы незамеченным, газетку Райляна читали мало. Но 28 сентября популярная газета «Утро России» перепечатала большие фрагменты, снабдив их комментариями и заголовком «Афинская ночь». И началось; сенсация долетела даже в Италию. «Вчера обозлило меня “Утро России” сплетнями какого-то Фомы Райляна о А. И. Куприне. Что А<лександр> И<ванович> может быть и бывает совершенною скотиною, в том не сомневаюсь, но хорош этот г. Райлян — совершенно лакей, который, будучи допущен к пьяным господам “разделить компанию”, спешит затем с доносом в моральный участок. И хороши газеты, которые подобными пакостями с лицемерными вздохами пробавляются. <...> До чего только дойдем мы в жестокой печатной своей подлости... Хоть бы оглоблей что ли били нахалов этих»[276], — писал Горькому Амфитеатров.

Поднялся шум. Приближенные, конечно, знали, что Куприн не ангел, да и любой поклонник писателя, зайдя в «Вену», мог увидеть кумира «без галстука». О привычках Котылева тоже знали. «У Котылева были странные житейские повадки, — вспоминал Алексей Ремизов, — летом по случаю теплой погоды дома он ходил не иначе как нагишом». Всего два года назад, в ходотовской «“Госпоже” Пошлости» был показан не менее отвратительный шабаш, но там имена не были названы, да и видели пьесу далеко не все. А тут, в прессе, все фамилии пропечатаны! Чуть позже писатель Рапгоф, рассказ о котором впереди, издевательски заметит:

«...о А. Куприне не принято писать дурно. Если желтая печать начнет травить кого-нибудь, то не знает ни меры, ни границы, зато уже раз примется хвалить и захваливать, то, что бы ни написал или ни сделал такой автор, все и великолепно и бесподобно.

Будь это детский лепет в смысле чистого разума и логики, будь это пьяные бредни впавшего в вырождение субъекта, — безразлично»[277].

Александр Иванович заметался, как раненый зверь, невольно подыгрывая обидчику. 29 сентября он отправил к Райляну своих секундантов с вызовом на дуэль. Райлян, якобы оторопев (автор «Поединка» докатился до дуэли!), вызов отклонил, о чем на следующий день известил чита-

телей своей газеты. Он настаивал на третейском суде, чем еще больше взвинтил Александра Ивановича. 30 сентября он поместил в «Биржевке» свой комментарий в заметке «А. И. Куприн о своей дуэли»:

«Г. Райлян в своем безграмотном фельетоне описывал мое белье, не забыв и носков. Я не считал удобным уличную брань г. Райляна передавать разрешению третейского или какого-либо другого суда. Единственным ответом на его гнусную выходку был мой вызов на дуэль, который я держал в строгой тайне, во избежание каких бы то ни было нарушений дуэльного кодекса.

Вчера мои секунданты известили меня об отказе г. Райляна от дуэли.

Он считает — по его объяснению — дуэль “варварским институтом” и “некультурным способом”. И это заявляет человек, допустивший по моему адресу варварскую ложь и не только не культурный, но прямо-таки безобразно дикий поступок!

Я знаю, что г. Райлян вообще ищет популярности своему имени на скандалах.

История с Куинджи, история с Крыжицким, в которых достаточно обрисовалась его фигура, — лучшее подтверждение тому.

Я знаю, что его газеты никто не читает, и думал ограничиться разрешением вопроса об оскорблении исключительно в кругу своих близких друзей и представителей г. Райляна.

Г. Райлян сегодняшним письмом предал огласке мой вызов. Предложение г. Райляна о суде я отвергаю.

Для г. Райляна может быть только один суд...

Впрочем, больше я ничего вам не скажу: я считаю вообще обидным даже расспросы друзей по этому поводу и совершенно излишними те многочисленные выражения сочувствия и возмущения выходкой г. Райляна, которые я получаю теперь с разных сторон. Право, имя его не заслуживает лишнего упоминания.

Что такое Райлян?»

Прочитав это, Райлян возликовал — каша заварилась, к тому же накануне начала годовой подписки! А тут еще за Куприна вступились коллеги. Гневно выступил Дмитрий Мережковский. Сергей Яблоновский в «Русском слове» сетовал: как хотелось бы, чтобы рассказанное Райляном оказалось ложью!.. Николай Лопатин в «Утре России» вообще заявил, что Куприн — это новый Пушкин, а Райлян — но-

вый Дантес, и потому Райлян испугался дуэли, что никакая его пуля не сможет пробить грудь Куприна, которая защищена броней его славы. К этой фразе Райлян, разумеется, прицепился.

«Броненосец Куприн» — так он назвал продолжение своего фельетона (Против течения. 8 октября. № 28), подчеркнув, что в продолжении виновен сам Куприн. Задав вопрос «Что такое Райлян?», он спровоцировал встречный вопрос «Что такое Куприн?». Автору кажется показательным уже то, что известный писатель нападает на него со страниц «помойной ямы» — «Биржовки». Солиднее издания не нашлось. И далее Райлян пускается в пространное рассуждение о том, что его задача — «забронированных вывести на суд человеческий», отвергая условности. «“Наша гордость”, “наша радость” — ведь это же только роковые слова и слова, а в особенности, когда эта гордость и радость пьяная, бесчинствующая. <...> Обидно узнавать, что боги валяются в грязи? Да, в этом трагедия нашей жизни, — но кто же в этом виноват? И почему эти боги, наши правители духовные, должны охраняться от человеческого суда? С кого же и спрашивать, как не с тех, кому многое дано?»

В том же номере Райлян поместил обзор прессы «Среди газет. (Инцидент Куприн — Райлян)», где привел еще одно интервью с Куприным. Процитируем фрагмент из него, потому что здесь слышна живая речь человека, растерянная и тоскливая:

«Меня что возмутило в статейке Райляна: пусть бы человек вторгался в мою частную жизнь, но он позволяет себе клеветать — и не только на меня, но и на девушку.

Он пишет, будто у нас была “афинская ночь”, будто все сидели голые, будто, повинуясь моему приказанию, разделась догола и девушка, бывшая с нами.

Да знает ли г. Райлян, кто такая эта девушка? Это — курсистка, дочь покойного моего друга, который завещал мне заботиться о ней... Она выросла на моих руках, она стала мне родною...

Возмущает меня развязность этого господина... Ведь как раз наоборот — это он, Райлян, оскорбил девушку своим замечанием:

— Какая чудная фигура. Я как художник вижу, что барышня могла бы служить превосходной моделью...

Я заметил г. художнику, не сводившему глаз с девушки, что он, должно быть, не за такую ее принимает.

— Помилуйте, — возразил г. Райлян, — перед художником смело может раздеться каждая женщина.

Рассерженный его развязностью, я сказал девушке насмешливым тоном:

— Слышишь?.. Пойди разденься...

Девушка, поняв мою иронию, встала и ушла из комнаты.

Это было три месяца тому назад. И вот только теперь печатает свой пасквиль г. Райлян.

Правда, в тот вечер он был в таком возбужденном состоянии, что изображал каких-то зверей у рояля. Но статью-то свою он писал, надеюсь, в нормальном состоянии?..

Он говорит, что мои друзья и я приняли его голыми, и это в присутствии девушки...

Признаюсь, когда я сижу с друзьями, я позволяю себе некоторые вольности... Если мне жарко, я снимаю пиджак и воротник. Насколько помню, я сидел тогда в жилетке, обмотав шею каким-то платком.

Г. Райлян пишет, будто бы я был в одной рубашке. Проницательным оком он подметил, что я сидел без сапог, в грязных носках. Он сравнивает мою наружность с арестантом.

Да, я знаю, я некрасив... Кому до этого какое дело?.. Райлян пишет, что у меня какие-то выцветшие глаза... Вот смотрите сами: у меня великолепные зеленые глаза.

Дуэль!.. Варварский обычай!.. Пережиток старины... Нам, писателям и художникам, стыдно прибегать к такому способу расправы...

Неправда, господа, скажу я вам, не клевещите на дуэль: это рыцарский, благородный способ защищать открыто то, что дороже жизни — честь человека.

В офицерской среде дуэли — единственно законный путь к удовлетворению. Будемте же и мы, господа интеллигенты, солдатами, не трусящими смерти, когда задета честь наша. <...>

Мне нужно выйти чистым из той грязи, что вылил на меня клеветник. И одна только дуэль может смыть мой позор.

У меня растут три дочери. Пройдет пять или шесть лет, попадутся им на глаза “воспоминания” какого-нибудь бумагомараки, и они спросят:

— Отец, ты снял с себя эту грязь?»

Александр Иванович так и не объяснил, каким образом при девушке, дочери его друга, могли расхаживать голые мужчины.

И это интервью, и «Броненосец Куприн» вызвали новый виток полемики. 15 октября 1911 года иллюстрированное приложение к «Новому времени» (№ 42) поместило карикатуру Пьер-О: привязанный к позорному столбу сидит голый Куприн, обернутый на талии обрывком бумаги с надписью «Газета “Против здравого смысла”. Под редакцией Вральяна». Тело его пронзили «писательские перья» с фамилиями Мережковского, Яблоновского и Лопатина. У ног несчастного валяется пустая бутылка. Позади него два могильных памятника — Куинджи и Крыжицкого, а рядом с ними приготовленный раскрытый гроб. Комментарий: «Стрелы братьев-писателей — защитников Куприна, направленных в его обидчика Райляна, попадают...»

Райлян не просчитался с жертвой. О том, что он, Райлян, существует на свете, узнал даже Максим Горький на Капри. «Очень огорчен историей Куприна — Райляна, — писал он Амфитеатрову, — боюсь, что еще не кончена она и что А<лександр> И<ванович> либо физиономию оному Райляну испортит, либо еще хуже придумает что-нибудь». В другом письме: «Что за ужас, этот инцидент Куприна — Райляна! Неужели около Ал<ександра> Ивановича нет человека, который бы посоветовал ему хоть выехать на время из России! Следовало бы встать за Куприна, что бы он там ни наделал»[278]. И Константину Тренёву: «Измучен историей Куприна — Райляна, со страхом беру в руки русские газеты, ожидая самых печальных происшествий. До смерти жалко Александра Ивановича и страшно за него»[279]. Горький настолько негодовал, что просил Марию Карловну собирать вырезки по этому инциденту и потом прислать ему подборку.

Это был нокаут. Корней Чуковский, приехавший в Гатчину в разгар инцидента, вспоминал: «Никогда я раньше не видел его таким обескураженным и грустным». И Бог знает, куда зашла бы вся эта история, если бы в это время несчастный Александр Иванович не отколол такую штуку, что россказни Райляна уже показались детским лепетом. Он едва не убил Леонида Андреева.

Это случилось на квартире Ходотова в ночь со 2 на 3 ноября 1911 года. Существует множество воспоминаний об инциденте, публикаций в прессе, по которым попытаемся воссоздать ход событий.

В тот день Леонид Андреев гостил у Куприна в Гатчине, они изрядно выпили, потом решили ехать в Петербург. Известно, что оба во хмелю бывали безумны и неуправляемы.

Первая стычка случилась уже в тамбуре пригородного поезда. Андреев то ли спросил, почему Куприн ушел от Марии Карловны, то ли сказал что-то бестактное по этому поводу. Александр Иванович, мгновенно вспыхнув, начал хватать его за грудки...

Поздно вечером они явились к Ходотову, где в это время собрались Фидлер, Скиталец, Маныч, другие гости. За ужином Александр Иванович разошелся. Артистка Тиме пела цыганскую песню, он помогал ей громким свистом (заложив два пальца в рот) и вдруг, как пишет в дневнике Фидлер, воскликнул «Allez!» («Вперед!») и «швырнул графин с водкой в человека, сидевшего напротив, — тот успел ловко его подхватить...». А чуть позже протоколист увидел, как Куприн и Андреев схватились «подобно двум боевым петухам». Куприн нанес Андрееву несколько боксерских ударов, применив запрещенный прием «collier de force»*, и начал его душить.

Вспоминает Сергеев-Ценский:

«Куприн обращается к Андрееву: “Леня, а Леня! Показать тебе зажим головы?” — “Покажи, Саша, покажи”, — бормочет Андреев. И вот “Саша” так сдавил правой рукой жирную шею “Лени”, что у того полилась кровь из носа на парадную белую скатерть стола и лицо почугунело. Андреев в то время был если и не так грузен, как в последние годы своей недолгой жизни... то все же зажим головы грозил ему печальными последствиями. Это сообразил Скиталец, сидевший визави, и так как спасать Андреева надо было без промедления, то он, чтобы поспеть вовремя, встал на стол и бросился, не обращая внимания на раздавленные им тарелки и соусницы, к Куприну, чтобы разжать его руку.

Озлобленный тем, что ему не дают додушить Андреева, Куприн начал отбиваться от Скитальца левой рукой, так что Скиталец, человек крупный и значительной физической силы, с большим трудом смог освободить Андреева»[280].

Андреева увели в коридор, откуда он кричал, что Куприну пора объявить бойкот. Александр Иванович некоторое время стоял в прострации, а потом ринулся на остальных. Досталось и Скитальцу, и Манычу, с которым они тузили друг друга, катаясь по полу. Куприна с трудом скрутили. «Эта сцена так подействовала на меня, — пишет Фидлер, — что со мной едва не приключилась истерика. И что самое страшное: кто-то, улыбаясь, успокоил меня замечанием,

---

* Силовой захват (букв. «силовой ошейник» — *фр.*).

что это, мол, "совершенно обычное происшествие"!»[281] Потом Андреев рыдал, Куприн бил бутылки об стол, Ходотов старался их помирить. «Так, — записал Фидлер, — я оказался свидетелем одного из самых отвратительных событий, которые не принесут русской литературе ничего, кроме стыда и позора»[282].

Уже на следующий день расползлись слухи, что все избиты, а Фидлер прямо до крови, что Андреев вызвал Куприна на дуэль... А в «Пале-Рояле» сошлась группа литераторов, собираясь «объявить Куприну бойкот». Среди них были Александр Федоров, Борис Лазаревский, Анатолий Каменский, Маныч... Было составлено заявление, которым Александру Ивановичу сообщали, что его поведение позорит звание писателя, что в ближайшую неделю будет созван суд чести, а до разбирательства подписавшие бумагу прекращают с ним всякие отношения. «Любопытнее всего было то, что сошлись как раз собутыльники Куприна, — смеялся Сергеев-Ценский. — <...> Справедливость требует добавить к этому, что не больше, как через день большая часть подписавшихся под этим решением преспокойно снова кутила с Куприным».

Батюшкову удалось загладить это дело. Андреев простил Куприна и официально заявил, что Куприн болен, а на больных не подают в суд. Бедный Александр Иванович, конечно, раскаивался. Извинялся перед теми, кого избил, и даже плакал. Такой удар по репутации! Сначала Райлян, а теперь еще и это...

На защиту своего сотрудника встал «Современный мир». А также Федор Шаляпин. 20 ноября 1911 года, когда еще стояли шум и гам, на обложке журнала «Искры» был помещен замечательный снимок «Два друга». Шаляпин сидит за фортепиано, перебирает клавиши и улыбается фотографу, рядом стоит Куприн, правда, несколько хмурый.

Шаляпин не отвернулся от Куприна. Полагаем, он знал причину, из-за которой тот бросился на Андреева (видимо, было за что). К тому же в начале 1911 года Федор Иванович на себе испытал, что такое общественное порицание, если не сказать травля. Он, кумир и идол, вдруг превратился в мальчика для битья; от него отвернулись даже многие друзья. 9 января после спектакля в Мариинском театре во время исполнения «Боже, Царя храни!» он вместе с хором встал на колени перед царской ложей. Это он-то, друг Горького!

Словом, 1911 год заканчивался для нашего героя непросто, а следующий и вовсе начался с трагедии. Зимой

умерла несчастная дочка Зиночка, и Александр Иванович прощался на Гатчинском кладбище с маленьким гробиком.

Можно ли было в таких условиях закончить «Яму», от которой его уже подташнивало? И Александр Иванович дождался: в 1912 году приличным тиражом вышло... окончание «Ямы», написанное за него Графом Амори. Под этим звучным псевдонимом скрывался Ипполит Павлович Рапгоф, известный в то время бульварный и порнографический писака. Бойким и малограмотным пером Граф Амори решил судьбу проститутки Любы, которую забрал из публичного дома студент Лихонин. Сначала она стала владелицей дешевой столовой, а потом поступила на содержание к богатому старику, чем немало обрадовала Лихонина. Другую героиню купринской «Ямы», Женю, поселил у себя журналист Платонов, но так мало ею интересовался, что Женя застрелилась... Прочитав это, Куприн опешил.

Теперь дальнейшая работа вообще лишалась всякого смысла. К тому же проклятое безденежье, обычно служившее стимулом, отступило. «Московское книгоиздательство», а вслед за ним и богатейшее столичное издательство А. Ф. Маркса приступили к выпуску его собрания сочинений*. Это давало хорошие гонорары, к тому же собрания сочинений сразу выдержали несколько переизданий.

Александр Куприн становился классиком. Манычары поддерживали его «белый» образ. Сообщали в прессе, что Куприн вместе с гатчинским атлетом Веревкиным и Иваном Заикиным решили основать атлетический клуб, — тут же снимок: Заикин поднимает на руках Куприна и писателя Будищева, гатчинского соседа. Публиковали всевозможные заметки и фотографии: Куприн в спортивном журнале «Геркулес» демонстрирует бицепс; возделывает артишоки в огороде; стреляет в цель из ружья; с клоуном Жакомино дрессирует собаку; пропагандирует плавание, став членом школы плавания чемпиона мира Романченко; снимается в фильме «Жакомино жестоко наказан». Сохранился отзыв Александра Блока: «Я люблю Куприна... правда, мне не нравится его распыление везде и всюду: он и в цирке, он

---

* «Московское книгоиздательство» в 1908—1918 годах выпустило 12-томное собрание сочинений А. И. Куприна. Товарищество А. Ф. Маркса в 1912 году выпустило восемь томов полного собрания сочинений в качестве бесплатного приложения к подписке на иллюстрированный журнал «Нива»; в 1915 году вышел 9-й том.

и в кинематографе, он и в ресторане "Вена", и в плавательном бассейне, и в каждом журнале»[283].

Александр Иванович на подобные упреки отвечал, что сам не знает, как это получается. Приедут друзья, ну, сфотографируют, но кто разрешал печатать?.. «Я привык к тому, — говорил он в беседе с журналистом, — что в последнее время выдумывают на меня бог знает что, как на мертвого».

Судя по всему, к этому времени Куприн стал популярнейшей персоной.

Журнал «Огонек» в мае 1913 года (№ 20) сообщил, что вот-вот выйдет книга о Куприне, над которой работает Александр Измайлов. Эта публикация очень важна, так как книга не вышла (возможно, из-за начала войны). Именно по этой статье в «Огоньке», на наш взгляд, создавались массовый миф и легендарная биография писателя. В статье подчеркивалось, что биографии Куприна до сих пор никто не знает, между тем: «Она немногим уступает почти фантастической жизни Горького». Читателю напоминали и о том, что Лев Толстой мог видеть в Куприне «своего истинного ученика» уже потому, что первые жизненные впечатления оба вбирали в армии. Далее цитировались обширные фрагменты из автобиографии Куприна, написанной им по просьбе Измайлова для работы над книгой.

Читатель уже был подготовлен к ней «рекламой» манычаров и монологом автобиографического героя Платонова в «Яме»: «...я — бродяга и страстно люблю жизнь. Я был токарем, наборщиком, сеял и продавал табак, махорку-серебрянку, плавал кочегаром по Азовскому морю, рыбачил на Черном — на Дубининских промыслах, грузил арбузы и кирпич на Днепре, ездил с цирком, был актером, — всего и не упомню. И никогда меня не гнала нужда. Нет, только безмерная жадность к жизни и нестерпимое любопытство. Ей-богу, я хотел бы на несколько дней сделаться лошадью, растением или рыбой или побыть женщиной и испытать роды; я бы хотел пожить внутренней жизнью и посмотреть на мир глазами каждого человека, которого встречаю. И вот я беспечно брожу по городам и весям, ничем не связанный, знаю и люблю десятки ремесел и радостно плыву всюду, куда угодно судьбе направить мой парус...»

Бродяжничество из жажды жизни, конечно, горьковская тема. Многие из названных Платоновым занятий Куприн в «Автобиографии» повторил, понятно, как собственные. Некоторые современники не поверили. Так, много позже, уже в эмиграции, Марк Алданов писал в статье «Па-

мяти А. И. Куприна»: «Думаю, что его жизненный опыт несколько преувеличен ходившими о нем легендами (так это было и с Джеком Лондоном, и с Кнутом Гамсуном). Говорили, писали, будто он побывал в молодости дантистом, псаломщиком, грузчиком, торговцем. Как это могло быть? Ни дантистом, ни псаломщиком нельзя стать без определенных условий диплома или подготовки. Никакой причины работать грузчиком у Куприна никогда не было: это оплачивалось грошами, любая работа в газете давала гораздо больше, а для собственного удовольствия никто грузчиком не станет»[284].

Однако миф был создан, и «черному» Куприну в нем места не было. А в жизни было. К тому же, как известно, литературная среда ревнива, и нередко мухи раздувались до слонов. Так, современник вспоминал, что «Петербург его <Куприна> в ту пору трезвым почти не знал»[285]. (Напрашивается вопрос: как же выходили собрания сочинений, кто их писал, составлял и редактировал?) Совершенным люмпеном писатель был изображен и на карикатуре сатириконца Ре-ми «Салон ее светлости русской литературы» (1914). Пьяно опершись на стол, Александр Иванович тупо разглядывает собственную руку, на которой сидит чертик с лицом писателя Алексея Ремизова...

Из уст в уста передавались смешные и страшноватые байки о Куприне, великом и ужасном. Приведем несколько для полноты картины.

Байка, рассказанная И. С. Соколовым-Микитовым:

«Раз сидели в ресторане у Чванова — на Большом проспекте, на углу Введенской — Куприн, Грин, совсем еще молодой Соколов-Микитов. <...> Язвительный Александр Степанович Грин что-то сказал, что Куприну не понравилось. Куприн был мастер ножи кидать... И вот Александр Иванович метнул в обидчика... вилку. Молодой Иван Соколов-Микитов подставил руку, вилка в руку вонзилась. <...> Уязвленный Александр Степанович Грин взял бутылку и ахнул Куприна по голове. Дело вышло бы худо, если бы Александр Иванович не имел обыкновения не снимать с головы татарскую тюбетейку. Что его и спасло»[286].

Байка, рассказанная Е. Д. Зозулей:

«Однажды Грин сидел с А. И. Куприным — оба были пьяны — за небольшим столом, подперев подбородок руками и изрыгая матерную брань. В точно такой же позе сидел и Куприн и так же, дожидаясь своей очереди, — произносил по адресу Грина те же многострадальные слова.

— Что это такое? — спросили их.

Грин ответил:

— Отойдите, не мешайте. Это борьба талантов»[287].

Байка, пересказанная Тэффи (Н. А. Лохвицкой):

«...кто-то сказал, что если попугая накормить укропом, то он погибнет в страшных мучениях. И будто бы, услышав это, Куприн всю ночь ездил по городу, искал укроп, чтобы накормить попугая и посмотреть, что из этого будет. Но была зима, и свежего укропа он не достал»[288].

Байка, рассказанная В. Крымовым:

«Было это, вероятно, в 1913 году, я сидел в своем рабочем кабинете на Невском, в Петербурге, когда, улыбаясь, вошел ко мне художник Троянский:

— Это ваш автомобиль стоит у подъезда? Я вам туда гостя посадил.

— Какого гостя, кого вы там посадили и зачем?

— Не беспокойтесь, он ничего не украдет, он там спит... — опять смеясь ответил Троянский. <...> Это Куприн... Пусть поспит, мы немножко с ним выпили... Возьмите его к себе, пока доедем, он очухается... <...>

Когда приехали на Каменный остров и остановились у дверей дома, Троянский соскочил, отворил дверцу и громко сказал:

— Александр Иванович, замечательный коньяк!

Действие этих слов было магическое — Куприн сразу проснулся»[289].

Байка, рассказанная С. Сергеевым-Ценским:

«Однажды в “Вене” собрался цвет столичной адвокатуры для чествования одного из светил своего сословия по случаю 25-летия его деятельности. <...>... собралось человек пятьдесят, и они заняли целый зал ресторана, впрочем, только колонны и арки отделяли его от другого, общего зала. А в этом другом зале одиноко сидел за столиком у стены не кто иной, как Куприн. Одиноко и скромно. Он ничего не заказывал, так как денег у него не было ни копейки. <...> И вот к столу шумно пирующих адвокатов и дам, причем и те и другие были одеты как подобает в парадных случаях, подходит никому из них в лицо не известный, в поношенном пиджачке, коротенький субъект и говорит хрипло: “Господа, протанцевать вам ‘джигу’, танец английских моряков? — Джига? Что такое джига?” <...>

Не успели сообразить пировавшие, что он такое делает, как он очутился уже довольно ловким прыжком на столе и начал топтать ногами тарелки и расшвыривать бутылки с

вином... все с криками сорвались со своих мест, отбрасывая стулья. “А-ай! Сумасшедший!” — вопили дамы. Много костюмов, как мужских, так и женских было испорчено красным вином, горчицей и кусками дичи в жирном соусе»[290].

Байка, рассказанная С. Роговым:

«...в “Вене” мы как-то “хоронили” А. И. Куприна.

<...> После трех-четырех рюмок Куприн задремал; пробовали будить — спит.

— А ведь Саша-то умер, давайте хоронить, — предложил Шаляпин, и в один миг из стола соорудили катафалк, положили на него спящего Куприна, покрыли его скатертью, подняли “катафалк” на плечи, Шаляпин к концу салфетки привязал опорожненный соусник, и шествие, с пением “Вечной памяти” дважды прошло по общему залу между столиками и направилось по длинным коридорам отдельных кабинетов»[291].

Байка, рассказанная Н. Вержбицким:

«...однажды ночью мы ехали из Петербурга в Гатчину на автомобиле. Не ехали, а мчались, так как Александру Ивановичу хотелось, чтобы расстояние в 60 верст мы преодолели никак не больше, чем за 60 минут. <...>

Вдруг Александр Иванович заявляет, что ему хочется на ходу перейти к шоферу. Старые автомобили отличались такой конструкцией, что по внешней подножке можно было перебраться с мест пассажиров в изолированную и отделенную стеклом кабину водителя. Но для этого нужно было вылезти наружу.

Я решительно запротестовал против такого акробатического номера на полном ходу автомобиля и стал удерживать Куприна.

Он оттолкнул меня, нажал на ручку двери, она распахнулась, рванул ветер и... Куприн исчез. <...> Я был так ошеломлен, что не сразу догадался постучать водителю в стекло и объяснить ему, что случилось. Прошло, наверное, еще минуты две пока мы, наконец, остановились. <...>

Обнаружили Куприна далеко позади, лежащего на куче щебня. Он был без чувств. Лицо в крови...»[292]

...Между тем наступил 1914 год.

Глава шестая

ОКОЛО ВОЙНЫ

Куприн — ура-патриот! Что может быть смешнее этого?

Б. М. Киселев

Разе мог Куприн представить, что снова наденет форму поручика?

Что будет маршировать по плацу и командовать: «На кррра-а-ул!»

Что будет писать рапорты?

Что все его творческие замыслы в один миг станут никому не нужны, а писать на нужную тему ему, автору «Поединка», будет крайне затруднительно?

Что собратья по перу уйдут на фронт, а сам он окажется в тылу?

Что ему будет нечего есть?

Все это принесла с собой Великая война, в которую Россия вступила 19 июля 1914 года.

Дежавю

В канун своего 44-летия Александр Иванович испытал то, что сегодня принято называть «дежавю» (чувство, что ты уже это видел или бывал в сходной ситуации). Десять лет назад он уже наблюдал Петербург, охваченный патриотическими митингами и шествиями, слышал речи о войне до победного конца. Тогда не сомневались, что разобьют японцев. Теперь — немцев.

Став эмигрантом, писатель задумается, с чего началась российская катастрофа. И вспомнит 22 июля 1914 года, четвертый день после объявления Германией войны России. Исаакиевская площадь. Толпа. Растерянный эс-

кадрон конных жандармов тщетно пытается остановить «патриотический триумф»: погром германского посольства. Из окон здания летят кипы бумаг, мебель. Толпа улюлюкает, несется «ура!». На крыше какие-то люди сбивают статуи обнаженных тевтонов и лошадей. Каждый удар дает взрыв радостного гула: «Пусть горит!!! Пусть немцы погибнут!!!» Напротив здания посольства пылает костер: жгут портреты императора Вильгельма... Из окон автомобиля за зрелищем наблюдают Александр Куприн, Аркадий Руманов и Иван Сытин*. Через семь лет эмигрант Куприн тяжело вздохнет, надписывая свою книгу такому же эмигранту Руманову: «Дорогой Аркадий Вениаминович, когда мы с Вами и с И. Д. Сытиным глядели из автомобиля, как сваливала чернь статуи Германского посольства, — ну могли ли бы мы поверить, что и вот в Париже я буду делать надпись на моей книге, отпечатанной в Финляндии? 3/II 1921 г. Paris»[293].

А тогда, летом 1914-го, наш герой писал по поводу увиденного: «Это очень хорошо, что два бронзовых мужика сверзлись на мостовую: что ни говори, а ведь в полусотне шагов от посольства стоит собор, — совсем неприлично было. Молодец, русский человек, догадался! Немцев мы раздавим, и Вильгельму будет тошно»[294]. Писатель оказался в абсолютном большинстве русских патриотов, поддержавших вступление России в общеевропейский военный конфликт. «Быть участником такой войны должен всякий», — заявил он. Возможно, в том же автомобиле, глядя на погром посольства, он договорился с Сытиным и Румановым, что в случае войны поедет на фронт корреспондентом от «Русского слова». А когда война началась, стал собираться в командировку, параллельно готовясь открыть в своем гатчинском доме лазарет. Это был порыв времени, такое же решение принял, к примеру, Шаляпин.

Идея такой патриотической акции возникла на заседании Гатчинского комитета Красного Креста, постановив-

---

* *Иван Дмитриевич Сытин* (1851—1934) — русский книгоиздатель, просветитель. В числе прочего издатель популярной московской газеты «Русское слово», петербургское отделение которой возглавлял Аркадий Вениаминович Руманов (1878—1960). После приобретения Сытиным в 1916 году популярного журнала «Нива» и Товарищества издательского и печатного дела А. Ф. Маркса Руманов стал директором журнала и одним из трех директоров Товарищества. Напомним, что Товарищество в 1912—1915 годах выпустило 9-томное собрание сочинений Александра Куприна.

шего развернуть так называемые эвакуационные помещения-квартиры для раненых, уже прошедших курс лечения и нуждающихся в отдыхе и восстановлении сил. Помимо Куприных откликнулись и другие домовладельцы, которым комендант Дрозд-Бонячевский доверял больше, чем скандальному писателю. В патриотизме он не мог Куприна даже заподозрить и не хотел давать разрешения на лазарет: «...старый, но крепкий кирасирский генерал Дрозд-Бонячевский... несколько свысока дарил меня своей благосклонной дружбой. Как все русские добрые генералы, он был не без странностей. Говорил он в растяжку, хрипловатым баском и величественно, не договаривал последних слогов: замеча-а-а... прекра-а-а... превосхо-о-о... Чудаковат он был» («Шестое чувство»). Тогда к нему отправилась Елизавета Морицовна и представила изумленному генералу свои награды, полученные в Русско-японскую войну, высказав желание лично возглавить лазарет. Генерал дрогнул.

В конце августа 1914 года над калиткой зеленого домика взмыл белый флаг с красным крестом, а у входа появилась табличка «Отделение Гатчинского лазарета». В Гатчину помчался Вася Регинин, оставивший очень живой рассказ о приготовлениях к приему раненых:

«—Так что они-с в сестры милосердия записались, — заметил извозчик, подвозя меня к воротам зимней дачи писателя.

— Кто “они”?

— А... Лександра Иваныч. Каждый день на вокзал ходят, раненьких солдатиков на первую помощь к себе заманивают... Да, вишь, начальство говорит, что Лександру Иванычу лечить срок еще не вышел!.. А ему не терпится. Добрая душа!..

В самом деле, уютной квартиры Куприна не узнать. От кабинета писателя только и остался портрет Льва Толстого с его собственноручной надписью.

Г-жа Куприна обмакивает кисточку в ведерко с какой-то сероватой жидкостью и окрашивает большой бельевой шкаф в белый цвет, и тут же примостилась ее маленькая дочка, с неумолимой серьезностью помогающая своей матери. Ксенюша полирует белой “гигиенической” краской маленький детский шкафчик, предназначенный для аптечки, а сам хозяин занят той же лихорадочной работой над спальными столиками.

Скоро кабинет А. И. превратился в чистенькую, сияющую белизной палату. Установлены десять кроватей с мат-

рацами и подушками, — эту часть оборудовал гатчинский Красный Крест. У каждой койки по столику, на которые Куприн заботливой рукой расставляет графины, кружки для воды и... пепельницы.

— Вот не знаю, — вздыхает А. И., — разрешат ли здесь папиросы курить, — какое еще я могу представить развлечение для больных воинов. Разве что, — книжки будем читать им вслух? <...>

— Вначале, — говорит г-жа Куприна, — мы предполагали совершенно выехать из своего дома и предоставить его под лазарет целиком. Но мне указали, что наш личный присмотр был бы желательней, тем более, что опыт мой в деле ухода за ранеными, надеюсь, может сослужить достаточную службу. Вся домашняя прислуга моя с радостью приняла известие о превращении нашей квартиры в лазарет и распределила между собой функции: кто будет следить за аккуратным, по предписанию врача, питанием больных; кто — стирать белье на них; кто — письма под диктовку писать; кто — ванны готовить...

Точно так же приспособляется под помещение для раненых столовая и другие комнаты дома, за исключением одной, в которой приютится семья писателя. Тут же и рабочий стол хозяина, за которым он только что набросал стихотворение...

Перед отъездом от А. И. я был свидетелем одного эпизода, за внешней комичностью которого скрывалась необычайная трогательность... Из детской вышли две девочки, с забинтованными платками головками. Подхватив детей под руки, медленно вела их маленькая Ксения.

— Что это означает?

— А это я учу своих подруг и сама учусь, как надо нянчить больных солдатиков, — со святым глубокомыслием объяснила прелестная девочка! Под знамена милосердия, как и под боевые, идут и взрослые, и дети...»[295]

Пожалуй, это была первая в жизни роль шестилетней Ксении Куприной. Девочке сшили костюмчик сестры милосердия, ее принялись фотографировать. Например, один такой снимок появился в журнале «Аргус» (1914. № 21). Костюмчик сшили и двенадцатилетней Лиде Куприной, которая тоже хотела помогать в лазарете. Дело оставалось за ранеными; их пока не было. В двадцатых числах сентября в составе санитарного отряда имени членов Государственной думы Александр Иванович как военкор «Русского слова» выехал на театр военных действий.

Куприн не мог не понимать противоречивости своего положения. Ему, заклеймившему войну в «Поединке», вроде бы не пристали громкие патриотические высказывания. Со времени выхода повести прошло и много и мало: девять лет. Молодежь могла уже ее не знать, но в целом-то все знали, были и злорадствующие: ну-ка, что теперь запоет Куприн, предсказавший гибель армии? В первый же месяц военных действий Александр Иванович отказался от своих прежних взглядов в очерке «О войне», описав те же пороки у немцев: «...пропасть между прусским офицером и его солдатом стала огромной, и связи подчиненного с начальником в германской армии, кроме кулака, нет решительно никакой. Там офицерство обращается с солдатами, как со скотами <...> Я должен отметить, что в нашей армии в настоящее время (в противоположность русско-японской кампании) царит редкое единение»[296].

Трудно сказать, по каким данным он в тот момент мог сделать такие выводы? Возможно, по рассказам. На фронте он не был. Писатель посетил прифронтовые города Прибалтийского края: Двинск, Вильно, Ровно и Ригу. В те дни очень важно было понять настроения здесь. Опасались (как покажет будущее, не без оснований), что «Рига, этот немецкий кремль, ядро Прибалтийского края, представляет собою город, который даже не нужно завоевывать, потому что он есть не что иное как открытые ворота для германцев» («Лифляндия»). Куприн беседовал с разными национальными слоями населения, о чем рассказал читателям «Русского слова» в очерках-интервью «Двинск. Около войны» и «Лифляндия».

Уже по прибытии в Двинск Александр Иванович понял, что рассуждать о войне и заглянуть ей в лицо — разные вещи. Его нервы не выдержали даже вида раненого: «...и у меня, и у моего товарища как будто пол под ногами пошел куда-то вбок, и мы на момент потеряли равновесие» («Двинск. Около войны»). Взяв себя в руки, он стал беседовать с ранеными, записывая их нехитрые откровения. И убеждался в том, что солдаты в целом не робкого десятка, относятся к войне как к суровому долгу. Один из них рассказывал о ранении под Сувалками. Похоже, что этих, первых же встреченных, раненых Александр Иванович и пригласил в свой лазарет: первая партия будет из-под Сувалок.

О том, что делал Куприн в Вильно и Ровно, неизвестно, а вот о Риге писал очень подробно. Он хорошо знал этот город, часто бывал здесь и раньше, а теперь с грустью отме-

чал приметы замершей, насторожившейся жизни: «Ах, есть ли на свете зрелища печальнее опустелых домов, вымерших портов и остановившихся заводов?» («Лифляндия»). Александр Иванович беседовал об отношении к войне с рижанами разных национальностей, и каждой посвятил в очерке главку: «Латыши», «Немцы», «Евреи», «Русские». Латыши устали от притеснений немецких баронов, не считавших их за людей, и мечтали о том, что разгром Германии заставит тех умерить гонор. Местные немцы пытались доказать свою приверженность России. Евреи считали, что любая война им невыгодна, потому что им всегда достается больше всех, но и они выказывали приверженность великой России. Однако некий русский архитектор развеял иллюзии и уверил, что не стоит расслабляться: «...некоторые прибалтийские поместья принадлежат... подданным враждебной страны. <...> Они стремятся воспитывать своих детей в Германии. <...> Очень часто разбогатевший рижский негоциант выгодно прекращает свое дело, передав его германскому подданному, а сам навсегда переселяется в Германию» («Лифляндия»).

Поговорив с ранеными, опросив гражданское население, Куприн вернулся в Гатчину. И с ним, судя по всему, прибыли пациенты лазарета. Со 2 октября он начал действовать официально. Его будни тут же описал корреспондент «Биржевых ведомостей» (1914. 16 октября):

«И Куприн, который только что вернулся из своей поездки в Западный край, и его семейство очень довольны своими пациентами, десятью рядовыми, прибывшими сюда из Сувалок.

Все они разных полков, и в этом смысле рассказы их очень разнообразны. Простая обстановка семьи сразу преодолела тот ледок неловкости, который неизбежен при первых соприкосновениях раненых солдат с “не своим братом”, интеллигентом. Первые ответы: “так точно” и “никак нет” сменились словоохотливостью и откровенной беседой...

Вся хозяйственная ответственность за больных, помимо обычного надзора представителей Красного Креста, лежит на жене писателя Е. М. Куприной, которая несет добровольные обязанности с лаской и радушием настоящей русской женщины. При больных сиделки и санитары. Маленькая дочь Куприных играет с больными в шашки и в “кончину”, — специальную солдатскую игру.

Нередко выздоравливающих посещают и представите-

ли местной интеллигенции, и простой народ. Тяжелораненых нет, — большинство накануне полного выздоровления. Все с нетерпением ждут вестей с родины и завидуют тем из своих собратьев, которые уже получили из дому ответы на письма, посланные туда из Гатчины. Находятся и доброхотные чтицы и читатели, знакомящие раненых с газетными новостями и литературными произведениями и уходя награждающие солдат "гостинцем".

— На днях один из них, юморист по существу, насмешил, — рассказывает А. И. — После чтения их наградили лакомствами. Солдат хвастает мне своей сумочкой и говорит:

— Вот сегодня... заработали!..»[297]

Этих солдат можно видеть на сохранившихся групповых снимках: все на одно лицо, бритые головы, с усами, у некоторых руки на перевязи. А Куприн надолго запомнил всех десятерых: «...красавец Балан, и рыболов Тунеев, и длинный Мезенцев, и ловкий Досенко, и добродушный татарин Собуханкулов, и веселый Николенко, и мастер вырезать из дерева игрушки Пегенько, и Шилько... и Аксенов, и Прегуадзе» («А. Н. Будищев», 1916).

Писатель вспоминал, как генерал Дрозд-Бонячевский приезжал инспектировать лазарет: «...он неизменно интересовался тем, что читают солдаты. Одобрял "Новое время" и "Колокол". Не терпел "Речи" и "Биржовки". "Слишком либера-а-а... И надеюсь также, что сочинений Куприна вы им читать не даете. Сам я этого писателя очень уважа-а-а, но согласитесь с тем, что для рядовых солдат чересчур, скажем, преждевре-е-е..."» («Шестое чувство»). Генерал, конечно, опасался распространения здесь «Поединка». Жизнь покажет, насколько он был прав.

В октябре 1914 года Александр Иванович испытал самое сильное «дежавю»: он снова надел мундир поручика. Признавался: «Я совсем не ожидал, что меня так взволнует простое, казалось бы, но непривычное дело — надеть мундир. Однако я пережил такое же волнение, как когда-то давно, перед производством в офицеры»[298]. И в этом Куприн не был одинок: в те дни мало кто отказал себе в удовольствии примерить мундир или костюм сестры милосердия.

Ничто так не погружает в роль, как форма. Так и видим Куприна, который в обмундировании подтягивается, выпрямляется и, рассматривая себя в зеркале, картинно отдает честь. Такой забытый жест...

Это преображение запечатлел гатчинский фото-

граф Владимир Веревкин, сделавший серию снимков. Куприн в мундире. Офицер Куприн держит на коленях дочь Ксению в костюмчике сестры милосердия. Офицер Куприн с женой: Елизавета Морицовна в костюме сестры милосердия с медалями на груди. И комментарий прессы: А. И. Куприн призван из запаса, жена вместе с ним отправляется в действующую армию. Комментарий, заметим, не совпадал с изображением. На фуражке Куприна отчетливо виден над кокардой крест ополченца. Значит, он шел на войну добровольцем. И потом, в отличие от читателя 1914 года, мы теперь знаем, что Александр Иванович был не в запасе, а в отставке. Однако легенда прижилась, обросла «бородой». Уже в эмиграции парижская «Иллюстрированная Россия» писала (1938. 10 сентября):

«...Куприн, если бы захотел, был бы освобожден от службы. Говорили, что государь, когда ему доложили о призыве из запаса прапорщика Собинова и поручика Куприна, приказал их обоих “беречь”.

Государь, значит, ценил Куприна, даже написавшего “Поединок”.

Но Куприн “освободиться” не захотел. И снова надел свои поручьи погоны»[299].

Александр Иванович снова решил послужить Вере, Царю и Отечеству. На этот раз он отправился в Гельсингфорс (город, который принял его на излечение от тяжкого недуга, как помним, еще весной 1907 года).

Обстановка в Гельсингфорсе, столице Великого княжества Финляндского, ставшего российской территорией только в 1809 году, была непростая. Так же, как в городах Прибалтики, которые только что посетил Александр Иванович, здесь сильны были прогерманские настроения; Россия опасалась и отсюда ножа в спину.

Газеты сообщали, что 13 ноября Куприн отбыл из Петрограда в Гельсингфорс и что по его настойчивой просьбе никто, кроме жены, его не провожал. Это не так: провожали закадычные друзья, а Вася Регинин поехал с ним до самого Гельсингфорса. Затем рассказал в «Биржовке», что по приезде Куприн остановился в любимом отеле «Фенния», знакомился с теперешним состоянием города, а потом ему предложили участвовать в рукописном журнале воинской части.

Дальнейшее пребывание писателя там подернуто туманом. Биографы до сих пор скупо сообщали, что Куприн вы-

полнял обязанности по цензурированию солдатских писем и что по состоянию здоровья скоро вернулся домой.

Лишь недавно появились данные, позволяющие несколько рассеять туман. Во-первых, стали доступны эмигрантские публикации писателя, где он сообщил, что служил в 323-й дружине в Гельсингфорсе («Не по месту», 1926). Оказалось, что речь идет о 323-й пешей Новгородской дружине Государственного ополчения, материалы о которой отложились в РГВИА. Нам удалось ознакомиться, например, с именным списком «г.г. офицеров» этой дружины, коих было 13 человек. Куприн занимает в списке седьмую позицию. Помимо даты его рождения, чина и места предыдущей службы, указано, что в дружине он исполняет должность младшего офицера 2-й роты и характеризуется командиром дружины «удовлетворительно» (впрочем, так оценены девять человек из тринадцати)[300].

Пешие дружины, как правило, занимались вопросами снабжения, охраной железных дорог и транспортов, рытьем окопов и ремонтными работами; на передовую попадали редко. Сохранились фотографии ратников этой дружины: бравые дядьки с окладистыми бородами. С ними в один прекрасный день Куприна увидал на улице юный подпоручик Евгений Викторович Рышков. По его словам, Александр Иванович вел за собой полуроту таких же «“стариков”-ополченцев, как и сам»: «...крепок и четок был шаг командира этой полуроты. И видна была старая закваска, великолепная школа Александровского училища, которую не выветрили и долгие годы свободного писательского бытия»[301].

Рышков (в будущем эмигрантский литератор Евгений Тарусский) не поверил своим глазам. Он, проглотивший «Поединок» еще гимназистом, возмечтал как-то подойти к своему кумиру, пообщаться. Оказалось, что это просто. В тот же день он увидел Куприна, тоскующего в ресторане отеля «Фенния». Подошел, получил радушное приглашение присесть. И между ними состоялся очень серьезный разговор именно о «Поединке». Александр Иванович сокрушался, что его неправильно поняли: «Я не принимаю ни рукоплесканий ненавистников “военщины”, ни проклятий “военщины”... Но мне больно, да — больно, что меня умышленно не понимают». Он-де писал всего лишь о том, что наболело: о нищенском жалованье, о низком образовательном уровне и пьянстве офицеров... Собеседник согласно кивал, вспоминал, что из его однокашников

по гимназии уходили в армию вольноопределяющимися самые последние отщепенцы, второгодники, а потом являлись на гимназические балы в форме пехотных офицеров, и уже никто не помнил, что они собой представляли несколько лет назад. А потом с воодушевлением добавил: «Но теперь все изменилось, Александр Иванович <...>. Для чина подпоручика нужен аттестат зрелости. Из моего выпуска семь пошло в военные училища, один из них окончивший гимназию с золотой медалью. В батальоне, где я был вольноопределяющимся, не только офицеры, но и унтер-офицеры не били солдат»[302]. И Куприн радостно соглашался с тем, что «в 14-м году уже не герои “Поединка”, а другие, новые офицеры повели тоже новых солдат на бой»[303].

Из Гельсингфорса Куприн писал Телешову: «Клянусь, ни одной секунды свободного времени»[304]. Однако финский филолог Бенн Хеллман разыскал характерный эпизод. Один из современников вспоминал, как завтракал в ресторане и наблюдал рядом «странную компанию»: какой-то офицер, уже в почтенных летах и очень пьяный, пытался что-то объяснить на плохом французском такому же пьяному финну, который по-французски изъяснялся еще хуже. Из того, что говорил офицер, мемуарист понял, что перед ним Куприн. Говорил же он о том, что великая русская литература родила и Лермонтова, и Пушкина, и Толстого, а финская никого. Пьяный финн вскочил на ноги и, указывая на себя, заявил: «У нас есть я! Эйно Лейно!»[305] (Лейно, «финский Пушкин», действительно был известным поэтом и богемой.)

Судя по всему, военная обстановка не заставила нашего героя изменить своим привычкам. К тому же его нередко провоцировали напоминаниями о «Поединке» (рукописи не горят!). В РГВИА нами обнаружено дознание «о неприличном поведении в публичном месте поручика 323-й пешей Новгородской дружины А. И. Куприна», фрагменты которого публикуем впервые (с сохранением особенностей пунктуации и пр.):

«ДОЗНАНИЕ

Вследствие предписания командира 323-й пеш. Новгородской дружины от 31 декабря 1915 г. за № 47, мною было произведено дознание, причем были опрошены нижеследующие лица, которые показали:

1/. Метрдотель ресторана “Фенния” Алексей Степанович Крутецкий, спрошенный 2-го сего января 1915 го-

да заявил, что поручика Куприна он знает хорошо, так как таковой не только столуется у них в ресторане, но и живет в той же самой гостинице. По обязанности своей службы, он Крутецкий постоянно обходит помещение ресторана и следит за порядком. В ночь на 23-е минувшего декабря никакого скандала, или крика в ресторане не было и он, ни от прислуги, ни от кого-либо из посетителей, не слыхал никаких заявлений относительно поручика Куприна.

2/. 232 пешей Новгород. дружин. поручик Александр Иванович Куприн спрошенный 2-го сего января 1915 года, объяснил, что так как он живет в гостинице "Фенния" то ему и приходится столоваться там же в ресторане. Вследствие своей популярности, как писателя, он ежедневно бывает вынужден выслушивать от совершенно неведомых ему людей, то восторженные дифирамбы, то потуги на критику. Все это его крайне нервирует и в ночь на 23-е декабря, когда к нему подсели два прапорщика и начали опять беседу на тему о его писательской деятельности, он наконец не выдержал и, повысив голос сказал: чтобы черт побрал мою лютеранскую (видимо, правильно: литературную. — *В. М.*) деятельность... Я теперь просто солдат, а моя писательская известность делает меня чем-то вроде музейной редкости, которую всякий норовит потрогать руками... А в заключение добавил: "Жоповая профессия... ну ее к матери. Меня гораздо меньше трогает моя литературная известность, чем сознание того, что я плохой солдат и отстаю от других в нашем деле. Нетрезвым я не был".

Дознание производил 323 пешей Новгородской дружины подполковник Полонский»[306].

За инцидент с прапорщиками на Куприна было наложено взыскание. Что случилось дальше, выяснить не удалось, но все канонические биографии писателя утверждают, что именно в это время у него начались проблемы с сердцем. В апреле 1915 года Куприн попал в госпиталь, а в мае уже был в Гатчине.

Газеты сообщили, что по итогам врачебной комиссии Александра Ивановича признали негодным к строевой службе. Он и сам признавался: «В строю ходить с солдатами еще могу, но делать "перебежки" — невозможно... Задыхаюсь. Да и нервы сильно стали пошаливать... Хочу что-нибудь сделать и забываю или делаю совершенно другое... Простой бумажки составить не могу. Надо мной и то смеялись, говорили, что после "Сатирикона" самое смешное —

мои рапорта, а я писал совершенно серьезно»[307]. Хотя не в его правилах было признаваться в недугах.

Похоже, Александра Ивановича на сей раз сильно прихватило (а описанные им симптомы дают основание предположить даже микроинсульт). Тот же Бенн Хеллман, не довольствуясь принятым объяснением — болезнью (неспособность писателя к строевой службе), нашел воспоминания, подписанные псевдонимом «Common Sense» и опубликованные в 1919 году. Аноним вспоминал события гельсингфорсского 1915 года и Куприна, муштрующего солдат. Ему показалось это абсурдом, и он сочинил эпиграмму:

Служенья слову скромный инок!
Судьбы ты видишь сложный шарж?
Куприн, создавший «Поединок»,
Кричит солдатам: «Шагом марш!»

По долгу службы Куприну полагалось участвовать в комиссии, выявлявшей, действительно ли солдат страдает нервным расстройством или симулирует. «Common Sense», тоже работавший в этой комиссии, утверждал, что лицо Куприна более всех других лиц выражало ужас, когда он слышал рассказы о газовых атаках или кровопролитии на фронте. И странно было видеть, пишет псевдоним, в таком физически крепком, коренастом человеке такие чувствительные нервы[308]...

Если мемуарист намекает на трусость писателя, это нелепо. Уж кого-кого, а Куприна — при его полетах на воздушном шаре, аэроплане, опусканиях на дно морское, драках и прочем — в трусости не заподозришь. То, что писатель не побывал в местах боевых действий, сам он объяснял так: «...на фронт мне не пришлось съездить. То не случалось оказии, то не было свободного автомобиля. А в конце концов я и сам решил, что ездить туда из праздного любопытства, с комфортом и полной безопасностью... ну, как-то неловко, что ли, как неловко наблюдать для темы страдания, смерть или роды» («Союзники»).

Здесь, конечно, может возникнуть вопрос: неужели за семь месяцев, проведенных им в Гельсингфорсе, не случилось оказии? Наиболее вероятный ответ, как представляется, лежит на поверхности. Не забывшие обиды армейские начальники могли просто не допустить поездки Куприна на фронт — мало ли какой еще «Поединок» он там сочинит...

И вот снова тихая Гатчина, зеленый домик, перед Александром Ивановичем сидит очередной корреспондент «Биржовки»:

«— Ничего не пишу, — жалуется ему А. И., — не пишется...

Куприн, как один из выдающихся изобразителей военного быта, не мог остаться равнодушным ко всему происходящему, и это почувствовали перебывавшие в его "тихой" даче воины. Они пишут писателю послания, полные самой искренней теплоты, уважения и любви.

— Если перестанете получать письма, — значит, выбыли из строя, — трогательно предупреждают возвратившиеся опять на позиции некоторые из раненых.

И Александра Ивановича охватывает тревога за многих, кто уже перестал посылать весточки о себе. Ежедневно получаемая Куприным корреспонденция приносит десятки писем "оттуда", из окопов, где так ярко пылает пламя надежды на победу. И отблески этого пламени падают на чуткого Куприна и он говорит: "Да, мы победим, и не потому только, что мы сильнее духом немцев, но оттого, что немцы сошли с ума и сохранили при этом логическое мышление, направленное исключительно на увеличение количества пушек и жертв. Писать об этой войне я не могу, ибо происходящее огромнее и неизмеримее всяких творческих вымыслов, и никакая писательская фантазия не сможет преодолеть той правды боевой, что происходит там..."»[309].

Лазарет пришлось ликвидировать. Хорошая затея обернулась трагедией: прислали тифозного больного, и он заразил Ксению. Девочка оказалась между жизнью и смертью. Лазарет закрыли на карантин и больше не возобновляли.

Жизнь снова потекла в привычном русле, вот только от войны уже было никуда не скрыться. Манычары и те приобрели военный вид. В саду Куприна, под цветущей сиренью, сидел теперь не рафинированный критик Пильский, а боевой поручик, с раненой правой рукой на перевязи. Кто бы узнал теперь Маныча? Он не просто носил форму, а щеголял Георгиевскими крестами! «Когда и за что он их получил, никто не знает», — записывал в дневнике Фидлер и полагал, что это милости от Распутина, с которым, как говорят, Маныч подружился[310]. Маныч действительно не был на фронте, он служил в Петрограде в тыловой автомобильной роте, где также пристроилась лихая литературная компания: Маяковский, Шкловский, Осип Брик, сатириконцы Ре-ми и Радаков. Елизавета Морицовна запрещала принимать Маныча, но тот пробирался «огородами». Один

Вася Регинин морщился от «патриотического угара» и все чаще заговаривал об эмиграции в Соединенные Штаты.

Куприн не мог бездействовать. В конце 1915 года он предпринял третью, последнюю попытку «послужить по мере сил и разумения» Родине («Союзники», 1916). Куприн решил пропагандировать деятельность Всероссийского Земского союза (Земгора) и в качестве помощника уполномоченного столичного отдела Союза отправился осматривать периферийный, киевский отдел. Дело было под Новый год, и похоже, что Александр Иванович встретил праздник в Киеве, городе своей юности, и по-юношески, забыв о возрасте и болезнях. Ксения Куприна вспоминала:

«Начались попойки, что сразу же пагубно сказалось на здоровье отца. Он вернулся в Гатчину.

“Болен, — жаловался всем Куприн. — Принужден отказаться от своего плана ехать на фронт военным корреспондентом”»[311].

Вспоминал Куприна в Киеве и Борис Киселев, подросший сын Михаила Киселева, друга киевской молодости писателя. Александр Иванович приехал с «маньчарами», и его часто видели в Литературном клубе, где случались скандалы: «Какой-то неряшливого вида субъект из компании (Куприна. — *В. М.*) подошел к сидевшему за соседним столиком... настоящему окопному офицеру... и стал просить у него на некоторое время пистолет. “Зачем это?” — изумился офицер. “Не беспокойтесь, — залебезил субъект. — Обращаться с оружием я умею. В моих руках оружие найдет самое лучшее применение”. Офицер отмахнулся... “Так не дадите?” — с угрозой в голосе спросил субъект, и тогда офицер рявкнул на него, да так, что тот сразу откатился в сторону. “В чем дело?” — спросил Куприн. Он выслушал объяснение и приказал: “Сядь, дурак!”. Компания заржала»[312].

Тихая грусть окрашивает рассказ Куприна об этой командировке. Писатель ругал себя: не нужно возвращаться в места, где ты был молод и счастлив. Глядя на своих постаревших, обрюзгших друзей, горевал: «...с гнетущей тоской чувствуешь себя их сверстником... А об остальных... о ком ни спросишь... слышишь в ответ мрачное слово: умер... умер... умер... И кажется, точно внемлешь густым, медленным ударам колокола, гудящего на твоих похоронах» («Союзники»).

Ах, если бы Александр Иванович знал, что больше никогда не увидит Киева! Что через два с половиной года, после Брестского договора, этот город станет столицей независимой Украины и заграницей!..

Так закончилось его пребывание около войны.

Сухой закон

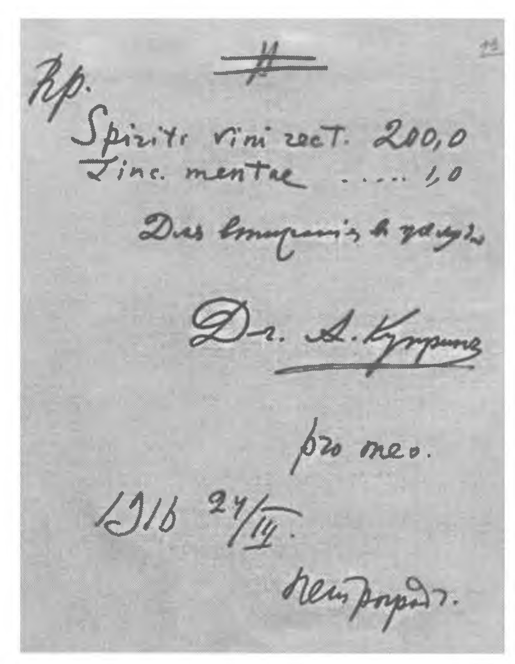
Последний год в истории Российской империи — 1916-й — Куприн начинал невесело. На шарже художника Дени, напечатанном в «Огоньке» (1916. Январь. № 4), он сидит, съежившись от стужи, в тулупе, мрачно дымит папироской... На другом шарже того же Дени и в том же 1916 году изображены Шаляпин и Куприн. Перед ними на пустом, голодном столе лишь бутылка хлебного кваса и опрокинутая рюмка. Подпись: «Федор Иванович и Александр Иванович».

А еще сохранился автограф писателя как примета времени: шуточный рецепт, выписанный им самому себе 24 марта 1916 года на 200 граммов спирта — для втирания в желудок. Это он размечтался. Максимум, что удавалось достать, 25 граммов, стоившие бешеных денег. Через много лет писатель расчувствуется: «Дорогой мой друг, добрый фармацевт Векслер! Теперь вы вне досягаемости, и я свободно приношу вам мою глубокую признательность за то, что во многих случаях ваши аптекарские пузырьки и бутылочки служили мне лекарством и подпоркою духа, и помощью в работе, и средством от смертельной тоски, и возможностью увеселить друга, несмотря на строгий запрет!» («Шестое чувство», 1933).

Сухой закон был объявлен еще в первые дни войны, однако кого и когда он останавливал? Конечно, перешли на спирт и самогон; в ресторанах «для своих» подавали спиртное... в чайниках. Однако к 1916 году со снабжением стало совсем худо.

В последние военные годы Александр Иванович вел почти трезвый образ жизни. Пусть он ничего значительного, кроме завершения «Ямы» в 1915-м, тогда не написал (во время катаклизмов вообще не до писаний), но он восстановил здоровье, которое ему еще очень понадобится. Куприну придется пережить две революции, лютый голод, тяжелое бегство из России и 17 лет эмиграции, которые потребуют от него максимального напряжения всех жизненных сил.

Сухой закон. Шуточный рецепт на спирт, выписанный Куприным самому себе. *Петроград. 24 марта 1916 г.*



Rp.
Spiritus vini rect. 200,0
Tinc. mentae 1,0

Dr. А. Куприна

pro meo.

1916

Петроград.

«Федор Иванович и Александр Иванович». *Шарж Дени (Виктора Денисова) на вынужденную трезвость Шаляпина и Куприна. Петроград. 1916 г.*

Глава седьмая

СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ

Вы можете не заниматься политикой, все равно политика занимается вами.

Шарль Монталамбер

В революционные годы Куприн оказался в трудном положении. Его, автора «Поединка», различные левые партии считали «своим» и залучали в свои ряды. Он же, по-человечески ошарашенный происходящим, понимал, что должен обозначить свою личную гражданскую позицию. При этом не ошибиться. Публичным людям всегда тяжелее: как правильно сориентироваться в событиях, что сказать во всеуслышание, чтобы потом не было мучительно больно, не причислили к предателям? За кем пойти? Как вообще понять, кто герой сейчас и кто будет объявлен им через час?

Александр Иванович растерялся и легко поддавался на провокации.

Нужно самоопределяться

События захватили Куприна сразу.

Во время Февральского переворота 1917 года он оказался в Гельсингфорсе.

Город зашумел митингами и украсился флагами, а жители — красными ленточками и гвоздиками в петлицах. Замелькала фамилия Керенского. Приехал член Государственной думы Федор Измайлович Родичев, назначенный комиссаром Временного правительства по делам Финляндии: «...бубнил на всех перекрестках, и так пьянел от собственного красноречия, что, слезши с тумбы, не мог отвечать на самые простые обыденные вопросы, а только улыбался и

все переспрашивал как сквозь сон — а? что? кому?» («Бескровная», 1920).

Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Адриан Иванович Непенин, опасаясь анархии, приказал не оповещать судовые команды об отречении императора. И побежали агитаторы нашептывать морякам эскадры, а заодно и солдатам гарнизона, что от них-де скрывают правду, что их-де людьми не считают. А те взяли и убили Непенина «по приговору революции», над телом надругались. «Будя, попили нашей кровушки!» — впервые услышал в те дни Куприн.

До него доходили страшные слухи о том, что убитых много, что морг Николаевского госпиталя переполнен. Позже эти зверства назовут «гельсингфорсскими банями»: «Офицеров, живых, завязывали в мешки, прикрепляли к их ногам тяжесть и бросали в прорубь. Иногда же их собирали в кучу на корабельном баке и из брандспойтов поливали горячим паром» («Бескровная»). Какие чувства испытывал писатель, видя, как пророчества придуманного им в «Поединке» Назанского — что офицеров скоро будут бить — снова перешли из области бреда в реальность? Что мятежный сценарий по разложению армии, провалившийся в 1905—1906 годах, опять извлечен на свет? Ведь он давно уже не был восторженным «подмаксимовиком», а приближался к 50-летнему рубежу.

Александр Иванович поддерживал продолжение войны до победного конца, и его потряс Приказ № 1, отданный Петросоветом 1 марта 1917 года и опубликованный на следующий день. Такого его фантазия даже в бреду Назанского не родила бы! Приказ вводил новую систему взаимоотношений в армии: создание выборных комитетов из представителей нижних чинов и передачу именно им, а не офицерам, оружия; равенство прав нижних чинов с остальными гражданами в политической, общегражданской и частной жизни; отмену вставания во фронт и отдания чести офицерам вне службы; запрещение офицерам обращаться к солдату «на ты» и пр. И это в условиях войны! «Помню, — писал Куприн, — как прочитав его (Приказ № 1. — *В. М.*) вслух, один старый офицер сказал со слезами: “Господи, если Тебе было угодно осудить Россию на гибель, зачем избрал Ты для нее такой позорный путь?”» («Бескровная»).

Как только стало возможно, Александр Иванович вернулся в Гатчину, которую не узнал. Здесь теперь действовала

новая власть — Гатчинский районный комитет Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Городовые, знавшие его в лицо, исчезли; вместо них отряды какой-то «народной милиции», преисполнившись своей миссией, без конца проверяли у него документы и никаких снисхождений не делали. Позже Куприн вспомнит этих милиционеров 1917-го: «“Кто прицепил этого маленького мальчика к этому большому ружью?” — спрашивали мы. Мы видели, как милицейский бежал со своего поста, бросив ружье, когда вблизи его лопалась шина. И мы сами бежали врассыпную, куда попало, когда милицейскому приходила в голову дурацкая мысль полюбопытствовать: что это за штука ружейный замок и для чего это внизу под ним приделан такой движущийся хвостик?» («О Врангеле», 1921).

В Петрограде — всеобщее радостное помешательство. «Свободные граждане» обнимаются, плачут, поздравляют друг друга. Да и как не помешаться, когда на их глазах рухнул многовековой порядок вещей? Позже, когда придет отрезвление, Куприн скажет об общественной эйфории: «...несколько театральная, несколько истерическая» («О патриотизме», 1924). Но тогда, в феврале 1917-го, не могли поверить: революция!!! Девятьсот пятый год, здравствуй снова! Бывшие бойцы революционно-идеологического фронта, давно обуржуазившиеся, с животиками и банковскими счетами, нацепили красные банты и снова возникли на трибунах. Как буквально — на митингах, так и метафорически — через прессу.

Время требовало публицистов и поэтов. Пресса, ошалев от отмены цензуры, что называется, рвала Куприна на части, и он согласился вместе с Петром Пильским редактировать «народно-социалистическую» газету «Свободная Россия». Так события заставили его вернуться к журналистской работе, плоды которой, много лет скрывавшиеся в спецхранах, открываются нам только теперь.

Пока Александр Иванович пытался разобраться в политических баталиях, Петроград уже шептался, что из-за границы в пломбированном вагоне прибыли женевские вожди большевиков, что это «секретное поручение Вильгельма», что жди беды... Куприн не подозревал о том, что прибывшее «секретное поручение Вильгельма», прекрасно помня о его с ним прежних связях, внимательно за ним следило и анализировало все его публичные выступления. Он же, поддерживая Временное правительство, громил «ленинцев» и анархистов: «Это исторические болтуны, трибун-

ные паяцы, честолюбивые мизантропы, сумасшедшие алхимики и, в самом невинном случае, — продажная челядь» («Сердце народное. А. Ф. Керенский», 1917). Уверял читателей, что всеобщее наступление на Северном фронте, для которого мобилизовывались и средства, и последние силы, необходимо. И в то же время опасался: «...гарью пахнет из армии. Вот где самая главная, может быть, даже единственная опасность. Страшно не братание (с неприятелем. — *В. М.*) <...> Не так уж страшны и массовые побеги... <...> Бесконечно страшнее упадок дисциплины и унизительное положение, в которое поставлен офицерский командный состав» («В наши дни: пахнет гарью», 1917).

Опасения писателю внушил не только Приказ № 1. Весной 1917 года он побывал в Могилеве, в Ставке Верховного главнокомандующего, где о настроениях в армии знали слишком хорошо. Куприна пригласил редактор «Известий Штаба Верховного Главнокомандующего» капитан Александр Павлович Брагин, который много лет спустя с улыбкой вспоминал, как согласовывал кандидатуру писателя с генерал-квартирмейстером Плющевским-Плющиком. «— Куприна!!! — орал тот. — <...> Да ведь от него кроме скандалов с офицерами вы ничего не получите... Ведь “Поединок”-то все помнят... А вот, мне писали на днях из Финляндии: призвали Куприна по мобилизации в какую-то ополченскую дружину, а потом не знали, как от него отделаться. Сколько историй в ресторанах... <...> Нет, нет! Кого хотите, только не Куприна!..»[313]

Брагин сумел уговорить генерала, приготовил комнату для знаменитого гостя и организовал для него банкет с польской старкой. Куприн приехал, озвучил свои гонорарные цифры, от которых Плющевский-Плющик кричал высоким голосом, напоминая, что терпит Куприна только до первого его «номера сверх программы». На старку Александр Иванович глядел зачарованно, повторяя, что в Гатчине сие нельзя достать ни за какие деньги. В вечер приезда он был в ударе: острил, царил и пленял, сыпал армейскими анекдотами и изображал в лицах, как три генерала и старуха-генеральша играют в винт.

Запомнился Брагину и визит Куприна к Верховному главнокомандующему, прославленному генералу Алексею Алексеевичу Брусилову. Уходя к нему, писатель поинтересовался, нельзя ли еще организовать банкетец со старкой, мол, у генерала замучают глупыми разговорами и водки точно не дадут.

Здесь нужно оговориться. Брагин писал воспоминания в эмиграции, которая относилась к Брусилову плохо: в 1920 году генерал согласился служить в Красной армии. Поэтому обед у Брусилова, описанный Брагиным, смахивает на фарс: Куприн-де жаловался, что посадили его между генеральшей и ее дочерью, обе «молчат как проклятые», на столе одна мадера, генерал тоже молчит и жует, а когда заговорил, так лучше бы молчал.

Неужели генерал Брусилов не спросил Александра Ивановича: «В каком полку служили?» А узнав, что в 46-м Днепровском пехотном полку, не рассказал о том, как геройски сражался этот полк под его началом, во время наступательной операции Юго-Западного фронта 22 мая — 31 июля прошлого года. Как офицеры, имея по нескольку ранений, отказывались идти на перевязку и покидать поле боя. Неужели оба не посетовали на то, что разложение последних месяцев изуродовало и этот полк? Не может быть! Именно в эти дни Куприн с болью писал, что с 1894 года «пристально, неустанно и ревностно» следил за судьбой своего полка, радовался положительным переменам, гордился участием однополчан в натиске на Львов и Перемышль:

«И вот теперь этот же полк выступил на позиции всего лишь в половинном составе. Где же причины такому позору?

Причина только одна — та, что армию по глупой близорукости и по подлому расчету вовлекли в бездействие, самоуправство и политическую болтовню, чего не случилось ни разу, ни с одной из армий, начиная с первой человеческой войны.

Живая страна может перенести все: чуму, голод, землетрясение, опустошительную войну, кровавую революцию, — и все-таки остаться живой. Но разложилась армия — умерла страна» («Пестрая книга», 1917).

Какой страшный опыт потребовался для того, чтобы писатель испугался: разложилась армия — умерла страна! А к этому уже определенно шло. Лето 1917 года принесло прорыв немцами рижского фронта (12-я Армия, распропагандированная революционными агитаторами, позорно бежала), первую попытку большевистского переворота 3—4 июля* и Корниловский мятеж в августе. Куприн читал, что за участие в мятеже и Плющевский-Плющик, и его

---

* Речь идет о демонстрации солдат, матросов и рабочих в Петрограде под лозунгом «Вся власть Советам!» 3—4 июля 1917 года, переросшей в попытку большевиков поднять вооруженное восстание против Временного правительства. — *Прим. ред.*

коллега капитан Брагин арестованы, что Керенский и Петросовет требуют над ними военно-полевого суда...

Россия летела в тартарары. Александр Иванович, гуляя в Гатчине с Сапсаном, с ужасом видел разграбленные «Березовый дворец» и «Павильон Венеры», зияющие полосы от украденных бордюров, расколотые мраморные фонтаны. Попадались праздные солдаты: «Бог ты мой! — в каком они виде, эти свободные солдаты...! Расстегнутые, распоясанные, немытые, нестриженные, курят без перерыва, харкают и плюют, где попало» («Пестрая книга VI», 1917).

На фотографиях этого времени у Куприна очень усталый вид, тяжелые мешки под глазами, потухший взгляд, рядом с ним сосредоточенно-серьезная жена и худющая Ксения. Девочке уже исполнилось девять лет, и пора было поступать в гимназию, но об этом даже речи не могло быть.

Писатель вспоминал свое тогдашнее состояние растерянности и дикого одиночества, от которого только Сапсан и спасал. Однажды, возвращаясь с прогулки, они попали в неприятную историю. Александр Иванович сел, свесив ноги, на деревянный мостик через канаву; Сапсан лег рядом. Тут появился милицейский патруль, и старший заорал: «Это что за безобразие! Как смеешь сидеть? Кто такой? Встать, когда с тобой говорят!» («Одиночество», 1923). Пес, среагировав на грубость, одним прыжком заградил хозяина: «На него страшно было глядеть. Глаза, которые у всех породистых меделянов “на кровях”, совсем залились кровью. Плотная, густая шерсть на спине поднялась дыбом... толстый хвост вытянулся палкой». Куприн испугался: еще секунда, и собака вцепится его обидчику в горло, а он не сможет ее удержать. А тот орал подчиненным: «Застрелить собаку! Сейчас же!» Куприн униженно стал докладывать, кто он такой, что здесь делает, где живет. Драмы удалось избежать. В этот раз удалось; в другой раз не удастся.

Александр Иванович никогда не писал о том, где его застало известие об Октябрьском перевороте. А ведь если он был в это время в Гатчине, то оказался в эпицентре событий. Именно в гатчинском дворце Керенский с оставшимися ему верными соратниками пытался спасти положение и удержать власть.

А потом покатился кровавый ком по городам и весям, хорошо знакомым Куприну. В Могилеве толпа разъяренных матросов растерзала главковерха Духонина. В Крыму революционные матросы устроили массовые самосуды над

офицерами — в Севастополе, Ялте, Евпатории... Топили, резали, кололи штыками...

В случившемся большевистском перевороте имелся особый оттенок для Куприна. К власти пришли люди, из которых он многих знал. Ленина — заочно, через Горького и Регинина, который работал с Лениным в газете «Новая жизнь» в 1905-м. Куприн мог видеть статьи Ленина в «Современном мире»[314], то есть считал его политическим журналистом, потому поражался, каким образом тот дошел до таких вершин: «Странное явление происходит на наших глазах. Вчера еще мало кому известный человек, писатель, знакомый лишь узким партийным кругам и весьма ограниченному числу читателей — вдруг... становится центром внимания всей грамотной и полуграмотной России» («Генерал Пфуль», 1917). В одной из статей Горького Александр Иванович прочитал, что этого Ленина, прибывшего в Россию, Горький совершенно не узнаёт, что это другой человек («Законный срок», 1918). Поползли слухи, будто тот, прежний, обаятельный Ленин, умер в Женеве, а этот его двойник, подкупленный немцами... Жену Ленина, Надежду Константиновну Крупскую, с детства знала Мария Карловна — Крупская была подругой ее сестры Лиды и часто бывала в доме Давыдовых. По 1905 году Куприн лично знал, к примеру, Луначарского, ставшего наркомом просвещения, и Леонида Красина.

А может быть, известие о перевороте наш герой встретил с полным безразличием: «За последние дни мы ко всему привыкли, ко всему готовы и, кажется, нас не способны больше удивлять или возмущать ни кровь, ни грязь, ни насилие, ни смерть, ни позор. Должно быть, одинаково без волнения мы встретим в утренних газетах известие о сооружении гильотины на Марсовом поле, о чуме в Москве, о случаях людоедства в Петрограде, о переходе России в вассальную зависимость от Германии. Притупились нервы, застыло воображение, вылиняла и охамела душа, отчаяние перешло предельные границы и растворилось в пищепроводном равнодушии» («Доменная печь», 1917).

Так же заторможенно Куприн перечислял приметы своей жизни «под большевиками»: «Я признаю советскую власть, и — признаю не только за страх, но и за совесть... Нужна ли мне хлебная карточка, билет на собаку, пропуск на Васильевский остров, — я иду в Совдепию... к назначенным 11 часам утра и жду до трех появления моего владыки, а до пяти — своей очереди. <...>. Вооруженному человеку я



Писатель, претерпевающий бытовые лишения военных лет.
Шарж Дени на Александра Куприна. 1916 г.

показываю по первому его требованию мой проездной билет, паспорт, фотографию, метрику и содержимое бумажника. Подымаю, по его приказанию, руки вверх и опускаю их вниз. Беспрекословно иду за десять верст рыть окопы, презирая свой атеросклероз и порок сердца, а через неделю так же послушно иду окопы закапывать <...>. Но если меня дружелюбно и пытливо спросят, уважаю ли я эту власть... в глазах моих никто не прочтет стыдливого признания» («Стыдливое признание», 1918).

Упомянутый писателем «владыка» — это председатель Гатчинского совета Николай Николаевич Кузьмин, старый большевик, не лишенный литературных способностей. Он очень уважал Александра Ивановича, бывал у него в зеленом домике. Несколько раз его видел там Пильский, который вспоминал: «Куприна уговаривали сотрудничать в большевицких изданиях или, по крайней мере, продать свои сочинения (или часть их), сулили великие и богатые милости. Куприн не соглашался. Все эти предложения он отвергал решительно и твердо. Все же где-то, в глубине души, у него роились сомнения. Помню, мы сидели у него в столовой. Говорили о том, о чем тогда говорили все, — о большевиках, о судьбе печатного слова. Вдруг Куприн сообщил мне, что большевики настойчиво зовут его сотрудничать. Я покачал головой. Иногда Куприн не любил возражений и не терпел противоречий, даже если они высказывались самым близким человеком. Он и мне ответил, что не во всем уж там правы и святы т. наз. "буржуи" и особенно офицеры»[315].

Александр Иванович колебался, и это естественно. Большевики так красиво и убедительно говорили о своей миссии, о всеобщем счастье, что интеллигенция невольно думала: а вдруг правда, как же я отступлюсь от своего народа? Тем более что нарком просвещения Луначарский и комиссар по делам печати Володарский все силы бросили на то, чтобы деятели культуры проявляли лояльность к новой власти. Даже величайший циник Маныч ушел к ним создавать агитационно-пропагандистский поезд.

И в то же время сколько крови! Как понять, кто за ней стоит? Как доблестные матросы, «краса и гордость революции», превратились в убийц и садистов? Кто их покрывает? В марте 1918 года Куприн обреченно сидел рядом с гатчинцем Генглезом, французским подданным, который за одну ночь лишился трех сыновей. Вечером 1 марта они с тремя друзьями были задержаны в Петрограде отрядом не то крас-

ногвардейцев, не то матросов, а на следующий расстреляны, растерзаны, изуродованы. «Нет, Россию я по-прежнему люблю и уважаю как мою вторую Родину, — вспоминал Куприн слова убитого горем Генглеза. — Но пускай судит Бог тех, кто извратил, ожесточил и изуродовал чистый лик русского народа» («Памяти жертв большевиков», 1921).

В таком же оцепенении Александр Иванович встретил известие о Брестском мире, о том, что немцы уже почти у Петрограда, что Совнарком бежал в Москву, бросив город Петра на произвол судьбы. Все реакции притупились, остались элементарные физиологические потребности: есть, пить, спать. И он большей частью спал. Так и проспал трагедию.

Однажды Куприн не обнаружил дома Сапсана. С криком помчался по Гатчине, по их любимым уголкам и тропкам. Звал, звал, звал. Нету! Нигде нету! Домой вернулся в отчаянии, заворочались тяжелые мысли. Вспомнил прошлогодний конфликт с милицией, недавние случаи, когда пугал Сапсаном очередного красноармейца, явившегося с очередной бумагой. Неужели убили?

Да, убили. Задыхаясь от горя, Александр Иванович добежал до старых Мозинских ворот за артиллерийскими казармами, на свалку, разгреб руками снег и, стоя на коленях, оцепенел над трупом собаки с простреленной головой. Может, вспоминал финал «Мыслей Сапсана»: «Не люблю я лунных ночей, и мне нестерпимо хочется выть, когда я гляжу на небо. Мне кажется, что оттуда стережет кто-то очень большой, больше самого Хозяина, тот, кого Хозяин так непонятно называет “Вечность” или иначе. Тогда я смутно предчувствую, что и моя жизнь когда-нибудь кончится, как кончается жизнь собак, жуков и растений. Придет ли тогда, перед концом, ко мне Хозяин? — Я не знаю. Я бы очень этого хотел. Но даже если он и не придет — моя последняя мысль все-таки будет о Нем». Хозяин опоздал.

Куприн видел, что шутки кончились. ЧК повально арестовывала «контрреволюционеров», оппозиционные новой власти издания закрывались. В мае 1918 года исчез в Ревтрибунале Пильский, арестованный за памфлет «Смирительную рубаху!» (Петроградское эхо. 1918. № 64). Пильский позволил себе сравнить красный Петроград с домом скорби: «Гремит с утра до вечера бравурная музыка, мелькают красные, дешевые платки. Раздается гнусавый, гнилой и мерзкий напев. Они счастливы! Они торжествуют! <...> Пожалейте и не осудите: это хоровод исступленных,

это кадриль дураков... <...> Вертятся и кувыркаются с писаной торбой революции за вздрагивающими плечами — и торба тоже прыгает, и революция в ней тоже прыгает — и когда-нибудь допрыгаемся. <...> Но надо уже (это ясно!) лить холодную воду на эти бритые разгоряченные затылки, и пора вязать руки безумцев. <...> Спешите же с ведрами: сумасшедший дом в огне!»

Казалось бы, арест Пильского должен был призвать Куприна к разумной осторожности. Ан нет: очень скоро и он оказался в Ревтрибунале.

«Расстрелян к чертовой матери»

Такой ответ, сопровождаемый циничным хохотком, услышала 2 июля 1918 года Елизавета Морицовна Куприна, пытаясь узнать судьбу арестованного мужа. Уж очень не вовремя он решил заступиться за бывшего великого князя Михаила Александровича.

Писатель следил за судьбой великого князя: после отречения от престола* тот продолжал жить в Гатчине, затем был арестован, выслан в Пермь, а потом газеты сообщили, что Михаил Александрович бежал и теперь наверняка возглавит контрреволюционные силы.

Куприн счел нужным высказаться. 22 июня 1918 года жители Петрограда читали его статью «Михаил Александрович» в газете «Молва» (№ 15). Одновременно ее читали в ЧК и принимали там определенные решения. Время наступало радикальное: 20 июня был убит комиссар по делам печати Володарский, требовались ответные жесткие меры.

Содержание купринской статьи до недавнего времени оставалось неизвестным, поэтому приведем обширную выдержку:

«У меня не имеется никаких поводов питать к великому князю Михаилу Александровичу личную приязнь. Однако, я должен указать, что Михаил Александрович обладает необычным благородством. Он не властолюбив, не эгоистичен, не двуличен, мягкосердечен, необычайно добр и сострадателен. <...>

---

* Уточним для мучеников ЕГЭ: император Николай II отрекся от престола 2 марта 1917 года в пользу своего брата великого князя Михаила Александровича; 3 марта отрекся Михаил Александрович — до решения Учредительного собрания о форме государственного правления. — *Прим. ред.*

На войне он зарекомендовал себя человеком стойкой храбрости: без тени рисовки, суетливости или задора. Всадники его дикой дивизии* титуловали его "ва, султаном", "ва, падишахом", но, конечно, на "ты", а за глаза звали — "наш джигит Миша".

Обладая обыденным, но прямым и здоровым умом, он никогда не дилетантствовал ни в музыке, ни в поэзии, ни в истории, ни в военном искусстве. Все его сослуживцы, с которыми мне приходилось встречаться, — солдаты и офицеры — отзываются о нем, как о человеке чрезвычайно вежливом и внимательном, светлом и простом в отношениях, добром товарище и хорошем строевом офицере. Его обычная скромность часто граничит с застенчивостью. Он нежно, без усилий, любит всех детей, любит цветы и животных.

Он прекрасный семьянин. Вот и весь узенький круг его жизненных радостей. Он необыкновенно щедр и не отказывает ни в одной просьбе, помогая в нужде широкою рукою не только деньгами, но и другим, более тугим капиталом — личным влиянием. А главное — он совсем, окончательно, бесповоротно, безнадежно болен полным отсутствием властолюбия. Живя постоянно в Гатчине, но не видев до сих пор ни разу Михаила Александровича в лицо, я был почти свидетелем той беспредельной радости, которая им овладела, когда он узнал, что вместе с рождением Алексея от него отошла необходимость быть наследником. Тогда счастье, переполнявшее его, так и хлестало наружу, потому что он всех вокруг себя хотел видеть счастливыми в эти дни.

Его отказ в 1917 г. от принятия власти без воли народа звучит достоинством, спокойствием и любовью к родине. Мне говорят, что он продиктован Керенским. Форма — может быть, смысл — нет.

Он, вероятно, охотно в силу естественного влечения, отказался бы тогда от всякой формы власти, как и от всяких титулов и всевозможных будущих благ, если бы это не было в его тогдашнем положении малодушием, граничащим с трусостью. А вот скажите вы мне, многие ли из тех, что довели Россию, — допустим из чистых идейных побуждений, — до черной гибели: найдут в себе мужество, отказавшись от власти, признаться: "Простите нас, мы ошиблись"».

---

* Великий князь командовал Кавказской туземной конной дивизией, сформированной из добровольцев-мусульман, уроженцев Кавказа и Закавказья.

Далее Куприн заметил, что понимает мотивы бегства Михаила Александровича: «Конечно, можно при умении верить гарантиям большевиков о безопасности. Но верить ли его рьяным и крайним приверженцам?» Писатель так никогда и не узнает, что человек, в чью защиту он поднял голос, в ночь с 12 на 13 июня 1918 года был убит именно «рьяными», по общепринятой версии.

Куприн считал свою статью невинной, а вот редактор газеты, его приятель Муйжель, из осторожности сделал к статье примечание, что оставляет ее содержание «на ответственности высокоталантливого автора». Позже, на допросе, он объяснит, что не согласен был с позицией Куприна, считал несвоевременным упоминание имени Романова, но не смел не напечатать, как не посмел бы не напечатать Толстого или Чехова[316].

Дальнейшие события Куприн описал много позже в мемуарном рассказе «Обыск» (1930). Что-то, понятно, олитературилось, какие-то даты стерлись в памяти. Сопоставим художественную версию с материалами прессы тех дней, чтобы восстановить реальную картину.

По рассказу, поздно вечером 1 июля к нему пришли с обыском из гатчинского Совдепа. Выгребли все бумаги из письменного стола, дали расписку, потом отвели его в Совдеп, где он провел полубессонную ночь. Утром отвезли в Петроград, в бывший особняк великого князя Николая Николаевича-старшего, где размещался Ревтрибунал. Там ему особенно запомнился комендант, матрос-балагур Крандиенко.

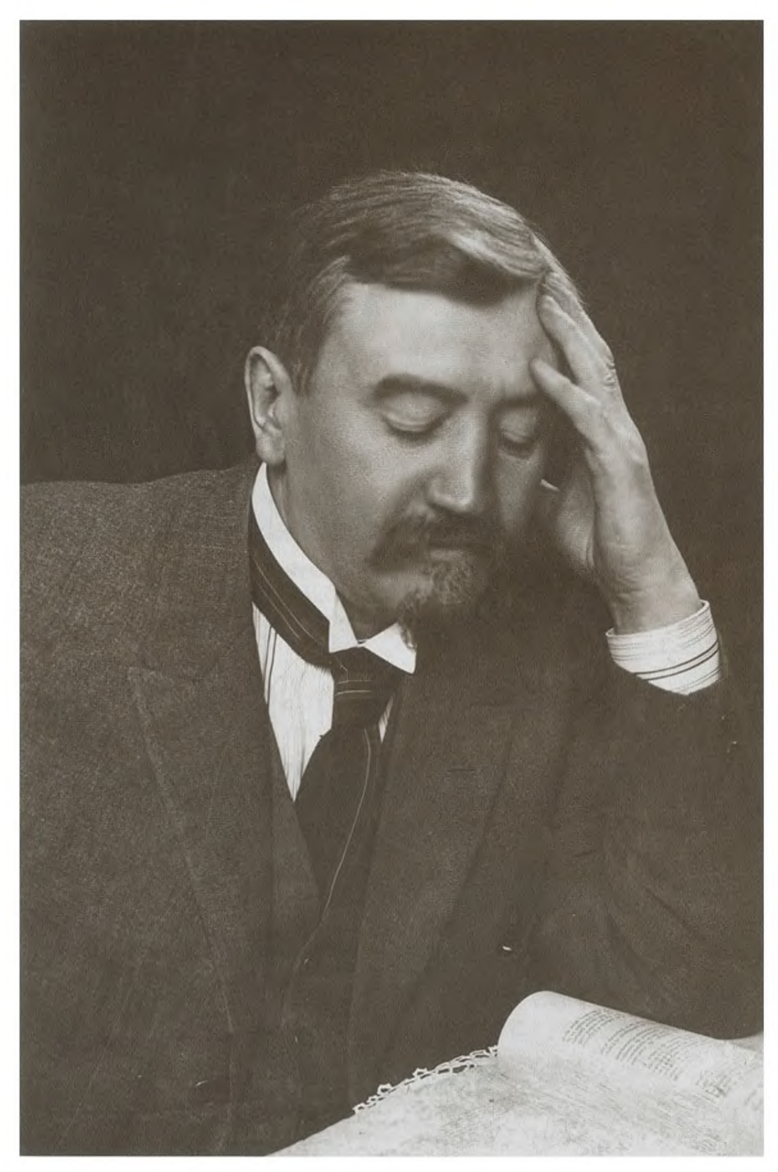
Причину ареста никто не объяснил, и Александр Иванович терялся в догадках. Шевелились какие-то смутные мысли о недавней статье... Да ведь она совсем безобидная... А вот приписка эта Муйжеля, что он-де всю ответственность на автора возлагает... Не в этом ли причина? «Расстрелять, думал я, конечно, не расстреляют, в крайнем случае запрячут куда-нибудь на год, на два...»

На допросе речь пошла именно о Михаиле Александровиче. Куприн слово в слово повторил свою статью, из чего следователь заключил, что он ненавидит советскую власть и ждет взамен нового монарха:

«К вечеру, когда мы с Крандиенко пили чай, приехала моя жена.

— Ты жив?! — вскричала она, ощупывая мое лицо, и вдруг накинулась на коменданта.

— Что это за безобразие у вас творится? Я спрашиваю:



Эмигрант Александр Куприн. *Гельсингфорс. Конец 1919-го — 1920 г.*



«Он маленького роста, широкоплеч и сухощав. На нем скромный темно-синий костюм, очень опрятный, но не щегольской...» — Куприн о встрече с Лениным в Кремле.
Октябрь 1918 г.



«Коммунистический привет»: Николай Иорданский, назначенный советским полпредом в Италию, за день до отъезда.
Москва. 23 июля 1923 г.



Семья Куприных в военные годы.
Гатчина



Куприны вскоре после бегства из России. *Таллин. Ноябрь 1919 г.*

Северо-западники со своим командующим, генералом Н. Н. Юденичем (в центре с обнаженной головой). *1919 г.*





«Французская Гатчина»: дом в Севр Вилль д'Авре, где жил Куприн в 1921—1922 годах. *Открытка 1900-х гг.*



По гатчинской привычке подновляет сад у дома. *Севр Вилль д'Авре*



Парижская улица Ранеляг — один из адресов писателя. *Открытка 1900-х гг.*

«Эх, испортили французы русский язык: бок у них — рюмка, кот — берег, ваш — корова, а шваль — лошадь!» *Шарж на Куприна работы Mad'a (М. Дризо). 1926 г.*



Писатель в своем «аквариуме»: кабинет в квартире на бульваре Монморанси. *Париж. 1926 г.*





Ксения Куприна — модель Дома моды Поля Пуаре. *Париж. Вторая половина 1920-х гг.*

Маленький бизнес жены писателя.
Реклама «Библиотеки А. И. Куприна» в газете «Возрождение». *Париж. 1928 г.*



Кинозвезда
Kissa Kouprine. *Париж. Начало 1930-х гг.*







«Дионис» Куприн и «колонист» Саша Черный в Ла Фавьере.
Франция. 1920-е гг.

В палисаднике Куприных на бульваре Монморанси:
Елизавета Морицовна и Саша Черный с женой Марией Ивановной (справа). *1920-е гг.*





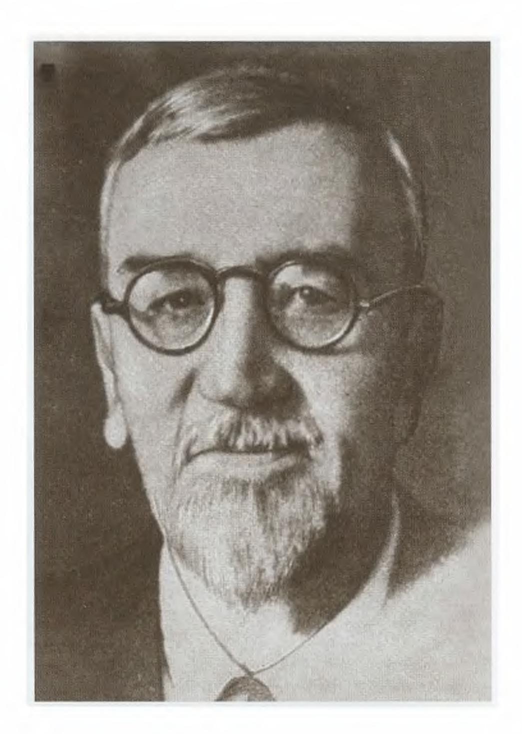


Чета Буниных, при венчании которых в Париже Куприн был шафером

Чествование нобелевского лауреата И. А. Бунина в редакции газеты «Возрождение». В центре справа от нобелиата А. И. Куприн.
Париж. 16 ноября 1933 г.

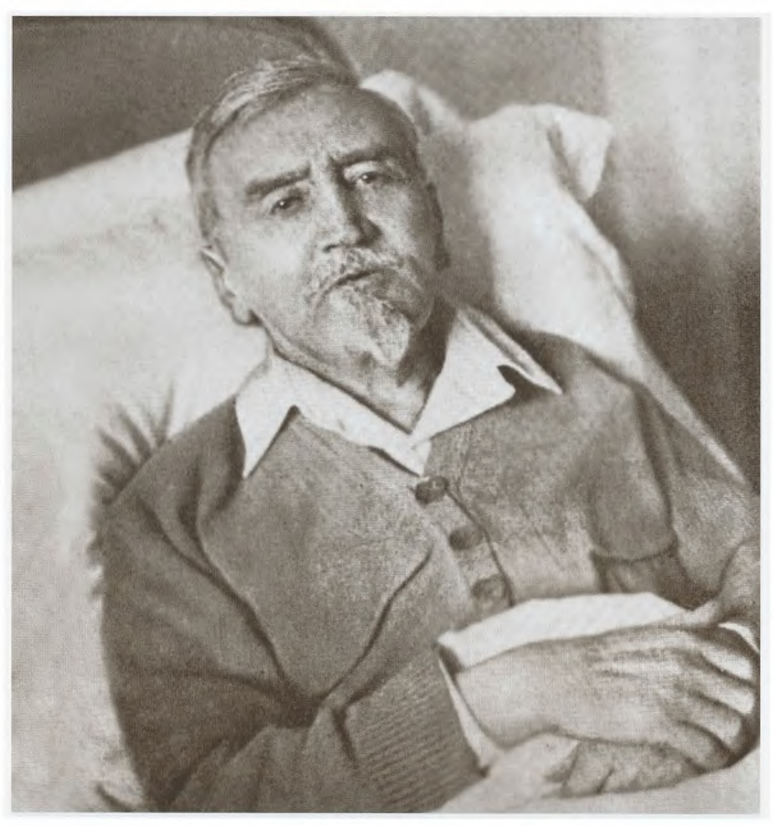


Гражданин Советского Союза Александр Иванович Куприн. *Фото из советского паспорта*



Возвращение домой. Встреча писателя на Белорусском вокзале. Слева от Куприна — С. Г. Петров-Скиталец. *Москва. 31 мая 1937 г.*





В тяжелые месяцы болезни. *Ленинград. Февраль 1938 г.*

Некролог в «Литературной газете» 26 августа 1938 года. *Москва*

Правление союза советских писателей извещает о смерти

Александра Ивановича КУПРИНА,

последовавшей в ночь на 25 августа.

Въ случаѣ моей смерти прошу:

1. Похоронить меня по христіанскому обряду и съ наибольшей скромностью.

~~2. Панихидъ~~

2. До могилы меня никому не провожать.

3 Панихидъ по мнѣ не пѣть.

4 Рѣчей надо мною не говорить и статей, или воспоминаній обо мнѣ не писать.

5 Если у кого есть мои письма и портреты — сжечь ихъ.

6 У всѣхъ кому сдѣлалъ зло, или какую непріятность — простить меня.

7. Всѣмъ же попутчикамъ въ жизни принять — глубокую благодарность

А. Купринъ

Завещание А. Куприна



Надгробие Александра Ивановича Куприна на Литераторских мостках Волковского кладбища. *Ленинград — Петербург. Современное фото*



Мария Карловна Куприна-Иорданская в канун выхода ее мемуаров «Годы молодости»; рядом писатель Николай Никандров. *Москва. 1959 г.*

Облик «господ офицеров» в первой советской экранизации «Поединка» А. И. Куприна. *1957 г.*

Актриса Московского драматического театра им. А. С. Пушкина Ксения Куприна. *1960-е гг.*



Дочь писателя выступает на открытии Дома-музея А. И. Куприна в Наровчате. *1981 г.*





КИНОВОПЛОЩЕНИЯ ОБРАЗА А. И. КУПРИНА

1 — Армен Джигарханян в фильме «Воздухоплаватель». *1975 г.*

2 — Григорий Гай в экранизации «Гранатового браслета». *1964 г.*

3 — Владимир Самойлов в кинокартине «Белый снег России». *1980 г.*

4 — Михаил Пореченков в телесериале «Куприн». *2014 г.*







Скульптура короля скрипачей Сашки-музыканта, героя рассказа «Гамбринус». *Одесса*



Бронзовый Куприн на набережной в Балаклаве

Памятник писателю в родном Наровчате, рядом с колокольней Покровского собора, в котором крестили Сашу Куприна





Александр Куприн: «Ей-Богу, я хотел бы на несколько дней сделаться лошадью, растением или рыбой или побыть женщиной и испытать роды; я хотел бы пожить внутренней жизнью и посмотреть на мир глазами каждого человека, которого встречаю...»

как чувствует себя мой муж? А какой-то глупый осел бухнул мне в телефон: "Расстрелян, к чертовой матери".

Крандиенко улыбнулся светло и широко, от уха до уха...

— Не сирчайте, товарищ Куприна. Це я пошутковав трошки» («Обыск»).

Это — творчество, а ниже — репортаж корреспондента «Петроградского листка», которого 3 июля пропустили к арестованному:

«...Куприн с книжкой в руках сидит один у раскрытого окна и наблюдает движение пароходов на Неве, любуется зеленью Летнего сада.

— Я сильный человек, — говорит Александр Иванович, — но второй день неволи уже страшно утомил меня. Был один допрос, сегодня будут снова допрашивать. Хотелось бы поскорее увидеть мое преступление.

Писатель отмечает крайне внимательное отношение со стороны служащих в карауле.

— Я замечаю какой-то перелом в революционной демократии. Куда-то исчезло прежнее озлобление, проявляются опять природные свойства русской души: доброта, чуткость, своеобразная "жалость к несчастненьким". Старшие чины любезны, но строго формальны.

Особенно доволен он столом.

— Помилуйте, — оживился арестованный, — принесли мне громадную миску щей с мясом, тарелищу гречневой каши, ломоть хлеба... Предлагают прибавки к обеду. Из всех категорий в смысле питания лучше всего категория "арестованных". А все-таки как меня — волка не корми, а на волю хочется, до боли, до слез тяжело в заключении»[317].

Неожиданный финал! Корреспондент даже не заметил, что написал какую-то юмореску: «несчастный заключенный» объедается, дает интервью, любуется Летним садом. Экий, право, большевистский беспредел.

Но пресса нагнетала атмосферу. Кадетская газета «Наш век» 2 июля 1918 года перепечатала постановление следственной комиссии при Ревтрибунале:

«...принимая во внимание:

1). что бывший великий князь Михаил Александрович с самого начала российской революции выдвигался монархическими партиями как кандидат на престол взамен свергнутого Николая II, и что в настоящее время он, скрывшийся из-под надзора советской власти, определенно выдвинут в качестве кандидата партиями контрреволюции, стремящимися к восстановлению монархии, и является объеди-

няющим для них именем, под флагом которого в восточной части России происходит активное движение, направленное к свержению советской власти;

2). что означенный фельетон, являющийся публичным восхвалением личности Михаила Александровича Романова, носит характер явной тенденции, направленной к тому, чтобы содействовать созданию благоприятной психологической почвы для восстановления в России монархии в лице бывшего великого князя Михаила Александровича, и

3). что при таких условиях фельетон А. И. Куприна является прямым вызовом революционной демократии и актом контрреволюционным, — следственная комиссия постановила:

Привлечь А. И. Куприна к революционной ответственности за помещение в газете “Молва” фельетона контрреволюционного направления; мерой пресечения для него избрать заключение под стражу»[318].

Далее сообщалось, что арестованного переведут в одиночную камеру выборгской тюрьмы. Куприн потом упрекнет коллег за то, что они своими дикими домыслами давали Ревтрибуналу не нужную пищу для ума: «Хорошо, что мы с Муйжелем поплатились за газетную сенсацию сравнительно немного» («Сенсация», 1918). Куприн поплатился подпиской об обязательной явке в суд и был сдан на поруки неизменному спасителю Батюшкову. Вечером 3 июля его освободили, «пригласив» взамен редактора «Молвы» Муйжеля. Чем дело завершилось, неизвестно.

Зато известно, что Куприну с Муйжелем было чем оправдаться: в дни следствия в газете «Эра» (1918. № 1. 8 июля), сменившей закрытую «Молву», был напечатан некролог погибшему Володарскому («К убийству В. Володарского. У могилы»), написанный... подследственным Куприным. «Умер Володарский, и на этом покончена вся наша неприязнь к нему. Перед его телом я почтительно склоняю голову». Писатель отдал должное и партии, которой служил погибший: «Большевизм, в обнаженной основе своей, представляет бескорыстное, чистое, великое и неизбежное для человечества учение».

Рассказывая много лет спустя об этих событиях, Куприн путался, утверждая, что его положение под арестом вдруг ухудшилось из-за убийства в эти дни Володарского. На самом деле Володарского убили за два дня до выхода статьи «Михаил Александрович» и за 11 дней до ареста писателя. Что же касается некролога, то его можно было бы рассматривать как следствие испуга из-за ареста, однако редакционное приме-

чание к некрологу гласило, что текст был прислан в редакцию еще до ареста Куприна и до закрытия газеты «Молва».

Благородный порыв писателя немедленно был замечен большевистской властью. Некролог начали перепечатывать периферийные газеты, а в «Известиях Симбирского Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов» (21 июля. № 143) к нему был добавлен заголовок «Интеллигенты, прочтите!».

Александр Иванович, осознанно или нет, дал слабину, опубликовав некролог Володарскому. И большевики немедленно пошли ва-банк. Они вызвали его на поединок.

К барьеру!

Писателя потребовал к барьеру поэт Василий Князев, его хороший знакомый. В прошлом сатириконец и завсегдатай «Вены», он одним из первых, как говорили тогда, «вышел из рядов буржуазной печати и стал под красное знамя». Князев был соратником погибшего Володарского, ведущим автором «Красной газеты», при которой с августа 1918-го начал редактировать сатирическое приложение — журнал «Красная колокольня».

В первом же выпуске от 4 августа в качестве передовицы Князев поместил памфлет «Красный трибунал. Процесс первый. Дело А. Куприна (Русская литература на скамье подсудимых)», построенный как речь прокурора на судебном процессе.

Памфлет печатался с продолжением в семи выпусках, вплоть до 15 сентября 1918 года. Его содержание страшно по многим причинам (в том числе и потому, что вольно или невольно показывает «технологию» любого государственного переворота). Может быть, поэтому в советских биографиях писателя о нем упоминали вскользь. Мы приводим обширные выдержки из этого памфлета, чтобы дать представление о том, какую творческую и личную драму пережил в пореволюционные годы писатель Куприн.

«КНИГА-БОМБА

Страшная книга! Красная книга! Большевистская книга! Анархистская книга! Книга-бомба! Книга — уж и не знаю, с чем сравнить ее, чтобы показать всю силу ее на-

батности, смертоносности, революционной разрушительности.

В своей области, смрадном болоте дореволюционного офицерского быта, она наделала столько опустошений, сколько не могла бы наделать никакая анархистская бомба, никакие приказы № 1-ый... 2-ой... 5-ый... сотый, от кого бы они не исходили! <...>

Она, эта книга, не призывала всех этих Хлебниковых, Сероштанов (персонажи повести Куприна. — *В. М.*) и иных великомучеников казармы под красные знамена, к мятежу, к открытому восстанию, но она делала еще более страшную революционную работу. Она — подтачивала, расшатывала, валила один из главных устоев государственности: царской или буржуазной — безразлично. Она — поражала насмерть военную касту! <...>

Куприн этой книгою ("Поединок"; давно пора сказать!), Куприн этой книгою нанес царской армии в тысячу раз более страшный удар, нежели тот, что нанесли японцы под Цусимой царскому русскому флоту.

В этой книге он, Александр Куприн, является революционером в гораздо большей степени, нежели кто-либо другой.

Кропоткин, Плеханов, Ленин, Троцкий, "бабушка"*, Савинков — никто из этих гигантов в прошлом или в текущем не может равняться с ним <...>

Февральский переворот был совершен так сказочно-легко и безболезненно — не благодаря трехлетней невероятной, взбудоражившей и потрясшей до самого основания Русь войны! Не благодаря поголовной гибели "на полях чести" старой армии и заполнения казарм "молодыми" дивизиями мгновения! Не благодаря рабочим! Не благодаря голоду! Не благодаря жажде мира! Февральский переворот был совершен сказочно-легко и безболезненно благодаря повести Куприна "Поединок".

Гражданин Куприн, стоящий на том берегу! Революционер "Поединка", поносящий революцию! Идейный убийца... и тем не менее осмеливающийся беспощадно осуждать несчастных, без вины виновных офицерских палачей

---

* «Бабушкой русской революции» называли Е. К. Брешко-Брешковскую (1844–1934): в молодости «народница», затем одна из создателей и лидеров партии эсеров и ее Боевой организации, участница революции 1905–1907 годов; Октябрьскую революцию не приняла, вела борьбу с большевиками в Поволжье и Сибири; в 1919-м эмигрировала. — *Прим. ред.*

Питера, Севастополя, Гельсингфорса, фронта! Гражданин Куприн, я обвиняю вас в совершении февральского переворота!

Но этого мало; гражданин Куприн, я выступаю против вас с обвинительной речью, где постараюсь доказать и докажу, что и **октябрьский переворот произошел не без вашего участия** (здесь и далее выделено автором памфлета. — *В. М.*). Я заклеймлю вас, величайшего художника родного слова, не желающего служить народу <...>

Гражданин Куприн, вы — **большевик!**

Мало того! В той же мере, в какой вы позволяете себе беспощадно и безоговорочно осуждать офицерских убийц, я позволю себе столь же беспощадно и безоговорочно осудить вас!

Гражданин Куприн, пойдите, вымойтесь! На ваших руках — кровь севастопольских моряков! На ваших руках — мозги офицеров-фронтовиков! <...>

СУД НАД А. КУПРИНЫМ

Товарищи судьи, миллионы читателей “Красной газеты”! Я беру на себя смелость обвинить гражданина А. И. Куприна в целом ряде тяжких преступлений. Я обвиняю его в том, что он честный человек. Я обвиняю его в том, что он друг народа и правды. Я обвиняю его в совершении февральского переворота и деятельном участии в перевороте большевиков. <...>

Материалы для обвинения я буду черпать из этой книги. Вот из этой книги. Из повести гражданина Куприна “Поединок”. Книга эта известна каждому грамотному человеку; после нашего процесса она будет известна и каждому полуграмотному. Верим!

Спешите прочесть ее, товарищи-судьи, если почему-либо до сих пор вы ее не прочли. Мимо таких книг проходить нельзя. Такие книги создают эпоху. Жить в России и не знать “Поединка”, это все равно что бродить по зоологии и не видеть слона или за широкою спиною украинского самозванца-гетмана не разглядеть фигуры кадета.

Итак, я начинаю.

Я обвиняю гражданина Куприна в совершении февральского переворота.

Как это вам хорошо известно, товарищи судьи, царский строй черной Руси держался главным образом на солдат-

ском штыке. Штык был его главная опора. “Штыки”... являлись тою непроницаемой колючей изгородью, находясь за которой он мог творить все, что ему ни заблагорассудится.

Но для того чтобы живого, мыслящего, совестливого рабочего человека превратить в солдата, в “штык”, необходимо, чтобы этот живой человек прошел через известную школу, известную операционную, известную глушильню ума, сердца и духа.

Такой глушильней, своего рода “фабрикой ангелов”, “фабрикой солдат”, являлась казарма.

Но казарма, взятая сама по себе, представляет лишь здание, обыкновенный дом; для того, чтобы дом превратился в “казарму” (т. е. в глушильню, трупарню, застенок), необходимо оживить его “сих дел мастерами”, руководителями и вдохновителями всех этих пыток, глушений и операций.

Таковым руководителем и вдохновителем являлось офицерство.

Как обрабатывалась деревня, вы можете сами догадаться. В деревню непрестанно вливались “штыки”, неся с собою казарменные традиции, казарменное миросозерцание:

Миросозерцание маршировочного “Мертвого дома”!

Солдат главным образом вращался только в этих двух сферах — мещанство и село. Благодаря этому престиж... офицерства в его глазах стоял необычайно высоко. <...>

Но вот появился человек, осмелившийся сбросить офицерство с его высокого пьедестала, сорвать с него ореол рыцарства, интеллигентности и показать потрясенному “штыку” и мещанину вместо бога или полубога — **Хама!**

Хуже — вора, мошенника, развратника, тлю в умственном и истинно-культурном смысле, дегенерата!

Человек этот, товарищи судьи, гражданин Куприн. Человек этот, товарищи судьи, — автор красной, революционной, **большевицкой** (настаиваю на этом!) повести “Поединок”!

Но для того, чтобы решиться на такой шаг, нужно быть человеком высокой честности. Основываясь на этом, я и строю свои обвинения.

Я обвиняю гражданина Куприна в том, что он — честный человек!..

Но для того, чтобы решиться на такой шаг, нужно быть истинным революционером: не бояться правды и выше всего ставить благо народа. Основываясь на этом, заявляю:

Я обвиняю гражданина Куприна в том, что он — **друг народа и правды!**

ЛЕГКОСТЬ ФЕВРАЛЬСКОГО ПЕРЕВОРОТА – ДЕЛО РУК А. И. КУПРИНА

Товарищи-судьи, миллион читателей “Красной газеты”! В мирное время, до этой проклятой войны, книга Куприна, само собой разумеется, проникнуть в казарму не могла. Лишь очень немногие — **единицы среди десятков тысяч:** вольноопределяющиеся, писаря, унтера, чины учебных команд и вообще “штыки”, находящиеся по сравнению с массой на привилегированном положении, могли ознакомиться с нею. Но и то — вне казарменных стен!

Пришла проклятая война и все полетело вверх тормашками.

Стояли казармы, как они и прежде стояли, свирепствовали офицеры, как они и прежде свирепствовали, но солдат (“штыков”) не было. **Солдаты (“штыки”) были почти поголовно перебиты в течение первых двенадцати—двадцати месяцев бойни.**

Прежних машин, автоматов, не рассуждающего, механически-повинующегося, тупо-покорного “пушечного мяса” не было. Оно осталось в восточной Пруссии. Оно осталось в восточной Австрии. Оно костьми легло под Варшавой.

На смену ему, мясу для штыков и пушек, пришло то, что я называю (мой термин!) — **дивизиями мгновения.** Пришли — люди. Пришли — вольные. Пришли — перворазрядники-бородачи и второразрядники. Эти категории запаса (особенно второразрядники) являются наиболее непримиримым, огнеопасным, обладающим свойством ежеминутно возможного самовзрыва “штыковым” материалом.

Эти люди внесли с собою в казарму (фабрику нравственного и душевного уродства и калеченья) жажду воли, любовь к воле, полную невозможность и мгновения прожить без воли. (Под “волей” я подразумеваю “вольную”, не солдатскую жизнь.)

Бородачи-перворазрядники не могли быть солдатами органически именно вследствие того, что они были бородачами. То есть, другими словами, вследствие того, что они обросли — семьями, обросли — нравственными принципами (“убивать — грешно”, “воровать — грешно”, “поджигать — грешно”), слишком уже глубоко пустили корни в почву мирной, трудовой, “по божески” слаженной жизни. <...>

Короче, из перворазрядника нельзя было сделать солдата даже при условии, если бы офицер и казарма располагали достаточным для того временем.

О второразрядниках я уже и не говорю. **Эти не только никуда не годились, но и несли с собою в казарму — неминуемую революцию, неотвратимый пожар!** <...> Люди, половину своей жизни прожившие в твердой уверенности, что их уже ни за что и никогда не возьмут! <...> Введение этих людей в казарму равносильно внесению в нее взрывчатого, самовозгорающегося материала. <...>

Взрыв был неминуем. Взрыв был неотвратим. <...>

Когда первый "второразрядник" вступил в казарму, участь царизма была уже решена! Когда "второразрядник" впервые взял в свои руки винтовку — падение царизма нельзя было уже предотвратить никакою силой! Когда второразрядника научили колоть и стрелять — крышка! аминь! кончено! <...>

Участь казармы была предрешена. Необходим был толчок, искра, удар по кнопке, и се разрушалось, разрывалось, летело на воздух — к чертовой матери!

Я утверждаю, что этот толчок был дан гражданином Куприным! <...> Я утверждаю, что роковую кнопку взрывателя нажал он же и ничем иным как своей книгой — повестью "Поединок".

Я обвиняю гражданина Куприна в совершении февральского переворота! (Красная колокольня. 1918. № 1. 4 августа.)

ГРАЖДАНИН КУПРИН, ВЫ – УБИЙЦА!

<...> Товарищи-судьи! Одной из первых проникших в казарму книг и наиболее жадно и страстно читаемой являлась книга гражданина Куприна, повесть "Поединок".

Это я видел в Александрове в 1916 году и в г. Старая Русса — весною прошлого. <...>

В книге 304 страницы — сплошь залитых горячей, человеческой, офицерской кровью! <...>

Гражданин Куприн, вы — убийца!

С тою же слепой беспощадностью, с тем же преступным нежеланием проникнуть в темную, смятенную, опаленную знойным революционным вихрем живую человеческую душу, с каким вы швыряли в лицо невольных виновников гибели старого офицерства ваше великолепное:

— Убийцы!!

С тою же слепой беспощадностью я швыряю в лицо и вам:

— Гражданин Куприн, вы — убийца!

Больше!

— Гражданин Куприн, вы — сознательный убийца! <...>

— Гражданин Куприн, пойдите и вымойтесь! На ваших руках — живая человеческая кровь!

Кто мне дает право разить столь беспощадно? Мне дает это право переживаемая нами эпоха! <...>

Гражданин Куприн сам вырыл себе могилу! <...>

ГРАЖДАНИН КУПРИН, Я ТРЕБУЮ ВАШЕЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ СМЕРТИ

В конце концов революция придет к гильотине. Это неминуемо, через это не перешагнешь.

И я, словесно гильотинирующий гражданина Куприна, являюсь лишь первой ласточкой; первым, на ¾ полубессознательным выполнителем державной воли истории.

Я требую, чтобы здесь, в Красном Трибунале, драгоценная, но грешная голова гражданина Куприна скатилась с его плеч.

Я требую — его смерти! Литературной смерти!!

Но, как никто другой высоко оценивая его талант, его необычайные творческие силы и способности. Но — памятуя о его прошлых заслугах: честности, любви к народу и правде; создании: “Молоха”, “Поединка” и пр. Но — обвиняя его в совершении февральского переворота и деятельном участии в октябрьском... Принимая во внимание все это, я говорю:

Гражданин Куприн! Вы, швырнувший в полуободранные, полусварившиеся, кровавые и опаленные лица великомучеников революции ваше зверское динамитное: “убийцы”, вы в этих убийствах, кровавых офицерских банях и Варфоломеевских ночах, повинны в гораздо большей степени, нежели те, кто их совершали!! <...>

Вы — ответственны за все это!! Вы породили это! Вы — идейный руководитель, вдохновитель и творец всех этих ужасов!

Я говорю:

Все, сколько их ни есть, офицерские вдовы должны взять за руки своих несчастных, осиротевших — благодаря вам — детей, подвести их к окнам вашего жилища и сказать:

— Здесь живет убийца твоего папы. Его имя — Куприн. Помни и никогда не забывай!

Все, сколько их ни на есть, дряхлые, старые, слепые, выплакавшие свои глаза и разодравшие свое сердце офицерские матери должны собраться под окна вашего жилища и страшной (страшнее ее ничего нет на свете!) материнскою клятвою проклясть вас!

Все, сколько их ни на есть, офицерские старики-отцы должны собраться под окна вашего жилища, никогда не расходясь; куда бы вы ни пошли, сопровождать вас; и — молчать! молчать с невыразимо горящими глазами! Такие глаза — не забываются! Такие глаза будут сопровождать вас всюду. Сниться вам. Мерещиться вам в темноте и уюте ваших покоев! <...>

Нет во всем мире пытки, равной этой!!

Я беспощаден. Я продолжаю:

— Офицерские трупы, переполняющие Севастопольскую бухту и иные бухты! Там, под водой, по воле течения, лениво качающиеся, жестикулирующие, живущие после смерти, с выеденными раками глазами и тяжелыми, чугунными ядрами на ногах! Эти трупы должны собраться под окна вашего жилища, проникнуть в вашу опочивальню, в ваш кабинет и ни на минуту не оставлять вас — до самой вашей смерти!

Я беспощаден!

Осенью прошлого года я прочитал в проклятом "Вечернем времени" эпизод красной Гельсингфоргской бани:

Офицера-отца волокли на смерть, а сзади, цепляясь за руку отца и вопя, в тисках невыразимой детской муки, в зное сверхчеловеческого детского смертного отчаяния, бежал маленький мальчик в матросской куртке:

— Оставьте моего папу! Пощадите моего папу!!

Матросам-большевикам (проклятое "Вечернее время" подчеркнуло это!) надоели детские вопли и они отрубили руку офицера-отца!!

Маленький мальчик с размаху упал на землю, сжимая в сладких детских пальчиках уже мертвые пальцы отрубленной папиной руки!

Я поэт и я — упал в обморок! Я отец, и я проклял большевиков!

Сослепу, ничего не видя и ничего не слыша, с глазами, налитыми кровью, ревущей душой и трепещущим в невыразимом пламени сердцем я начал травить большевиков. Я бросился к главным цитаделям врагов народа и воли, во все эти "Бичи", "Сатириконы", "Дни", "Часы" и прочее и начал оттуда стрельбу! Целых три месяца по-

требовалось для того, чтобы я очнулся и понял настоящую правду!

Гражданин Куприн, я палач-смертник трудовой красной коммуны, поэт и отец, я швыряю вам в ваше лицо:

— Эту руку отрубили — вы!

Я гильотинирую ваше сознание, испепеляю ваш мозг, ставлю вас на острую грань возможности мгновенного умопомешательства:

— Гражданин Куприн, пусть эта мертвая, отрубленная рука однажды ночью вопьется вам в горло своими ледяными, полуразложившимися пальцами и — задушит вас!!

Это все — если вы печатно не откажетесь от вашего несправедливого обвинения. Не покаетесь. Не сходите крестным путем на Голгофу!

Обвинение тяготит над вами, но оно немедленно будет снято, как только вы одумаетесь, прозреете, поймете свою великую вину. (Красная колокольня. 1918. № 2. 11 августа.)

...судья замечает, что обвиняемый даже не может ответить, потому что закрыты все газеты. На что прокурор Князев говорит:

«Во-первых, он может ответить брошюркой-книжкой. Во-вторых, буде он того пожелает, — вышка “Красной колокольни” к его услугам. Ответить же он должен, ибо обвинения, выдвинутые против него, серьезны, обоснованны и как таковые требуют ответа. Он должен ответить, если он честен. А он — честен.

Судья:

...еще я не могу понять, как это случилось: Куприн жил в Петрограде, а офицеры были убиты на Малаховом кургане и утоплены в Черном море. Разъясните, пожалуйста.

Прокурор:

Книга убивает не хуже винтовки. <...>

Судья:

...Я так думаю, что эти матросы, которые убивали людей, правого и невиноватого, ни один из них не читал “Поединка” <...> Если бы они читали Куприна, Толстого, Л. Андреева, Максима Горького, то этого позора в русской армии и флоте никогда не было бы.

Прокурор:

Я держусь на этот счет противоположного взгляда, то есть по-моему, если бы не было книги, литературы, не было бы и убийств. <...>

С у д ь я:

Не лучше ли будет бросить это слово “убийцы!” своим друзьям-коммунистам? А также не забудьте и себе наслать офицерских и генеральских жен и детей и скажите им:

— Идите под окна к моим друзьям-большевикам и ко мне и кричите: здесь живут палачи и убийцы наших отцов, мужей, братьев.

Когда вы напишете так в “Красной колокольне”, то каждый рабочий, и даже честный большевик, скажет: действительно, Князев говорит правду.

П р о к у р о р:

В эту революцию нет ни одного не виноватого человека, ни одной не обагренной кровью руки. И моя рука в крови, и ваша рука в крови, и руки моих, ваших друзей, недругов — тоже в крови. Вдумайтесь хорошенько во все канувшее и происходящее и вы поймете, товарищ судья, что это так». (Красная колокольня. 1918. № 5. 1 сентября.)

В заключительной части памфлета (Красная колокольня. 1918. № 7. 15 сентября) с подзаголовком «Горе тому, кто идет; вдвое тому, кто ведет» Князев вынес приговор всей русской дооктябрьской литературе: науськивали, начиная с Радищева, а теперь, когда произошла революция, испугались! Так Куприну пришлось отдуваться за всё революционно-демократическое направление русской литературы. Следующий процесс Князев планировал посвятить Василию Ивановичу Немировичу-Данченко, но выпуск журнала был прекращен.

Как Куприн все это воспринял? Уверял себя, что Князев просто сошел с ума, что «Поединок» в очередной раз неверно истолкован? Не знаем.

Во время публикации памфлета случились более радикальные события. 30 августа 1918 года в Петрограде был убит председатель Петроградской ЧК Моисей Урицкий, а в Москве совершено покушение на Ленина. В начале сентября Александр Иванович вместе со всем помертвевшим Петроградом читал новое постановление Совнаркома «О красном терроре» от 5 сентября 1918 года. Все понимали, что относительное либеральничанье большевиков кончилось и начинается истребление инакомыслящих.

На памфлет Куприн ответил личным письмом.

«Дорогой Василий Васильевич! — писал он Князеву. — Вышло так: Вы чрезвычайно ловко и смело фехтовали, проткнув меня глубоко и во многих местах, но слабая сторо-

на Вашего горячего нападения заключалась в том, что я-то был не только безоружен, но еще и со связанными руками и заткнутым ртом. Правда, Вы рыцарски предложили мне для защиты или “Колокольню” или брошюру. Но — увы! — “Колокольня” прекратилась, а тот издатель, который согласился дать мне бумагу и печать для ответа, сидел тогда в узилище, если не сидит и до сих пор. А мне многое и очень веское хотелось бы Вам возразить. И теперь хочется. Особенно потому, что в Вашем тоне, несмотря на его страстность, я уловил того же Князева, надпись которого на его книге, подаренной мне, я сейчас перечитал. Как быть?

Но есть резкость и резкость. Если бы Вы знали, какими словами меня ругали в свое время за “Поединок” пишущие генералы! Даже теперь стыдно вспомнить!»[319]

Письмо не датировано, но по содержанию ясно, что Куприн дочитал памфлет до конца и только тогда решил ответить. Князев тоже ответил не сразу, лишь 5 ноября 1918 года:

«Дорогой Александр Иванович,

мое отношение к “писателю Куприну” осталось прежним: великан. Судил я “писателя Куприна” не потому, что его ненавидел, а потому, что его любил, сознавал его гигантские силы, хотел, чтобы этот гигант порвал паутину “Петрушек”* и принес к народу свои богатства. Я был резок? Такова революция. Человек, поставивший на кон свою голову и рискующий веревкой, иначе говорить не может.

Вы хотите возражать, оправдываться? В чем? Я обвинил Вас в честности — Вы хотите доказать обратное? Я обвинил Вас в дружественности народу и правде — Вы хотите доказать обратное?

М. б., Вы хотите возразить: “Я никогда не обвинял офицерских убийц, солдат?” Но у меня вырезка Ваших биржевочных и иных статеек, у меня свидетельские показания Ваших и Пильского взаиморыданий в “Петрушке” о гибели прежней дисциплины и т. д.

Если Вы все-таки хотите выпустить брошюру, обратитесь в Смольный, комната 54 к тов. Ионову, заведующему издательством Совдепа.

Но параллельно с этим зайдите к нам в “Красную” <газету> к 11 часам, я Вас познакомлю с тов. Лисовским, кот<орый> уже давно Вас ждет.

Вы — честны, Вы — друг народа и правды, место Ваше — в наших рядах: на жизнь и смерть.

---

* Артистический кабачок, оформленный художником-сатириконцем Алексеем Радаковым.

Вас ждут и приход Ваш будут приветствовать. Книги Ваши будут изданы Смольным, наши газеты и журналы — широко откроют Вам свои столбцы.

С товарищеским приветом Василий Князев»[320].

Видимо, Куприн в ответ на это что-то еще написал, потому что 20 ноября в «Красной газете», в рубрике «Почтовый ящик», где печатались ответы корреспондентам, появилось следующее обращение:

«*А. И. Куприну*. Обратитесь к тов. Луначарскому или в Смольный, комн. 54 — к заведующему издательством Совдепа тов. Ионову...

Вас<илий> Кн<язев>».

Похоже, Александру Ивановичу дали понять, что никаких ответных писем больше не будет: некогда заниматься ерундой. Если хочет продолжать печататься (то есть в тех условиях — жить), то вперед, в Смольный. Гамлетовский вопрос «Быть или не быть?», маячивший перед ним уже год, требовал решения. Отголоски последних сомнений Куприна, пусть и в шуточной форме, находим в его малоизвестном стихотворении:

ДНЕВНИК УЩЕМЛЕННОГО ИНТЕЛЛИГЕНТА
Петроградская история А. И. Куприна

1 мая
Съел рояль, ковры, картины,
Крайне редкие офорты,
Съел оконные гардины
И прадедовы ботфорты.
Если завтра не случится
Сверхъестественное чудо,
Впору будет удавиться!
Ждать поддержки — неоткуда.

1 июня
Променял почти задаром
Редингот пердрико-серый,
И пошла за грош татарам
Ах! — le sambre de mon père.
Что в грядущем? Мрак и голод.
Дохожу до отупенья.
В голове какой-то солод
И во рту слюнотеченье.

1 октября
Нету дров. Топлю буфетом.
И прокатным гардеробом.

Дело было плохо летом,
А зима запахла гробом.
Мародеру-мильонеру
Я спустил библиотеку.
И купил дуранды меру
И кобыльячего ссеку.

20 октября

Как мне страшно! Как мне жутко!
Пожевать бы хоть бумажки!
Съедена дотла Бижутка,
Завтра жребий кошки Машки.

25 октября

Очень, очень, очень худо...
Я, мне кажется... Иуда...

1 ноября

Я пошел в одну контору.
Подписал одну бумагу
И, согласно договору,
Продал честь свою и шпагу.
Дали мне пяток селедок,
Четверть фунта жаровара,
Корки каменной обглодок
И воды для самовара.
Пусть ценою отреченья —
Но набью сегодня брюхо.
И услышу в нем броженье
Столь приятное для слуха.

Б. дворянин Валериан Задушкин.
Списал
А. Куприн

Стишок сохранила хулиганская юмористическая газетка «Чертова перечница» (№ 2), которую осенью 1918 года выпускали приятели Куприна, Пильский и Не-Буква в Киеве. Многие к тому времени бежали на Украину, ставшую независимой и пригласившую немцев для поддержания порядка и недопущения большевизма*. Почему не

---

* Украина стала независимой после заключения Брестского мирного договора 3 марта 1918 года между Советской Россией и Германией, а также ее союзниками (что означало поражение и выход Советской России из Первой мировой войны): по одному из условий договора Советская Россия обязывалась признать независимость Украины в лице Центральной рады, однако еще 27 января (9 февраля) представители Рады подписали собственный договор с Германией, а через несколько дней обратились с просьбой ввести войска для по-

бежал Куприн, по паспорту житель Житомира? Зачем обрек себя и семью на голод, лишения? Сам он так объяснял причину: «Доходили до нас слухи о возможности бежать из России различными путями. Были и счастливые примеры, и соблазны. Хватило бы и денег. Но сам не понимаю, что: обостренная ли любовь и жалость к родине, наша ли общая ненависть к массовой толкотне и страх перед нею, или усталость, или темная вера в фатум — сделали нас послушными течению случайностей; мы решили не делать попыток к бегству» («Купол Св. Исаакия Далматского»).

А может быть, Александр Иванович посчитал, что не имеет права смягчать свою участь, что должен оплатить страшный счет, выставленный ему большевиками в «Красной колокольне»?.. Это позже он назовет Князева «позорным красным болваном» («Пролетарские поэты», 1920).

Осенью 1918 года Александр Иванович смирился с неизбежным. До «Красной газеты», конечно, не унизился. Он пошел к человеку, которого уважал и кому привык доверять.

Снова с Горьким

Жизнь снова подтолкнула Куприна к Максиму Горькому. Разумеется, и до этого они где-то встречались, но в основном маневрировали в лавине событий порознь, проблем у обоих хватало.

С апреля 1917 года Куприн читал в газете «Новая жизнь» полемический цикл очерков Горького «Несвоевременные мысли», где тот описывал ужасные картины одичания нравов в охваченном террором Петрограде и осуждал захват власти большевиками в октябре 1917-го как политический авантюризм. В конце концов Горький нажил себе личного врага в лице Григория Зиновьева, председателя Петроградского совета и одного из организаторов «красного террора». Прохладно смотрел на «заблудившегося» Горького и Ленин. «В 17—18 годах мои отношения с Лениным были далеко не таковы, какими я хотел бы их видеть»[321], — признавался позже Алексей Максимович. Газета «Новая жизнь»,

мощи «в борьбе с большевизмом», и в марте немцы уже заняли Киев (о дальнейших событиях там можно прочесть, к примеру, в романе М. Булгакова «Белая гвардия»); Брестский мирный договор будет аннулирован советским правительством 13 ноября 1918 года. — *Прим. ред.*

после нескольких приостановок, 16 июля 1918 года была закрыта.

Горький пребывал в тяжелейшей депрессии и растерянности. Уж если Куприну пришлось задуматься о последствиях своего «Поединка», то что говорить о Горьком! Он метался по Петрограду, пытался спасать арестованных, говорят, даже плакал. Только покушение на Ленина 30 августа 1918 года их примирило. Горький понял, что льет воду на мельницу врагов, и с покаянной головой поехал в Кремль. «Понял, что ошибся, пошел к Ильичу и откровенно сознался в своей ошибке», — вспоминал он.

Горький принял на себя миссию по сближению творческой интеллигенции с новой властью, привлечению ее к сотрудничеству силой своего авторитета. «Горький вновь с нами!» — рапортовали советские газеты. Он заключил с Луначарским, то есть Наркоматом народного просвещения, договор о сотрудничестве по созданию издательства «Всемирная литература». Это был масштабный проект: планировалось издавать лучшие произведения мировой литературы с обязательными вступительными очерками, историко-литературными комментариями, библиографическими справками и пр. Заказы на эти работы получали голодавшие писатели и ученые; для многих это стало спасительной материальной поддержкой. В число сотрудников издательства сразу вошел Федор Дмитриевич Батюшков. Вполне вероятно, именно он намекнул Горькому, что Куприн не против сотрудничества. По крайней мере в одном из писем Куприн просит Батюшкова поблагодарить Горького за внимание к «безработному писателю»[322].

Александр Иванович получил заказ, о котором мог только мечтать: писать вступительную статью к собранию сочинений Дюма-отца, включенному в издательский план «Всемирной литературы». «Труд этот был бескорыстен, — вспоминал Куприн. — Что я мог бы получить за четыре печатных листа в издательстве “Всемирной литературы”? Ну, скажем, четыре тысячи керенками. Но за такую сумму нельзя было достать даже фунт хлеба. Зато скажу с благодарностью, что писать эту статью... было для меня в те дни... и теплой радостью и душевной укрепой» («Дюма-отец», 1930). Работа потребовала поездок в Публичную библиотеку, позволила снова почувствовать себя писателем. Александр Иванович консультировался с Батюшковым и с грустью видел, что он сильно сдал. После Октября Даниловское

было национализировано, в легендарный дом с садом вселили крестьянские семьи...

Собрание сочинений Дюма тогда не вышло, а куприн-ский очерк затерялся в архивах. Однако сохранившиеся фрагменты убеждают в том, что он был написан с любовью и не без политики: автор уделил внимание французской Июльской революции 1830 года в судьбе Дюма, рассказал о его восторженном присутствии на баррикадах. Куприн вспоминал, что Горький «прочитал, улыбнулся и сказал: “Ну, конечно, я знал, кому поручить это!”»[323].

Печальная судьба выпала и другой серьезной работе Куприна. С подачи Шаляпина Общество драматических писателей заказало ему перевод трагедии Шиллера «Дон Карлос». Спектаклем планировалось открыть новый театр, будущий БДТ. Куприн с радостью согласился, посвятил перевод Шаляпину. В те дни они нередко виделись. Федор Иванович продолжал петь в Мариинском театре, жаловался на то, как изменилась публика: в партере сидели красноармейцы, рабочие, матросы... Но что поделаешь, теперь и положение обязывало: в ноябре 1918 года Шаляпин принял от новой власти звание народного артиста Советской республики. Что же касается «Дон Карлоса», то спектакль позже поставят в другом переводе, а Куприн несколько лет будет безуспешно пристраивать в печать свой вариант.

Новое время принесло новые веянья: для того, чтобы тебя печатали, нужно быть членом Союза деятелей художественной литературы (СДХЛ), организации профсоюзного типа. Следовало туда вступить, и Куприн вступил, тем более что главой совета Союза был Муйжель, с которым они недавно держали ответ в Ревтрибунале. Горький тоже состоял в этой организации, но пока что формально, в руководство не входил. В те дни он вообще занимал скорее выжидательную позицию, ограничиваясь осторожными советами. Так, он обнадежил Куприна, что «Всемирная литература» обязательно переиздаст «Поединок» (что же еще!) приличным тиражом в 100 тысяч экземпляров. Обрадовал, что гонорар будет от 45 до 52 тысяч рублей, но финансами он не распоряжается, и деньги пришлось выбивать из Муйжеля. Куприн писал ему: «...если от Вас зависит сделать все это возможно скорее, то очень прошу: не задержите ассигновку»[324] .

До сих пор не вполне ясна роль Горького в одном купринском начинании этого времени. Понимая, что разовые заказы не дают достаточно денег, а регулярный заработок

может обеспечить газета, Александр Иванович задумал издание беспартийной культурно-просветительской газеты для крестьян «Земля». Полагаем, что эта идея возникла в декабре 1918 года не случайно: в середине месяца в Москве проходил I Всероссийский съезд земотделов, комбедов и коммун, и, вероятно, Куприн хотел подать проект газеты на утверждение московским властям во время съезда. Горький скептически отнесся к этой затее на фоне недавно закрытой «Новой жизни». Нам кажется сомнительным распространенное утверждение, будто он начал помогать Куприну и даже передал записку Ленину:

«Дорогой Владимир Ильич!

Очень прошу вас принять и выслушать Александра Ивановича Куприна по литературному делу.

Привет!

А. Пешков».

Записка не датирована, и как можно утверждать, по какому поводу она написана? Имя Куприна Ленин знал и без Горького, никакие рекомендации автору «Поединка» не требовались. Однако не будем забегать вперед, потому что к Ленину (как последней инстанции) писатель пошел не сразу.

В этом издательском проекте оказались задействованы московские приятели Куприна, малоизвестные теперь люди. Например, поэт Николай Михайлович Гермашев*, которому Александр Иванович выслал проспект газеты с просьбой «перещелкать на машинке, позондировать почву у... знакомых большевиков и ходатайствовать о разрешении»[325]. Он не сомневался в успехе: «Когда дело “клюнет”, я, конечно, выеду в Москву для его налажения, а потом поселюсь в ней и совсем»[326]. Затем то ли ему дали знать, что «клюнуло», то ли, напротив, ничего не получалось, то ли, как мы предположили выше, начался съезд, но Куприн с семьей выехал в Москву.

Что сталось с его городом детства! Александр Иванович разглядывал следы прошлогодних уличных боев: Москва при взятии власти большевиками пострадала гораздо сильнее Петрограда. Поврежден Успенский собор, наполовину разрушена Никольская башня, даже часы на Спасской башне не пощадили! Где-то здесь, под этими древними кремлевскими стенами, бились с большевиками московские

---

* Автор «Гимна Красной Армии», опубликованного в «Первой книге для чтения» (1919), предназначенной для солдат; издавалась общеобразовательной секцией при военном отделе ЦИКа.

юнкера, родные ему «александровцы», оставшиеся верными Временному правительству... А в роскошных корпусах училища на Знаменке теперь располагался Реввоенсовет.

Александр Иванович узнал, что разрешение на издание газеты должен дать председатель Московского городского совета Лев Борисович Каменев. И вот писатель стоит перед особняком на Тверской, который раньше был резиденцией московских генерал-губернаторов, а теперь именовался Моссоветом. Позже он вспоминал, что Каменев оказался «весьма внимательным, умным и терпимым» («Александриты», 1920), однако насторожился в разговоре о газете при слове «беспартийная». Предлагал ввести полемику: «Вы можете хоть ругать нас». Александр Иванович мысленно усмехнулся: ругать «их» в то время могли только те, кто отсиживался на Дону, Украине или в Финляндии, а здесь хотелось еще пожить и увидеть, чем все кончится.

Дело застопорилось. Тут-то и пришло решение ходатайствовать у «самого».

Московский поэт Олег Шиманский, писавший под псевдонимом Леонидов, оказался тогда рядом с Куприным и позже рассказал о том, как они попали в Кремль:

«Зимой 1918 года Куприн приехал из Гатчины в Москву с твердым решением “работать с большевиками, писать, издавать, пропагандировать”. Его увлекала идея просвещения масс, главным образом — крестьянских, своеобразное народничество в революционный период.

Мы много говорили с ним на эту тему и как-то подсознательно, не выговорив и даже не найдя этого слова, решили, что надо городу “смыкаться” с деревней, осуществив “смычку” через газету специально для крестьян.<...>

Куда пойти? С кем переговорить на эту тему? С Лениным?

— Примет ли?

— Попробуем.

Звоню:

— Кремль, секретаря товарища Ленина! Такой-то и такой-то хотят говорить с Владимиром Ильичом.

— Подождите.

Несколько минут волнения у трубки и неожиданно радостный ответ:

— Завтра, в 3 часа в Кремле».

Эти воспоминания после смерти вождя в лучших традициях ленинианы были напечатаны в траурной однодневной газете «Ленин» (1924). Однако их автор очной ставки с Куп-

риным не выдержал бы. Тот тремя годами раньше рассказал об этом и звонил, конечно, он: «Свидание с Лениным состоялось необыкновенно легко. Я позвонил по телефону секретарю Ленина — Фотиевой, прося узнать, когда Владимир Ильич может принять меня. Она справилась и ответила: “Завтра товарищ Ленин будет ждать вас у себя в Кремле к 9 часам утра”» («Ленин (Моментальная фотография)», 1921). Леонидов же, по словам Куприна, просто за ним увязался. Ни о какой записке от Горького ни тот ни другой не упоминали. Думается, и той же Фотиевой вряд ли надо было объяснять, кто такой Куприн.

И вот Александр Иванович, некогда мальчишкой стоявший на Красной площади в карауле и в полуобморочном от восторга состоянии приветствовавший Александра III, шел по той же площади на встречу с новым правителем России. Признавался: «В первый и, вероятно, последний раз за всю мою жизнь я пошел к человеку с единственной целью — поглядеть на него» («Ленин (Моментальная фотография)»). За Куприным спешил Леонидов, только что получивший от него книгу с таким автографом: «Глубокоуважаемому Олегу Леонидову 25 дек. н. ст. 1918 г. — с искренним желанием, чтобы в “Кремлевском деле” он оказался Олегом Вещим!».

«Кремлевское дело»

Это было первое «кремлевское дело» в судьбе нашего героя. Кремль еще не раз будет заниматься им: и в начале 1920-х годов, пытаясь вернуть его из эмиграции, и с середины 1930-х, обеспечивая это возвращение, и в середине 1950-х, устраивая в СССР его дочь Ксению. Несмотря ни на что, большевики будут считать Куприна «своим», а он, также несмотря ни на что, будет гордиться тем, что встречался с Лениным.

Обрисовал вождя Куприн довольно подробно:

«Из-за стола подымается Ленин и делает навстречу несколько шагов. У него странная походка: он так переваливается с боку на бок, как будто хромает на обе ноги; так ходят кривоногие, прирожденные всадники. В то же время во всех его движениях есть что-то “облическое”, что-то крабье. Но эта наружная неуклюжесть не неприятна: такая же согласованная, ловкая неуклюжесть чувствуется в движениях некоторых зверей, например медведей и слонов. Он

маленького роста, широкоплеч и сухощав. На нем скромный темно-синий костюм, очень опрятный, но не щегольской; белый отложной мягкий воротничок, темный, узкий, длинный галстух. И весь он сразу производит впечатление телесной чистоты, свежести и, по-видимому, замечательного равновесия в сне и аппетите. <...>

Ни отталкивающего, ни величественного, ни глубокомысленного нет в наружности Ленина. Есть скуластость и разрез глаз вверх, но эти черточки не слишком монгольские... Купол черепа обширен и высок, но далеко не так преувеличенно, как это выходит в фотографических ракурсах. <...>

Ленин совсем лыс. Но остатки волос на висках, а также борода и усы до сих пор свидетельствуют, что в молодости он был отчаянно, огненно, красно-рыж. Об этом же говорят пурпурные родинки на его щеках, твердых, совсем молодых и таких румяных, как будто бы они только что вымыты холодной водой и крепко-накрепко вытерты. Какое великолепное здоровье!

Разговаривая, он делает близко к лицу короткие, тыкающие жесты. Руки у него большие и очень неприятные: духовного выражения их мне так и не удалось поймать. Но на глаза его я засмотрелся. Другие такие глаза я увидел лишь один раз, гораздо позднее.

От природы они узки; кроме того, у Ленина есть привычка щуриться, должно быть, вследствие скрываемой близорукости, и это, вместе с быстрыми взглядами исподлобья, придает им выражение минутной раскосости и, пожалуй, хитрости. Но не эта особенность меня поразила в них, а цвет их райков. <...> Лишь прошлым летом в парижском Зоологическом саду, увидев золото-красные глаза обезьяны-лемура, я сказал себе удовлетворенно: “Вот, наконец-то я нашел цвет ленинских глаз!” Разница оказывалась только в том, что у лемура зрачки большие, беспокойные, а у Ленина они — точно проколы, сделанные тоненькой иголкой, и из них точно выскакивают синие искры.

Голос у него приятный, слишком мужественный для маленького роста и с тем сдержанным запасом силы, который неоценим для трибуны. Реплики в разговоре всегда носят иронический, снисходительный, пренебрежительный оттенок — давняя привычка, приобретенная в бесчисленных словесных битвах. “Все, что ты скажешь, я заранее знаю и легко опровергну, как здание, возведенное из песка

ребенком”. Но это только манера, за нею полнейшее спокойствие, равнодушие ко всякой личности.

Вот, кажется, и все. Самого главного, конечно, не скажешь; это всегда так же трудно, как описывать словами пейзаж, мелодию, запах» («Ленин (Моментальная фотография)»).

Такие впечатления вынес Александр Иванович после встречи, которая длилась всего несколько минут. Правда, не упомянул он, столь внимательный к мелочам, что Ленин картавил. По его словам, Владимир Ильич сразу спросил, какой он фракции. Получив ответ, что никакой, быстро пробежал глазами листки с проспектом газеты и закончил встречу: «Я увижусь с Каменевым и поговорю с ним».

Впоследствии этот эпизод Куприн пересказывал сотни раз и, изображая Ленина, непременно картавил. «Вспоминаю его рассказ, как он беседовал с Лениным, — писал Марк Алданов, — помнится, являлся к диктатору с просьбой о разрешении на издание беспартийной газеты. — “Он меня спросил: ‘Куп-г-ин? Ах, да... Но какой же вы ф-г-акции?..’” — В глазах Александра Ивановича сквозило довольно благодушное изумление: что за чудище! спрашивает, какой фракции Куприн!»[327]

Судя по всему, Владимир Ильич выполнил обещание, поговорил с Каменевым, и 25 января 1919 года Куприна пригласили на решающую встречу по делу издания газеты. Он снова оказался в особняке Моссовета на Тверской. Увидел Каменева, с которым был уже знаком, а также молодого человека весьма приятной и интеллигентной наружности, которого ему представили как Владимира Павловича Милютина, наркома земледелия. Газета, о которой мечтал Куприн, была по его части. Здесь же Александр Иванович обнаружил самодовольного Демьяна Бедного и еще одного субъекта, как оказалось, редактора газеты для крестьян «Беднота» Льва Семеновича Сосновского.

Беседа вышла нелицеприятная. Куприн показался Демьяну Бедному аферистом, судя по его статье «История одной беспартийной газеты»:

«Куприн хлопотал о разрешении ему и группе каких-то писателей издавать чуть ли не на советскую субсидию беспартийную газету:

— Насчет политики ни-ни... Совершенно беспартийную. Нам бы только прокормиться...

И Куприн лукаво щурил свои монгольские глаза. Но тов. Каменев тоже щурил глаза.

Ни с субсидией, ни с газетой не выгорело»[328].

Александру Ивановичу жестко попеняли на идеологические промахи в программе планируемой газеты и вместо нее предложили вести «подвал» в только что основанном и финансируемом Наркоматом земледелия журнале «Красный пахарь». Раз уж он так печется о крестьянах и лесах. Глубоко уязвленный, писатель попросил время подумать.

Он возвращался в Петербург разочарованный, но не побежденный. Намеревался учесть все замечания Каменева и «товарищей», скорректировать программу газеты и снова добиваться разрешения. На месте остался хлопотать московский поэт Михаил Петрович Гальперин, которому, едва вернувшись в Гатчину, написал с просьбой информировать о ходе «наших общих дел». Сожалел: «Как жаль, что в этот раз нам не удалось подрезвиться! Ох, как скучен город, когда в нем чувствуешь себя чужим». Родная Москва уже жила по законам, недоступным пониманию Куприна.

Уверившись, что субсидии им не видать, Куприн с единомышленниками решили издавать газету на кооперативных началах и стали сбрасываться паями. С этими деньгами в конце года они попадут в нехорошую историю, но о ней чуть ниже.

Где-то к середине февраля 1919 года Александр Иванович сдался и отправил Каменеву письменный отказ от «Красного пахаря», а Гальперину написал: «Я уже теперь ни во что не верю, даже и в кооперативы». Горький, пытаясь ему помочь, предположил возможность издания газеты в Петрограде, хотя тогдашний хозяин города Зиновьев был его личным врагом. Тем не менее в середине марта Горький вместе с Куприным побывал в Кремле на очередной встрече по этому поводу. В окончательное решение вопроса вмешаются события чрезвычайные.

Дабы найти хоть какую-то работу, Александр Иванович посещал заседания Союза деятелей художественной литературы и «Всемирной литературы». Те, кто видел его тогда, вспоминали, что был он постаревший, подавленный, грустный. Чуковский, помнивший Куприна как редкого забияку, не без ехидства отмечал в дневнике 5 марта 1919-го: «Вчера у меня было небывалое собрание знаменитых писателей... <...> Раньше всех пришел Куприн. Он с некоторых пор усвоил себе привычки учтивейшего из маркизов. Смотрит в глаза предупредительно, извиняется, целует дамам ручки и т. д.»[329]. (Из-за болезни Чуковского заседание Союза проходило 4 марта у него дома.) Припоминал, что Куприн приходил с узелком, в котором была горсть суха-

рей. Достав себе кружку воды, забивался на кухне в уголок у холодной плиты и «долго по-стариковски, по-крестьянски» грыз сухари, размачивая в кипятке. Там же, в закутке, сделал запись в рукописный альманах Чуковского «Чукоккала»:

«АНЕКДОТ

Было когда-то удивительное время:

Заходил в булочную нищий. Крестился на образа. Потом:

— Ситный есть?

— Есть.

— Теплый?

— Как же...

— Ну, тогда подайте милостыньку, Христа ради...

Из чужих рук
А. Куприн
1919 13/III»[330].

«Из чужих рук» — то есть сочинил не он. Сам Александр Иванович позже признавался: «...жизнь под большевиком сделала меня кротким, вежливым и вдумчивым стариком»[331].

Весной 1919 года он часто бывал в Петрограде и особенно часто встречался с Горьким. 30 марта Страна Советов устроила Алексею Максимовичу грандиозное празднование его 50-летия. Сохранилась групповая фотография, сделанная в тот день в издательстве «Всемирная литература»: среди многочисленных гостей Чуковский, Блок, Гумилев. Куприна нет. На следующий день он отправил юбиляру письменное поздравление из Гатчины:

«Дорогой Алексей Максимович,

Много раз я пытался соединиться с Вами по телефону, но все была незадача.

Оттого с большим опозданием поздравляю Вас огулом: и с днем рождения, и с полувеком, и с днем Алексея, божьего человека (“с гор вода”).

Для меня это поздравление имеет особый, трогательный смысл. Почти двадцать пять лет прошло с тех пор, как Иегудиил Хламида* написал мне несколько слов из Самары. Господи, Боже мой, двадцать пять лет! Чего только не случилось за это время! Автомобили, трамваи, граммофоны,

---

* Напомним: Иегудиил Хламида — один из псевдонимов молодого Горького, которым он подписывал фельетоны в «Самарской газете», будучи ее постоянным сотрудником в 1895—1896 годах. — *Прим. ред.*

субмарины, аэропланы, радио, беспроволочный телеграф, две войны, две революции! Точно десять веков пробежали. И когда я подумаю о Вас, жившем такой напряженной, углубленной, утроенной, удесятеренной жизнью, о Вас, завоевавшем мировую славу, именно о Вас, который, несмотря на жизнь "месяц за год", сохранил до нынешнего дня прекрасную молодость голоса, взгляда, улыбки, рукопожатия, сберег, — точно совсем нерастраченной, — квинтэссенцию большой, необычной, своеобразной души, — я испытываю чувство искренней благодарности за то, что Вы живете.

<...> И еще. Теперь, поздравляя Вас, я хотел бы присоединить к моим пожеланиям благодарные голоса всех тех многих людей, кому Вы сделали добро в это тяжелое время. От всей души желаю Вам здоровья и ясной крепкой осени. Обнимаю Вас с чувством всегдашней любви, преданности и неизменного уважения.

Ваш Куприн.

Гатчина, 31/III. 1919»[332].

Чувствуется, что Александр Иванович пишет искренне. Их общение с Горьким и внешне производило впечатление идиллии. Чуковский замечал в той же дневниковой записи 5 марта 1919-го: когда появился Горький, Куприн «кинулся к нему, любовно и кротко: "Ну как здоровье, А. М.?"»[333].

Молодой служащий секретариата «Всемирной литературы» Михаил Слонимский, смотревший на Куприна как на небожителя, вспоминал: «Он сидел в кабинете Алексея Максимовича у стола, тихий, спокойный, немногословный, и от него веяло лаской и просторной силой. Алексей Максимович улыбался ему, они обменивались малозначащими словами, как старые знакомые и друзья, и в паузах не чувствовалось ни напряжения, ни даже недоговоренности. Они и молчали так, словно говорили о чем-то очень важном»[334]. Так снова произошло сближение двух художников, помнивших друг друга молодыми, злыми, желавшими горы свернуть, а теперь растерянно пытавшихся угнаться за бешено скачущим временем. И хвастали:

«— Вы молодцом! — сказал Александр Иванович. — Вот мне — подумайте только! — уже сорок девять!

— А мне пятьдесят! — сказал Горький.

— И смотрите: ни одного седого волоса!»

Конечно, Горький и Куприн были здесь патриархами. Александра Ивановича избрали в арбитражную комиссию и в редакционную коллегию Союза деятелей художественной литературы, он рецензировал книги, отобранные для

серии «Избранные произведения современных авторов под редакцией М. Горького». Например, одобрил роман секретаря редакционной коллегии Юрия Слезкина «Помещик Галдин».

Этот же Слезкин стал причиной развала Союза. В апреле 1919 года выяснилось, что он, используя свое служебное положение, реквизировал брошенную квартиру некоего бывшего шталмейстера, часть обстановки перевез в помещение Союза и занялся там ее распродажей. В знак осуждения столь вызывающей безнравственности группа писателей во главе с Горьким в апреле вышла из состава редакционной коллегии и совета Союза. К маю объединение фактически распалось, а Куприн перестал посещать заседания еще раньше. В одном из частных писем он объяснял: «С Горьким я не расплевывался, так же как никогда и не кадил ему. В один день, когда он хотел заставить меня подписать, не ознакомившись с делом, бумагу, выносящую жестокое, однобокое и несправедливое обвинение одному из писателей, и когда, в ответ на высказанное мною желание узнать всю мотивировку приговора, он лишь ответил, что все равно вопрос уже предрешен, я отказался дать свою подпись и с той поры перестал видеться с А. М. и с внелитературной коллегией. Молча. Это ли значит расплеваться»[335].

Трудно сказать, о какой бумаге и о чьей судьбе шла речь. Финансовыми злоупотреблениями Союза летом 1919 года будет заниматься Особая комиссия при ЦК литературных организаций, Горького среди прочих будут допрашивать, ему придется уворачиваться от вопросов о расходовании средств, будет вылито друг на друга немало горечи и клеветы. Куприна это уже не касалось. В решение его судьбы вмешался... белый генерал Юденич.

Господа офицеры

В октябре 1919 года писатель снова надел мундир поручика, с интересом рассматривая на левом рукаве нашивку Добровольческой армии. Он снова отдавал честь сослуживцам — господам офицерам. Этому предшествовали рубежные для него события, о которых он рассказал в автобиографической повести «Купол Св. Исаакия Далматского» (1928). Золотой купол этого храма уже был виден бойцам белой Северо-Западной армии генерала Юденича, подошедшим вплотную к Петрограду и стоявшим на Пулковс-

ких высотах... Им оставался какой-то один рывок, и черномраморный собор мог бы принять их под свои своды. Но судьба рассудила иначе.

Куприну выпало разделить с Северо-Западной армией надежды на скорую победу — и их крушение, отступление и предательство союзников. Он наблюдал такие проявления человеческого духа и героизма, что признавался: «Я пламенный бард С<еверо>-З<ападной> армии» («Купол Св. Исаакия Далматского»). Как же случилось, что вчерашний покорный советский гражданин влился в ряды тех, кто с оружием в руках воевал с большевиками?

Еще летом, колдуя над своим огородом в Гатчине, Александр Иванович слышал отзвуки далекой канонады, но из советских газет ничего не мог узнать об обстановке вокруг Петрограда. Отрезанный от внешнего мира, он не представлял, что где-то белые армии берут и сдают города, что бывший командующий Черноморским флотом адмирал Колчак установил в Омске военную диктатуру и был провозглашен «Верховным правителем Российского государства», а канонада доносится до Гатчины от Финского залива, где Красный Балтфлот расстреливает восставший форт «Красная Горка».

Трудно сказать, слышал ли Куприн о том, что ЧК прознала о существовании антибольшевистского Всероссийского национального центра и его отделении в Петрограде, что весь июнь 1919-го в городе шли повальные обыски и аресты бывших офицеров. А между тем эти события касались его напрямую. Во время обысков чекисты обнаружили паи для газеты «Земля»: 1 029 000 рублей, огромную сумму. Деньгами заинтересовались настолько, что Горький в письме от 2 августа 1919 года руководителям Второго городского района Петрограда вынужден был подтверждать, что о такой газете знает и он, и Владимир Ильич и что ее действительно планировали издавать в Петрограде. Это письмо с другими разъясняющими документами рассматривал лично глава Петроградской ЧК Яков Петерс.

Неужели Куприна тогда не побеспокоили? Он не рассказывал об этом. Между тем отголоски нехорошей возни с этими деньгами находим в уже цитированной статье Демьяна Бедного «История одной беспартийной газеты». Вспоминая, как Куприн просил в Кремле субсидию, тот писал: «Но субсидии и не надо было: когда ВЧК в свою очередь сощурила свое всевидящее око на некую “группу” писателей, то... обнаружила и секвестровала у этой группы до-

вольно аховую сумму денег, каким-то способом собранную на "беспартийную газету"». Автор намекал на то, что газета была ширмой, а на самом деле деньги собирались неизвестно (или очень даже известно) на что.

Не может быть, чтобы главе Гатчинской ЧК Смирнову не поступил тогда сигнал присматривать за Куприным. После бегства большевиков из Гатчины — при наступлении белой Северо-Западной армии на Петроград* — местный учитель сказал Александру Ивановичу, что видел его фамилию в расстрельных списках ЧК как кандидата в заложники или для показательного расстрела. Эта история, рассказанная Куприным в «Куполе...», по сей день принимается биографами как факт. Разумеется, надо учитывать, что это хоть и автобиографическое, но все же художественное произведение. К тому же написанное в эмиграции. Александр Иванович и сам шутил по поводу эмигрантских рассказов: «Давно известен разговор двух русских беженцев... Сначала — кто в какой тюрьме сидел, потом — кто каким образом бежал» («Встреча», 1925).

И вместе с тем представляется, что писатель все-таки был в курсе этой истории с конфискованными деньгами, поскольку осенью 1919 года жил, что называется, не высовываясь. «Мысленно смерти никто не боялся, — вспоминал он. — Тогда, мне кажется, довольно было поглубже и порешительнее затаить дыхание, и готов. Пугали больше всего мучения в подвале, в ежеминутном ожидании казни» («Купол Св. Исаакия Далматского»).

Куприн бродил по опустевшему дому — половина обстановки исчезла в печке и руках «мешочников», вздрагивал при виде худющей и бледной дочери и утешал себя тем, что его огород, похоже, даст хороший урожай. Будут картошка и капуста — уже не пропадут.

Однако у него была еще одна дочь, Лида, за которую он также чувствовал ответственность. Дела в его прежней семье были аховые. Журнал «Современный мир», платформа плехановцев, в январе 1918 года был разгромлен большевиками. Мария Карловна вспоминала: «...даже двор типографии, в которой печаталась и скоро должна была выйти очередная книжка журнала, был весь покрыт клочьями печатной бумаги, брошюрованными листами,

---

* Напомним, что в ходе Гражданской войны генерал Н. Н. Юденич (1862—1933) предпринял две попытки наступления на Петроград: первую в мае—июне 1919-го, вторую (о которой здесь идет речь) в октябре—ноябре 1919 года. — *Прим. ред.*

кусками обложки, страницами рукописей. Кипы еще неиспользованной бумаги обливались водой из пожарной кишки отрядом прибывших из Смольного красноармейцев. Пол наборной и прилегающих к ней помещений был покрыт толстым, в несколько вершков, слоем рассыпанного шрифта»[336]. Ее муж Иорданский, которого Ленин в одном из писем Горькому назвал «дурой», плохо зарекомендовал себя в дни Октябрьского переворота, вынужден был бежать в Финляндию, на свою дачу в Нейволе. Жену он оставил в Петрограде, но в конце 1918 года забрал ее «в ужасном виде — скелет, чудовище, жалкое существо»[337]. Лиду они не взяли и достаточно долго вообще не знали, жива ли она.

Не знал этого и Александр Иванович, пока в один прекрасный день Лида не появилась на пороге его дома... с мужем. Это в 16 лет! Куприн познакомился с зятем, режиссером Александринки Николаем Михайловичем Леонтьевым. Страшно ругался. Ему не понравилось, как выглядела Лида: откровенно обтягивающая юбка, вызывающая косметика. Она же отрезала, что теперь замужняя дама и может делать все, что вздумается. Характер! Куприну оставалось ждать, когда его сделают дедушкой.

Между тем под звуки приближавшейся канонады местные большевики занервничали, а потом и вовсе бежали, вывезя скарб и подпалив Совдеп. Вместе со всеми жителями Куприн гадал: кто подходит к Гатчине и что теперь будет? Всю ночь с 16 на 17 октября почти не спали: стреляла тяжелая артиллерия, по крыше дома горохом рассыпалась шрапнель. А утром Александр Иванович узнал, что город взяли «белые» — Северо-Западная армия.

На его глазах происходили невероятные вещи: над домами взвились триколоры, при виде которых сердце невольно сжималось от страха. Неужели можно?! На улицах появились офицеры в погонах. Слышались слова из, казалось бы, похороненного прошлого: «будьте добры», «сделайте милость», «господин». Население приглашали на молебен, во что поверить было невозможно... В эти же первые дни Александр Иванович принял решение, определившее весь дальнейший ход его жизни. Он явился в штаб корпуса и предложил свои услуги.

Как он решился? Почему? Он не мог не понимать, что пути назад не будет. Ведь ему ничего не стоило отсидеться дома. В конце концов он писатель, гражданский человек. Поверил, что белые возьмут Петроград? Но кто мог дать та-

кую гарантию? Или для такого отчаянного шага у него были веские причины? Нет ответа.

Итак, Куприн явился в штаб. Начштаба и его адъютант, узнав, кто перед ними, хмуро расспрашивали о Горьком и Шаляпине, негодуя, что те сотрудничают с большевиками. Не могли придумать, к чему его привлечь, предложили вести регистрацию добровольцев и пленных. Куприн беспрекословно согласился. Однако уже через пару дней занимался более серьезным делом, по своему статусу.

Куприн рассказывал в «Куполе...», что в штабе генерал-майора Глазенапа, командующего войсками и генерал-губернатора в зоне военных действий Северо-Западной армии, ему приказали наладить издание прифронтовой газеты и что там же он познакомился с генералом Петром Николаевичем Красновым, главой политотдела. Краснов же в одном из писем Куприну вспоминал о их знакомстве иначе: «...7/20 октября 1919 года в Гатчине я разыскал Вас. Не без волнения ходил я у маленького домика, построенного “из строчек”, и знакомился с его скромным и милым обладателем».

Так судьба столкнула Куприна с личностью тогда уже легендарной. Он заочно знал Краснова по его статьям в «Русском инвалиде», которые читал еще во время службы в полку, — Краснов вел хронику конного спорта. Помнил Куприн и его псевдоним «Гр. А. Д.», в честь любимой лошади. Возможно, читал корреспонденции Краснова с театра Русско-японской войны, потом его романы. Но знал ли он о его недавнем прошлом? А там было многое: попытка поддержать Керенского после Октябрьского переворота, возглавив вместе с ним вооруженное выступление против большевиков, потом отъезд на «белый» Дон, где Краснова избрали атаманом Донского казачества, главой Донской армии и Всевеликого Войска Донского, затем конфликт с командующим Добровольческой армией Деникиным, отставка — и вот он в Северо-Западной армии Юденича.

Конечно, Куприн и Краснов составили тот еще дуэт, служебной идиллии не получилось. Современник шутил: «Как могли они не ссориться? Большой писатель в маленьком чине и маленький писатель в большом чине, это же естественно!»[338] Соблюдению субординации не мог помочь и возраст: они были почти ровесники (Краснов на год старше).

Александр Иванович, давно лишенный возможности высказаться, с головой ушел в издание белой газеты «Приневский край». Это — поступок. Одно дело критиковать советскую власть и даже регистрировать добровольцев и пленных

(«заставили!»), совсем другое — призывать к ее низложению печатно. Это уже доказательство и — приговор. Правда, он осторожничал, подписывался криптонимом «А. К.», но при желании не составило бы труда выяснить, кто, к примеру, 2 ноября 1919 года в статье «Хамелеоны» призывал читателей:

«Все в Белую Армию!

Всё для Белой Армии!»

Однако эти призывы потонули в белой трагедии. Северозападники, стремительно взяв Лугу, Гатчину, Царское Село, вышли к Пулковским высотам, ворвались в предместья Лигово... Сколько миллионов русских людей, рассеянных по немыслимым углам бывшей империи и за границей, замерли в ожидании! Но силы оказались неравны. 26 октября Северо-Западная армия была разгромлена и начала отступление на Ямбург (ныне Кингисепп). Куприн разделил ее судьбу.

Первого ноября* 1919 года Куприну пришлось спешно принимать решение, о котором потом тяжело и больно было вспоминать: бежать или не бежать из Гатчины? Хотя, казалось бы, формально он был освобожден от сомнений: раз мобилизован, значит, будь верен армии, иначе дезертир. В этот трудный момент он оказался один. Елизавета Морицовна вспоминала:

«Было очень голодно. Я решила с десятилетней Ксенией ехать "мешочничать" в Ямбург. Приехали туда. Стоим в очереди перед каким-то магазином, и вдруг проносится слух, что белые бегут из Петрограда. И действительно появились беженцы на извозчиках, на велосипедах, с детскими колясками, с тюфяками на плечах... Видим, идет и Александр Иванович. Бросились к нему обрадованные, а он — мрачный как туча. Сказал, что, узнав об отступлении белых, решил и сам идти, чтобы с потоком беженцев не потерять жену и дочь.

— Вы только подумайте, — сказал он, — что бы получилось, если бы я один остался в Гатчине, а вас белая армия поволокла бы с собой в Европу! Страшно представить!

— Как же все наши вещи, мебель? — спросила я у него.

— Бросил все на произвол судьбы, — ответил он. — Даже двери не запер на ключ. Зачем? Все равно тот, кто захочет, взломает.

— Так-таки и не захватил с собой ничего?

— Вот — чемоданчик... Положил в него томик Пушкина, фотографии Толстого и Чехова... кое-что из белья...

Больше всего муж жалел о своем архиве»[339].

---

* Эту дату называл самый авторитетный куприновед Ф. И. Кулешов.

Из рассказа Елизаветы Морицовны можно заключить: если бы они с Ксенией в тот решающий момент оказались рядом с Александром Ивановичем в Гатчине, то бегства не случилось бы. Да и Куприн позже говорил: «...мне, чтобы не потерять семью, пришлось отступить с войсками генерала Юденича на Запад»[340]. А вот их дочери Ксении те события запомнились иначе: отец ушел с белыми, они с мамой остались в Гатчине, потом испугались, что их в любой момент могут отрезать красные, решили его догонять, собирали вещи, отдавали Щербовым ковры, альбомы с фотографиями, письма, чудом сели в один из последних товарных поездов с тяжелоранеными, уходивший по направлению к Ямбургу.

Вряд ли когда-нибудь удастся воссоздать четкую картину. Надо учитывать и то, что Ксения писала воспоминания много позже, уже вернувшись в СССР. Факт один: 3 ноября 1919 года Северо-Западная армия оставила Гатчину. В тот же день туда вошли красные части. Советские газеты сообщили, что почти все мужское население Гатчины насильно уведено белыми, с белыми ушел и Куприн. Молодой тогда писатель Михаил Слонимский, секретарь издательства «Всемирная литература», позже вспоминал об отношении к этому поступку Куприна: «Как это могло случиться? Жив ли он? Не убит ли? <...> Нет. Куприн жив. Он ушел. Тот самый Куприн... добрый, любящий Горького, ушел с белогвардейцами. Ушел от своих книг, от чувств и мыслей, насыщающих лучшие его произведения, от своих героев, от живой жизни, от самого себя... <...> я старался постичь, как это так Куприн ушел с белогвардейцами, с ужасными персонажами "Поединка", которых он сам обличал во всех грехах... И я верил рассказу одного гатчинского жителя, который утверждал, что к Куприну ворвались офицеры, силком напялили на него гвардейский мундир и увезли, как пленника. Я верю этому рассказу по сей день»[341].

Так началось бегство из России Всероссийского гатчинского жителя и возмутителя спокойствия Куприна.

Рубикон

Наш герой перешел Рубикон, и это не метафора. У него оказался свой Рубикон — река Нарова, разделившая его жизнь на две части. К восточному берегу реки его вместе

с разгромленными северо-западниками прижала Красная армия. А на западном берегу он видел мирные дома независимой Эстонии, не желавшей впускать деморализованных, полумертвых от усталости, вооруженных людей, да еще и с тысячами гражданских беженцев. (В ловушке оказались два армейских корпуса, шесть пехотных дивизий, ряд отдельных воинских частей, тыловые службы и подразделения.)

По какому мосту через Нарову Александр Иванович покинул Россию? У деревни Криуши или у Скарятиной Горы? Когда именно? 9 ноября 1919 года он еще был в Ямбурге. Руководство Эстонии, понимая, что Белое движение терпит крах, и желая мира с Советской Россией, выжидало. К 10 ноября оно даже потребовало разоружения Северо-Западной армии и ее ликвидации. Ожидая решения своей судьбы, тысячи изможденных людей стояли у мостов через Нарову. Ударили морозы, раненые примерзали к земле. Людей косил тиф. Где-то между ними был и Куприн.

Он потерял семью еще в Ямбурге. Елизавета Морицовна вспоминала, что муж отправился в Нарву, а они догоняли его пешком, ночевали у какого-то сапожника, во двор которого утром упал снаряд... Потом и они оказались у проклятых мостов:

«Здесь через мост не пускали без специальных пропусков. Я стою и плачу. Подходит какой-то человек с красным крестом на руке.

— Что с вами?

— Не пропускают!.. И я потеряла мужа!

— Кто ваш муж?

— Писатель Куприн.

— Ах, это вы и есть его пропавшая семья!.. А он вас везде ищет... Едем в Ревель!

И мы отправились в Ревель, а оттуда, словно подхваченные огромной волной, стали совершать переезд за переездом»[342].

Елизавета Морицовна не упоминает в воспоминаниях Нарву, а ведь остановка там, несомненно, была. В 2003 году местные поклонники писателя открыли мемориальную доску на здании по улице Койдула, 8, где с начала декабря 1919 года размещалась редакция «Приневского края». Правда, Куприн к тому времени уже уехал из Нарвы и в выпуске газеты более не участвовал. Он устремился в столицу Эстонии, в Ревель (Таллин), где находилось Северо-Запад-

ное правительство*, выпускавшее газету «Свободная Россия», которой пообещал сотрудничество.

Пятнадцатого ноября 1919 года писатель прибыл в Ревель. Там он встречался с главой правительства — «нефтяным королем», миллионером Степаном Георгиевичем Лианозовым. Позже вспоминал: «Спокойствие его, выдержанность и независимость умели пробивать эгоистическое равнодушие англичан, и за все, что он сделал тогда для русских, — глубокая ему признательность» («Купол Св. Исаакия Далматского»). Познакомился и с министром торговли, промышленности, снабжения и здравоохранения Мануилом Сергеевичем Маргулиесом. Эта встреча энтузиазма не вызвала — он видел страшный конец Северо-Западной армии: «...бараки, заваленные русскими воинами, умирающими от тифов. В бараках солдаты служили офицерам и офицеры солдатам» («Купол Св. Исаакия Далматского»). Член Комитета русских эмигрантов в Эстонии, государственный контролер Северо-Западного правительства Василий Леопольдович Горн выдал Куприну новый временный паспорт.

Писатель быстро понял, что Северо-Западное правительство агонизирует. Провал похода Юденича стал и его провалом.

В Ревеле Куприна ничто не держало; красивейший город, но чужой, эстонцы настроены по отношению к русским враждебно. Сила приказа над ним больше не довлела, Северо-Западную армию готовили к ликвидации. Он был свободен, а пути назад не было. Узнав, что бывшие члены Северо-Западного правительства Владимир Дмитриевич Кузьмин-Караваев и Антон Владимирович Карташев уехали в Гельсингфорс, где сотрудничают в газете Национального центра «Русская жизнь», дал им знать, что тоже едет.

Пока ждал финскую визу, неожиданно принесли телеграмму от бывшей жены, Марии Карловны, из финской Нейволы. Жива! Спрашивала о судьбе Лиды и сообщала,

---

* Северо-Западное правительство — коалиционное правительство, сформированное 11 августа 1919 года в Ревеле (Таллине) на совместном заседании представителей политических партий России и командования союзников при содействии представителя английской военной миссии генерала Марша. В состав правительства вошли представители кадетов, правых эсеров и меньшевиков. Основной задачей работы правительства была ликвидация советской власти в Псковской, Новгородской и Петроградской губерниях и установление там новой гражданской власти.

что получила большой денежный перевод, предназначенный ему. Александр Иванович ответил, что их дочь вышла замуж, денег просил не переводить, скоро сам приедет в Финляндию. Между ними возникла переписка. Возможно, именно из нее он узнал, что 12 сентября в Нейволе скончался Леонид Андреев. Это объясняет, почему некролог Куприн написал только 20 ноября. «Залог русской жизни — ее писатели, — утверждал в нем Александр Иванович. — Андреев умер. Умер. Вдумайтесь в это слово... У нас больше никого не осталось» («Памяти Леонида Андреева», 1919).

А кто остался из его прежних знакомцев и друзей? В 1917-м умерли чудак Фидлер и оригинал Котылев. В 1918-м он потерял Маныча, исчезнувшего в вагонах советского агитпоезда. Уточкин умер еще в 1916-м, в психиатрической клинике. Уехал из России Жакомино, пережив конец цирка Чинизелли. Где-то Ванечка Заикин? Исчезли из поля зрения, бежав из Петрограда, Вася Регинин, Петр Пильский, Анатолий Каменский, Борис Лазаревский. Остался в Гатчине Щербов, и от одной мысли об этом охватывает ужас. А последняя встреча с Батюшковым! Столкнулись на Садовой, возле Публичной библиотеки. Федор Дмитриевич подошел к лотошнице и купил у нее полусгнившее яблоко. Признался: «Это мой завтрак». Могила матери осталась в Москве. Сестры тоже остались там... Хорошо, что жена и дочь рядом. А ведь сколько семей гражданская война разбросала.

Новый год, 1920-й, как это не раз бывало, писатель встретил в Гельсингфорсе. Корреспондент, взявший у него по приезде интервью, утверждал, что он «был бодр и оживлен»[343]. Город теперь назывался Хельсинки, финны гордилось обретенной независимостью, и в беседе Александр Иванович продекларировал, что независимость Финляндии признают все здравомыслящие русские, а сам он признал ее еще 20 лет назад[344]. На вопрос о Горьком, которого финны хорошо знали, Куприн ответил так: «...он делает созидательную работу, чтобы соединить интеллигенцию и пролетариат в России. Он признает большевизм только в теории, но резко противится его жестокой практике, то есть убийствам, экспроприациям, незаконным арестам и так далее. Он делает много хорошего, спасая своим авторитетом тысячи людей от смерти»[345].

Куприна здесь очень ждали. Редактор «Русской жизни» (позже «Новой русской жизни») Юрий Александрович Григорков забронировал ему номер в «Феннии», все той

же. Он не мог поверить, что такая звезда упала на полосы его газетки, и позже вспоминал, как терялся перед Куприным: «Никогда не забуду первого его быстрого взгляда, который он на меня бросил. Это продолжалось одно мгновение, какую-то долю секунды, но мне казалось тогда, что это тянется без конца. Острый, сверлящий, холодный и жестокий взгляд вонзился в меня, как бурав, и стал вытягивать из меня все, что есть во мне характерного, всю мою сущность. <...> Если бы пыль, втягиваемая в трубу пущенного в ход пылесоса, могла чувствовать, то ее ощущения, вероятно, были бы похожи на мои»[346].

Григорков и сам был наблюдателен. Быстро понял, что жена Куприна над ним «властвует», что дочь избалована: «Никаких признаков почтительности к отцу, хотя бы минимальной, я в этой девочке не обнаружил. Отец ее обожал». Надо сказать, что Григорков одним из первых начал звать Елизавету Морицовну — Елизаветой Маврикиевной*. Вероятно, она стала так представляться в 1914-м, с началом Великой войны.

Редактор положил Куприну оклад, и уже 24 ноября 1919 года на страницах «Русской жизни» появился его первый фельетон «Памятная книжка I». Сотрудничество с этой газетой продлится до сентября 1921 года, составит обширное публицистическое наследие, автор которого окончательно отрезал возможность вернуться домой. В оценках советской власти он был беспощаден; печатал даже свои «частушки»:

Подтянув ремнем желудок,
Поборов обжорный блуд,
Я не ем по трое суток,
Как верблюд!

....
Я не человек, а нумер:
Двести тысяч сорок пять,
Но живу я или умер —
Не понять!

(«Раб рабов. В Совдепии»)

Такую повышенную работоспособность беремся объяснить и тем, что Куприн изголодался по профессии, и тем, что накопилось много впечатлений, ну и тем, что в Финляндии, как и в Советской России, действовал сухой закон.

---

* Немецкое имя Мориц происходит от греческого Маврикий, что значит «темный».

Конечно, здесь тоже научились изворачиваться, подавать в ресторанах крепленный спиртом чай или кофе, но системой алкоголь не стал. «Я работал с Куприным в течение года, — вспоминал Григорков, — встречался с ним за это время ежедневно и ни разу не видел его пьяным».

Хотя здесь сразу обнаружились старые закадычные приятели. Например, художник Сергей Животовский, богема, завсегдатай «Бродячей собаки». Он вспоминал, как Александр Иванович пророчествовал в канун Нового года: «Петроград будет освобожден, и все мы вздохнем с облегчением между февралем и июлем 1920 года»[347].

Животовский недавно бежал из России и наладил связи с Ильей Репиным, так и жившим в Куоккале. Куприн писал Илье Ефимовичу 14 января: «Меня застала волна наступления С<еверо>-З<ападной> армии в Гатчино, вместе с нею я откатился до Ревеля. Теперь живу в Helsinki и так скучаю по России... что и сказать не умею. Хотел бы всем сердцем опять жить на своем огороде, есть картошку с подсолнечным маслом, а то и так, или капустную хряпу с солью, но без хлеба... Никогда еще, бывая подолгу за границей, я не чувствовал такого голода по родине. Каждый кусок финского smorgos'а становится у меня поперек горла, хотя на самих финнов жаловаться я не смею... Но я не отрываюсь мыслью о людях, находящихся там...»[348]

Как было не приходить этим мыслям? Александр Иванович, бывая в порту, понимал, что там, через Финский залив, рукой подать до Петрограда, но ему туда нельзя. Как-то он черкнул в записной книжке: «Финляндия, Гельсингфорс. Порт, ветер, суда. Тоска». Загорелся поехать к Репину, тем более что нужно было повидать и Марию Карловну в Нейволе. И проведать, и деньги, о которых она писала, забрать. Стал хлопотать о разрешительных документах, но ожидание так растянулось, что Елизавета Морицовна поехала сама, повидалась с Марией Карловной в Выборге (в следующий раз они встретятся только через 17 лет).

Благодаря работе в «Новой русской жизни» Александр Иванович обнаружил себя для многих коллег, после Октября рассеявшихся по миру. Видели его подпись в газете — писали на адрес газеты. Весной ему передали письмо из Стокгольма от Евгения Александровича Ляцкого (в прошлом он активно сотрудничал с «Современным миром»). Тот основал русское издательство и хотел бы выпустить сборник Куприна; просил набросать структуру. Александр Иванович не мог поверить своему счастью: с 1918 года у

него не вышло ни одной книги! И потом ему очень нужны были деньги; к этому времени уже пришло решение об отъезде из Финляндии. Он писал Ляцкому: «...выехать из Гельс<ингфорса> надо во что бы то ни стало. Вот-вот и будет поздно». Думается, тревожился он из-за потепления отношений между Финляндией и Советской Россией и поневоле прикидывал, куда бежать дальше.

Новости о Белом движении приходили неутешительные. В марте, с большим опозданием, Куприн узнал о казни Александра Васильевича Колчака, которого в некрологе назвал человеком со взглядом «смертельно раненого орла» («Кровавые лавры», 1920). Скоро услышал и о разгроме Вооруженных сил Юга России в Новороссийске, эвакуации остатков белых армий в Крым, о назначении главнокомандующим Русской армией генерала Врангеля. Писатель гневно опровергал слухи и намеки в адрес этого человека — мол, Врангель немец, будет учитывать интересы Германии: «...Врангели, дравшиеся в рядах русской армии чуть ли не со времен Петра Великого, давно уже... распрорусские» («Генерал П. Н. Врангель», 1920). На Врангеля теперь возлагались последние надежды, не особенно, впрочем, сильные.

Александр Иванович спешил с отъездом. Устав от обещаний Ляцкого, а дело с книгой затягивалось, он договорился об издании сборника рассказов здесь, в Гельсингфорсе. Ляцкому объяснил: «Я, конечно, ждал бы и еще, но не ждет моя острая нужда». Забегая вперед скажем, что книга «Звезда Соломона» выйдет в октябре 1920 года, когда ее автор уже будет в Париже. Получив свои экземпляры, он и обрадуется и нет. С одной стороны, новая книга, с другой — первая эмигрантская.

Пятнадцатого апреля 1920 года Особым комитетом по делам русских в Финляндии Куприну был оформлен временный паспорт, дающий право на выезд за границу. Но куда ехать? «Есть три дороги: Берлин, Париж и Прага, — писал он Репину. — <...> Но я, русский малограмотный витязь... кручу головой и чешу в затылке. А главное, мысль одна: домой бы...»[349] Живя в Гельсингфорсе, рядом с Петроградом, он не мог не терзаться. Но домой путь заказан, а начинать жизнь с нуля поздновато: через четыре месяца ему должно было исполниться 50 лет. Конечно, не таким он представлял себе полувековой юбилей.

Получив визу в Париж, он недолго собирался. 26 июня семья Куприных поднялась на грузо-пассажирский паро-

ход «Астрия» в финском порту Або (ныне Турку). Им предстояло совершить переход до Копенгагена, затем по суше добираться во Францию.

Одним из последних людей, с кем Александр Иванович простился в Гельсингфорсе, был его приятель, финский поэт Эйно Лейно. Позже тот назовет их разговор «чем-то вроде духовного завещания». Куприн попросил напоследок:

«И если вы когда-нибудь увидите Максима Горького, скажите ему, какой он хороший человек. Хороший, хороший, очень хороший.

— А он этого не знает?

— Все равно скажите! Передайте это лично от меня, А. Куприна (который совсем другой человек), и от всей России, которая бежит сейчас со мной со своей пылающей земли.

— Приятная обязанность. Я сделаю это»[350].

Запомним это вырвавшееся признание. В ближайшие 17 лет Александр Иванович не позволит себе сказать что-либо подобное.

Глава восьмая

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ

...Куприн — свирепейший монархист! Каково?

Из переписки М. Горького
1925 года

Семнадцать лет Куприн прожил в Париже. Более-менее освоил французский и здешние учтивые манеры, свел знакомство с люмпенами из бистро, получил у коллег прозвище «папочка», за которое раньше метнул бы в обидчика первым, что под руку попалось. Он сильно изменился внутренне и внешне. В нем ничего не осталось от возмутителя спокойствия; татарские разрез глаз и разлет бровей поначалу сгладились, а потом и вовсе исчезли.

К этому времени он понял: «В первую половину своей жизни человек делает так много глупостей лишь для того, чтобы во второй исправлять их тяжело и безрезультатно». Он старался, но эмигранты, народ ревнивый, были настороже. Кто-то не мог простить ему былые личные обиды, кто-то подмечал, что лютой ненависти к Советской России у Куприна нет. Хотя на словах он обличал и бичевал, даже прибивался к монархическому берегу, но настроение его было очевидно: пусть в России большевики, пусть хоть черт с рогами, но как же можно жить без нее? Когда же домой?..

В городе Дюма

Четвертого июля 1920 года Куприн прибыл в город, воспетый его любимым Александром Дюма. И сам немедленно влюбился:

«Я попал в Париж с жадными глазами и обширной душой. Мне доставляет неисчерпаемое наслаждение хо-

дить по улицам, глядеть на вывески, лица, походки, жесты, улыбки, костюмы, прислушиваться, пытаясь понять, к быстрым отдельным фразам, езжу на задках омнибусов и иногда раскрываю рот перед каким-нибудь мраморным или бронзовым чудом, приютившимся где-то в уголке между двумя каштанами. Случайно я проехал через двор Лувра, а в другой раз, вдоль Елисейских полей — и я узнал их, не глядя на вывески. Двор Лувра так хорош, что я подумал: вот здесь бы натворил вокруг себя чудес и прилег на минутку отдохнуть среди цветников.

Иногда, идя пешком, я захожу в любую церковь и сижу там один в тишине, обоняю запах ладана и холодного старого камня и скольжу глазами по витражам — голубым с фиолетовым, красным с сиреневым... Я толкусь по зоологическому саду, стоя перед балаганами и тирами Монмартра, где часами внимательно слушаю зазывание атлетов и клоунов; мне доставляет наслаждение сесть около Сены на скамье, вечером, и долго глядеть, какие чудеса творят солнце и облака на воде, на небе и на древних крышах... Я впитываю в себя жизнь города и народа. <...>

Среди блуждания я захожу в маленькие кафе и, стоя, спрашиваю у прилавка “un boc blonde” (светлое пиво). С буфетчицей я любезен, как маркиз начала XVIII столетия, и мы, наговорив друг другу кучу любезностей, расстаемся очарованные взаимно»[351].

Эта эпистолярная зарисовка первых парижских дней говорит о том, что у города появился новый восторженный поклонник. Позже Куприн напишет блестящие очерки «Париж и Москва» (1925), «Париж домашний» (1927), «Париж интимный» (1930), а еще роман, как он сам определит жанр этого небольшого произведения, «Жанета: Принцесса четырех улиц» (1932—1933). Роман о районе Пасси 16-го округа, из которого живущие там эмигранты сделают Россию в миниатюре. Александр Иванович мечтал проехать всю Францию вслед за героями Дюма. Кое-что удастся, например побывать на родине д’Артаньяна, в гасконском городке Ош. Наступит и такое время, когда Париж ему приестся и станет казаться досадным миражом, скрывающим черты другого города, без которого нечем дышать, — Москвы...

Жизнь в который раз испытывала нашего героя. Свой полувековой юбилей — 26 августа, а по европейскому календарю 7 сентября — он встретил явно не там и не с теми. Никакого пышного празднования и обвала поздравлений

не было. Французский Париж им мало интересовался, а русский на лето разъехался. Правда, гельсингфорсский коллега Юрий Григорков прислал в подарок брошюру «Александр Иванович Куприн (К 50-летию со дня рождения)». Юбиляр в знак благодарности отправил ему свой любимый портрет с Сапсаном, надписав: «Милому редактору — строптивый сотрудник. Ю. А. Григоркову. 1920 18 авг. Париж. А. Куприн». С припиской: «мой единств<енный> друг “Сапсан”»[352]. Выходит, в чемоданчик, вывезенный из Гатчины, в число самого необходимого попали и фотографии с меделяном.

Писатель начал работать в русской газете «La Cause Commune» / «Общее дело» Владимира Львовича Бурцева. Сотрудники в шутку звали ее «Козьей коммуной». Куприн снова попал в привычную редакционную атмосферу, слушал споры и монологи сотрудников, проклятия в адрес Горького, обвинения его в двуличии: за глаза-де ругает большевиков, а в глаза поет им дифирамбы. Знали бы они о той просьбе, что передал Куприн финну Эйно Лейно! О его отношении к Горькому Александра Ивановича спросили в первые же дни. Ответил, что Алексей Максимович «человек, по-своему, безусловно убежденный, искренний и неглупый, но — в умственных шорах»[353]. Допускаем, что кто-то смотрел на Куприна косо, недоумевая, почему он так долго оставался с большевиками.

Работа в газете позволяла оперативно узнавать все новости о Белом движении, притом из первых рук: Бурцев уехал в Севастополь, где была Ставка Русской армии Врангеля, там еще шло сопротивление. На адрес «Общего дела» приходили отчаянные мольбы о помощи от писателей, журналистов, застрявших где-то в портах и чужих городах. Както Александру Ивановичу передали такое письмо от Бориса Лазаревского. Этого своего закадычного приятеля он давно потерял из виду и вот теперь читал, что тот сидит в Константинополе, куда прибыл в качестве члена экипажа парохода «Альберт», и постарается вписаться в судовую роль до Марселя, а оттуда собирается ехать в Париж. Куприн ответил «Барбарису», как в шутку звал Лазаревского, что рад будет его видеть, но счел нужным предупредить: «...жизнь здесь дорога, трудна, а люди жестокие эгоисты и шарлатаны (говорю про русских)»[354].

Русских эмигрантов в Париже уже было немало. Поэты Константин Бальмонт, Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус, юмористы Тэффи (Надежда Лохвицкая) и Дон

Аминадо (Аминад Шполянский), прозаик Алексей Толстой... Привычно раздражал Куприна друг молодости Бунин, с которым они поселились на одной лестничной клетке дома по рю Жак Оффенбах, 1, в районе Пасси. Теперь это, пожалуй, самый известный адрес «русского Парижа»; в честь нобелевского лауреата Бунина на фасаде дома установлена мемориальная доска.

Встреча Куприна и Бунина в этой, новой, жизни вряд ли походила на ту далекую, одесскую, когда им обоим не было еще тридцати. Теперь им стукнуло по пятьдесят, и даже этот юбилей заставил Александра Ивановича понервничать. Как-то он увидел в русском детском журнале «Зеленая палочка» (№ 2) разворот: слева его портрет с Сапсаном и сообщение, с большим опозданием, о его юбилее, а справа портрет «академика Ивана Алексеевича Бунина», отметившего юбилей 22 октября (10-го по старому стилю). Выпуск журнала был октябрьский, то есть о Бунине-то не забыли, а Куприн уже пошел «прицепом». В эмиграции их соотношение сил зеркально изменилось. Если в России Куприн имел массового читателя и огромную славу, а Бунин лишь определенный круг ценителей, то здесь, в условиях конкуренции при завоевании французского рынка, понадобились регалии. Французам не нужно было объяснять, что такое академик и дворянин (Иван Алексеевич со временем добавит к своей фамилии апостроф «де»). Кто теперь вспоминал старую купринскую эпиграмму на Бунина?

Поэт, наивен твой обман.
К чему тебе прикидываться Фетом.
Известно всем, что просто ты Иван,
Да кстати и дурак при этом.

1913 г.

Впрочем, их разрыв в эмиграции случится не сразу. Поначалу Куприн сочувствовал «заклятому другу»: тот пребывал в угнетенном состоянии, не мог себе простить, что оставил в России брата Юлия, с ужасом ждал известия о его смерти, то и дело срывался в слезы. Они с Верой Николаевной пережили бегство из красной Москвы, «сидение» в Одессе и эвакуацию оттуда, Турцию, Болгарию, Сербию... Когда пришла весть о падении белого Крыма, Бунин вообще слег. «Армия Врангеля разбита, — записала в дневнике 15 ноября 1920 года Вера Николаевна. — Чувство, похожее на то, когда теряешь близкого человека». Куприн приходил

проведывать Ивана, и оба хватались за голову. Прощайте, благословенные Ялта, Гурзуф, Балаклава, Севастополь! Прощай, чеховская дача, где они были молоды и счастливы!.. Вместе встречали в гостях у Алексея Толстого Новый, 1921 год. Молча ели, грустно пили шампанское и со скорбным сердцем в 10 часов вечера, когда в России наступила полночь, пили за близких, оставшихся там.

Едва прошли новогодние праздники, как «русский Париж» взорвался очередной сенсацией: в Гельсингфорсе начала выходить якобы беспартийная газета «Путь», которая вела открытую просоветскую пропаганду. Под программными статьями стояли фамилии Николая Иорданского, экс-редактора «Современного мира», и драматурга Федора Фальковского, друга Леонида Андреева. Фальковский вспоминал об отношении к газете: «Это была вакханалия ненависти, доносов, откровенных угроз и открытых требований “заткнуть им глотку”. Редакция не могла найти помещения, меня выбросили из гостиницы, знакомые при встрече переходили на другую сторону... <...> Как шутили в редакции, лошади от нас шарахались. Держать в руках нашу газету было рискованно, а подписаться на нее было бы открытым вызовом общественному мнению»[355].

Куприн мог сколько угодно говорить русским парижанам, что недолюбливает Иорданского, мужа своей бывшей жены, а саму ее не видел несколько лет, но не мог не понимать, что попал в историю. А потом он прочитал в «Пути» заметку «Выход Куприна из “Общего дела”», от которой похолодел. С изумлением узнал о себе, что он:

1) ушел из «Общего дела» вследствие принципиальных разногласий;

2) пришел к убеждению, что русская эмиграция представляет собой глубоко отрицательное явление;

3) находит, что эмигрантская политика не отвечает интересам России[356].

Куприн печатно оправдывался в фельетоне «Ребус» (1921), называя эту провокацию «злой и глупой гадостью», а «Путь» в ответ ударил его заметкой «Куприн в “Общей яме”»[357].

Словом, писателю некогда было выяснять, как меньшевик Иорданский до этого дошел и какую роль играет во всем этом Мария Карловна. Нужно было думать о себе. Полагаем, еще и поэтому (а не только вследствие плачевных материальных дел) Куприн согласился стать редактором журнала «Отечество», первый номер которого вышел

в марте 1921 года в Париже. В редакционной статье он заявил: «У нас лишь один враг — враг общий с отечеством — большевизм. Борьба с ним не есть война, а истребление». Ниже, в рубрике «Галерея современных преступников», поместил портрет Леонида Красина, «Никитича», в то время полномочного и торгового представителя Советской России в Великобритании.

Средства на «Отечество» добыл некто Набиркин, знакомый еще по Петербургу. Доверившись ему, Куприн пригласил в журнал и парижских и зарубежных коллег. Последние, правда, отнеслись без энтузиазма. Поэт Саша Черный ответил ему из Берлина: «...у меня вместо “отечества” такая черная дыра на душе, что плохой бы я был сотрудник в журнале под такой эмблемой»[358]. Откликнулся из Софии один Евгений Чириков, прислал рассказ. Перед ним потом пришлось извиняться, потому что Набиркин не платил. Чириков негодовал и велел в письме Куприну «набить морду Набиркину».

Александр Иванович набить морду уже никому не мог. Он просто покинул «Отечество» на пятом номере.

Об этой его неприятности, а также о том, как он сосуществовал с Буниным, рассказывает ранее непубликовавшийся дневник сибирского писателя Георгия Дмитриевича Гребенщикова. Впервые приводим некоторые эпизоды:

«14 января <1921 года> (пятница)

В 10 $^1/_2$ ч. позвонил к И. А. Бунину. Академик еще спал и милая, покорная его подруга не решилась его будить. Она напоила меня кофе, свела в соседнюю квартиру и представила А. И. Куприну. “Как же – с восторгом упоминал о вас в своих лекциях – в Киеве и Тифлисе”, — сказал А. И. Он очень еще бодр и свеж. Говорит быстро, и глаза очень хороши. В час я ушел от него опять к Буниным. Там еще полчаса ждал, пока вышел в своем ханском халате наш полубог. <...>

26 января (среда)

Был у Куприных. А. И. немножко выпил и чудесно стал рассказывать. Он так широко по-русски любит мужиков, извозчиков, рыбаков, собак и особенно лошадей. Рассказал, что у русских даже и грехов нет. Только разве снохачество, так это – птичий грех... Когда церковь построят и станут поднимать колокол, то говорят: “А ну, кто снохачи – уходи, иначе не пойдет”. И – смотришь – некому поднимать – все ушли...

Рассказывал, что в “Поединке” изобразил Проскуров, где он верхом на 3 этажа въезжал.

Подарил мне свою новую книжку “Суламифь”*. Я уже начал читать ее. Как благоуханно использовал он библейский сюжет о Соломоне! Какая радость – читать подобное, особенно в дни нашей скорби!

10 / 23 февраля (среда)

Вчера получил письмо от некого Набиркина – секретаря журнала “Отечество”, с просьбой прийти на rue de Caumartin. Пришел, и со мной повели разговор о том, чтобы я дал очерки о беженцах, а за мой рассказ... вместо 250 фр., обещанных А. И. Куприным, предложили мне 150. Я сразу почуял, что попал в лавочку, а не в редакцию журнала. И ушел. Я хочу знать редактора Куприна, а не каких- то секретарей... <...>

14 / 27 февраля (воскресенье)

<...> Ходили к Куприну и узнали, что с “Отечеством” у него “недоразумение”. Так я и знал, что с этими господами хороший редактор ужиться не может. <...>

15/28 февраля (понедельник).

Сегодня виделись с г. Куприной и почти решили сделаться “кухмистерами”**, открыть столовую на Passy. Завтра надо осмотреть помещение. Что ж, может быть, в роли кабатчика буду больше обеспечен, нежели в роли писателя.

27/12 марта (суббота)

<...> был у Куприна и Бунина. Куприн празднично настроен: приобрели ему... смокинг за 140 фр. очень хороший, лучше, чем мой за 375 фр. Бунин, как всегда, великолепно рассказал два-три пустяка.

5/18 марта (пятница)

<...> Сегодня у нас были на пельменях Бунины и Куприны. Бунин дал понять, что ему не нравится обстановка... Пошел и купил себе бутылку пива. Вообще – странное и забавное отношение к хозяевам. Мне не подал руки, потому что у меня насморк. <...>. Довольно сухо и скучно провели время. Воистину “сделали одолжение”, что пришли.

5 / 18 апреля (понедельник)

<...> Куприны переезжают на новую квартиру и, бедные, не могут съехать со старой, т.к. нечем заплатить. А за новую надо платить 8 т. фр. в год»***.

---

* См.: *Куприн А. И.* Суламифь. Париж: Русская земля, 1921.

** Кухмистер (*устар.*) — владелец небольшого ресторана, столовой.

*** Дневники Г. Д. Гребенщикова 1921—1925 гг. // Immigration History Research Center, College of Liberal Arts, University of Minnesota. Series 2. Subseries 2. Box 5. Folder 9. Материал предоставлен М. К. Макаровым (Версаль).

Новую квартиру, о которой пишет Гребенщиков, Александр Иванович присмотрел в чу́дном городке Севр Вилль д'Авре (Sevres Ville d'Avray), в 12 километрах от Парижа. Ему не нравилось на рю Жак Оффенбах: дорого, вид из окон на каменные джунгли, ни деревца. А впереди лето. С Буниным и Верой Николаевной отношения понемногу портились: они выговаривали ему за шум на лестничной клетке и вообще, по его мнению, корчили из себя невесть что.

Куприну захотелось создать хотя бы подобие гатчинского быта. Ему приглянулся на привокзальной площади Вилль Д'Авре домик с небольшим садом и с бистро на первом этаже*. Куприны стали готовиться к переезду, а их квартиру пришел посмотреть подыскивающий жилье Иван Иванович Манухин, известный врач, только что прибывший из Советской России. Полагаем, именно он вынес приговор, о котором вспоминали потом Бунин и Лазаревский: если Куприн не перестанет пить, то не проживет и полгода. Тот не перестал.

Девятнадцатого апреля 1921 года Бунин записал в дневнике: «Уехали на дачу в Севр Куприны. Мне очень грустно, — опять кончился один из периодов нашей жизни, — и очень больно — не вышла наша близость». Забегая вперед скажем, что на рю Жак Оффенбах Александр Иванович не вернется; Бунин же и скончается здесь в 1953-м.

Сохранились фотографии, сделанные в Вилль Д'Авре: Куприн позирует на фоне дома, смотрит вниз из окна, ухаживает за деревцем в саду, держит на руках хохочущую девочку (дочь знакомых)... Видно, что он совершенно счастлив. И все бы хорошо, но разоряли гости. К примеру, Борис Лазаревский, все-таки добравшийся из Константинополя в Париж. Александр Иванович увидел перед собой изможденного, старого, обносившегося человека, который потерял все. Рассказывая о своих злоключениях, Борис Александрович зачитывал фрагменты из своего дневника. Он и в Петербурге, подобно Фидлеру, славился дневниками, куда вклеивал письма, статьи из газет, фотографии, карикатуры, шаржи, просил друзей и коллег что-нибудь написать или нарисовать... Тетрадь, заведенная им в Париже, лежала теперь перед Куприным. А в 2013 году она оказалась в нашем распоряжении. Работа с ней была не из легких, почерк

* Дом сохранился (rue Riocreux, 5); бистро на первом этаже работает по сей день.

Лазаревского разобрать порой невозможно. И тем не менее удалось воссоздать несколько встреч Лазаревского и Куприна. Мы впервые публикуем записи о них, опуская лишь сторонние и порой слишком резкие суждения автора (Лазаревский был украинский националист и антисемит).

Итак, рассказывает Борис Лазаревский:

«1 июля 1921 года.

...я занес заказное на почту, оттуда в "Коз"*, и весь день вышел литературно-интересным очень...

Прежде всего просил Викторова** написать мне что-нибудь в эту новую тетрадь, а он и обрадовался... Писал, писал. <...> Куприн злился на Топорова, ибо ждал возможности получить денег. И дали ему, бедному, как и мне в прошлый раз, 25 фр<анков>. Затем я попросил Куприна написать реплику — он написал***. Решили пойти вместе выпить винца. В это время прибежал Алексинский Гр<игорий> Ал<ексеевич>, довольный чем-то — сдавать какую-то статью... Обрадовался Куприну и мы втроем отправились в какой-то шоферский кабачок. И здесь и по дороге было сказано много интересного...

Алексинский как всегда склонял слово "Плеханов"... И как-то попутно вышло, что он сообщил: "Плеханов был женат на еврейке, Савинков на еврейке, кн. Крапоткин на еврейке, Леонид Андреев на еврейке и т. д. и т. д... Можно было бы эту страницу до конца закончить перечнем русских писателей: — на еврейке. Увы, и украинский писатель Винниченко — на еврейке. Неужели это случайность?" Но не хочется об этом писать... <...>

Завтра или послезавтра он (Алексинский. — *В. М.*) летит на пассажирском аэроплане в Прагу... Приглашает и Куприна, тот с радостью, да, конечно, не пустит жена... Алексинский развил целую программу свою спасения России, с датами и т. д. — наивно. <...>

[Вставка — автографы Алексинского и Куприна]

[Рукой Алексинского:]

---

* В редакцию газеты «Общее дело».

** *Владимир Викторович Топоров-Викторов* (? — не позднее 1936) — кадет, журналист; литературный псевдоним В. Викторов.

*** Текст «реплики»:

«Лазаревский! Вывод из предыдущей статьи (записи Викторова) таков:

1). Следи за желудком.

2). Посещай дурные дома не чаще 2-х раз в неделю.

3). Перед обедом пей Amer-ficon.

4). Уважай старших».

Б. А. Лазаревскому — автограф для хранения с последующей передачей в архив Академии наук. Не подписываюсь, чтобы академики имели основание учредить комиссию для решения вопроса о том, кто это писал.

Я.

P. S. Точное имя-отчество-фамилия известно Б. А. Лазаревскому и А. И. Куприну.

Париж.

"Rendez vous des Chauffeurs"*

1/VII 921.

[Рукой Куприна:]

Я знаю его! Боролся в Киеве под видом Черной Маски. Погромщик.

<...> Куприн верит в то, что: "добро быти человеку единому"**. Он был в чудесном расположении духа и пророчествовал в самом буквальном смысле... Между прочим он сказал: я написал коку на пар<оход> "Николай I"*** Петру Брилевичу: "Ваши дети живы", а тот с восторгом написал мне, что его сыновья оказались в Варшаве, чего он никак не ожидал...

И мне Куприн ни с того ни с сего выпалил: "Ты увидишь Лидию**** — через 5 дней (она воскреснет) — и это меня обрадовало, хотя и не верится. Все равно она мертвец. А вот Оля***** моя — живая, хотя и среди мертвецов и подлецов, а я не увижу ее.

Говорил мне Куприн: "Умрешь ты лет через 5", а затем, что лицо у меня и сейчас мертвецкое...

Когда мы расстались с Алексинским, Куприн стал звать меня к себе:

— Попрошу...

По дороге купили книжку толстого французского жур-

---

* Ресторан «Рандеву шоферов»; до сих пор работает на rue Portes Blanches, 11.

** Переделанное выражение из Библии: «Не добро быти человеку едину» (о создании Евы из ребра Адама).

*** Российский грузо-пассажирский пароход, построенный в 1913 году в Великобритании для РОПиТ. С началом Первой мировой войны был мобилизован в состав Черноморского флота; после Февраля переименован в «Авиатор»; в 1921 году продан французской судоходной компании, переименован в «Пьер Лоти».

**** *Лидия Николаевна Лазаревская* (1879—1909) — жена Б. А. Лазаревского, в 1907 году ушедшая от него к писателю Илье Сургучеву.

***** Судя по содержанию дневника, любимая женщина Лазаревского, оставшаяся в Советской России.

нала, издающегося в Женеве, — там “Штабс-капитан Рыбников” в переводе.

Когда приехали в Sevre Ville D’Avray, Куприн не был оч<ень> пьян. Елиз<авета> Морицовна встретила нас весело. Скоро приехали и Бунины. Дачу ищут...*

— Очень выпивши? — спросил меня Бунин о Куприне.

— Нет, не очень...

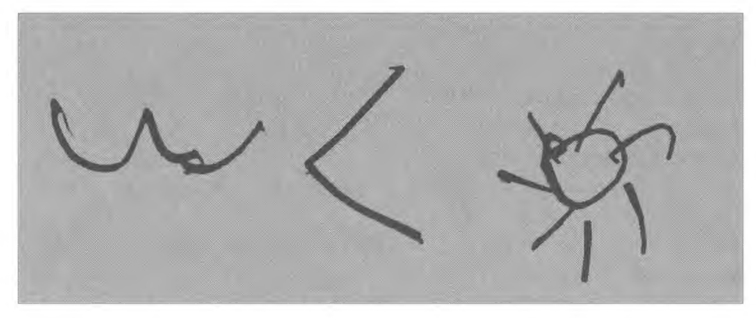
[Вставка — автографы Бунина и Куприна]

[Рукой Бунина:]

У А. И. Куприна, Ville D’Avray, 18 июня (1 июля) 1921 г. Желаю Лазаревскому обуздать хоть немного, — обуздать свой темперамент. Ив. Бунин.

[Рукой Куприна:]

Лазаревский, разгадай шараду:



Отгадка
(Задмение солнца)

Лицо у Бунина было утомленное, немножко злое, а Вера Николаевна наоборот — цвела...

— Устал он, целую дорогу меня ругал, — сказала.

— Жены всегда виноваты, — вставила Е<лизавета> М<орицовна>. <...>

Скоро Бунина с Елиз<аветой> Мор<ицовной> и Ксенией ушли смотреть дачу.

* * *

У Куприна новый фокстерьер, щенок “Кум”, и две квартирантки: Полякова и старушка не старая, но седая, француженка — дочь кучера Александра III, а Полякова — воспитательница детей Вел. Кн. Михаила Александрови-

---

* Летом 1921 года Бунин с Верой Николаевной будут отдыхать в Висбадене.

ча — ужасно симпатичная, с грустью <фрагмент не читается. — *В. М.*> воспевавшая своего хозяина.

В разговоре с Алексинским Куприн говорил, что хорошо бы на престол возвести Михаила.

— Нет, Романовы кончены.

И, пожалуй, это так.

Бунин все удивлялся мне, как это так я могу вести дневник. А я удивлялся, как это можно не вести.

Собирается, кажется, заняться этим "гнусным делом" и Куприн.

Алексинский обещал ему подарить тетрадь с замком.

* * *

Слишком был этот день интересен и хочется ничего не забыть. Елиз<авета> Морицовна не пустила слетать (в Прагу. — *В. М.*) Куприна. Говорила мне один на один, что сердце у него никуда не годится, доктор прямо сказал: недолго проживет... Сам Куприн другого мнения и верю, что он переживет меня и многих...

С дочерью он не знает обращения. Все время шутят, друг другу кулаки показывают и играют в оскорбленное самолюбие... Все хорошо у этой девочки, но наследственность... И исковеркал же ее папаша своим "воспитанием", как я Зину* — слишком любит...

Куприн настойчиво упрашивал меня остаться ночевать:

— Понимаешь, я один с четырьмя бабами, и все мною недовольны. Спаси меня, Борисочка, останься...

— У меня нет простыней, — сказала Ел<изавета> Мор<ицовна>.

Жаль мне его было, и вспомнил я... "добре быть единому".

* * *

Пока был Бунин, говорили о Юшкевиче. И все втроем мы недоумевали, как так с женой, бабушкой и детьми, с багажом, в Америку в первом классе туда и обратно... Ведь это 20 000 — 30 000 фр<анков> minimum. Кто дал эти деньги? Зачем? И думается всем троим, что это была командировка — ездил продавать и предавать... Жидовский подгорьковец... Скверно. Не выкрутится Россия. Единственную

---

* *Зинаида Борисовна Лазаревская* (1900–?) — дочь Лазаревского; в описываемое время жила в Севастополе.

правду сказал кто-то из евреев, что и “еврейский вопрос — это русский вопрос”. Для меня лично ясно, что где евреи у власти, там интернационализм на пороге.

* * *

Горько жаловался мне Куприн на Набиркина — этот друг Эли Василевского поставил Куприна как редактора в глупое положение — сотрудники ничего не получают... Святой наивный старичок Чириков сидит без гроша и картошку кушает... Ему как милость обещано послать 75 фр<анков>, т. е. то, что мне на четыре дня maximum хватает...

И вот милый Куприн написал письмо в редакцию обо всех деяниях издателя “Отечества” Набиркина (говорит, что он татарин и наездник) <...>

Зачем?

2 июля, суббота

...вчера Куприн, о чем я забыл, вкричал мне в уши, что сегодня два дурака — американец Демпси и француз Карпантье — будут разбивать друг другу морды — буквально, и за это один получит два миллиона, а другой три миллиона франков... Мне на это наплевать... <...>

После вчерашнего “пьянства” с Куприным утром я почувствовал себя плохо и сел на диету. Ни одного biére — пива — только молоко, eau mineral* и к вечеру уже легче.

Я выпил вчера очень немного вина, и когда Куприн у себя предложил еще пивка, я ответил:

— С удовольствием.

— Знаю, какое тебе удовольствие — как собаке уксус...

Это верно.

Я грешен всеми грехами, но не пьянством»[359].

Прервем ненадолго чтение. Борис Лазаревский стал тенью прежних «манычар» и порой развлекал Куприна, имитируя собачий лай или крик петуха. Елизавета Морицовна ему обрадовалась: зная, что он «не грешен пьянством», спокойно отпускала с ним мужа, отдавая десятки распоряжений: что Александр Иванович должен надеть, какое и когда выпить лекарство. Куприн и Лазаревский вместе переживали шокирующие летние вести из России, читали о неурожае и голоде, о создании Всероссийского комитета помощи голодающим (Помгола), о членстве в нем Горького. Лазаревский записал в дневнике:

---

* Минеральная вода (*фр.*).

«Это самое страшное, что я прочел о голоде.

Это значит, что не будет сделано и половины того, что могло бы быть сделано...

Это значит: дилетантство с истерикой там, где должна быть великая и спешная работа...

Это самая тяжелая страница истории начала XX века. Позорная и жестокая.

Дай Бог, чтобы я ошибался!»[360]

Куприн же в эти дни публично отрекся от Горького. Сначала он назвал его «обезьяной Ленина, его приживальщиком и подголоском, лакеем, копирующим барина» («Помогите дорезать», 1921). Затем будто прозрел: «...Горький... хоронит заранее сам себя под завтрашними обломками большевизма. Он никогда не знал, что в сущности большевикам он не был ни нужен, ни полезен, как слишком большой писатель и как чересчур маленький человек. Им незримо руководили для внешних балаганных эффектов. Большевики вовлекли его в громадный, скандальный кутеж и вот, перебив под конец зеркала и посуду, уходят потихоньку, оставляя тщеславного дурака платить по неслыханному, вовеки неоплатимому счету» («Третья стража», 1921). Тем же летом 1921 года у Куприна отпали последние сомнения в правильности бегства из Гатчины. Он услышал о гибели от цинги Александра Блока и расстреле чекистами Николая Гумилёва. С обоими он работал во «Всемирной литературе», помнил, как оба искренне пытались включиться в советское культурное строительство...

Наверное, собственное шаткое положение виделось теперь Александру Ивановичу более чем нормальным. Даже тогда, когда приходилось из-за безденежья ходить в лес Сен-Клу собирать каштаны и потом их жарить. Урывая часть из собственных скудных средств, он бегал отправлять продуктовые посылки в Россию тем, чьи адреса знал. Жена Александра Грина вспоминала, как их выручила такая посылка. «Это никто как Куприн мог лично мне ее адресовать и подумать обо мне, — почти плакал Грин. — Друг настоящий!»[361]

Однако вернемся к дневнику Лазаревского:

«10 сентября, суббота

Пишу “краденой” ручкой stilo, вчера, отправляя заказные письма, я нашел ее на почте, спросил одного, другого, не его ли.

— Mais non*...

* Не мое (*фр.*).

И пришлось взять ее себе. Спасибо! А кому — не знаю. Писателю годится. <...> И только начал я писать, как вошел Куприн. Я всегда ему радуюсь... Получил с Дальнего Востока 3000 фр<анков>, из них нужно отдать полторы. Сегодня у него лично было только 200 фр<анков>. Позвал меня скромно, скромно, франков на 5 пообедать. Предварительно хорошо поговорили.

И все он еще удивлялся, как это я пишу с удовольствием.

— Точно вкусную закуску ем, — ответил я.

— Отчего же я не могу писать?

— Не знаю. Но мне кажется...

Этого я ему не сказал (следует версия о причинах интимного характера. — *В. М.*). Показывал я ему еще в Батуме печатавшиеся о нем статьи — я был тогда убежден, что его красноеврейцы расстреляют, и мы никогда не увидимся...

Пошли завтракать в ресторан M-lle Gaby*. Куприн назвал ее киргизочкой и это верно.

И мне было приятно, что он ее видит.

Говорили о многом и здесь, когда вышли на улицу по направлению к Итальянскому бульвару.

Вспоминали Чеховых. Я не ошибся. У Куприна был легкий роман с Марией Павловной. Не позволила себя поцеловать, а когда он уезжал и соединился по телефону — М. П. сказала:

— Жалею, что не позволила поцеловать...

Это одно из лучших его воспоминаний.

И еще очень он обрадовался, когда Чехов сказал ему:

— Вы хорошо сидите на лошади.

И сам признался:

— Это для меня высшая похвала.

Рассказывал, как Бунин хотел жениться на даме Карзинкина... т. е. на M-le Карзинкиной.

Убеждал ее, что сделает женой знаменитости, а она отвечала, что может любить человека, а не его знаменитость. И изыде посрамлен...

А когда был его 25-летний юбилей, эта дама не пришла, а прислала ему в подарок 30 000 рублей, — и он взял.

Взял бы, вероятно, и я.

К моему удивлению, Куприн отказался идти в бордель. Не ручался за себя.

Мог все деньги раздать, а нужно было домой привезти.

---

* Ресторан находился рядом с домом Лазаревского, жившего по адресу: rue Pierre Chausson, 9. Он был завсегдатаем заведения, пытался ухаживать за мадемуазель; ее автограф сохранился в дневнике.

* * *

Еще у меня, глядя на портрет Зины, Куприн сказал:

— Милая девочка!

Спасибо ему, милому.

Я не знаю женской жизни страшнее Зининой, то, что пережила ее мать — пустяки в сравнении. <...>

* * *

Дошли до аудифона. Куприн упирался. Я его усадил и поставил № 390 — Смерть Годунова — Шаляпин. Слушал и лицо его делалось все серьезнее и краснел... Кончилось:

— Замечательно!

А еще за 5 минут раньше упорствовал и говорил:

— Я музыки не люблю. <...>.

Отправились в Зоологический сад, кормили медведей... Наконец, оба утомились, сели в трамвай и уехали на Concord...

Говорили о пассажирках...

Куприну не нравятся француженки.

— Ни одного человеческого лица...

А мне нравятся. <...>.

Хотели мы почистить ботинки, но у Куприна они были рваные, и он постеснялся...

Интересно, что Куприн в первый раз говорил со мной о матери, а об отце вскользь упомянул — “титулярный советник”... А я и этого не знал.

Просил он меня подарить ему “краденую” ручку — stilo — дескать, счастье приносит.

Как бы да не так — мне самому счастья хочется, а я ему подарю завтра маску Наполеона...»[362]

Назавтра, 12 сентября, были именины Куприна. Лазаревский ездил в Вилль Д’Авре, подарил маску, которая произвела на Александра Ивановича тяжелое впечатление — memento more.

И еще две записи, от того же сентября 1921 года и тоже из Вилль Д’Авре:

«29 сентября четверг

Поехал к Куприным. Там болезни, печали и воздыхания <...> Ксения рисует. После 1-го октября в пансион, и я

за нее крепко рад! Главное же денег — нет. Девочка там передохнет и питаться будет лучше.

Куприн мрачен и ищет забвения в картах... А водки — нельзя. Отеки на лице. Настроение у него скверное.

— Я убежден, что, когда я умру, Ксения будет ныть: ну мама, я хочу траурное платье.

Это не так.

<...> Во Владивосток вступило войско красноеврейского вождя Левы Бронштейна (Льва Троцкого. — *В. М.*). Слава Богу, что я и Куприн получили хоть что-нибудь, он 3, а я 1 тысячу. Марка в Берлине падает, значит, и там близок социализм, а затем его родные дети коммунизм и красноеврейство, самое активное...

Стало холодно на дворе...

30 сентября пятница

Куприн предсказывает, что наступит время, когда Бунин будет скупать и уничтожать свою "Деревню" — стыдно будет <...>

Гадала мне вчера Купринша... Не верно... Какая-то черная фальшивая женщина будто меня погубит... Вздор, ибо нет у меня никакой женщины.

* * *

[Карандашный портрет Лазаревского]

Рисунок Ксении Куприной.

Здесь я похож на мертвеца. Может, и вправду скоро. А Куприн маску Наполеона куда-то спихнул, которую я ему подарил. Боится»[363].

В дневнике Лазаревского сохранились несколько рисунков Ксении Куприной. Отец находил у нее талант и заставлял ее брать уроки в частной Академии художеств Жюлиана. Девочка ломалась и поставила условие: будет их посещать, если он оплатит и ее уроки характерных танцев. Александр Иванович сетовал, что у дочери нет никаких духовных запросов. Подавай красивую жизнь! А где ее теперь взять?..

Прожив год в Вилль Д'Авре, Куприны вернулись в Париж.

«Папочка»

В районе Пасси, на рю Ранеляг, в бистро мадам Бюссак появился новый посетитель. Почти ежедневно он возникал на пороге, учтиво произносил «Мсье, мада-ам!» и направ-

лялся к стойке. Мадам Бюссак, огромная, тучная, большеглазая, знала, что он закажет красное ординер, а если поцелует ей руку и протянет букетик, то попросит о кредите. Иногда он приходил не один; занимал столик, разливал вино и произносил непонятные для нее слова: «Ну, поздороваемся». А вот этого мадам не могла знать: что сидящий с ним господин с изможденным лицом и запавшими глазами — русский писатель Иван Шмелев, а другой, нервный, с обширными залысинами и донкихотской бородкой — поэт Константин Бальмонт. Часто посетителя забирали отсюда жена и дочь, и Бюссак слышала, что они называли его «папочка». Она тоже стала звать его «papa Kouprine», иногда целовала в лоб, долго не верила, что он писатель, пока однажды не получила от него в подарок толстый журнал на незнакомом языке. Водя пальцем по страницам, он показывал: вот тут написано о ней, о мадам Бюссак! А вот тут сказано, что она «истинная староста Пасси».

Журнал был «Современные записки», а строки о мадам вошли в роман «Жанета». В подзаголовке «Принцесса четырех улиц» Куприн увековечил пространство, в котором прожил десять лет: квадрат, очерченный рю Ранеляг, Моцар, Асомсьон и бульваром Босежур. Ему нравилось здесь: в пяти шагах Булонский лес, некогда непролазная чаща, а ныне прекрасный парк. Он будоражил воображение: «Огромные, старые, вековые деревья, когда-то видевшие под своей сенью Виктора Гюго, Альфреда Мюссе, Бальзака и обоих Дюма, недоверчиво и устало поскрипывают и недовольно кряхтят» («Жанета»). Наверное, они еще помнят тех, кто сшибался здесь в поединках, и знают, что тут «ходят по вечерам белые привидения, духи людей, погибших давным-давно на дуэлях в Булонском лесу и лишенных церковного покаяния» («Жанета»). Куприн ходил сюда смотреть состязания лошадей, любил ранним утром устроиться на скамеечке и что-то писать. Наверняка сравнивал с гатчинским Приоратским парком, вспоминал Сапсана... Как-то его встретил Алексей Толстой, рассказывал, смеясь: «Совсем мы мохом обросли. Видел сегодня Куприна. Сидит, гладит рыжего кобеля и счастлив»[364]. О том, чтобы завести собственную собаку, теперь не могло быть и речи: съемное жилье, соседи...

Первым адресом Куприна в этой «стране из четырех улиц» стали две комнаты в огромной мрачной квартире рю Ранеляг, 137. Бистро мадам Бюссак находилось в соседнем доме, и, конечно, ему там больше нравилось. По старой пе-

тербургской привычке писатель даже получал почту на адрес кафе. Весной 1922 года ему пришлось вспомнить о том, что он «папочка» не только для Ксении.

Пришло письмо от Лиды. О ней он ничего не знал со времени бегства из Гатчины. Дочь просилась к нему в Париж; в Москве, где она обосновалась, ей не нравилось. Делать она ничего не умела, максимум, на что ее хватило, это выучить разные характерные танцы и мечтать устроиться в какой-нибудь увеселительный сад. Рассказывала, что была в его гатчинском доме. Там жили солдаты, а в бывшем отцовском кабинете — военком, человек вполне интеллигентный, понимавший, что брошенный здесь архив Куприна нужно сдать в Наркомат просвещения, Луначарскому (заметим, что так он и сделает). Ничего из вещей Лиде не отдали.

Александр Иванович, знавший, что газету Иорданского «Путь» финны в конце концов закрыли, а его самого выслали из страны, с удивлением читал, что теперь Иорданский за заслуги принят в Кремле, вступил в партию большевиков и служит в Комиссариате иностранных дел. Куприн полагал, что Мария Карловна с ним несчастлива, но Лида огорошила: «Что касается мамы, то она с Иорданским последние два-три года живет на редкость счастливо, гордится его патетической (политической. — *В. М.*) карьерой, вовремя с ним соглашается, бывает постоянно в Кремле, ругает белых, хвалит коммунистов. Живут они оба очень хорошо, ни в чем не нуждаются. Мама довольна своей судьбой <...> Они оба стали такими примерными супругами на старости лет, что остается только удивляться, — никогда не ссорятся, воркуют как голубки...»[365]

Час от часу не легче! Теперь бывшая жена вращается в большевистских верхах. Дальше — больше: Лида писала, что мама с Иорданским как-то были в Кремле и там говорили им о том, что хорошо бы Куприну вернуться, что есть возможность и дом в Гатчине возвратить, а уж о гонорарах и беспокоиться нечего. «А так как ты еще вдобавок знаком с Луначарским, — советовала Лида, — то тебе стоит только написать ему».

Ну что это, простодушие или провокация? В ответном письме Александр Иванович сделал вид, что недопонял, признался, что уехать из Парижа и сам не прочь, но пока в раздумьях куда: Прага? Рига? Каунас? Дочери же советовал даже не мечтать о Париже, здесь не прожить. И не удержался: «Увидишь маму — передай ей от меня и Лизы самый искренний, сердечный привет. Я ей верный друг. Да пусть написала бы два слова мне, потихоньку от своих. Я никому

не покажу...» «Два слова» он получит только через год и узнает, что скоро станет дедом: Лида второй раз вышла замуж и ждет ребенка.

Куприн никогда не забывал Марию Карловну. Тэффи удивлялась, что он так любит аромат духов «La Rose Jacqueminot». Она не знала, что это были любимые духи его первой жены и напоминали о ней.

Александр Иванович тяжело и растерянно переживал наступление старости. А ведь у него была молодая жена: Елизавете Морицовне едва исполнилось сорок. Возможно, понимание, что женская любовь уходит в область воспоминаний, впервые пришло к нему два года назад, в Гельсингфорсе.

Это один из загадочных сюжетов биографии писателя. Сохранились его письма к некоей Наташе, которой он пытался признаться в любви с помощью перевода стихотворения Джозуэ Кардуччи «Вечно» о любви старика к молодой женщине:

«Ты смешон с седыми волосами...»
Что на это я могу сказать?
Что любовь и смерть владеет нами?
Что велений их не избежать?
....
И никто на свете не узнает,
Что годами, каждый час и миг,
От любви томится и сгорает
Вежливый, почтительный старик.

Но когда потоком жгучей лавы
Путь твой перережет гневный рок,
Я с улыбкой, точно для забавы,
Благодарно лягу поперек.

Стихи Куприн писал Наташе от руки, а в марте 1920 года напечатал в гельсингфорсской «Новой русской жизни». К ним он питал особое пристрастие и позже, в парижском «Отечестве» (№ 3), печатал уже без указания, что это перевод. Их же вписал в дневник Лазаревскому 25 декабря 1921 года, подчеркнув первую строку и советуя обратить на нее пристальное внимание.

Позже стихи стали романсом, а потом родилась легенда, которую мы знаем от Тэффи. Надежда Александровна рассказала, что стихотворение «Вечно» «открывало тайный уголок романтической души Куприна»: «Никто не знает, что три года подряд 13 января, в канун русского Нового года, он уходил в маленькое бистро и там, сидя один за бутылкой вина,

писал письмо нежное, почтительно-любезное все той же женщине, которую почти никогда не видел и которую, может быть, даже не любил. Но сам он, Александр Иванович, был выдуман Гамсуном и, подчиняясь воле своего создателя, должен был тайно и нежно и, главное, безнадежно любить и каждый раз под Новый год писать все той же женщине свое волшебное письмо» («Моя летопись»).

Кто была эта женщина? Та же неведомая Наташа? Или, может быть, наш герой решился на увлекательный эксперимент и перенес в жизнь сюжет своего «Гранатового браслета»? Может, он писал Людмиле Ивановне Любимовой, прототипу княгини Веры из рассказа? Она тоже оказалась в Париже, и они встречались. Современник оставил интересное свидетельство: «Однажды, на каком-то приеме, Александр Иванович представил меня очень представительной, красивой даме. *Сам он был явно взволнован* (курсив наш. — *В. М.*). Я потом спросил:

— Кто это?

— Это героиня моего “Гранатового браслета”.

Взволновался и я... Дама была Л. И. Любимова»[366].

Но охотно допускаем и то, что это была мистификация: путь думают, что у Александра Ивановича роман, что он еще кружит головы. Окончательно с Женщиной Куприн простится в грустной повести «Колесо времени» (1929). В том же 1929 году случится характерный эпизод, о котором рассказала Нина Берберова, в то время молодая, привлекательная дама. Как-то она осталась с Александром Ивановичем один на один и призналась ему, что его «Яма» в юности произвела на нее ошеломляющее впечатление, открыла неизвестные сферы жизни. Тот вяло выслушал, потом достал из вазы вишню и попросил Берберову взять ее зубами за хвостик.

«Вишня повисла у меня на подбородке. Он придвинулся ко мне и осторожно взял вишню ртом, почти не коснувшись меня. Когда он выплюнул косточку, он сказал:

— Это — моя последняя стадия.

Мне стало его жалко»[367].

Итак, состарившийся «папочка» часами просиживал в бистро мадам Бюссак и грустил, что «смешон с седыми волосами». Фигурально, конечно, потому что седины у него как раз было мало, чем он гордился. К тому же Бунин позволил ему снова почувствовать себя молодым: собрался венчаться с Верой Николаевной и пригласил его быть шафером. Летом 1922 года Иван Алексеевич наконец получил развод из

Одессы от Анны Цакни, на которой женился еще в пору их угарных бунинско-федоровско-купринских люстдорфских дней. Бунин конфузился, понимая, как все это выглядит со стороны, даже от певчих отказался: «И так стыдно».

Вера Николаевна, впервые в 41 год выходившая замуж, записала в дневнике:

«Сегодня мы венчались. Полутемный пустой храм*... весь чин венчания, красота слов, наконец, пение шаферов (певчих не было) вместе со священником и псаломщиком <...> я чувствовала, что совершается т а и н с т в о <...>

По окончании венчания все были взволнованы и растроганы. Милый "папочка" так был рад, что я его еще больше полюбила. <...>

Из церкви поехали домой. <...> Меню: семга, селедка, ревельские кильки, домашняя водка, жареные почки и курица с картофелем, 2 бутылки вина, мандарины, чай с грушевым вареньем, которое превратилось почти в карамель. Ал<ександр> Ив<анович> ласково упрекал Яна, что он мало приготовил водки».

От Буниных, с рю Жак Оффенбах, где когда-то жили, Куприны возвращались к себе, но уже не на рю Ранеляг. К этому времени они сняли по соседству, на бульваре Монморанси, 1-бис, квартиру в «подвале», на первом этаже. Пусть это было непрестижно, зато окна выходили в крошечный палисадник, где Александр Иванович мог сажать цветы. И главное — рядом проходила окружная железная дорога с привычным и необходимым ему грохотом поездов.

Эта квартира, где Куприны проживут 10 лет, станет известным адресом русского литературного Парижа и запомнится многочисленным гостям. Главным образом, из-за «духа дома» — важного, толстого, ленивого кота по кличке Ю-ю. Его знал «весь Пасси»: кот был так умен, что ходил к метро встречать хозяев. Одна из посетительниц Куприных вспоминала, что по пути в кабинет писателя нужно было заглянуть в столовую, где Ю-ю обычно дремал на батарее, и пожать ему лапу: «Говорить об А. И. и умолчать о коте нельзя — хозяин обидится. Кот — член семьи, разговаривают с ним серьезно и иногда страдают от его плохих настроений. Вдруг притворится кот несчастным и обиженным и назло всем начнет есть солому на кухонной метле — полюбуйтесь, до чего вы меня довели!»[368] Даже те, кто не бывал у Куприных, знали о нем из рассказа «Ю-ю» (1925).

---

* Бунины венчались 24 ноября 1922 года в православном Свято-Александро-Невском кафедральном соборе на рю Дарю.

Многие вспоминали обстановку кабинета, который Александр Иванович окрестил «аквариумом»: здесь были зеленые обои. Традиционный грубо отесанный стол, исписанный автографами. На стенах (в разное время) — известный снимок писателя с Сапсаном, портреты Чехова и Толстого с автографами, портрет Ивана Заикина, виды Гатчины и рисунки Ксении. Кабинет не был, что называется, «святая святых», Александр Иванович охотно его показывал, столь же охотно прерывал работу, если кто-нибудь приходил. «Политику» или «клевету», как он называл свою публицистику, давно считал ерундой, а творческое вдохновение посещало его все реже.

По близости с новой квартирой, на рю Доктор Бланш, быстро обнаружился новый «штаб»: кабачок «Au pelouse» («Лужайка»). Куприн прозвал его «Собачьим кабачком», потому что хозяйка держала целый выводок собак редкой охотничьей породы «голубой овернский брак». Весной 1924 года – мы чуть забегаем вперед – наш герой приведет сюда только что прибывшего в Париж Александра Михайловича Гликберга, известного в литературном мире под псевдонимом Саша Черный. Они были знакомы еще по Петербургу, но близко сошлись только теперь, в эмиграции.

Судьба послала Куприну Друга, который, как нам кажется, смог занять в его душе пустующее место Батюшкова. Саша Черный тоже был благородный и светлый человек с редкими донкихотскими качествами*. Как и Куприна, его трясло от политики и от собратьев-эмигрантов; он предпочитал общаться с детьми и животными. Выпить тоже не отказывался. «Алкоголь его сгубил, — вспоминала о Саше Черном современница, — хотя пьяницей, как стал Куприн, его приятель, не был»**.

Жена Саши Черного Мария Ивановна Гликберг, дама почтенная, деловая, в прошлом преподаватель столичных Высших женских курсов, стала ближайшей подругой Елизаветы Морицовны Куприной. Мы с Марией Ивановной еще встретимся.

---

* Подробнее о дружбе Саши Черного и Куприна см.: *Миленко В. Д.* Саша Черный: Печальный рыцарь смеха. М.: Молодая гвардия, 2014.

** Письмо А. А. Швецовой к Г. Д. Гребенщикову от 24 июля 1950 года // Immigration History Research Center, College of Liberal Arts, University of Minnesota. Series 3. Subseries 4. Box 37. Материал предоставлен М. К. Макаровым (Версаль).

С коммунистическим приветом!

В сентябре 1923 года Александр Иванович получил коммунистический привет из Москвы. В Париж приехал Николай Семенович Клестов-Ангарский, старый большевик, сотрудник Моссовета, в то время редактор литературно-художественного сборника «Недра», и привез письмо от Марии Карловны. Ее муж 16 июля 1923 года был назначен советским полпредом в Италии, и чета Иорданских прибыла в Рим по случаю заключения договора о сотрудничестве (то есть о признании Италией СССР де-юре) с Бенито Муссолини. Смелый шаг: предыдущий полпред Вацлав Воровский был убит в Лозанне белогвардейцем.

Сказать, что русская эмиграция ненавидела советских пол- и торгпредов, — это ничего не сказать. Александр Иванович снова ловил на себе косые взгляды, но ему, похоже, было уже все равно. С Клестовым он встречался открыто, тем более что хорошо его знал: некогда тот руководил альманахами «Земля» в «Московском книгоиздательстве». Мария Карловна среди прочего писала:

«Теперь, дорогой Сашенька, вот что: каковы мысли твои и чувства о возвращении в Россию? Я уверена в том, что не подведу тебя и ни перед кем не скомпрометирую. Я прямо и откровенно спрашиваю тебя, что ты по этому поводу думаешь, потому что вряд ли эмигрантское существование может тебя удовлетворять. Эта жизнь пауков в банке с ссорами, сплетнями и интригами не для тебя, и длится уже слишком долго. Ты не пишешь давно. <...>

Я не имею решительно никаких полномочий ни от кого относительно каких бы то ни было переговоров с тобой о твоем возвращении в Россию. Пишу я тебе сама, по своему непосредственному чувству и желанию без чьего бы то ни было ведома. Но если то, что я пишу тебе, находит в тебе отзвук, то я могу частным образом навести справки, возможно ли твое возвращение. Я вполне верю тебе в том, что ты не станешь распространяться ни с кем о моем письме, так же как и я со своей стороны, конечно, никого не посвящу в нашу переписку».

Трудно сказать, откровенна ли была Мария Карловна. Возможно, прямых указаний Москвы и не было, но косвенных не могло не быть. Именно в то время велась активная кампания по возвращению литераторов из эмиграции*.

---

* Напомним, с чем была связана акция по возвращению видных деятелей русской культуры на Родину: в Советской России 30 декабря

В СССР уехал, к примеру, Алексей Толстой. В потоке хулы, обрушившейся ему вослед, был и купринский голос. По воспоминаниям, поначалу он ругался: «Уехать, как Толстой, чтобы получать “крестишки иль местечки”, — это позор». А потом вдруг задумчиво прибавил: «...но если бы я знал, что умираю, что непременно и скоро умру, то и я уехал бы на родину, чтобы лежать в родной земле». Думаем, Александр Иванович говорил это искренне, учитывая и то, что все парижские годы он жил со страшным предсказанием Манухина: «и года не проживет».

Конечно, не стоит во всем искать политику; Мария Карловна могла просто жалеть бывшего мужа, которого хорошо знала. Вряд ли случайна ее фраза в письме: «Ты не пишешь давно». Однако отчет о встрече с Куприным Клестов прислал не ей, а Иорданскому, и в нем уделил внимание работе Куприна в «Русской газете», то есть вопросу политическому:

«Дорогой Николай Иванович!

Куприна я видел, все передал ему, что просила Мария Карловна. Он очень тронут. Выглядит неплохо, даже отмолодел. Елизавета Морицевна тоже неплохо выглядит. Нуждаются они очень. В Россию он не прочь ехать, но спрашивает, не расстреляют ли? В газете Алексинского он пишет и заявляет, что для него никогда не было вопроса в том, где писать; будет, говорит, писать даже на заборах, если надо высказаться.

Царь, говорит, у него особенный, так же не существующий, как и коммунизм. Просит вернуть его записные книжки, без коих он не может ничего написать, просит также вернуть неоконченные рукописи; все это где-то хранится в Наркомпросе. Я сказал, что возврат возможен в Россию.

У меня должна была еще состояться с ним одна встреча, но я уклонился ввиду того, что она приняла не тот оборот. Получилось такое впечатление, что я охочусь за Куприным и угощаю его обедом, и это в то время, когда он пишет в “Русской газете”. Я решил, что мне неудобно продолжать разговор, и оборвал его. Написал в Москву Л. Б. (Красину. — *В. М.*) и прошу ответить, как он смотрит на Куприна. Ведь поручение я имел от Марии Карловны, и, собствен-

---

1922 года состоялся 1-й съезд Советов союзных республик, утвердивший Декларацию об образовании Союза Советских Социалистических Республик (СССР), и молодому социалистическому государству (тогда единственному в мире) необходимо было укреплять свой авторитет на международной арене. — *Прим. ред.*

но говоря, я не должен был бы разговаривать даже, не зная, как смотрит на это дело Москва. Может быть, Мария Карловна информирована, но она мне ничего не сказала. <...>

Привет Марии Карловне.

Ваш Ангарский»[369].

В целом миссия не то чтобы провалилась, но как-то завязла. Александр Иванович ответил Марии Карловне грустным отказом: «Ну, положим, я приеду. Предположим, что с меня заживо шкуру не сдерут, а предоставят пастись, где и чем хочу. Скажем, вернут мне гатчинский клочок, или, лучше, по твоей доверенности на аренду, дадут хозяйничать в Балаклаве... Но ведь этими невинными занятиями не проживешь. Надо будет как-нибудь вертеться, крутиться, ловчиться. Ты скажешь — писать беллетристику. Ах, дорогая моя, устал я смертельно, и идет мне 54-тый. Кокон моего воображения вымотался, и в нем осталось пять-шесть оборотов шелковой нити... Да-с, захотели мы революции, как кобыла уксусу. Правда: умереть бы там слаще и легче было».

И здесь та же мысль: если что и заставит вернуться, то это скорая смерть. Марии Карловне его аргументы показались неубедительными, и в следующем письме она рисовала счастливые картины: «Сидел бы ты просто снова у себя в Гатчине, а издатели по-старому приезжали бы и просили хоть что-нибудь дать для нового сборника или еженедельника. Литературный заработок оплачивается сейчас в России лучше других — автор же с твоим громадным именем и дарованием будет, конечно, зарабатывать столько, сколько захочет».

Почему Куприн отказался? Да разве мы можем это знать! Допустим, опасался, хотел каких-то гарантий, не верил, что не тронут, а единственный человек, которому верил, — Горький, сам к этому времени уже три года как покинул Советскую Россию и снова стал эмигрантом*. Затем — понимал, что писать уже не может, а публицистика, которой жил последние годы, потребует чернить и уничтожать все то, что восхвалял. Мы почти уверены, что мнение

* Горький — на фоне его разногласий с Лениным и по настоянию Ленина ехать лечиться за границу (в письмах вождя «буревестнику революции» от 31 июля 1919; 9 августа 1921) — выехал в Гельсингфорс 16 октября 1921 года, жил в Германии и Чехословакии, а с весны 1924-го поселился на вилле «Il Sorito» в Сорренто (Италия). По официальной версии, Горький уехал в заграничную командировку «для сбора средств в пользу голодающих» и для лечения; окончательно он вернется в СССР 9 мая 1933 года. — *Прим. ред.*

собратьев по перу его мало заботило, но мог ли он тогда, в 1924-м, предать своих северо-западников? Тех, кого встречал теперь в дешевых бистро или за рулем такси, обносившихся, опустошенных? Их и так все предали; как же и он мог их предать?

Вероятно, наш герой принимал «коммунистические приветы» как должное: он чуть ли не самый известный русский писатель. Русская эмиграция тогда еще не верила в окончательную победу Советов, выжидала и гадала, когда же падут большевики. Вместе с другими Куприн возмущался, что его переиздают в СССР. Заметим, что гонорар при этом эмигрантам не выплачивался*.

Пока еще Александр Иванович несколько свысока следил за тем, как его ругают в Москве. Вскоре после отъезда Толстого он прочитал, что тот заявил советским корреспондентам: мол, в Париже среди непримиримых писателей Бунин, а также Куприн, который «не работает, почти бедствует». И призвал: «Обоих этих писателей следовало бы вырвать из той гнилой, полной ненависти к Советской России атмосферы и возвратить их русской литературе»[370]. Позже Куприн и Бунин читали статью Александра Воронского «Вне жизни и вне времени» в советском журнале «Прожектор» (1925. № 13), приложении к «Правде», и разглядывали карикатуры на себя. Бунин вспоминал: «Куприн, раздутый, как утопленник, сидит с бутылью водки, а над ним в облаках его мечта — “белый” генерал... я — тону в болоте»[371].

Весной 1925 года случился скандал по поводу проходившего в Париже Международного съезда писателей. Куприн, приглашенный на съезд, прочитал в парижской газете «Ле Суар» письмо, подписанное Петом Коганом, советским литературоведом, и Александром Аросевым, партийным деятелем и писателем. Оба выражали недовольство тем, что бюро съезда пригласило Куприна, Льва Шестова и Бунина (тот не присутствовал), недостойных уже представлять русскую литературу; более того, что в их лице Париж почтил врагов революционной России. Мол, могли бы пригласить русских советских писателей, из молодых — Маяковско-

* Судя по каталогу Российской национальной библиотеки, в СССР начиная с 1921 года практически ежегодно отдельным изданием для детей выходил рассказ А. Куприна «Белый пудель»; отдельными же изданиями выпускались его рассказы «Гамбринус», «В недрах земли». В 1927 году московское книгоиздательство «Современные проблемы» приступило к выпуску собрания сочинений Куприна, но, насколько нам известно, вышел только первый том.

го или Всеволода Иванова, а из маститых — Вересаева или Серафимовича. Куприн желчно замечал, что раз их пригласили, значит, только их Париж и знает, а сам он совсем не враг России: «Никогда не перестает у меня жалость к ней и тоска по ней, и никогда не перестаю я верить в то, что она опять будет сильной, здоровой и богатой. Но, конечно, без помощи большевиков» («Сикофанты», 1925).

А то вдруг долетело до Александра Ивановича собственное интервью, напечатанное в «Красной газете» 6 января 1926 года (№ 4): «Куприн в Париже». Дескать, ноет он там и скулит: «Не настоящая здесь жизнь. Нельзя нам писать здесь. Писать о России? По зрительной памяти я не могу». Кому он это говорил? Когда? Или вот стихотворение «И до сих пор» бывшего сатириконца Воинова из советского сатирического журнала «Бегемот» (№ 5. 1926):

Но Александра Куприна
И до сих пор до боли жалко.

Невольно подливая масла в огонь, Куприн в сентябре 1928 года принял участие в работе Первого съезда русских писателей и журналистов за рубежом. Это была громкая акция. Александра Куприна, Дмитрия Мережковского, Зинаиду Гиппиус, Бориса Зайцева лично чествовал король Югославии Александр I Карагеоргиевич. Немедленно родились байки. Рассказывали, что Куприн радостно отрапортовал: «Здравия желаю, Ваше Королевское Величество!» На что получил ответ: «Здравствуйте, милый!»[372] Далее последовал диалог:

«— Я вас знаю по вашим произведениям.

— И я вас знаю, Ваше Величество.

— Каким образом?

— Я люблю ходить по народным кабачкам и убедился, что народ любит своего короля»[373].

Если верить тем же байкам, перед представлением королю Александр Иванович был так пьян, что его возили в баню, а потом приставили к нему двух дюжих молодцов[374]. Потом, по воспоминаниям Бориса Зайцева, он напился на банкете у министра народного просвещения:

«...к нашему столу, сбоку, приближается нетвердой поступью человек с красным лицом, взъерошенными волосами, останавливается прямо против Мережковского и министра и начинает говорить. Александр Иванович Куприн! За день достаточно утешился сливовицей и пивом в кафа-

нах, но у него тоже есть идейка насчет большевиков — тоже и он оратор. Ничего, что говорит Мережковский. Можно вдвоем сразу, дуэт. Мы тоже не лыком шиты.

Даже сосед мой, достойнейший епископ Досифей... не может не улыбаться.

Но недолог оказался дуэт. Из тех же глубин, куда засадили Куприна (по неблагонадежности его), вынырнули здоровые веселые молодцы, весело отвели его на галерку. Он не сопротивлялся. Мережковский продолжал плавать в стратосфере. Куприна же, вероятно, отвели в какую-нибудь кафану. Во всяком случае, в тылу у нас стихло» («Другая Вера», 1969).

Байки байками, однако писатель получил из рук короля государственную награду: орден Святого Саввы 2-й степени, со звездой, но без ленты через плечо. Орденом награждали за заслуги в сфере образования, литературы, церкви и изящных искусств.

С того же 1928 года в Советском Союзе почти перестали говорить о Куприне. Память о нем поддерживали, пока могли, бывшие друзья. Вася Регинин, ставший мэтром советской журналистики, в различных редакциях травил анекдоты из их с Куприным совместного бурного прошлого. Писателю Владимиру Лидину запомнилось признание Регинина: однажды Куприн, рассмотрев линии на его руке, сказал: «Таланту много, а ничего не получится». Регинин со вздохом сказал, что так и вышло[375]. Александр Грин тоже без устали рассказывал о Куприне, повторяя: «Мне все кажется, что вот войдет сейчас Куприн и скажет: “Здравствуй, старик...”». В России Куприна помнили. Подозревал ли он об этом? Одна счастливая весть до него точно долетела: кто-то из бывших врангелевских офицеров сказал, что во время «крымской эпопеи» оказался в Балаклаве и там седой рыбак Коля Констанди вспомнил в разговоре фамилию Куприна. «Эта честь меня глубоко тронула», — признавался Александр Иванович («Сильные люди», 1929).

Неизвестно, до каких пор продолжалась его переписка с Марией Карловной. Думаем, что недолго. Не знаем даже, когда именно Куприн узнал страшную весть: 23 ноября 1924 года умерла их дочь Лида.

Это темная история, подробностей почти нет. Отдельные тревожные нотки звучат в письмах Марии Карловны Куприну: «По правде говоря, я и не думала, что “судьба ее вынесет”, слишком мне казалось, что она опустилась». Плохая наследственность, она пила или что-то похуже? Из-

вестно только, что 4 февраля 1924 года Лида родила сына, которого назвала Алексеем. Наверняка хотела угодить отцу, который мечтал о сыне Алексее. А через десять месяцев умерла; ей было всего 22 года.

Мария Карловна внуком не занималась. В 1924 году Иорданские вернулись из Рима в Москву, и вскоре она стала первым литературным секретарем в открывшемся журнале «Новый мир». Правда, проработала недолго: заменили «партийным товарищем». Она служила в различных издательствах; после кончины Иорданского в 1928 году стала персональной пенсионеркой Республики, лицом во многом привилегированным. Жила тихо, одиноко, в хорошей квартире в районе Остоженки. О том, что по первому мужу была Куприна, больше не вспоминала и вряд ли думала, что еще когда-нибудь увидит Александра Ивановича.

К этому времени он написал две книги, отрезавшие ему путь домой.

Прощен?

Эти две книги — повесть «Купол Св. Исаакия Далматского» и роман «Юнкера» с одобрением были встречены русской эмиграцией. Первая в героических тонах рисовала поход Северо-Западной армии на красный Петроград, вторая поэтизировала юнкеров (которые в советских учебниках истории были прописаны как враги новой власти, мешавшие ее установлению).

Куприн хотел оправдаться, заслужить прощение за «Поединок». Он устал от ответственности за эту книгу, устал внутренне съеживаться и готовиться к отпору при всякой встрече с кем-то из офицеров. Теперь его упрекали и в том, что «Поединок» повторно вышел в Париже, в известном издательстве Боссара, в переводе на французский*. Дескать, хорошее же мнение сложится у бывших союзников о русских офицерах, которых теперь во Франции тысячи.

---

* Первый французский перевод повести, о котором мы рассказывали в главе «“Поединок” замедленного действия», вышел в 1905 году (см.: *Kouprine A.* Une petite garnison russe (Le duel). Paris: F. Juven). Второй – см.: *Kouprine Alexandre.* Le Duel. Paris: Editions Bossard, 1922. Сохранился отзыв на него Ромена Роллана: «Я читал его роман “Поединок”, изданный у Боссара. Он не очень интересен» (цит. по: Классик без ретуши: Литературный мир о творчестве И. А. Бунина. Критические отзывы, эссе, пародии (1890-е – 1950-е годы). М.: Книжница; Русский путь, 2010. С. 775–776).

Не спасало от упреков и то, что он написал послесловие к французскому изданию, где воспел русскую армию. В канун 1926 года в разговоре с английским писателем Стивеном Грэмом Куприн признавался: «Знаете, я пришел к заключению, что никогда не следует писать ничего, что выставляет вашу родину в плохом свете. Ни один гений никогда не станет писать плохо о своей стране. Посмотрите, например, на Киплинга. <...>. Наверное, у вас, в английской армии, встречаются пороки, о которых в применении к русской армии я писал в "Поединке". Но Киплинг не стал бы упоминать о них. А я написал книгу. Все в ней было верно, но я был не прав»[376].

Первым появился «Купол...» — им Куприн открыл свое сотрудничество в монархистской газете «Возрождение». Повесть печаталась с 6 по 26 февраля 1927 года, а в 1928 году вошла в одноименный сборник. Она стала первой большой вещью писателя после продолжения «Ямы», вышедшего в далеком 1915-м.

Откуда же взялись силы и вдохновение? Тому были и объективные и субъективные причины. Бывший белый офицер и начинающий литератор Николай Рощин, парижский приятель Куприна, вспоминал: «Как любил он военных! О себе говорил, что не только не жалеет о том, что получил военное воспитание, а наоборот — что вечный его грех то, что из него вышел "плохой офицер". Говорил, что военная школа воспитывает в человеке лучшие его рыцарские качества: прямоту, честность, гордость, неустрашимость. Когда строем проходили по улице французские солдаты, столь далекие от нашей блестящей русской выправки, весь вытягивался на тротуаре, замирал, по-строевому стоял "смирно"»[377]. И еще из воспоминаний Рощина: Куприн жаловался, что «проходу не дают за "Поединок"»: «А ведь никто ни разу не подумал, что это дела доисторические, почти сейчас же послешпицрутенские, ничего общего не имеющие с временами предвоенными. Да и какого черта... какого черта смеют судить об офицерской среде все эти сыновья уездных бакалейщиков? Вы знаете..., я как-то спросил одного из них: "Да вы сами читали 'Поединок'?" Он замялся: "Конечно, читал". — "Ну, в чем же там дело?" "Признаюсь, — говорит, — подзабыл, но, кажется, там слесарь дает пощечину гвардейскому офицеру, а вы как автор, конечно, сразу стали на сторону слесаря». Это причины объективные.

Теперь о субъективных, которые заставили нашего героя доказать себе и другим, что он писатель, а не «газет-

ная лошадь». В 1926 году ему пришлось пережить страшное унижение. Елизавета Морицовна решила открыть частную платную библиотеку: все равно книги дома без дела пылятся. От него потребовала одного: появляться и сидеть — люди пойдут «на Куприна», с которым можно будет запросто пообщаться. «Велика была сила этой маленькой женщины», — вспоминал Рощин, которому она предложила подработать в библиотеке.

Александр Иванович смирился, ездил на другой берег Сены, на рю Фондари, заходил в «Библиотеку А. И. Куприна», забивался там в угол и подавленно молчал. Рощин видел, что ему было дурно, когда какой-нибудь наглец-посетитель мог вдруг бухнуть: «Ну, Александр Иванович, пойдемте выпьем!»[378]

Словом, «Купол Св. Исаакия Далматского» должен был появиться. Обширной прессы, впрочем, он не вызвал. Не зря Куприн сетовал, что подвиг Северо-Западной армии замалчивается: «Я порой недоумеваю: почему это никогда не слышно и в газетах нет ничего о вечерах, собраниях или обществе северо-западников. И мне кажется, что эти люди сделали так много непосильного для человека, преодолели в такой громадной мере инстинкт самосохранения, пережили такое сверхъестественное напряжение физических и нравственных сил, что для них тяжким стало воспоминание» («Купол Св. Исаакия Далматского»). Однако оказалось, что сами северо-западники все помнили и хотели высказаться. Со всех уголков мира Куприну полетели их письма с благодарностями, уточнениями, пожеланиями. Он был счастлив, через «Возрождение» всех благодарил. И он пробил стену молчания! Благодаря ему начнутся ежегодные балы северо-западников, он будет приглашать туда читателей «Возрождения»[379] и сам участвовать во всех благотворительных акциях в пользу больных и нуждающихся ветеранов.

Первый значительный шаг к своей реабилитации в глазах белого воинства писатель сделал. Второй не замедлил: в течение зимы — лета 1928 года «Возрождение» начало печатать главы из его нового романа «Юнкера». Замысел романа появился еще в 1916 году, но революционные события помешали его воплощению, черновики остались в Гатчине. Пришлось писать заново, чтобы закончить автобиографическую трилогию: «Кадеты» — «Юнкера» — «Поединок». У него, как у Льва Толстого, должны были быть собственные «Детство» — «Отрочество» — «Юность».

Газетная публикация романа растянется на несколько лет; в 1933-м «Возрождение» выпустит его отдельным изданием.

Это своего рода манифест! Щедрая Москва, колокольный звон, император Александр III, славные юнкера 3-го Александровского военного училища на Знаменке. Та потерянная Россия, которую необходимо сохранить хотя бы в слове для молодежи, выросшей в изгнании и по-французски говорящей лучше, чем по-русски.

У романа были и конкретные адресаты: новые александровцы и «старики». Училище, упраздненное в Москве после большевистского переворота, было воссоздано в 1919 году в «белом» Екатеринодаре. Первый выпуск состоялся 29 июня 1921 года уже в изгнании, в Галлиполи. Затем, несмотря на распыление чинов по разным странам, училище представляло собой кадрированную часть в составе 1-го армейского корпуса.

«Старики», оказавшиеся в эмиграции, хранили память о легендарном заведении на Знаменке, отмечали училищный праздник. Куприн даже написал здравицу к этому дню:

Пусть Александровцев семья
Сошлась у огонька чужого,
Но верьте, милые друзья,
Что дома встретимся мы снова!
....
Погон наш белый, вензель красный
И золотые галуны, —
Гордятся ими не напрасно
Твои, училище, сыны.

Здравица сопровождалась авторской ремаркой: «После каждого стишка припев: “Наливай, брат, наливай!”»[380]. Стихотворение было напечатано в ежемесячном листке «Александровец» (1929. № 23), выходившем в Варне.

Кто уже помнил о том, каким юнкером был Александр Куприн? Теперь им гордились. Один из современников вспоминал: «Не училищу, конечно, Куприн обязан развитием своих дарований, но все-таки в его лице остается лестное указание на то, что и в военно-учебных заведениях истинные задатки творчества и широта мысли не умирали»[381]. Автор этих слов не знал, что Куприна «за задатки творчества» — публикацию первого рассказа — посадили в карцер.

В конце 1930 года Александр Иванович участвовал в праздновании 100-летия Александровского училища, сидел

в президиуме вместе с главой РОВС* генерал-лейтенантом Е. К. Миллером, генералами А. А. Гулевичем, А. М. Саранчевым и др. Его простили: это очевидно. Подтверждение этого — статья в журнале «Часовой», «органе связи русского воинства за рубежом», Евгения Тарусского:

«..."Юнкера".

Ими Александр Иванович поставил последнюю точку для истории своего отношения к русской армии. В свете "Юнкеров" не остается уже никаких сомнений в том, что, создавая "Поединок", Куприн болел душой за русскую армию, русское офицерство и с мужеством хирурга вскрыл те гнойные раны, которые были на теле армии»[382].

Тарусский старался доказать, что его любимый писатель оказался гораздо честнее тех, кто когда-то ругал его за «Поединок»:

«Время не только лучший доктор, но и лучший судья. Уже пронеслись и великая война, и революция, и белое движение, и десять лет эмиграции.

Сколь многие из суровых купринских судей "продали свою шпагу", украсили груди свои в дни великой и бескровной красными бантами, а потом не за совесть, а за страх служили большевикам. Но автор "Поединка" остался не только русским честным писателем, но русским честным воином, беззаветно и с великой радостью ушедшим в стан белых в Гатчине»[383].

А что же генералы? Они-то не могли не понимать, что не Куприн виноват в том, что «добровольцы» проиграли. Разве его вина в том, что русский народ отвернулся от «господ офицеров» и готов был примириться с анархистами, махновцами, петлюровцами, «зелеными», кем угодно, только не с ними? На эту тему невесело размышлял генерал Петр Краснов в рецензии на «Юнкеров»:

«Что же произошло с Русской Армией, когда она... так легко сдала перед большевизмом?

Над этим вопросом стоит очень и очень призадуматься и, самым внимательным образом перечитав прекраснейшие романы А. И. Куприна — "Поединок" и "Юнкера" — ответить самому себе, да точно ли Шульговичи, Осадчие, Стельковские и Сливы (персонажи «Поединка». — *В. М.*) были только гнойниками, подлежащими немедленному

---

* РОВС – «Русский Обще-Воинский Союз» (1924–1940) — одна из самых массовых организаций русской эмиграции; РОВС объединял военные и военно-морские союзы и организации во всех странах русского рассеяния. — *Прим. ред.*

удалению, или молодой писатель проглядел в них нечто, что было тогда от него скрыто под неприглядной внешностью?.. И не были ли гнойниками Назанские?..»[384] Краснов восторгался «Юнкерами»: «...песня, поэма в прозе, звучная стройная песня о далекой нашей молодости, о прекрасной, покойной поре, о домовитой, крепкой в любви и привязанностях, семейной, радушной, гостеприимной и патриархальной Москве»[385].

А вот генерал Деникин промолчал. Напротив, в книге «Старая армия» (1929) снова прошелся по «Поединку»: «Повесть эта была встречена в военной среде с огромным интересом, но вместе с тем и с большой горечью. Ибо, если *каждый* офицер, выведенный в купринском “Поединке” — живой человек, но такого собрания офицеров такого полка в русской армии не было» (курсив А. И. Деникина.— *В. М.*)[386].

Куприн называл роман «Юнкера» своей «лебединой песнью». Им он прощался и со своими читателями, и, возможно, с жизнью, потому что был очень болен. Судя по фотографиям, он резко сдал в 1930 году: как-то усох, сгорбился, растерянное выражение лица, вероятно, оттого, что он стал стремительно слепнуть. Одному из своих адресатов весной 1931 года жаловался, что зиму еле пережил: «Сначала провертел меня насквозь дьявольский ишиас, потом измучил сорокаградусный грипп, потом привязалась нервная экзема. Этот 1931-й год — сущее проклятие!». В конце проклятого года кто-то убил камнем Ю-ю, и Александр Иванович отвез тело своего друга на парижское собачье кладбище («Барри», 1931). А в следующем году у него, судя по всему, случился инсульт: резко изменился почерк. Бывало, беспричинно плакал, разговаривал глухим бесстрастным голосом. Тем не менее держался из последних сил и с июля 1931 года по июль 1932-го даже редактировал популярный журнал «Иллюстрированная Россия». Получалось с трудом: «рабочая» правая рука не слушалась, рукописи читать не мог, воспринимал на слух.

Куприн покинул «Иллюстрированную Россию». А вскоре пришла страшная весть. 5 августа 1932 года на юге Прованса скоропостижно скончался Друг — Саша Черный. Сердце... Трагедия случилась на Лазурном Берегу, в местечке Ла Фавьер, где возникла целая «колония» русских эмигрантов и где Александр Михайлович и Мария Ивановна Гликберг (или «Саша и Маша», как их звали друзья) купили участок. Куприн хорошо знал Ла Фавьер, вместе с «Сашей и Машей» они провели там чудное лето и начало осени 1929 года. Все там напоминало милый Крым: сине-седые

склоны гор, вековые раскидистые сосны, виноградники, треск цикад, просоленные и прокопченные рыбаки. Александр Иванович даже написал о тех местах цикл «Мыс Гурон» (1929), в чем-то перекликавшийся с «Листригонами» о Балаклаве. Теперь ему больно было думать о том, что станет с Марией Ивановной – муж был единственным смыслом ее существования.

Куприны нуждались, к тому же Европу терзал тогда экономический кризис. Уютная квартирка с палисадником на бульваре Монморанси, где они прожили десять лет, стала неподъемна для оплаты. Пришлось переехать на рю Жювене, 20/22, затем очень скоро на рю Эдмон Роже, 12. Вместе с ними переезжала «Библиотека А. И. Куприна», которую Елизавета Морицовна все еще поддерживала. Ксения давно жила отдельно, и они завели новую кошку, получившую, конечно, имя Ю-ю. В одном из писем этого времени Александр Иванович рассуждал, что почтовая марка в Америку стоит полтора франка, и это целое состояние, на которое можно было бы купить десяток хороших папирос, а подкуривать у прохожих, или два стакана кислого красного вина, а на сдачу еще и спичками разжиться.

В таких печальных обстоятельствах и увидело свет отдельное издание «Юнкеров». Спасти бедственное положение Куприных гонорар за книгу уже не мог, хотя Александр Иванович возлагал на него надежды. Предполагаем даже, что он не возражал бы против выдвижения «Юнкеров» на соискание Нобелевской премии.

Еще с 1922 года наш герой был вовлечен в весьма неприятное соревнование: тогда впервые родилась идея номинировать на Нобелевскую премию кого-то из русских писателей-эмигрантов. Обсуждались кандидатуры Куприна, Бунина, Мережковского, Горького, Бальмонта. Александр Иванович в то время говорил: «Я чувствую, что если судьба даст мне маленькую передышку, то я все-таки напишу книгу, которая заслужит Нобелевскую премию. Это я задумал давно, а все мои замыслы, в пределах разумного и возможного, всегда исполнялись»[387]. Такой книгой мог быть роман «Юнкера». Однако в 1933 году премию присудили Бунину. Не будем гадать, как наш герой это пережил; это для всех кандидатов в номинанты нелегко. Бунин сам был ошарашен. Когда его чествовали в редакции «Возрождения», всё говорил Куприну: «Милый... Я не виноват. Прости. Счастье... Почему я, а не ты? Я уже и иностранцам говорил — есть достойнейший»[388].

Для Бунина это событие навсегда осталось связано с тем моментом, когда он о нем узнал. Он рассказывал, что его вызвали из Стокгольма к телефону прямо в синема, где он смотрел «веселую глупость», фильм «Бэби», где играла Киса Куприна.

Kissa Kouprine

Были в судьбе дочери Александра Ивановича и фильм «Бэби», и многие другие. В начале 1930-х годов Ксения Куприна стала знаменитой киноактрисой, и ее домашнее прозвище Киса красовалось на афишах европейских столиц. В честь нее называли девочек. Нравилось созвучие имени с английским «kiss» — поцелуй.

Как это случилось?

Девочка, привыкшая с детства ни в чем не знать отказа, выросла, стала ловить на себе восхищенные мужские взгляды. Ксения хотела красивой жизни и начала зарабатывать на нее своей внешностью. В 1925 году она устроилась работать моделью в Дом моды Поля Пуаре, где ей быстро объяснили, что у нее должен быть богатый покровитель, и научили вести себя королевой. Куприн с неодобрением наблюдал, что дочь сутками крутится перед зеркалом, что стала поздно возвращаться, что привозят ее какие-то мужчины. Ксения приносила домой дорогие наряды — Пуаре разрешал их брать напрокат, и однажды сообщила, что познакомилась с Марселем Л'Эрбье, модным тогда кинорежиссером. В конце 1926 года она подписала с ним контракт и стала все более отдаляться от родителей, уходя в ослепительный мир поклонников, цветов и шампанского. Особенных актерских способностей от нее не требовалось: кино еще было немым, навыков модели было достаточно.

И вот Куприн с женой увидели в синема первый фильм, где дочь сыграла эпизодическую роль , — «Дьявол в сердце» (1927). Потом ворчал в письме Заикину: «Черт бы побрал этот кинематограф! Никогда я его не любил, не люблю и любить не буду. <...> Вот покрутилась Ксения в одной пьесе "Дьявол в сердце". Ролишка была маленькая, эпизод. Но сумела так показаться, что обратила на себя внимание специалистов. Пошли предложения. Не то чтобы на главнейшие роли, но все-таки на настоящие. И вот, неудачи за неудачей. То жена владельца и директора посылает какую-то свою приятельницу на эту роль, даму кривобокую и некра-

сивую. То министр вн<утренних> дел посылает к режиссеру свою амишку, ну, штучку прямо с улицы и т. д. То вдруг Ксению оттесняет сестра знаменитой звезды и т. д. Ксения нервничает, худеет, теряет аппетит, изводит нас. Я не виню ее. Театр и кино — это самые жесточайшие отравы, хуже табака, алкоголя, кокаина, морфия... Там, чтобы пробиться, нужно верблюжье здоровье, слоновые нервы, а гордости не больше, чем у голодного бродячего пса. Я с самого начала это предсказывал и против этого восстал. Но... женщины! Они всегда женщины»[389]. Куприну ли упрекать дочь, когда театр был его собственным несбывшимся поприщем! А потом Ксения начала приносить в дом деньги, которых он заработать уже не мог.

Прошло не так много времени, и «русский Париж» уже ходил в синема «на Кису Куприну». Картины с ее участием появлялись у Л'Эрбье почти ежегодно. Лицо Кисы Куприной сияло с обложек и рекламных проспектов. И в конце концов наступил момент, о котором вспоминала сама Киса. Однажды Александр Иванович пожаловался: русский таксист, услышав его фамилию, спросил: «Вы не отец ли знаменитой Кисы Куприной?» Он стал всего лишь отцом знаменитой дочери.

Ксенией были очарованы не только зрители, но и служащие советской миссии, располагавшейся на рю Гренель, когда в один прекрасный день «звезда» явилась к ним.

Глава девятая

«КРЕМЛЕВСКОЕ ДЕЛО»-2

Мамочка, как жизнь хороша!
Ведь мы на Родине? Скажи, скажи,
кругом — русские? Как это хорошо!

Из предсмертных слов
А. И. Куприна

Когда-то, пытаясь получить разрешение на издание газеты «Земля», Куприн по своему почину ввязался в «кремлевское дело». Теперь, на старости лет, его вовлекли в «кремлевское дело» близкие: речь шла о получении согласия Сталина и членов Политбюро ЦК ВКП(б) на возвращение писателя в СССР.

Обстоятельства этой «операции» теперь уже не тайна, точнее, не все — тайна. Некоторые документы, раскрывающие детали переговоров, опубликованы. Однако это вершина айсберга, глубинные же смыслы скрыты, как говорится, в толще времени. Станут ли они доступны? Наверное, не скоро. Не скоро утихнут споры о том, понимал ли Куприн, что происходит? Какую роль сыграла во всем этом Ксения Куприна? Говорил ли Александр Иванович хоть фразу из того, что ему приписывали советские газеты?..

Несомненно одно: своим отъездом на Родину Куприн напоследок так хлопнул дверью, что вздрогнула вся русская эмиграция. Он снова стал возмутителем спокойствия.

Спецоперация

«Для эмигрантов в ту пору советское посольство было опутано какой-то тайной, легендой, — вспоминала Ксения Куприна. — Некоторые шоферы такси, бывшие белые офицеры, боялись проезжать по улице Гренель... говорили,

что, дескать, их могут похитить, говорили также, что французская полиция фотографирует каждого, кто входит в посольство, и потом этот эмигрант уже на учете, за ним следят, он подвергается преследованиям, иногда и высылке». Подробности отъезда отца из Парижа были изложены его дочерью в мемуарах более чем через 20 лет после событий и при публикации прошли советскую цензуру. Можно ли ее воспоминания считать в строгом смысле документом — вопрос, но других источников нет.

Ксения утверждала, что советская власть первой протянула руку ее отцу. На его имя пришло приглашение в посольство на рю Гренель от Владимира Петровича Потемкина, советского посла. Елизавета Морицовна перепугалась, Куприну стало плохо, поэтому Ксения сама отправилась в посольство на разведку. Выходит, она не боялась французской полиции. Странно: ее карьера в кино была в самом расцвете.

В посольстве Ксения Александровна встретила самый любезный прием. Потемкин, умница, интеллигент, человек одного поколения с Куприным, прекрасно понимал значение этого писателя, хотел пообщаться с ним лично. Потом присылал за ее родителями посольскую машину: «Эти визиты несколько раз повторялись и происходили всегда в очень теплой обстановке». Отец переживал только из-за того, разрешат ли взять с собой кошечку Ю-ю.

Как было на самом деле? Тэффи, к примеру, утверждала, что хлопотать туда ходила Елизавета Морицовна, что из посольства приезжал человек к Куприну домой, все сразу понял и доложил наверх.

Необходимо объяснить, в каком состоянии находился к этому времени наш герой. В очередной раз всмотримся в фотографии. 1936 год. Лунно-седой, сгорбленный, сильно исхудавший старик в очках сидит на фоне книжных полок. Выражение лица страдальческое. Снимок сделан на рю Эдмон Роже, в помещении «Библиотеки А. И. Куприна».

Куприны жили напротив библиотеки. Жили бедно и одиноко. На правах самого родного человека бывала у них Мария Ивановна Гликберг, вдова Саши Черного. Зиму она проводила в Париже, на лето уезжала в Ла Фавьер, к могиле мужа. Привыкшая заботиться о своем Саше, теперь она опекала его тезку, Александра Куприна, и ее помощь была для Елизаветы Морицовны бесценной. Совсем недавно в нашем распоряжении оказались уникальные документы — письма соседки Марии Ивановны по Ла Фавьеру,

Аполлинарии Алексеевны Швецовой. Впервые приведем ее свидетельство: «...Машу, русскую дворянку, все считали за еврейку: расчетливая, деловая, практичная, с холодным рассудком серьезная учительница. Очень скрытная... Дипломат хороший... Со всеми в ладах, со всеми согласна, редко говорит свое мнение»[390]. Та же Швецова рассказывала, что Мария Ивановна и в 80 лет могла «хлопнуть» стаканчик коньяку и продолжать свой путь «твердым маршем Суворова»: «И голова не болит, и сердце бьется. Удивительная женщина!»[391] Предположим, что она составляла Куприну компанию в застольях, в чем никогда не была замечена Елизавета Морицовна.

Из друзей рядом с Александром Ивановичем дольше всех оставался Борис Лазаревский. Иногда они гурманили, готовили что-нибудь этакое, пели украинские песни... В сентябре 1936 года Лазаревский умер в метро; его запись в дневнике оказалась провидческой: Куприн его пережил. Изредка появлялся у Куприных Николай Рощин, который так вспоминал последнюю встречу:

«Елизавета Морицовна крикнула:

— Папочка (семейное имя Александра Ивановича), Рощин пришел.

Он как-то завозился, тяжело пытаясь подняться, потом неожиданно громко и резко, болезненно, голосом слепого, сказал:

— Какой Рощин? Это мой Рощин?

Мне стало до невыносимости тяжело. Я подошел, поздоровался. Александра Ивановича пересадили в кресло, в угол, дали ему стакан "питья" — воду, слегка подкрашенную вином. Он оживился, минут пять говорил о том, что непременно напишет еще один хороший рассказ, расспрашивал об общих друзьях. Потом как-то по-младенчески присмирел, затих и все с тревогой спрашивал о какой-то кошечке, все просил жену пойти посмотреть, не ушла ли кошечка. У меня больно, пронзительно сжалось сердце. Я попрощался и ушел — не зная, что вижу его в последний раз»[392].

Подобных свидетельств немало. Если их обобщить, получается, увы, что к тому времени Куприн был почти ослепшим, впавшим в детство стариком. «Я встретил его в последний раз в Париже... — рассказывал Вадим Андреев, сын Леонида Андреева. — Он шел мне навстречу по улице — больной, небрежно и бедно одетый, по-стариковски шаркая ногами в каких-то домашних шлепанцах. Он посмотрел

на меня, стараясь припомнить, кто перед ним. Но не смог. Я напомнил. “Да-да, — как-то жалко улыбнувшись, ответил он. — Не найдется ли у вас пяти франков?”»[393].

Чаще его водила прогуляться Елизавета Морицовна. Тэффи вспоминала:

«Как-то я встретила их на улице.

— Здравствуйте, Александр Иванович.

Он смотрит как-то смущенно в сторону.

Елизавета Маврикиевна сказала:

— Папочка, это Надежда Александровна. Поздоровайся, протяни руку.

Он подал мне руку.

— Ну вот, папочка, — сказала Елизавета Маврикиевна, — ты поздоровался. Теперь можешь опустить руку»[394].

Однако главное в истории возвращения Куприна на Родину до сих пор ускользало. Лишь относительно недавно стали известны воспоминания Петра Пильского, бывшего верного манычара, жившего в эмиграции в Риге. Петр Моисеевич печалился, что в 1936—1937 годах их переписка с Куприным стала совсем вялой, потом пошли письма, написанные рукой Елизаветы Морицовны и ею же подписанные «А. Куприн». Чаще Пильский узнавал о Куприне уже от других и однажды услышал от Шмелева рассказ о том, как Александр Иванович чуть не умер, будучи у него в гостях. Сидел себе, участвовал в общей беседе, вдруг побледнел, голова упала на грудь, на лбу выступили крупные капли пота. Шмелев и Елизавета Морицовна бросились искать пульс. Шмелев дал ему лавровишневых капель, потом наудачу влил в рот рюмку рома. Александр Иванович очнулся, попытался обратить все в шутку. «А вкусный ром, — прошептал он, — нельзя ли еще?»

«Врачи определили, — писал Пильский, — что, помимо слепоты, у Куприна склероз мозга и склероз сердца. Елизавете Морицовне, после случая у Шмелева, доктора сказали:

— Вы должны быть готовы ко всему, готовы каждую минуту. Это (т. е. смерть) может случиться совершенно неожиданно»[395].

Зачем же строить версии и гипотезы? Александр Иванович столько раз говорил: если буду знать, что точно скоро умру, поеду домой. Жена и дочь просто выполнили его волю.

Другой вопрос, зачем это было нужно советскому правительству. Здесь проще строить предположения. Политика и

еще раз политика. Летом 1936 года не стало Максима Горького, этой огромной «моральной победы советской власти»: Алексея Максимовича убедили вернуться на Родину из эмиграции, и он успел немало сделать для государства. Горький болезненно переживал то, что в СССР предали забвению его коллег-знаньевцев, и Куприна в частности. Он содействовал возвращению из эмиграции Петрова-Скитальца, который, едва приехав в Москву, выступил на 1-м Всесоюзном съезде советских писателей в 1934 году с докладом «Эмигрантская литература». Среди прочего он упомянул «высокоталантливого» Куприна, его судьбу назвал «печальной» и коснулся «Юнкеров»: «серо, бледно и вымучено».

После смерти Горького ходило столько темных слухов, велось столько приглушенных разговоров о литераторах и журналистах, исчезавших на Лубянке, что возвращение блудного «белоэмигранта» Куприна, конечно, могло послужить хорошим, позитивным противовесом. Советский драматург и киносценарист Александр Константинович Гладков, узнав о приезде Куприна в Москву, записал в дневнике: «Это тоже неплохая декорация к происходящему спектаклю, вместе с папанинцами и Полиной Осипенко»[396]. Мефистофель-Горький, некогда втянувший начинающего Куприна в большую политику, и после смерти тянул его за собой. Сначала в Москву, к коммунистам, а потом и в могилу. Гипербола, конечно, но каков сюжет!

По большому счету наш герой для своего прощения ничего не предпринимал. Нужно было ведь как-то выказывать свою лояльность к советской власти, например, сотрудничать с советской и просоветской прессой, как это делал, к примеру, упомянутый Петров-Скиталец. Художник Иван Яковлевич Билибин, приятель Куприна, расписывал советское посольство на рю Гренель патриотическим панно «Микула Селянинович». В сентябре 1936 года он уехал. Ксения Куприна вспоминала, что родители ходили прощаться с Билибиным, тот был совершенно счастлив, и Александр Иванович вдруг выпалил: «Боже, как я вам завидую!» На что Билибин сказал, что начнет хлопотать о такой же милости для Куприна. И хлопотал, и выступил поручителем. Не последнюю роль сыграло и ходатайство Алексея Николаевича Толстого, который после смерти Горького возглавил Союз советских писателей. Как помним, Толстой еще в 1923 году настаивал на том, что нужно вырвать Куприна из эмигрантского болота.

Трудно сказать, когда именно начались переговоры. Официальные факты таковы: 7 августа 1936 года посол Владимир Петрович Потемкин, будучи в Москве, обсуждал вопрос возвращения Куприна со Сталиным. Некоторое время спустя, 12 октября, доложил об этом разговоре наркому внутренних дел, секретарю ЦК ВКП(б) Николаю Ивановичу Ежову в записке:

«Дорогой Николай Иванович,

7-го августа, будучи у т. Сталина, я, между прочим, сообщил ему, что писатель А. И. Куприн, находящийся в Париже, в эмиграции, просится обратно в СССР. Я добавил, что Куприн едва ли способен написать что-нибудь, так как, насколько мне известно, болен и неработоспособен. Тем не менее, с точки зрения политической, возвращение его могло бы представить для нас кое-какой интерес. Тов. Сталин ответил мне, что, по его мнению, Куприна впустить на родину можно. Предполагая быть у Вас, я просил у тов. Сталина разрешения сослаться на его заключение по вопросу о возвращении Куприна. Такое разрешение мне было дано, причем тов. Сталин сказал, что и сам сообщит Вам свое мнение.

Быть у Вас мне не удалось, хотя я неоднократно осведомлялся в Вашем Секретариате, не сможете ли Вы меня принять. Вернувшись в Париж, я предвижу, что Куприн вновь поставит передо мной свой вопрос. Если найдете возможным, дайте мне знать, стоит ли его обнадеживать. Между прочим, для меня не безразлично было выяснить, чем будет жить Куприн, если вернется. Прежде всего, думается, можно было бы переиздать кое-какие его сочинения, среди которых имеются и хорошие вещи. Это дало бы ему некоторое обеспечение. Во-вторых, можно было бы использовать по линии совкино дочь Куприна, довольно известную молодую киноактрису... Во всяком случае, однако, сам я не буду пока двигать вперед купринское дело, — в ожидании окончательного разрешения этого вопроса в Москве»[397].

Подчеркивания были сделаны либо самим Ежовым, либо, что вероятнее, теми, кому письмо было переадресовано: членом Политбюро Л. М. Кагановичем или председателем Совета народных комиссаров СССР В. М. Молотовым. В подчеркнутых строках — главное: Сталин не против, нужно решение Политбюро, неплохо бы переиздать что-то из Куприна, дочь-киноактриса будет сниматься в советском кино. 27 октября 1936 года вопрос был решен положительно. Среди тех, кто высказался «за», были Сталин, Молотов,

а вот, к примеру, Климент Ефремович Ворошилов (тогда нарком обороны) воздержался.

Радостная весть пришла в печальную квартирку на рю Эдмон Роже. Может быть, Куприну сказали не сразу; допускаем даже, что в последний момент. Не хотели волновать, не дай Бог что случится, к чему тогда все эти хлопоты. Потихоньку распродавали мебель и библиотеку, чтобы отдать долги. Для посторонних придумали легенду о том, что переезжают на юг, в Прованс. Мария Ивановна Гликберг подтверждала, хотя знала правду. Знали ее и другие. Вячеслав Ходасевич в одном из писем заметил, что о предстоящем отъезде «впавшего в детство» Куприна знал недели за три[398]. Генерал Деникин принимал Куприна у себя в Севре: Александр Иванович приезжал проститься, плакал. Деникин жалел его и не осуждал[399]. Видели Куприна и в кабаре «Шахерезада», где он просил исполнить для него «В далекий путь, моряк, плыви...». Снова плакал. Ксения Куприна рассказывала, что отец торопил с отъездом, боялся умереть раньше, даже пел: «Еду-еду, еду-еду».

Однако в целом отъезд не афишировали, почему и случился потом скандал: мол, сбежал потихоньку. Коллеги по газете «Возрождение» ничего не подозревали. 20 марта 1937 года опубликовали сообщение о том, что советский Гослитиздат собирается издать двухтомник Куприна, ругались: «Вот только с авторскими правами выходит нехорошо. Выплачивают громадные гонорары "своим" бездарностям — и грабят русского писателя-эмигранта с таким именем»[400]. А ведь двухтомник был намечен к изданию именно для того, чтобы материально поддержать Куприна после его приезда в СССР.

Невозмутимо раздавала улыбки Ксения Куприна, хотя на душе у нее было пасмурно. Она не собиралась бросать свою блестящую карьеру и ехать в Москву. Ей исполнилось 29 лет, она хотела замуж, у нее был в самом разгаре роман. Словом, что ей делать в СССР? К тому же Россию она вообще плохо помнила и вряд ли по ней тосковала. Родителей же отправить хотела во что бы то ни стало, но что им сказать? Пока молчала, помогала отправлять багаж в Москву. Пристраивала архив отца. Куприны, конечно, не повезли его с собой — сплошной компромат.

Перед их отъездом Ксения призналась матери, что ехать сейчас не может, связана контрактом, должна закончить картину, но как только закончит — сразу в Москву. В день отъезда «Папочке» они вообще ничего не сказали. Просто

одели его, дали в руки корзинку с Ю-ю и повезли на Северный вокзал. Сказали, что поедут сейчас за город. Наверняка отвели в сторону работника посольства, который привез к поезду советские паспорта.

Провожала, кроме Ксении, только Мария Ивановна Гликберг. Когда провожающие вышли из вагона, Ксения через приоткрытое окно взяла отца за руки. Поезд тронулся, руки разжались, и она видела, что он так и застыл с поднятыми руками, и скорее догадалась, чем услышала: «Лапушки мои, лапушки!» Она расплакалась. «Наконец», — не без осуждения заметила Мария Ивановна.

Поезд выбирался из Парижа.

В Москве набиралось для «Правды» сообщение ТАСС:

«Возвращение Куприна в Советский Союз.

29 мая выехал из Парижа в Москву возвращающийся из эмиграции на родину известный русский дореволюционный писатель — автор повестей “Молох”, “Поединок”, “Яма” и др. — Александр Иванович Куприн»[401].

Писатель «просто ехал за город», обнимая Ю-ю. Он не понимал, что в этот момент обеспечивает себе положенное место в истории русской литературы и солидную посмертную славу. Сам того не зная, он впервые на тысячу шагов обошел Бунина, которого в СССР разрешат читать и вспоминать только после смерти Сталина.

Гражданин Советского Союза

1

В Москву ехали новые советские граждане: Александр Иванович и Елизавета Морицовна Куприны. Они возвращались в канун 20-летия Октября. Легенда о поездке за город должна была развеяться как минимум на границе, где появились советские пограничные служащие, приветствовавшие писателя на родной земле.

А в это время в Москве готовились к торжественной встрече. Ритуал уже был отработан, достаточно вспомнить, как встречали Горького в 1928 году*, тоже в мае и на том

---

* Уточним (что небезынтересно): возвращение А. М. Горького проходило в несколько этапов и затянулось на пять лет. В конце мая 1928 года после семилетнего отсутствия Горький вернулся на Родину, летом с триумфом путешествовал «по Союзу Советов» (как на-

же Белорусском вокзале (куда прибудет и поезд с Куприным): многотысячная толпа на привокзальной площади, транспаранты, сияющие лица молодежи, на перроне пионеры с барабанами и флагами, Горький из окна вагона пожимает тянущиеся к нему руки, потом выступает с приветственным словом, памятные фотографии с рабочими делегациями, Горького триумфально несут на руках... Конечно, такого размаха при встрече больного Куприна не было, однако главное предусматривалось: приветственная речь, фотографии для прессы, был приглашен кинооператор.

Состав встречающих утверждался задолго; еще 20 апреля Елена Сергеевна Булгакова, жена Михаила Булгакова, записала в дневнике: «Слух о том, что приехал в СССР Куприн»[402]. То есть подготовка к встрече уже шла. Ответственные из Союза писателей разыскивали бывших друзей и коллег Куприна, которым он мог бы обрадоваться. Нашли Василия Регинина и Петрова-Скитальца. Не нашли Николая Вержбицкого, тогда работника «Известий», но он явился сам. Не позвали Марию Карловну Иорданскую, та обиделась и на вокзал не поехала.

Точный состав делегации назвать не беремся, но, судя по воспоминаниям, из старых знакомых Куприна, помимо Регинина и Скитальца, был еще Иван Поддубный; от Союза писателей — Александр Фадеев, Федор Панферов во главе с генеральным секретарем и главным идеологом Союза Владимиром Петровичем Ставским. Последний рассказывал, что еще до прихода поезда договорились о том, кто первым пойдет к Куприну, — Регинин:

«Так и сделали. Регинин с объятиями и приветствиями бросился к Куприну. Тот с каменным лицом выговорил:

— А вы кто такой?

Тогда Фадеев выдвинулся вперед и обратился к Куприну с приветствием.

— Дорогой Александр Иванович! Поздравляю вас с возвращением на родину!

Результат был такой же. Куприн тем же безжизненным голосом спросил:

звал книгу очерков), но возвращение оказалось условным: «Одним из главных условий соглашения между Горьким и Сталиным был беспрепятственный выезд в Европу и возможность жить в Сорренто зиму и осень. В 1930 году Горький даже не приезжал в СССР... В 1931 году он “как бы” вернулся окончательно, но на том же условии» (см.: *Басинский П. В.* Горький. М., 2005. С. 389; 446). Окончательное возвращение, напомним, состоялось в мае 1933-го. — *Прим. ред.*

— А вы кто такой?

После этого никто ничего не говорил. Вышли на площадь, посадили Куприна в машину и разъехались»[403].

Надо сказать, кинохроника встречи Александра Куприна 31 мая 1937 года эти воспоминания не во всем подтверждает. Ни Регинина, ни Фадеева мы в ней не увидели. Растерянному Куприну помогает спуститься из поезда на перрон не Регинин, а Панферов. Он же потом ведет его по перрону, подхватив под локоть правой руки, висевшей безжизненно. Другой рукой Куприн держится за локоть жены, которая обворожительно улыбается встречающим и фотокамерам. Мелькает лицо Петрова-Скитальца, он смотрит на Куприна с нескрываемой тоской и даже страхом. Куда делся тот «зверь» , которого когда-то он еле скрутил во время драки с Леонидом Андреевым у Ходотова?..

Через пару дней Скиталец рассказывал о встрече собратьям, и один из них записал в дневнике:

«Не виделись они 25 лет, с 1912 года. И вот, довелось... Встретились. Но как! Это было грустное свидание. В сущности Куприна нет, — есть “то, что было Куприным”. Бедняга стал развалиной, полутрупом. Не узнает окружающих, ничего не помнит, еле идет, поддерживаемый женой. Явно опоздал вернуться. Хотя бы лет с пяток тому назад! <...>

— Ну, здравствуй, Александр Иванович, здравствуй... Скиталец! Скитальца помнишь? Не узнаешь?

— Скитальца? А-а... Да, Скитальца помню. Вспоминаю...

И говорит безучастным голосом со Скитальцем о Скитальце в третьем лице»[404].

Словом, не получилось ни торжественных речей, ни официальных заявлений. Куприных усадили в машину и отвезли в «Метрополь». Елизавета Морицовна писала дочери: «...что папу смутило, это множество фотографов, которые щелкали с обеих сторон. Он так отвык от такого внимания и интереса к себе. <...> Так был потрясен радостью приезда и приема, что первый день не мог говорить» (1 июня 1937 года)[405]. Однако «Известия» (скорее всего, устами Вержбицкого) на следующий день сообщили: «В беседе с сотрудником “Известий” А. И. Куприн выразил чувство огромной радости, испытываемой им в связи с возвращением на родину, о котором он давно мечтал».

Куприным отвели прекрасный номер, окружили заботой, а они все недоумевали: где же Мария Карловна, самый близкий им в Москве человек? Как ей позвонить? Только поздно

вечером Скиталец раздобыл телефон, и Елизавета Морицовна позвонила «Мусе», просила непременно прийти.

Они встретились 1 июня 1937 года. Две жены Куприна, две бывшие подруги детства. Последний раз они виделись в ледяном Выборге 1919 года, в той сумасшедшей жизни, когда никто не мог поручиться за завтрашний день. Обеим тогда не было и сорока, теперь перевалило за пятьдесят. Рассматривали друг друга: Мария Карловна, всегда бывшая болезненно-худой, располнела; Елизавета Морицовна точеную фигуру сберегла, но носила теперь очки. Она предупредила Марию Карловну, что Александр Иванович неузнаваем, он очень болен, но та даже представить себе не могла, до какой степени.

Что сталось с тем богатырем, который одной левой сажал ее себе на плечо? Который, ревнуя, в бешенстве завязывал узлом ложки?

«Первые минуты мое сознание не мирилось с тем, что я вижу Александра Ивановича, — вспоминала она, — настолько он был не похож на себя. <...>

— Кто это, Лиза? — с беспокойством спросил жену Александр Иванович. Голос его был хриплый, не громкий и без всяких интонаций.

— Муся пришла.

— Сашенька, это я — Маша.

— Маша, — узнал меня по голосу Куприн. — Подойди ближе».

Вспомнили «дядю Коку», умершего еще в 1915 году (Куприн попросил передать ему привет), потом Лидочку. Мария Карловна обрадовала Куприна, что у него есть внук Алеша, сын Лиды, но этого он понять не мог: какой же внук, если Лида умерла. Уходила Мария Карловна с тяжелым сердцем.

В тот же день Александру Ивановичу пришлось принимать генерального секретаря Союза писателей Ставского, который отправил отчет о встрече в ЦК ВКП(б) на имя Молотова:

«Сообщаю, что на другой день после приезда писателя А. Куприна в Москву состоялась с ним беседа у меня и Всеволода Иванова.

Крайне тягостное впечатление осталось от самого А. Куприна. Полуслепой и полуглухой, он к тому же и говорит с трудом, сильно шепелявит; при этом обращается к своей жене, которая выступает переводчиком.

Не без труда удалось выяснить у них обоих, что:

— “Никаких планов и намерений у нас нет. Мы ждем, что здесь нам скажут”.

— “Денег у нас хватило только на дорогу. Сейчас сидим без денег”.

— “Хорошо бы нам получить под Москвой или Ленинградом домик небольшой, в котором мы жили бы; а Александр Иванович — отдохнувши и поправившись — писал бы!”

Прошу разрешения организовать А. Куприну санаторное лечение (месяц—полтора) и устройство ему жилища под Москвой или Ленинградом — силами и средствами Литфонда СССР.

Сообщаю, что Гослитиздат подготовил к изданию 2 тома произведений А. Куприна, что даст ему около 45 тысяч рублей гонорара».

Эта записка, поданная 3 июня 1937 года, была рассмотрена на заседании Политбюро через четыре дня. Постановили организовать писателю санаторное лечение и подыскать ему, как говорили тогда, жилплощадь. Куприны этого слова не поняли, но заикнулись о том, что вот бы их зеленый домик в Гатчине. Красногвардейск! — мягко поправили их. — Нет больше названия Гатчина. Однако обнадежили. Елизавета Морицовна хотела быстрее увезти мужа из Москвы, бесконечные визиты и эмоции его совсем обессилили.

Номер Куприных превратился в проходной двор, шли знакомые и незнакомые. Заглянул Алексей Толстой, о котором Куприн отзывался с нежностью: «Спасибо Алеше — похлопотал за меня»[406]. Приходил Телешов и ушел в тихом ужасе.

Корней Чуковский, находившийся в это время в санатории под Ленинградом, записал в дневнике: «Приехал в СССР (судя по газетам) Куприн. Я мог бы исписать 10 тетрадей о нем. Я помню его... молодого, широкоплечего, с умнейшим, обаятельным лицом алкоголика, помню его вместе с Уточкиным... помню, как он только что женился на Марии Карловне, как в Одессе он играл в мяч — отлично, атлетически... вижу его с Леонидом Андреевым, с Горьким... Последний раз я видел его у себя на квартире (4 марта 1919 года. — *В. М.*). Он пришел ко мне вместе с Горьким и Блоком. Ему было 48 лет, и он казался мне безнадежно старым — а сейчас ему 68, говорят: он рамоли»[407].

Приходили к Куприну знакомиться и молодые советские писатели. Без лишних церемоний явился Валентин Катаев, принес недавно вышедшую повесть «Белеет па-

рус одинокий» о той старой Одессе, которую они оба знали. Наверняка вспоминал роковой полет Куприна с Заикиным на аэроплане: в тот день он, еще мальчишка, сидел на трибунах. Александр Иванович доверился Катаеву и ходил с ним гулять по Москве, о чем тот вспоминал: «Медленно переступая ногами и держась за мой рукав, Александр Иванович то и дело останавливался, осматривался и шел дальше с мягкой улыбкой на лице»[408]. В отличие от русских парижан, старавшихся избегать такого печального зрелища, как больной Куприн, москвичи с радостью подходили поздороваться или на бегу кричали «Привет Куприну!». Так, по многим воспоминаниям, было в первые дни пребывания нашего героя в Москве.

А что же в Париже?

Париж узнал о случившемся 1 июня из газет, перепечатавших сообщение ТАСС. «Со времени перехода Савинковым советской границы* — это самый большой удар по эмиграции», — заявил Мережковский[409]. Это один из отзывов на отъезд Куприна, опубликованных Андреем Седых в «Последних новостях»; гораздо мягче высказались Бунин, Тэффи, сожалевшие, что больше никогда не увидят Александра Ивановича. Тэффи его защищала:

«Его уход — не политический шаг. Не для того, чтобы подпереть своими плечами правителей СССР. И не для того, чтобы его именем назвали улицу или переулок. Не к ним он ушел, а от нас, потому что ему здесь места не было. Ушел обиженный. Ушел, как благородный зверь, — умирать в свою берлогу.

Не он нас бросил. Бросили мы его.

Теперь посмотрим друг другу в глаза»[410].

Сам Седых, опрашивавший коллег, описал отъезд писателя, о чем ему могла рассказать только Мария Ивановна Гликберг.

«Садясь в вагон и прощаясь с дочерью, которая через несколько месяцев также намерена ехать в Россию, А. И. сказал:

---

* Борис Викторович Савинков (1879–1925), известный эсер-террорист и писатель, в эмиграции продолжил антибольшевистскую деятельность; в 1924 году при нелегальном переходе советской границы был арестован. На суде Савинков публично раскаялся, признал советскую власть, был приговорен к расстрелу, который заменили на десятилетнее заключение; в тюрьме написал книгу рассказов, сатирически изобразив жизнь русской эмиграции (Рассказы. М., 1924); 7 мая 1925-го покончил с собой, по официальной версии, выбросившись из окна внутренней лубянской тюрьмы. — *Прим. ред.*

— Я бы, кажется, если бы мог, пошел бы в Россию по шпалам».

Выходит, Александр Иванович понимал, куда едет? Или Мария Ивановна сказала так намеренно? Ясности в этом вопросе, похоже, не установить.

«Эмиграция вылила на вас много чернил», — написала родителям через неделю после их отъезда Ксения. И чуть позже: «Некоторые завидуют, другие плачут, а третьи говорят гадости». Конечно, «русский Париж» жадно читал советскую прессу. С изумлением, смешанным со злостью, было встречено обширное интервью с Куприным в «Литературной газете»:

«— Я бесконечно счастлив, — говорит А. И. Куприн, — что советское правительство дало мне возможность вновь очутиться на родной земле, в новой для меня советской Москве...

— Я в Москве! Не могу прийти в себя от радости. Последние годы я настолько остро ощущал и сознавал свою тяжелую вину перед русским народом, чудесно строящим новую счастливую жизнь, что самая мысль о возможности возвращения в Советскую Россию казалась мне несбыточной мечтой. Эти мои опасения угнетали меня, давили. И, не скрою, я не решался очень долгое время просить у полпредства разрешения возвратиться в Советский Союз.

С непередаваемым нетерпением ждал я дня отъезда в СССР, оторванность от которого, повторяю, я тягостно переживал последнее время.

Я рвался на родину, преследуемый в то же время единственной мыслью — простит ли меня народ мой.

И здесь, в Москве, я хочу сказать советскому читателю, новому замечательному поколению советского народа искренне и убежденно: постараюсь найти в себе физические и творческие силы для того, чтобы в ближайшее же время уничтожить ту мрачную бездну, которая до сих пор отделяла меня от Советской страны.

— Я еще не знаю, знакомы ли молодому поколению русских читателей мои дореволюционные произведения, но хочу думать, что многие из моих повестей и рассказов не утратили для них интерес.

Глубоко волнующее, естественное для писателя чувство удовлетворения испытал я в первый же день моего приезда в Москву, когда узнал, что Государственное издательство художественной литературы намерено выпустить двухтомное собрание моих старых сочинений. Когда же я ознако-

мился с намеченным содержанием моего двухтомника, я испытал надежду, что советский читатель примет мои книги доброжелательно.

Советский читатель чрезвычайно требователен и строг. И он прав. К художественному произведению, к искусству, к литературе родины нужно относиться со строгими требованиями.

Моя писательская гордость будет удовлетворена, если и я в своих новых произведениях сумею пойти вровень с требованиями народов СССР к своей литературе. Я преисполнен горячего желания дать стране новые книги, войти с ними в круг писательской семьи Советского Союза»[411].

Если советский читатель, привыкший к определенной риторике, не видел в этом интервью никакой фальши, то тех, кто знал Куприна в последние годы, обмануть было невозможно. «Возрождение» не могло не съязвить, намекнув на то, что это «слова, якобы сказанные Куприным, которых опровергнуть, конечно, ему не позволят»[412].

Для русской эмиграции важно было понять: отъезд был осознанный шаг или нет? Поэтому наседали на друзей Куприна. Мария Ивановна Гликберг объясняла, что Александр Иванович в последнее время иногда не узнавал даже жену: «Ему можно было сказать, что он едет в Россию, и через 5 минут он об этом забыл бы... С таким же успехом, как его увезли в Москву, его можно было увезти куда-нибудь под Париж, и он ничего не понял бы, и ко всему отнесся бы с безразличием»[413]. Об этом же говорил и приятель писателя, врач Владимир Унковский, которому Александр Иванович признался как-то, что хочет ехать в Россию:

«— Как же вы поедете, А. И.? Ведь там же большевики.

— Разве в России большевики?»[414]

Впрочем, Александр Иванович мог так и пошутить.

И вот 12 июня 1937 года «купринское дело» было вынесено на повестку дня очередного собрания «Свободной трибуны в эмиграции»*. Аудитория гудела и недолго думая села на привычного конька — припомнила «Поединок». Обвинителем выступил председатель «Свободной трибуны» ротмистр Александр Николаевич Баранов, поставив писателю в вину, что в «Поединке» он «осветил лишь отрица-

* «Свободная трибуна в эмиграции» (1935—1939) — периодические собрания, на которых обсуждались политические и общественные темы. Основатель и председатель — ротмистр Александр Николаевич Баранов (? – 1950). Деятельность «Свободной трибуны» освещалась газетой «Возрождение».

тельные стороны будничной жизни русского офицерства, обойдя всё прекрасное и героическое, что было в русской армии. Роман был переведен на французский язык, и вот в этом ложном освещении предстает перед французским читателем офицер русской императорской армии. В одном из своих последних романов “Юнкера” Куприн словно раскаялся, но этого ему не приходится ставить в заслугу, так как он вернулся в сов<етскую> Россию».

Бурные овации. Перерыв.

После перерыва Куприна пытался защитить полковник Андреев*, уверявший, что близко знал писателя и «может засвидетельствовать перед аудиторией, что последний находился в состоянии безответственности. Куприн не уехал в советскую Россию, а Куприна увезли туда. Может быть, он не оказал должного сопротивления, но это главным образом потому, что старику хотелось умереть на родной земле».

Слушать Андреева никто не хотел. Собрание стоя устроило овацию ротмистру Баранову[415].

Александру Ивановичу до всего этого уже не было никакого дела. Елизавете Морицовне, полагаем, тоже. Теперь ей нужно было не только за мужем ухаживать, но и приспосабливаться к советской действительности, гласных и негласных законов которой она не знала. Что, к примеру, она могла понять из той же «Литературной газеты», которую читала мужу? Вот несколько «лозунгов» из нее в 1937 году: усиление революционной бдительности; выкорчевать с корнем; подрывная работа; нет пощады шпионам; преступная бездеятельность; политическая слепота; долой «авербаховщину»!.. Между тем вскоре по приезде через нее «Литературная газета» попросила у Куприна воспоминания о Максиме Горьком: 18 июня 1937-го исполнялся год со дня его смерти. Остается гадать, каким образом ей удалось подготовить маленькую заметку «Из беседы с А. И. Куприным» (возможно, не без помощи Марии Карловны) с таким финалом:

«Я был потрясен предсмертными словами Горького. Он советовал своей родине застегнуться на все пуговицы... <...>

Теперь, в годовой день его кончины, я низко склоняю голову перед всем, что он сделал для своей страны и своего народа»[416].

---

* Вероятно, Александр Никанорович Андреев, полковник артиллерии.

Стоит ли удивляться тому, что письма Елизаветы Морицовны в Париж — сплошной коллаж? Живые, человеческие слова то и дело сменяются инородными клише о советском строе и бодрой молодежи. Не видим в этом никакого криминала: она хотела, чтобы письма дошли дочери, а значит, не должны были вызывать цензурных претензий.

Елизавете Морицовне вызвался помогать и Николай Вержбицкий, в совершенстве владевший нужной риторикой. Он добровольно принял на себя обязанности секретаря Куприна, приносил из «Известий» пачки писем, адресованных Александру Ивановичу, читал вслух. Нередко видел, как Куприн плачет. Понять можно. Вот хотя бы приветы из Балаклавы. Сначала Вержбицкий прочитал ему заметку из ялтинских «Курортных известий»: рыбаки балаклавского колхоза «Путь к социализму» собирались в красном уголке по поводу возвращения писателя на Родину, постановили привести в порядок его участок и следить, чтобы никто на него не претендовал и не застраивал, — ждут. А потом пришло письмо от Коли Констанди, потом от Аспиза...

Куприн вдруг обрел не только друзей, но и родственников. Сестер он уже не застал — Соня умерла еще в 1919-м, Зина в 1934-м — но к нему приходили их дети. Успел повидаться с племянником Львом Натом (сыном Зины и Стаси) и его женой Надеждой, которая оказалась дочерью сестры Сони и Можарова. Полушепотом Лев рассказал, что воевал в Добровольческой армии Деникина, после разгрома Белого движения был арестован, сидел. Вскоре, увы, Льва Станиславовича снова арестуют, и он сгинет в лагерях.

А однажды к Александру Ивановичу привели тринадцатилетнего мальчика Алешу — его внука, сына Лиды. Привел отец Алеши Борис Егоров. От него Куприн узнал, что мальчика после смерти Лиды взяли его родители и рос он у них в Клинцах под Гомелем, сам Егоров снова женат, жена Алешу очень любит, и они забрали его в Москву.

В середине июня 1937-го Гослитиздат выпустил двухтомник «Избранного» Куприна, и спрос на него был ажиотажный. Как-то фотограф пришел сделать официальные снимки писателя, а заодно сделал и семейные. Елизавета Морицовна один из них отправила Ксении: «...посылаю тебе весь твой зверинец: папа, мама и Ю-ю. Видишь по фотографии, что мы уже пополнели, что значит жить на родине! А у папы какое милое и спокойное лицо...» (20 июня 1937 года).

В первых числах июля Александр Иванович уже гулял

по зеленым тропинкам подмосковного Голицына. Их с женой поселили в раю: тихий деревянный домик в двух шагах от Дома творчества писателей. Питание оттуда, уборщица, к тому же тишина, сад. Хозяйка баловала: ежедневно нарезала букеты. Приблудился щенок, назвали Негодяем в память о прославленном житомирском пуделе.

Об этих голицынских днях рассказывают не только письма Елизаветы Морицовны дочери, но и книжечка «Дом в Голицыне» (1987) Серафимы Ивановны Фонской, многолетнего директора Дома творчества писателей. Дополняет книжечку статья «Куприн в дегте и патоке» (1989)[417] писателя Юрия Дружникова (Альперовича), в которой он использует устные рассказы Фонской.

К приезду Куприных сотрудники готовили торжественную встречу. Пригласили роту солдат из соседней воинской части, чтобы в нужный момент грянуло троекратное «ура». Александр Иванович, услышав «ура», весь подтянулся и радостно крикнул командиру роты:

— Здравия желаю, господин унтер-офицер!

Вышло понятное замешательство. Каким ископаемым динозавром, должно быть, показался Куприн красноармейцам! Ужас какой: господин унтер-офицер. А может, и развеселились.

Позже в поселке все привыкли к странному старику и уже не удивлялись, когда видели, что он стоит на коленях под березками, целует их и плачет. Ребятишки из школы по соседству заходили к нему во двор с небольшим садом посмотреть на аттракцион: кошка Ю-ю умела прямо с земли запрыгивать ему на плечо, несмотря даже на ее деликатное положение; Ю-ю вот-вот должна была разродиться. Все просили котят. Еще бы, кошка Куприна, да еще из Парижа! К концу 1930-х годов он уже казался недосягаемым, Марс.

Где-то там, на Марсе, все еще оставалась Ксения. Каждый день Александр Иванович спрашивал жену, где же она, и с нетерпением ждал момента, когда они пойдут к почтовому ящику опускать дочке письмо. Елизавета Морицовна что-то сочиняла и для него, и, надо полагать, для ответственных товарищей. Между тем с ней связались сотрудники «Ленфильма» и сообщили, что запускают фильм по повести «Поединок» и оставляют в нем роль для Ксении Александровны. В письмах она умоляла дочку поторопиться с приездом.

Опять «Поединок»! Вот уж действительно купринское проклятие: повесть снова втягивала его в большую поли-

тику. В то время в Испании шла гражданская война, в которой СССР поддерживал Народный фронт, а белая эмиграция — генерала Франко; РОВС отправлял в Испанию добровольцев. Разоблачительная кинокартина о царских офицерах, получившая рабочее название «Господа офицеры», была очень своевременна. Съемки поручили Первой киномастерской Сергея Юткевича, сценаристом и режиссером назначили Эраста Гарина и его же утвердили на роль Ромашова. В то время Гарин еще не стал ни лауреатом Сталинской премии, ни народным артистом СССР, ни королем из шварцевской «Золушки», пока он был любимым учеником Мейерхольда, над которым как раз начинали сгущаться тучи. А тут еще такой скользкий материал... «Он побаивается этой работы и не хочет ее, но студия заставляет», — записал в дневнике о Гарине киносценарист Гладков, с которым тот поделился тревогой.

Жаль, что фильм тогда не вышел и отснятый материал затерялся. Любопытно было бы посмотреть версию «Поединка» в мейерхольдовском духе и Ромашова в исполнении комика Гарина. А каким эффектным, наверное, был «горец» Бек-Агамалов в исполнении утвержденного Ефима Копеляна. Гарин, правда, с трудом представлял, как будут выглядеть все эти «господа офицеры». «У всех своих знакомых поищи семейных любительских альбомов, — велел он сестре. — <...> Может, у кого есть фото из быта царской армии»[418].

Фильм фильмом, но у Куприна была и более важная забота — хотелось скорее увидеть доказательство того, что он теперь советский писатель. Вержбицкий вспоминал, как, нервничая и смущаясь, Александр Иванович вручил ему рассказ «Тень Наполеона» и просил устроить в какой-нибудь журнал: «С момента, когда мой рассказ появится в советском журнале, я стану доподлинно советским писателем, и тогда уж никто не сможет сказать, что я только формально воспользовался разрешением получить советский паспорт». Рассказ был напечатан в «Огоньке» (1937. № 34).

Тем временем надвигалась 20-я годовщина Октября. Куприны вернулись из Голицына в Москву, снова жили в «Метрополе» и готовились принять участие в торжествах. Именно 25 октября, что символично, они подписали договор с «Мосфильмом» об экранизации «Штабс-капитана Рыбникова», рассказа о японском шпионе (ситуация на советско-японской границе была очень напряженная), и «Гамбринуса». И эти старые рассказы оказались востребо-

ваны временем. Над сценариями работал Лев Исаевич Славин, одессит, автор известнейшей в те годы пьесы «Интервенция» (1932).

И вот наступило 7 ноября 1937 года. Десять часов утра. Куприны сидят на трибунах Красной площади — они получили персональное приглашение. Их узнают, показывают на них другим. «Александровец, на тебя вся Москва смотрит!» — писал не так давно Александр Иванович в «Юнкерах». Раньше он любил эти доказательства своей славы, теперь реагировал болезненно. «Папа потрясен грандиозным зрелищем! — писала Елизавета Морицовна дочери. — Сказал, что теперь я вижу: для советских граждан невозможного нет!» (8 ноября 1937 года)[419]. Конечно, Александр Иванович уловил общее воодушевление среди нескончаемых «ура», маршей, барабанной дроби, нарастающего гула зрителей, приветствующих Сталина, наркома обороны Ворошилова и его выступление: «Рабоче-крестьянская Красная Армия, как и весь Советский Союз, готова жить в мире со всем миром, но Красная Армия также готова каждый миг в порошок стереть врага, дерзнувшего напасть на страну трудящихся». Парад 1937 года демонстрировал готовность СССР к любой военной угрозе, а угроза уже сгущалась над Европой со стороны бряцающей оружием Германии. Атмосфера парада была на редкость духоподъемной, судя по сохранившейся кинохронике.

«Комсомольская правда» напечатала восторженные слова писателя: «Седьмого ноября... я видел... подлинный парад народа, уверенного в своей правоте, народа, который знает, за что он борется и ради чего он живет».

Даже если Куприн и не все понимал из происходящего, это был сильнейший эмоциональный удар. После долгих лет без Родины вдруг ее обрести, после полунищего и отверженного существования оказаться в числе почетных гостей Кремля, понимать, что тобой занимаются первые лица государства... Теперь можно спокойно и умереть.

В середине декабря 1937 года Куприны приехали в Ленинград. Здесь каждый вид, каждый проулок и запах воскрешали события бурной молодости. Вот он — купол Святого Исаакия Далматского, под сень которого так и не попали дорогие Куприну северо-западники. А разве легко было поверить в то, что можно на автомобиле минут через сорок оказаться в Гатчине?! Увидеть свой зеленый домик, который ему обещают вернуть, обнять Щербова, сходить на могилу Сапсана...

В январе наступившего 1938 года Александр Иванович сильно простудился. Сначала грипп, потом воспаление легких, с которым он попал в больницу. И в это же время слег с воспалением легких Щербов. Елизавета Морицовна, которая смогла перепоручить мужа врачам, помчалась в Гатчину: застала Щербова в агонии, а его жену Анастасию Давыдовну сильно постаревшей, разбитой.

Ноги сами принесли Елизавету Морицовну к их прежнему дому. Что именно ей вспоминалось? Как они въехали сюда? Зиночке не было и года, Ксеночке — всего три... Или то, как вот в этом садике курили махорку солдаты из их лазарета? Или то, как муж, шатаясь от голода, выкапывал из мерзлой земли картошку, которую они в полной темноте ели в революционные годы? «Ты спрашиваешь, какое впечатление от Гатчины? — писала она Ксении. — Конечно, очень сильное: стоит маленький зеленый домик, весь в снегу... в котором мы с папой были молоды и ты была крошкой. Весь поселок очень нарядный, от такого пейзажа глаз за 18 лет отвык. В самый дом не заходила — не хотелось беспокоить людей» (27 февраля 1938 года).

Седьмого января Щербова не стало, но Куприну об этом долго не говорили. Пока он лежал в больнице, Ленгорисполком решил вопрос с жильем. Куприным предоставили квартиру на Лесном проспекте, в недавно построенном «Доме специалистов» (№ 61), где получала жилье интеллектуальная элита. Четыре комнаты, центральное отопление, телефон. Здесь Александр Иванович отлеживался после больницы; когда ему стало лучше, полюбил сидеть на кухне, где плиту нужно было топить дровами. Глядя на огонь, говорил жене: «Какая это прелесть! Своя печка, свой огонь, и дрова трещат так, как они умеют трещать только в России!» В одной комнате оборудовали кабинет, одну оставили для Ксении, которая все еще делала вид, что вот-вот приедет. «Квартирка у нас светлая — много солнца... Воздух прекрасный, очень близко большой парк. Автомобиль можно иметь от Союза писателей всегда... <...> Тебя ждет большая комната — не обставляю и — думаю, ты все сделаешь по своему вкусу», — писала дочери Елизавета Морицовна 6 февраля.

Их навещали сотрудники Пушкинского Дома*, в фондах которого оказались некоторые вещи, вынужденно брошенные когда-то Куприным в гатчинском доме, напри-

---

* Институт русской литературы (ИРЛИ).

мер, детский альбом Ксении с семейными фотографиями (он до сих пор хранится в ИРЛИ). Но в целом посетителей стало меньше; и по причине болезненного состояния писателя, и по причине удаленности Лесного проспекта от центра. Воспоминаний об этом последнем годе жизни Куприна почти нет, а одна из фотографий, сделанная в феврале 1938 года, запечатлела его в постели. Потом пойдут снимки, на которые тяжело смотреть. Они будут сделаны летом в Гатчине.

К этому времени Куприны отказались от своего зеленого домика. Расселить живущих в нем людей все не удавалось, они не хотели никого беспокоить и вполне были довольны квартирой на Лесном проспекте. Отказались и от значительной компенсации за домик — 70 тысяч рублей. Пускай эта сверхмечта Куприна и не сбылась, но в июне 1938 года он все-таки попал в свою Гатчину и жил напротив своего домика. Их пригласила бывшая соседка Александра Александровна Белогруд.

Это был грустный и краткий отдых. Елизавета Морицовна, совершенно измотанная уходом за мужем, видела, что он тает. В конце июня начались самые страшные дни: мужу стало плохо, на «скорой помощи» его увезли в Институт усовершенствования врачей в Ленинграде, потом она услышала страшный диагноз.

В квартиру на Лесном проспекте Александр Иванович больше не вернулся. 10 июля 1938 года его прооперировали. В Париж полетело письмо:

«Милая моя родная девочка,

ничего радостного о папе тебе сообщить, к сожалению, не могу: у него рак пищевода!

Операция ему сильно облегчила — его питают через желудок, он очень посвежел, но надолго ли это?

Сейчас проснулся (он много спит, к его счастью), и первое слово — а дочка моя где, моя Ксения? Я ему показала твой портрет с собакой, он сказал: “Какая она у нас красивая”.

К счастью для него и к великому горю моему и для родных, конечно, он умственно в притупленном состоянии.

Я, конечно, чувствую себя придавленной судьбою. Сама понимаешь, смотреть на любимого человека и знать, что спасти невозможно!

В смысле ухода и в окружении все, что только возможно, он имеет: и лучшие врачи, профессора и знаменитости около него.

Что возможно для спасения или, вернее, для продления его жизни, все делается» (24 июля 1938 года).

Елизавета Морицовна была близка к помешательству. Муж не отпускал ее ни на минуту, все время держал за руку, от чего ее рука затекала. Пытался что-то говорить, а она находила в себе силы записывать его последние слова:

«Я чувствую, что меня что-то вздернет, даже испуг будет, а потом я поправлюсь.

Я глупею, с головой что-то делается — помоги же мне, позови доктора.

Я не хочу умирать, жизни мне хочется. Ксению скорей позови, я не могу без нее больше.

Перекрестился и говорит: "Прочитай мне 'Отче наш' и 'Богородицу', — помолился и всплакнул. — Чем же я болен? Что же случилось? Не оставляй меня".

Мамочка, как жизнь хороша! Ведь мы на Родине? Скажи, скажи, кругом — русские? Как это хорошо!

Я знаю, что я иногда схожу с ума и бываю тяжел, но, милая, будь со мной милостива.

Я чувствую, что что-то ненормально, позови доктора.

Посиди со мной, мамочка, так уютно, когда ты со мной, около меня! Мамочка, я люблю смотреть на тебя.

У меня теперь какой-то странный ум, я не все понимаю.

Вот, вот начинается, не уходи от меня, мне страшно».

Первого августа Александра Ивановича перевезли в Научно-практический институт скорой помощи. Елизавета Морицовна сообщала дочери, которую отчаялась дождаться:

«Милая моя единственная девочка,

нет слов, как мне тяжело тебе писать, что папочка тает с каждым днем...

Хотела тебе писать ежедневно, но как только сяду — рука не поднимается и слезы душат. Вчера поднялась температура и трясла лихорадка — взяли кровь на исследование, нет ли малярии? Если не малярия, то это ужасно! Врач говорит, что у него независимо от простуды может быть каждую секунду воспаление легких. Ужасно, потому что еще лишнее страдание для него. <...>

О себе не пишу — ты ясно сама себе представляешь мое состояние — ведь папочка наш собственный! Нежен он со мной необыкновенно, но говорить уже не может. Улыбнется так мило, что сразу легче делается.

Больше не могу писать — сердце не выдерживает, когда

подумаю, что ты такое письмо должна получить, а выехать не можешь срочно» (3 августа 1938 года).

Когда стало совсем плохо, Елизавета Морицовна телеграфировала Марии Карловне в Москву: «Немедленно выезжай». Та приехала, но застала Куприна уже без сознания. Зато смогла поддержать Елизавету Морицовну — в ночь на 25 августа 1938 года Александра Ивановича не стало. Он умер на Родине, как и хотел.

Две женщины, две его жены должны были выполнить его указания, которые хорошо знали. Мария Карловна еще в 1903 году, когда муж едва не умер от брюшного тифа, запомнила: не рассматривать его мертвого тела, не носить траура, никаких пошлых речей у могилы. Елизавета Морицовна хорошо знала содержание листочка бумаги, на котором муж в последние годы еле-еле вывел пляшущими буквами:

«В случае моей смерти прошу:

1. Похоронить меня по христианскому обряду с наибольшей скромностью.
2. До могилы меня никому не провожать.
3. Панихид по мне не петь.
4. Речей надо мной не говорить и статей или воспоминаний обо мне не писать.
5. Если у кого есть мои письма и портреты — сжечь их.
6. У всех, кому сделал зло или какую неприятность — простить меня.
7. Всем же попутчикам в жизни принять — глубокую благодарность.

А. Куприн»[420].

Это завещание сегодня хранится в фондах Российской государственной библиотеки. Оно не оговаривает судьбу имущества и авторских прав, но человеческую волю ушедшего выражает вполне определенно. И почему бы не предположить, что эта воля — в той мере, насколько это было возможно, — выполнена, что именно поэтому похороны были (по писательским меркам тех лет) скромные? А совсем не потому, что Куприна так и не простили, как полагали его собратья-эмигранты.

В остальном же, конечно, официальный обряд был полностью соблюден. 26 августа в 13.00 гроб был выставлен в Большом зале Дома писателей им. В. В. Маяковского в Ленинграде*. Рядом с ним, смущаясь от присутствия

* Ныне: Санкт-Петербург, улица Шпалерная, 18.

почетного караула и публики, сидели оцепеневшая от горя Елизавета Морицовна, Мария Карловна, Анастасия Давыдовна Щербова... Из ленинградских писателей присутствовали Михаил Зощенко, старые сотрудники давно не существующего журнала «Мир Божий» Константин Диксон и Иосиф Любарский. Из Москвы приехали Константин Федин и Владимир Луговской. Прощание продолжалось до вечера, причем Мария Карловна вспоминала, что гроб почему-то вдруг перенесли в другой зал, очень маленький, началась давка, и многие так и не смогли проститься с любимым писателем.

На другой день там же состоялась гражданская панихида. Председатель комиссии по похоронам Михаил Слонимский (который в 1919 году плакал, узнав, что Куприн ушел с белыми) вспоминал, что лучшие музыканты прощались с Куприным музыкой Баха, Генделя, Гайдна, Бетховена: «...в гробу лежал худенький человек с кротким, умиротворенным лицом, и при взгляде на него вспоминался герой "Гранатового браслета", однолюб и мечтатель»[421]. Потом Елизавета Морицовна с Марией Карловной ехали на кладбище в автомобиле; перед ними шесть белых лошадей везли белый гроб, покрытый белыми цветами. В заднее стекло они видели белую колесницу с венками, составленными только из белых цветов.

Советская Россия оказала Куприну последнюю высокую почесть: он был упокоен на Литераторских мостках Волковского (Волкова) кладбища и вместе с тем занял свое место в пантеоне русской литературы. Мог ли Александр Иванович в последние парижские годы даже предположить это?

2

Русский Париж узнал о кончине Александра Ивановича Куприна из заметки во французской газете «Le Figaro» («Фигаро»)[422]. Редакция «Иллюстрированной России» выпустила траурный номер; в журнале «Современные записки» довольно своеобразные некрологи поместили Иван Бунин и Марк Алданов. Иван Алексеевич не удержался, чтобы не подвергнуть препарированию творчество покойного друга, придираясь к отдельным фразам. Марк Александрович никак не мог уйти от вязкой темы «мы и они», все сокрушался, что Куприну-де умереть нужно было в Париже, что «проводили бы к могиле так же, как Шаляпина». И зло-

радствовал, что в СССР похоронам знаменитого писателя объявили «настоящий бойкот». Газеты, мол, поместили лишь крохотные извещения о смерти, не было ни портретов, ни некрологов, ни воспоминаний. Как же так? С такой помпой встречали на Белорусском вокзале и в такой тишине провожали. И Алданов находил удобное для себя объяснение: Куприн за год, проведенный «там», не оправдал надежд. Или даже сказал что-нибудь не то.

Однако самый интересный момент в некрологе не этот. Говоря о тайном отъезде Куприна из Парижа, Алданов употребил то же глубоко символическое слово, которое связано с бегством Толстого из Ясной Поляны, — уход. То есть осознанное, годами выношенное, выстраданное решение, которому помешать уже ничто не могло. Наверное, Алданову хотелось, чтобы Куприн, как и Толстой, слег где-нибудь в пути, не доехал. И была бы легенда. А так: «При проблесках сознания он должен был бы в СССР чувствовать себя худо, очень худо. <...> Да, да, “увидеть снова Москву, поклониться русской земле, подышать русским воздухом”, все это так, а дальше что? Дальше советская жизнь, необходимость к ней приспособиться — ему, с его характером, в шестьдесят восемь лет! Я надеюсь, что проблесков сознания у него не было»[423]. Жестко, если не сказать — жестоко.

То, что это был вполне сознательный уход, почувствовал и другой современник: «...что бы ни говорили о состоянии Куприна перед отъездом, отъезд этот был все же именно его “выходкой”, во всяком случае, вполне в его, купринском, стиле. Теперь, вспоминая былого Куприна, как-то сразу становится ясно, что этот человек на эмигрантских чемоданах умереть не мог. А с тем, что называется общественным мнением, он всегда считался очень мало или не считался совсем»[424].

Земная жизнь Александра Куприна закончилась.

Началась его посмертная судьба — в творчестве и памяти современников.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Посмертная судьба Александра Куприна оказалась не менее бурной, чем земная. В ней уже участвовали другие люди, создавая другие мифы.

Елизавета Морицовна, по сути, не пережила смерть мужа. Проводив его на Волковское кладбище, она в письмах стала еще настойчивее звать дочь: «К твоему приезду наварила варенья из всех ягод и сотовый мед купила. Мне бы очень хотелось знать точный срок, когда можно тебя ждать?..» (21 октября 1938 года). Однако Ксения так и не приехала. Через год Елизавета Морицовна с ужасом за нее узнала о начале в Европе новой войны, а еще через год — о том, что Париж без боя капитулировал перед германским фашизмом. Связь с дочерью прервалась.

Елизавета Морицовна ухаживала за могилой мужа, на которой в 1939 году появилось надгробие, в своей квартире организовала небольшой музей, вела переговоры с киностудиями и издательствами, переписывалась со старыми друзьями и начала работать над воспоминаниями. Она ни в чем не нуждалась: получила персональную пенсию, к тому же была наследницей половины авторских прав. Другую половину она передала внуку Алеше Егорову. Видимо, от душевной тоски в октябре 1940 года Елизавета Морицовна устроилась на работу в Академию художеств хранителем фотодиатеки. Здесь ее застало начало Великой Отечественной войны, затем блокада Ленинграда.

О годах, проведенных Елизаветой Морицовной в полумертвом городе, известно мало. Она переехала жить в Академию художеств, поближе к людям, была бойцом МПВО,

страдала дистрофией, но Ленинграда не покидала, продержалась до лета 1943 года. И вдруг 7 июля решилась на страшный шаг. О том, что тогда случилось, лишь недавно стало известно из письма сотрудника академии, архитектора Германа Германовича Гримма, своему коллеге:

«..в эту “Академическую” идиллию ворвалось вчера событие, хотя и давно назревавшее, и все же тяжелое и грустное: повесилась у себя в комнате Е. М. Куприна. Ее психическое состояние давно уже не вызывало сомнений в тяжком заболевании.

Мучительные мысли о том, что против нее что-то замышляют, о том, что ей чего-то кто-то хочет сделать неприятное... все это нарастало уже давно. Тем не менее никому не хотелось думать о возможности такой трагической развязки. Как ни привычны стали мы за это время ко всякого рода смертям — такая смерть все же производит тягостное впечатление»[425].

Хотя в письме и сказано прямо о тяжком заболевании, то есть душевной болезни Елизаветы Морицовны, все же возникает невольно мысль: а может, ее и вправду травили? И за то, что немка, и за то, что столько лет прожила в эмиграции, и что дочь там осталась. Отсюда уже шаг до версии, озвученной в телефильме «Ксения, дочь Куприна» (2012): якобы Елизавета Морицовна повесилась после того, как кто-то сказал ей, что Ксения погибла во французском Сопротивлении. К слову, Ксения, пытаясь много лет спустя узнать судьбу матери, не поверила в самоубийство, утверждала, что мама была христианка. Она не знала о душевной болезни.

В этой истории, как в любом самоубийстве — все тайна. Тайна и надгробие Елизаветы Морицовны, похороненной в двух шагах от могилы Куприна. Почему на надгробии указаны неверные даты ее жизни: «1885–1942» вместо «1882–1943», и когда оно появилось? Впрочем, здесь может быть объяснение — война, блокада...

Следующим из семьи после Елизаветы Морицовны покинул этот мир Алексей Егоров, внук Куприна. В 1942 году он ушел на Ленинградский фронт, служил в минометном полку, получил медаль «За отвагу». И, лежа в болотах, заработал суставной ревматизм, который дал осложнение на сердце. Он умер 12 июня 1946 года от сепсического эндокардита, в возрасте двадцати двух лет. Столько же прожила его мать — Лидия Куприна, Люлюша. Оба они упокоились на Ваганьковском кладбище в Москве.

Из близких родственников Куприна в СССР остались племянники и племянницы по линии сестер, но у них были в политическом смысле непростые судьбы, и они «не высовывались». О дочери, отказавшейся приезжать на Родину и неизвестно где находившейся во Франции в годы войны, перестали и вспоминать. И вышло так, что наследников у писателя не оказалось, выплачивать отчисления с авторских — некому. Здесь-то о своих правах заявила Мария Карловна. После войны она напомнила о своем родстве с известным писателем, начав публиковать в «Огоньке» фрагменты воспоминаний о нем[426]. Идею написать книгу о Куприне подал ей Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, тогдашний директор Государственного литературного музея.

Мария Карловна не только села за работу, но и постаралась получить право наследства. Вот ее письмо К. Е. Ворошилову (заместителю председателя Совета министров СССР) от 7 октября 1947 года:

«...в 65 лет я осталась без всякой поддержки, располагая лишь персональной пенсией в размере 120 р. в месяц, которую получаю после смерти Н. И. Иорданского — моего второго мужа.

В настоящее время мой преклонный возраст и болезнь сердца лишают меня возможности служить, и начатые мною “Воспоминания об А. И. Куприне” мне часто приходится прерывать из-за необходимости другого литературного заработка.

Этого бы, конечно, не случилось, если бы мой внук был жив.

В течение 10 лет я была женой Куприна и не только морально поддерживала его в его работе, но и старалась создать для нее наиболее благоприятные условия. Несмотря на то, что наши семейные обстоятельства сложились так, что нам пришлось разойтись, тесные, дружеские отношения между нами не прекращались до дня смерти Александра Ивановича.

Во время его пребывания за границей я прилагала все усилия для того, чтобы повлиять на его возвращение из эмиграции на Родину, о чем свидетельствует напечатанное в журнале “Огонек” (№ 36, 1945 г.) письмо ко мне Куприна из Парижа.

В данное время Гослитиздат выпустил однотомник сочинений А. И. Куприна* и авторского гонорара никому не

* См.: *Куприн А. И.* Избранные сочинения. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1947.

выплачивают, так как мой внук Алексей Егоров, являющийся единственным наследником, умер до выхода однотомника.

Поэтому я обращаюсь к Вам, тов. Ворошилов, с просьбой передать мне авторское право на сочинения А. И. Куприна, принадлежащие моему покойному внуку Алексею Борисовичу Егорову»[427].

Интереснейшее и одновременно банальнейшее письмо, а вместе с ним новые мифы. Оказывается, Мария Карловна была очень близка с внуком Алешей, оказывается, прожила с Куприным целых десять лет. Каково было решение Ворошилова, неизвестно, но, наверное, Мария Карловна не стала бы писать в такую высокую инстанцию, если бы не было предварительных переговоров. Впрочем, чисто по-житейски ее можно понять.

Ее работа над книгой о Куприне, которая получит название «Годы молодости», растянулась надолго. И болезни донимали, и память подводила: ей приходилось писать о событиях сорокалетней давности, и отнюдь не самых ярких в ее жизни, ведь после Куприна у нее было еще очень много всего. Пришлось изучать чужие воспоминания, в частности Веры Николаевны Буниной (напомним, что И. А. Бунин скончался в 1953-м), доверяться памяти других свидетелей их с Александром Ивановичем молодости. Эта работа позволила окунуться в прошлое и Василию Регинину, которого Куприны некогда «прижили в Балаклаве». Она же стала одним из последних его приятных впечатлений. В 1952 году Регинина с громким скандалом исключили из Союза писателей за подготовленные им сборники Демьяна Бедного «Избранное» (1950) и «Родная армия» (1951). Специальное постановление секретариата ЦК ВКП(б) обвинило Василия в грубейших политических искажениях текстов Бедного и запретило ему впредь заниматься работой по изданию художественных произведений. В разгар скандала Регинин скончался, унеся с собой в том числе сотни историй о Куприне, которые так никто и не записал.

Еще до публикации с рукописью Марии Карловны ознакомился Чуковский, отметив в дневнике: «Куприна дала мне почитать свои воспоминания о Куприне. Много интересного, — ценные факты, — но в них нет Куприна — этого большого человека, лирика, поэта, которого изжевала, развратила, загадила его страшная гнилая эпоха. Он выходит у нее паинькой, между тем он был и нигилист, и циник, и трактирная душа, и даже хулиган — у нее же он всегда на

стороне добра и высокой морали». Это уже было требование читателя «оттепели», наступившей в стране: правду! Чуковский слишком много хотел; герой рукописи Марии Карловны, которую мы не раз цитировали, и так много пил и дебоширил.

Тем временем стало известно, что в Европе гремит совместный франко-шведский фильм «Колдунья» (1956), по мотивам купринской «Олеси», в котором главную роль исполнила юная красавица Марина Влади, француженка русского происхождения. В СССР тут же взялись за экранизацию «Поединка», которую «Мосфильм» завершил в 1957 году. Госиздат в 1957—1958 годах выпустил шеститомное собрание сочинений Александра Куприна.

В один из дней 1957 года на пороге советского посольства в Париже появилась ослепительно красивая дама, попросила свидания с атташе по культуре. Ее проводили к Василию Николаевичу Окулову, вчерашнему выпускнику Института международных отношений МИД СССР. Он вспоминал:

«Дама прекрасно говорила по-французски, и если бы не лицо, истинно русское, но чуть-чуть скуластое, ее можно было бы принять за француженку. Поздоровавшись, она перешла на великолепный русский, с каким встречаешься теперь только в старых книгах.

Это была Ксения Куприна <...>.

О цели визита Ксения Александровна сказала просто и без обиняков:

“Оказалась в затруднительном материальном положении. Зашла узнать, нет ли для нее в посольстве какой-нибудь работы”. И добавила, что кроме русского и французского свободно владеет английским и немецким языками. Могла бы работать переводчиком, но только устным, поскольку языки учила походя, и писать ни на одном из них, в том числе и на русском, грамотно не умеет. И никаких документов об образовании у нее нет»[428].

Окулов обрадовался: в те оттепельные годы во Францию приезжало много советских делегаций и артистических коллективов, чаще всего без переводчиков, а в штате посольства переводчиков не было. Он тут же предложил Ксении Александровне работать с такими делегациями, и она тут же согласилась.

У них сложились хорошие отношения, и Ксения Куприна кое-что о себе рассказала. Карьера кинозвезды закончилась вместе с появлением звукового кино: это у нее не

получалось — ее французский был не безупречен. Пошла на курсы модельеров, стала вполне профессиональным театральным костюмером, но ее «съели». Окончила театральные курсы, работала в одном театре, в другом. Там тоже «ели». И вот наступила полная неопределенность...

Так началось очередное «кремлевское дело», связанное с нашим героем. Окулов вскоре поинтересовался, почему же она, дочь известного русского писателя, не возвращается домой. Ксения Александровна уклончиво ответила, что и хотела бы, да побаивается, совсем отвыкла от России, не хотела бы оказаться «эмигранткой на Родине». Окулов не настаивал, но и не оставлял мысли о громкой политической акции.

События благоприятствовали: летом 1957 года в Париж почти друг за другом прибыли Василий Ажаев, тогда главред журнала «Советская литература» и член правления Союза писателей, и Лев Никулин, в те годы часто приезжавший в Париж для переговоров с Верой Николаевной Буниной о передаче архива ее мужа на Родину. Ксения Александровна их сопровождала и совершенно очаровала обоих. Никулин тогда же, в июне 1957-го, рассказывал на страницах «Огонька», как был у Куприной в гостях, видел у нее архив ее отца. Потом они встречались еще не раз: «Мы простились... в надежде новых встреч, кто знает, может быть, на родной земле»[429].

В своей статье Никулин уже готовил возможное возвращение дочери Куприна. Он и Ажаев убедили правление Союза писателей ходатайствовать перед ЦК КПСС о приглашении дочери Куприна на Родину, упирая на то, что она привезет архив отца. Кремль ответил, что вопрос может быть решен положительно, если Ксения Александровна сама попросит предоставить ей советское гражданство. Окулов с радостью сообщил ей об этом, но она все еще колебалась. Решимости ей добавил неприятный инцидент: ее вызвали в ДСТ (контрразведку МВД Франции), расспрашивали, с кем из сотрудников советского посольства она контактирует, намекали на сотрудничество. Она испугалась и буквально через пару дней принесла Окулову прошение о предоставлении ей гражданства СССР и о разрешении выехать на постоянное жительство в Москву.

Все произошло очень быстро. Союз писателей сообщил Ксении Куприной, что хлопочет о предоставлении ей квартиры, выплате суммы на первичное обустройство, а главное — что Литературный фонд готов купить архив. И вот в

начале 1958 года Ксения Александровна стояла на том же Белорусском вокзале в Москве, где 20 лет назад встречали ее родителей. И так же, как они, поначалу поселилась в гостинице «Метрополь».

При ней был большой чемодан с архивом, который, как и обещал, выкупил Литфонд, затем передал в ЦГАЛИ (ныне РГАЛИ). Квартиру на Фрунзенской набережной Куприной выделили далеко не сразу, однако предоставили работу в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина. Главный режиссер был не в восторге от этой эмигрантской звезды, хороших ролей не давал. Ревнивый женский коллектив, конечно, не принял: заграничная штучка, наряды меняет по нескольку раз в день, держит себя королевой. К тому же, несмотря на полувековой возраст, она затмевала шармом молодых актрис, советских девочек, не умевших, конечно, так себя подавать. Среди мужчин, кто с обожанием смотрел на Ксению Куприну, был выпускник Школы-студии МХАТ Владимир Высоцкий, пришедший работать в этот театр в 1960 году. У него кругом шла голова от нереальности этой женщины: дочь Куприна, кинозвезда, из того мира, где жила Марина Влади, актриса из «Колдуньи», в которую он сразу влюбился. Позже Высоцкий с восхищением говорил друзьям о Ксении Александровне[430]: «Невозможно было оставаться равнодушным при виде нее. Она притягивала нас как магнит. И тут не только красота. Какая-то потрясающая, неиссякаемая женственность. "C'est la femme magnifique... C'est la femme fatale"»*. Словом, «куда мне до нее, она была в Париже».

Жизнь все расставила по местам: Ксения Александровна поняла, что здесь, в России, она будет только дочерью знаменитого отца. Ей оставалось блестяще доиграть эту роль, которую она знала с детства. Это был единственный шанс остаться лицом с обложки, и она им воспользовалась. Достаточно посмотреть документальные фильмы с ее участием: «Мне нельзя без России» (1967), «Куприн» (1978) и «Ксения Куприна рассказывает» (1981).

Дочь писателя начала отвоевывать свое место в купринском мифе, тем более что очень скоро узнала о существовании Марии Карловны, а в 1960 году прочитала только что вышедшую ее книгу «Годы молодости». Ничего по существу она сказать не могла, книга описывала жизнь отца еще до ее рождения. Ксении Александровне тоже предло-

---

* «Красавица... Роковая женщина» (*фр.*).

жили написать мемуары, и она начала вспоминать. Отрывки появлялись в журналах «Театральная жизнь», «Советский цирк», газете «Литературная Россия». Читая их, Мария Карловна усмехалась: ничего своего, сплошная компиляция. И готовила второе, дополненное издание своей книги «Годы молодости». В 1966 году, за несколько месяцев до ее выхода, она скончалась. Похоронена на Введенском кладбище в Москве.

Теперь Ксения Александровна осталась единственным авторитетным свидетелем и за отпущенное ей время успела сделать многое для памяти отца. Прежде всего, выпустила мемуары «Куприн — мой отец» (1971, 1979): они продолжили книгу Марии Карловны, рассказывая о жизни писателя после расставания с первой женой, об эмиграции. Название всегда казалось нам каким-то неформатным, пока мы не наткнулись на мемуары Тура Гамсуна «Кнут Гамсун — мой отец» (1952). Случайная аналогия или нет?..

Популяризируя свою книгу, Ксения Куприна много ездила по стране и в сентябре 1971 года оказалась в маленьком городке, в реальность которого мало верила. Отец всегда рассказывал о нем как о сказке, мечте, где живут люди-исполины, цветут волшебные сады... Ксения Александровна стояла на набережной Балаклавы, в то время базы подводного флота.

Поначалу недоумевала: где город-сад? Где чудо-бухта? Ряд скучных тополей, у причалов — субмарины, в воздухе — пыль и скрежет со стороны карьера. А вот и участок отца, о котором он рассказывал чудеса. Ксения Александровна даже рассмеялась: голая скала, бесплодная земля. Но потом появились они — гомеровские «лестригоны», застенчивые обитатели берегов древней бухты, прокопченные рыбаки с чертовщинкой в глазах. И все стало на свои места.

Незадолго до смерти Ксения Александровна, уже тяжелобольная, успела приехать на открытие музея и бюста Куприна на его родине, в Наровчате. Передала в музей личные вещи родителей. 8 декабря 1981 года ее не стало. Она скончалась в Москве, но по завещанию была похоронена рядом с отцом и матерью на Волковском кладбище в Ленинграде.

А потом страны, открывающей музеи писателям и дающей улицам их имена, не стало. Никто никому больше был не нужен. Свобода, брат! Парад суверенитетов. Тут и случился удивительный поворот купринской посмертной судьбы. В начале 1990-х годов «открыли» Балаклаву, до это-

го «закрытую» как стратегический объект. Подводный флот и все военные объекты вывели, и городок стал практически тем же, чем был при Куприне. Всю бухту заняли лодки аборигенов, которые, подобно лестригонам начала XX века, повезли туристов по всем морским маршрутам, развлекая их байками о Куприне. Александр Иванович стал героем местного фольклора, и его балаклавские похождения довольно органично вписывались в быт курортной бухты, в одуряющие запахи жареной барабули, будоражили кровь токами местного вина. Genius loci Александр Куприн придал своим именем иное содержание истории маленького городка.

В 2009 году здесь поставили памятник писателю. Он вернулся в Балаклаву и — стоит на набережной, опершись на кованую решетку ограды, смотрит на море, на туристов с аквалангом, на детей с плавательным кругом... Жизнь продолжается, меняется, а Куприн остается в самой ее гуще.

Кто может точно сказать, сколько людей ежегодно уезжает отсюда с одной мыслью:

— Приеду домой, обязательно прочту «Листригонов»!

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Бунин Ив.* Перечитывая Куприна // Современные записки [Париж]. 1938. LXVII. С. 311.

[2] *Тэффи.* Моя летопись. М.: Вагриус, 2004.

[3] См.: *Михайлов О.* Жизнь Куприна. «Мне нельзя без России». М.: Центрполиграф, 2001.

[4] *Бунин И. А.* Куприн // *Бунин И. А.* Собрание сочинений: В 9 т. М.: Художественная литература, 1967. Т. 9. С. 393.

[5] Цит. по: *Фролов П. А.* А. И. Куприн и Пензенский край. Саратов: Приволжское книжное изд-во (Пензенское отделение), 1984. С. 31–32.

[6] Там же. С. 9.

[7] Там же.

[8] *Лазаревский Б. А.* Дневник. 1921 // Památník národního písemnictví. Fond Lazarevskij B. A. C. prir. 96/43.

[9] *Бунин И. А.* Куприн / *Бунин И. А.* Собрание сочинений: В 9 т. М.: Художественная литература, 1967. Т. 9. С. 394.

[10] *Куприна-Иорданская М. К.* Годы молодости. М.: Художественная литература, 1966. С. 133.

[11] См.: *Берков П. Н.* Александр Иванович Куприн. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1965. С. 5.

[12] Обстоятельства дела приводим по: *Рассказова Л. В.* Новое о наровчатском детстве А. И. Куприна // Моя Малая родина: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Вып. 11. Пенза, 2013. С. 174—182.

[13] Цит. по: *Фролов П. А.* А. И. Куприн и Пензенский край. Саратов: Приволжское книжное изд-во (Пензенское отделение), 1984. С. 6.

[14] Цит. по: *Куприна-Иорданская М. К.* Годы молодости. М.: Художественная литература, 1966. С. 31–32.

[15] Свидетельство о рождении А. И. Куприна, выданное 18 февраля 1874 года Пензенской духовной консисторией по запросу Московского Вдовьего дома // ИРЛИ. Ф. 242. Оп. 1. № 230.

[16] Автобиография А. И. Куприна // Огонек [Санкт-Петербург]. 1913. № 20.

[17] *Бунин Ив.* Перечитывая Куприна // Современные записки [Париж]. 1938. LXVII. С. 309.

[18] Цит. по: *Вержбицкий Н. К.* Встречи с Куприным. Пенза: Пензенское книжное изд-во, 1961.

[19] *Куприн А.* Об Анатолии Дурове // Биржевые ведомости [Санкт-Петербург]. 1916. 10 января. № 15314.

[20] Там же.

[21] Цит. по: Чехов и Куприн // Литературное наследство. «Чехов». Т. 68. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1960. С. 393.

[22] *Бунин И. А.* Куприн // *Бунин И. А.* Собрание сочинений: В 9 т. М.: Художественная литература, 1967. Т. 9. С. 394.

[23] *Вержбицкий Н. К.* Встречи с А. И. Куприным. Пенза: Пензенское книжное изд-во, 1961.

[24] *Лимантов Л. А.* Воспоминания / Александр Николаевич Скрябин. К 25-летию со дня смерти. М.; Л., 1940. С. 24.

[25] РГВИА. Ф. 725. Оп. 38. Д. 324. Л. 150. Цит. по: *Капитонов А.* Кадетские проказы (штрихи к повести А. И. Куприна «На переломе (Кадеты)» // Цейхгауз [Москва]. 2001. № 1.

[26] Цит. по: *Фролов П. А.* А. И. Куприн и Пензенский край. Саратов: Приволжское книжное изд-во (Пензенское отделение), 1984. С. 98.

[27] Из дневника А. И. Куприна // ОР РГБ. Ф. 392. К. 2. Ед. хр. 2.

[28] Письмо А. И. Куприна к Ф. Д. Батюшкову. 1911 год, без даты / Письма А. И. Куприна. 1893–1934 гг. // search.rsl.ru.

[29] Александровское военное училище. 1863–1901 / Сост. В. Кедрин. М., 1901. С. 135–136.

[30] См., например: *Колоколов К. И.* Проскуров 27 лет тому назад. Рассказ местного нотариуса К. И. К. Проскуров, 1915; *Лукомский А. С.* Очерки из моей жизни. Воспоминания. М.: Айрис-пресс, 2012; *Мелентьев М. М.* Мой час и мое время: Книга воспоминаний. СПб.: Ювента, 2001.

[31] *Афанасьев В.* На подступах к «Поединку» // Русская литература [Ленинград]. 1961. № 4.

[32] *Куприна-Иорданская М.* Из воспоминаний об А. И. Куприне // Огонек [Москва]. 1945. № 36.

[33] *Куприн А. И.* Армия и революция в России / *Куприн А. И.* Пестрая книга: Несобранное и забытое. Пенза, 2015. С. 259.

[34] *Гр. А. Д. [Краснов П. Н.].* Литературные заметки // Русский инвалид [Париж]. 1933. 22 января. № 51.

[35] *Карпович М., Крочек Я.* Цікаві спогади про «Поєдинок» (Нове про О. І. Купріна) // Радянське Поділля [Хмельницкий]. 1960. 16 октября. № 206.

[36] См.: *Григорков Ю.* А. И. Куприн (Мои воспоминания) // Современник [Торонто]. 1960. № 2. С. 43.

[37] Беседа с А. И. Куприным // Петербургская газета. 1905. 4 августа. № 203.

[38] Цит. по: *Цветков А.* Ключи к тайнам Куприна. Пенза, 2013. С. 128.

[39] *Куприна-Иорданская М. К.* Годы молодости. М.: Советский писатель, 1960. С. 138–139.

[40] Там же. С. 141.

[41] *Гешаев Муса.* Знаменитые ингуши // http://www.ingush.ru/jzl12.asp.

[42] *Сергеев-Ценский С. Н.* Воспоминания // МОЛ [Московская организация литераторов]. М., 2007. № 2.

[43] Цит. по: *Фокин П.* Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Т. 2. К. — Р.

[44] Автобиография А. И. Куприна // Огонек [Санкт-Петербург]. 1913. № 20.

[45] Там же.

[46] *Чуковский К. И.* Современники. М.: Молодая гвардия, 1967. С. 175.

[47] *Бунин Ив.* Перечитывая Куприна // Современные записки [Париж]. 1938. LXVII. С. 311.

[48] *Бунин И. А.* Куприн // *Бунин И. А.* Собрание сочинений: В 9 т. М.: Художественная литература, 1967. Т. 9. С. 393.

[49] Цит. по: *Рогозина Н. М.* Воспоминания А. М. Федорова об А. И. Куприне (по неопубликованным материалам очерка «А. И. Куприн») // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2013. Т. 1. № 1.

[50] *Бунин И. А.* Письма 1885–1904 годов // http://az.lib.ru/b/bunin_i_a/text_1904_letters.shtml.

[51] *Бунин И. А.* О Чехове // Неоконченная рукопись. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1955.

[52] *Телешов Н. Д.* А. П. Чехов // *Телешов Н. Д.* Записки писателя. М.: Гослитиздат, 1948.

[53] *Станиславский К. С.* Моя жизнь в искусстве. М.: Искусство, 1962.

[54] М. Ф. Андреева. Переписка. Воспоминания. Статьи. Документы. Воспоминания о М. Ф. Андреевой. М.: Искусство, 1968.

[55] *Федорова Л. К.* А. П. Чехов // Литературное наследство. Т. 68. «Чехов». М.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 629–630.

[56] *Федоров А. М.* А. П. Чехов // О Чехове. М., 1910. С. 289–301.

[57] *Куприна-Иорданская М. К.* Годы молодости. М.: Советский писатель, 1960. С. 192.

[58] *Барская Т. М.* Альбом Синани. Симферополь: Оригинал-М, 2007. С. 25. Альбом, который ныне хранится в РГАЛИ, сохранил балаклавский друг Куприна Е. М. Аспиз. См.: «Русская избушка» // Огонек [Москва]. 1945. № 34.

[59] *Бар. Людмила Врангель.* Воспоминания и стародавние времена. Вашингтон: Изд-во книжного магазина Victor Kamkin, Inc., 1964. С. 70.

[60] Цит. по: Комментарии (Составила Л. И. Давыдова) // *Куприна-Иорданская М. К.* Годы молодости. М.: Художественная литература, 1966.

[61] Цит. по: *Киселев Б.* Рассказы о Куприне. М.: Советский писатель, 1964. С. 137.

[62] Переписка А. П. Чехова и О. Л. Книппер: В 2 т. Т. 1. 16 июня 1899 года — 13 апреля 1902 года. М.: Издательский дом «Искусство», 2004.

[63] Там же.

[64] Там же.

[65] Там же.

[66] *Куприна-Иорданская М. К.* Годы молодости. М.: Советский писатель, 1960. С. 148.

[67] Письмо А. И. Куприна к Л. И. Елпатьевской. Цит. по: Комментарии (Сост. Л. И. Давыдова) // *Куприна-Иордан-*

ская М. К. Годы молодости. М.: Художественная литература, 1966.

[68] Хозяйка чеховского дома. Воспоминания. Письма. Симферополь: Крым, 1969.

[69] *Фидлер Ф. Ф.* Из мира литераторов: Характеры и суждения / Вступ. ст., сост., пер. с нем., прим., указатели и подбор иллюстраций К. М. Азадовского. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 625–626.

[70] *Чуковский К. И.* Современники. М.: Молодая гвардия, 1967. С. 169.

[71] *Муромцева-Бунина В. Н.* Жизнь Бунина. 1870–1906 // http://az.lib.ru/b/bunin_i_a/text_1890—3.shtml.

[72] Цит. по: *Фокин П.* Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Т. 2. К. — Р.

[73] *Куприна-Иорданская М. К.* Годы молодости. М.: Советский писатель, 1960. С. 8.

[74] Там же. С. 15.

[75] Там же. С. 18.

[76] Там же. С. 27.

[77] *Муромцева-Бунина В. Н.* Жизнь Бунина. 1870–1906 // http://az.lib.ru/b/bunin_i_a/text_1890—3.shtml.

[78] Там же.

[79] *Фидлер Ф. Ф.* Из мира литераторов: Характеры и суждения / Вступ. ст., сост., пер. с нем., прим., указатели и подбор иллюстраций К. М. Азадовского. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 619.

[80] Там же. С. 325.

[81] Там же.

[82] Цит. по: Комментарии (Сост. Л. И. Давыдова) // *Куприна-Иорданская М. К.* Годы молодости. М.: Художественная литература, 1966.

[83] *Бунин И. А.* Письма 1885–1904 годов // http://az.lib.ru/b/bunin_i_a/text_1904_letters.shtml.

[84] Там же.

[85] Неопубликованные письма Д. Н. Мамина-Сибиряка // Литературный квартал [Екатеринбург]. 2010. № 7, 8 (20–21). С. 108.

[86] Там же.

[87] *Мамин-Сибиряк Д. Н.* Собрание сочинений: В 10 т. М.: Правда, 1958. Т. 10.

[88] Письмо З. Н. Гиппиус к П. П. Перцову от 28 февраля 1902 года. Цит. по: Письма З. Н. Гиппиус к П. П. Перцову (Вступ. заметка, подг. текста и прим. М. М. Павловой) // Русская литература [Ленинград]. 1991. № 4. С. 132.

[89] *Киселев Б.* Рассказы о Куприне. М.: Советский писатель, 1964. С. 141.

[90] Там же. С. 145.

[91] Цит. по: Литературное наследство. Т. 68. «Чехов». М.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 384.

[92] *Фидлер Ф. Ф.* Из мира литераторов: Характеры и суждения. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 353.

[93] 1905–1906 годы в Ясной Поляне (Из записок Д. П. Маковицкого) // Голос минувшего [Москва]. 1923. № 3.

[94] Переписка А. П. Чехова и О. Л. Книппер: В 2 т. Т. 1. 16 июня 1899 года — 13 апреля 1902 года. М.: Издательский дом «Искусство», 2004.

[95] Литературное наследство. Т. 68. «Чехов». М.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 384.

[96] Там же. С. 388.

[97] Там же.

[98] *Фидлер Ф. Ф.* Из мира литераторов: Характеры и суждения. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 353.

[99] Цит. по: *Киселев Б.* Рассказы о Куприне. М.: Советский писатель, 1964. С. 148.

[100] Там же. С. 149.

[101] *Фидлер Ф. Ф.* Из мира литераторов: Характеры и суждения. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 477.

[102] *Куприна-Иорданская М. К.* Годы молодости. М.: Советский писатель, 1960. С.149–150.

[103] Цит. по: *Киселев Б.* Рассказы о Куприне. М.: Советский писатель, 1964. С. 150.

[104] Литературное наследство. Т. 68. «Чехов». М.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 393.

[105] *Бунин И. А.* Письма 1885–1904 годов // http://az.lib.ru/b/bunin_i_a/text_1904_letters.shtml.

[106] Литературное наследство. Т. 68. «Чехов». М.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 394.

[107] Письмо А. И. Куприна к Ф. Д. Батюшкову от 6 марта 1909 года / Письма А. И. Куприна. 1893–1934 гг. // search.rsl.ru.

[108] Цит. по: А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1960. С. 62.

[109] Из беседы с А. И. Куприным // Литературная газета [Москва]. 1937. 15 июня.

[110] Цит. по: *Киселев Б.* Рассказы о Куприне. М.: Советский писатель, 1964. С. 147.

[111] Литературное наследство. Т. 68. «Чехов». М.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 386.

[112] *Куприна-Иорданская М. К.* Годы молодости. М.: Советский писатель, 1960. С. 115.

[113] Там же. С. 121.

[114] Литературное наследство. Т. 68. «Чехов». М.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 387.

[115] Цит. по: А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1960.

[116] Литературное наследство. Т. 68. «Чехов». М.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 369.

[117] Цит. по: А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1960.

[118] Литературное наследство. «Горький и Леонид Андреев». Неизданная переписка. Т. 72. М.: Наука, 1965. С. 218.

[119] Цит. по: *Куприна К. А.* Куприн — мой отец. М.: Советская Россия, 1971. С. 23.

[120] Литературное наследство. «Горький и Леонид Андреев». Неизданная переписка. Т. 72. М.: Наука, 1965. С. 239.

[121] *Мартынов Е. И.* Из печального опыта русско-японской войны. Цит. по: *Шишов А. В.* Неизвестные страницы русско-японской войны, 1904–1905. М.: Вече, 2004.

[122] Цит. по: *Куприна К. А.* Куприн — мой отец. 2-е изд., испр. и доп. М.: Художественная литература, 1979.

[123] *Фидлер Ф. Ф.* Из мира литераторов: Характеры и суждения. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 386.

[124] Там же.

[125] *Куприна-Иорданская М. К.* Годы молодости. 2-е изд. М.: Художественная литература, 1966.

[126] *Сергеев-Ценский С. Н.* Воспоминания // МОЛ [Московская организация литераторов]. М., 2007. № 2.

[127] *Дрозд-Боњячевский А. И.* «Поединок» с точки зрения строевого офицера. СПб.: Типография Главного управления уделов, 1910. С. 1.

[128] *Чуковский К. И.* Собрание сочинений: В 15 т. М.: Терра, 2008. Т. 14. С. 66.

[129] Цит. по: *Кулешов Ф. И.* Хроника жизни и творчества А. И. Куприна // kuprin.velchel.ru

[130] *Ошарова Т.* Куприн в работе над финалом «Поединка» // Русская литература [Ленинград]. 1966. № 3.

[131] *Фидлер Ф. Ф.* Из мира литераторов: Характеры и суждения. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 428.

[132] Цит. по: *Нинов А.* Бунин в «Знании» // Русская литература [Ленинград]. 1964. № 1. С. 192.

[133] *Фидлер Ф. Ф.* Из мира литераторов: Характеры и суждения. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 398.

[134] Письмо А. И. Куприна к Максиму Горькому от 5 мая 1905 года. Цит. по: *Кулешов Ф. И.* Хроника жизни и творчества А. И. Куприна // kuprin.velchel.ru

[135] *Куприна-Иорданская М. К.* Годы молодости. 2-е изд. М.: Художественная литература, 1966.

[136] *Фидлер Ф. Ф.* Из мира литераторов: Характеры и суждения. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 410–411.

[137] Там же. С. 397.

[138] Там же. С. 399.

[139] *Федоров В.* По поводу «Поединка» Куприна. 2-е изд. СПб.: Типография «Россия», 1907. С. 3.

[140] Цит. по: *Корецкая И.* Примечания / *Куприн А. И.* Собрание сочинений: В 9 т. Т. 4. М.: Правда, 1964.

[141] Там же.

[142] Из беседы с Максимом Горьким // Биржевые ведомости [Санкт-Петербург]. 1905. 22 июня. № 8888. Вечерний выпуск. Интервьюировал Горького балаклавский «найденыш» Вася Регинин-Раппопорт.

[143] *Луначарский А.* О чести // Правда. 1905. Сентябрь — октябрь. С. 174.

[144] *Шапошников Б. М.* Воспоминания. Военно-научные труды. М.: Воениздат, 1974.

[145] Цит. по: *Корецкая И.* Примечания // *Куприн А. И.* Собрание сочинений: В 9 т. Т. 4. М.: Правда, 1964.

[146] РГВИА. Д. 85. Оп. 2. Ф. 2214.

[147] Первая боевая организация большевиков. 1905–1907 гг. Статьи, воспоминания и документы / Сост. С. М. Познер, с предисл. М. Горького. М.: Старый большевик, 1934.

[148] *Карповіч М., Крочек Я.* Цікаві спогаді про «Поєдинок» (нове про О. І. Купріна) // Радянське Поділля [Хмельницкий]. 1960. № 206. 16 октября.

[149] *Фидлер Ф. Ф.* Из мира литераторов: Характеры и суждения. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 434.

[150] *Гешаев Муса.* Знаменитые ингуши // http://www.ingush.ru/jzl12.asp.

[151] Цит. по: *Куприн А. И.* Пестрая книга: Несобранное и забытое / Сост., вступ. и прим. Т. А. Каймановой. Пенза, 2015. С. 258.

[152] *Дрозд-Боңячевский А. И.* «Поединок» с точки зрения боевого офицера. СПб.: Типография Главного управления уделов, 1910. С. 11.

[153] Там же. С. 7.

[154] Там же. С. 12–13.

[155] *Бунин И.* Перечитывая Куприна // Современные записки [Париж]. 1938. LXVII. С. 309.

[156] *Бар. Людмила Врангель.* Воспоминания и стародавние времена. Вашингтон: Изд-во книжного магазина Victor Kamkin, Inc., 1964. С. 48.

[157] *Заикин И.* В воздухе и на арене. Куйбышевское книжное изд-во, 1966. С. 138–139.

[158] Там же.

[159] Голос минувшего. 1923. № 3. С. 15.

[160] *Толстой Л. Н.* Полное собрание сочинений. В 90 т. Т. 76. «Письма: 1905 (июль – декабрь) – 1906)». М.: Художественная литература, 1956. С. 43.

[161] Московские ведомости. 1905. № 137.

[162] Русский вестник. 1905. Т. 297. № 6. С. 689, 726.

[163] *Чуковский К. И.* Куприн / *Чуковский К.* Современники. М.: Молодая гвардия, 1967. С. 169.

[164] *Куприна-Иорданская М. К.* Годы молодости. 2-е изд. М.: Художественная литература, 1966.

[165] Цит. по: *Фонякова Н. Н.* Куприн в Петербурге — Ленинграде. Л.: Лениздат, 1986. С. 76.

[166] *Куприна-Иорданская М. К.* Годы молодости. 2-е изд. М.: Художественная литература, 1966.

[167] *Горький М.* Собрание сочинений: В 30 т. Т. 28. С. 376.

[168] *Фидлер Ф. Ф.* Из мира литераторов: Характеры и суждения. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 409.

[169] *Бунин И. А.* Письма 1885—1904 годов // http://az.lib.ru/b/bunin_i_a/text_1904_letters.shtml

[170] Негативы! // Крымский курьер [Ялта]. 1905. № 180.

[171] Цит. по: *Фонякова Н. Н.* Куприн в Петербурге — Ленинграде. Л.: Лениздат, 1986. С. 79.

[172] *Аспиз Е. М.* А. И. Куприн в Балаклаве // Крым. Литературно-художественный альманах Крымского отделения Союза писателей Украины. № 23. Симферополь: Крымиздат, 1959. С. 132.

[173] Там же. С. 133.

[174] Там же. С. 133—134.

[175] Цит. по: *Муромцева-Бунина В. Н.* Жизнь Бунина // az.lib.ru

[176] См.: Новая жизнь. 1905. № 1, 4, 12, 18.

[177] См: *Регинин В.* Редактирует Ильич // Рабоче-крестьянский корреспондент [Москва]. 1967. № 4. С. 22–26. Ленин прибыл в Россию в ноябре 1905 года; участвовал в руководстве газетой с девятого номера.

[178] *Шмидт-Очаковский Е.* Лейтенант Шмидт («Красный адмирал»). Воспоминания сына. Одесса: КП ОГТ, 2006. С. 163.

[179] *Аспиз Е. М.* А. И. Куприн в Балаклаве // Крым. Литературно-художественный альманах Крымского отделения Союза писателей Украины. № 23. Симферополь: Крымиздат, 1959. С. 134.

[180] Там же. С. 135.

[181] Цит. по: *Вержбицкий Н. К.* Встречи с Куприным. Пенза: Пензенское книжное изд-во, 1961.

[182] «Последние известия». 1905. 20 декабря. Цит. по: starosti.ru

[183] *Чуковский К. И.* Собрание сочинений: В 15 т. М.: Терра, 2008. Т. 14. С. 72.

[184] *Фидлер Ф. Ф.* Из мира литераторов: Характеры и суждения. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 434.

[185] *Аспиз М.* Очерк об отце // Лехаим [Москва]. 1999. Сентябрь.

[186] *Регинин Вас.* Куприн о своих планах // Биржевые ведомости [Санкт-Петербург]. 1909. 28 февраля. № 10984.

[187] *Аспиз Е. М.* А. И. Куприн в Балаклаве // Крым. Литературно-художественный альманах Крымского отделения Союза писателей Украины. № 23. Симферополь: Крымиздат, 1959. С. 135.

[188] *Тарусский Е.* «Поручик Куприн» // Иллюстрированная Россия [Париж]. 1938. 10 сентября. № 38(696). С. 9—10.

[189] Цит. по: Неопубликованные письма Д. Н. Мамина-Сибиряка 1892—1908 гг. // Литературный квартал [Екатеринбург]. 2010. № 7, 8 (20—21). С. 102.

[190] Цит. по: *Рогозина Н. М.* Воспоминания А. М. Федорова об А. И. Куприне (по неопубликованным материалам очерка «А. И. Куприн») // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2013. Т. 1. № 1. С. 28.

[191] Цит. по: Неопубликованные письма Д. Н. Мамина-Сибиряка 1892–1908 гг. // Литературный квартал [Екатеринбург]. 2010. № 7, 8 (20–21). С. 108.

[192] Там же. С. 110.

[193] Цит. по: Неопубликованные письма Д. Н. Мамина-Сибиряка 1892–1908 гг. // Литературный квартал [Екатеринбург]. 2010. № 7, 8 (20–21). С. 114.

[194] *Куприна К. А.* Куприн — мой отец. М.: Советская Россия, 1971. С. 24.

[195] Литературное наследство. Т. 84. «Иван Бунин». М.: Наука, 1973. С. 173.

[196] Там же.

[197] Цит. по: *Куприна-Иорданская М. К.* Годы молодости. 2-е изд. М.: Художественная литература, 1966.

[198] Дневник К. И. Чуковского // e-libra.ru

[199] Цит. по: *Куприна К. А.* Куприн — мой отец. М.: Советская Россия, 1971. С. 26–27.

[200] Цит. по: *Куприна-Иорданская М. К.* Годы молодости. 2-е изд. М.: Художественная литература, 1966.

[201] *Чуковский К. И.* Собрание сочинений: В 15 т. М.: Терра, 2008. Т. 14. С. 124.

[202] *Фидлер Ф. Ф.* Из мира литераторов: Характеры и суждения. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 464.

[203] Неопубликованные письма Д. Н. Мамина-Сибиряка 1892–1908 гг. // Литературный квартал [Екатеринбург]. 2010. № 7, 8 (20–21). С. 114.

[204] Цит. по: *Куприна К. А.* Куприн — мой отец. М.: Советская Россия, 1971. С. 26.

[205] *Адамович Г.* О Куприне // Звено [Париж]. 1924. 18 февраля. № 55.

[206] *Аничков Е.* Allez! А. Куприн. Т. III. Книгоиздательство «Мир Божий». СПб., 1907 // Весы [Москва]. 1907. № 2. С. 70.

[207] Письмо А. И. Куприна к Ф. Д. Батюшкову от 21 сентября 1906 года / Письма А. И. Куприна. 1893–1934 гг. // search.rsl.ru.

[208] *Александров Ростислав [Розенбойм А. Ю].* Волшебная скрипка короля // Дерибасовская-Ришельевская. Одесский альманах. 2014. № 59. С. 90–91.

[209] *Лазаревский Б.* Куприн и будущее // Театр и жизнь [Париж]. 1928. Декабрь. № 2. С. 2.

[210] Письмо Н. Констанди А. Куприну // Музей героической обороны и освобождения Севастополя. НВ. 3725.

[211] Цит. по: *Куприна К. А.* Куприн — мой отец. М.: Советская Россия, 1971.

[212] *Вержбицкий Н. К.* Встречи с А. И. Куприным. Пенза: Пензенское книжное изд-во, 1961.

[213] *Куприна-Иорданская М. К.* Годы молодости. 2-е изд. М.: Художественная литература, 1966.

[214] Цит. по: *Фонякова Н. Н.* Куприн в Петербурге — Ленинграде. Л.: Лениздат, 1986. С. 115.

[215] *Давыдова Л., Давыдов О.* Страницы истории. Биографическая хроника семьи Давыдовых. Варшава, 2000. С. 34.

[216] Там же. С. 178.

[217] *Чуев Ф.* Сто сорок бесед с Молотовым: Из дневника Ф. Чуева. М.: Терра, 1991.

[218] *Максим Горький.* Разрушение личности // Очерки философии коллективизма. Сборник 1. СПб., 1909.

[219] Письмо М. Горького к М. Неведомскому (Миклашевскому).

[220] *Лазаревский Б. А.* Дневник. 1921 // Památník národního písemnictví. Fond Lazarevskij B. A. C. prir. 96/43. C. 201—202.

[221] Цит. по: *Галеева Рамзия.* Миром движет любовь. К 140-летию А. И. Куприна // Литературный квартал. Журнал Объединенного музея писателей Урала [Екатеринбург]. 2010. № 7—8. С. 94.

[222] *Регинин Вас.* Куприн о своих планах // Биржевые ведомости [Санкт-Петербург]. 1909. 28 февраля. № 10984.

[223] Цит. по: *Гринкевич Н.* Строки, имена, судьбы... Алма-Ата: Онер, 1988.

[224] *Мих. С.* В гостях у А. И. Куприна // Петербургская газета. 1909. 9 июня. № 155.

[225] Цит. по: *Ротштейн Э. М.* Материалы к биографии А. И. Куприна // *Куприн А. И.* Забытые и несобранные произведения. Пенза: Пензенское областное изд-во, 1950. С. 300.

[226] Там же.

[227] *Чуковский К. И.* // Речь [Санкт-Петербург]. 1909. № 161. 15 июня.

[228] Карикатура художника Калабановского // Новое время. 1909. 25 июля/7 августа. № 11985.

[229] *Ю-в.* Власть «ямы» // Иллюстрированное приложение к «Новому времени» [Санкт-Петербург]. 1909. 9(22) мая. № 11909.

[230] *Ptyx [Садовский Б. А.].* Не оступитесь! (Нечто о «Яме» Куприна) // Весы [Москва]. 1909. № 6.

[231] Неопубликованные воспоминания Андрея Задонского «Автор “Поединка”» цитируются по: *Костриця М. Ю., Мокрицький Г. П.* У просторі і часі. Видатні постаті Житомирщині. Житомир: Журфонд, 1995. С. 144—145.

[232] Письмо И. А. Бунина к А. И. Куприну от 22 мая 1909 года. Цит. по: Неопубликованные письма И. А. Бунина / Публикация А. Бабореко // Русская литература [Ленинград]. 1963. № 2. С. 182—183.

[233] Письмо И. А. Бунина к П. Нилусу от 10 июня 1910 года. Цит. по: Письма Бунина Нилусу (Публикация А. К. Бабореко) // Русская литература [Ленинград]. 1979. № 2. С. 147.

[234] *Бунин И. А.* О Чехове // az.lib.ru

[235] Цит. по: *Кулешов Ф. И.* Творческий путь А. И. Куприна. Минск: Изд-во БГУ им. В. И. Ленина, 1983.

[236] *Куприна-Иорданская М. К.* Годы молодости. 2-е изд. М.: Художественная литература, 1966.

[237] Киевские вести. 1909. 14 июня. № 449.

[238] Беседа с А. И. Куприным. От нашего петерб. <ургского> корреспондента // Саратовский листок. 1910. 22 января. № 17.

[239] *Гольденвейзер А. Б.* Вблизи Толстого. Т. 1. М., 1922. С. 303, 304.

[240] *Куприна-Иорданская М. К.* Годы молодости. 2-е изд. М.: Художественная литература, 1966.

[241] Письмо В. Гофмана к сестре Л. В. Гофман от 10 июля 1909 года // РГБ. Ф. 560. Карт. 1. Ед. хр. 9. Предоставлено Н. Б. Черепановой.

[242] Письмо В. Гофмана к А. А. Шемшурину от 22 августа 1909 года. Там же. Предоставлено Н. Б. Черепановой.

[243] ГАЖО [Государственный архив Житомирской области]. Ф. 1. Оп. 77. Д. 1670. Л. 78 об. – 79. Информация предоставлена И. В. Александровым.

[244] А. И. Куприн о своем аресте // Волынь [Житомир]. 1909. 8 сентября. № 246.

[245] *Куприна К. А.* Куприн — мой отец. М.: Советская Россия, 1971. С. 36.

[246] См.: *Цветков А.* Ключи к тайнам Куприна. Пенза, 2013. С. 149.

[247] *Заикин И.* В воздухе и на арене. Куйбышев: Куйбышевское книжное изд-во. С. 30.

[248] Цит. по: *Берков П. Н.* Александр Иванович Куприн. М.: Изд-во АН СССР, 1956.

[249] Куприн под водой // Петербургская газета. 1909. 4 ноября. № 301.

[250] *С. Я.* Беседа с А. И. Куприным // Одесские новости. 1909. 8 октября. № 7934.

[251] *Ходотов Н. Н.* Близкое — далекое. Л.; М.: Искусство, 1962.

[252] Письмо А. И. Куприна к Ф. И. Батюшкову от 21 октября 1909 года // Письма А. И. Куприна. 1893–1934 гг. // search.rsl.ru.

[253] Цит. по: *Ротштейн Э.* Материалы к биографии А. И. Куприна / *Куприн А. И.* Забытые и несобранные произведения. Пенза: Пензенское областное изд-во, 1950. С. 303.

[254] *Ходотов Н. Н.* «Госпожа» Пошлость. СПб.: Типография Главного управления уделов, 1909. С. 45.

[255] Г-жа пошлость актера Ходотова на Александринской сцене // Огонек [Санкт-Петербург]. 1909. 21 ноября/4 декабря. № 47.

[256] *Фидлер Ф. Ф.* Из мира литераторов: Характеры и суждения. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 569.

[257] А. И. Куприн в Риге // Русское слово [Санкт-Петербург]. 1909. 19 ноября.

[258] Цит. по: *Бобров А.* А. И. Куприн в Даниловском // Устюжна: историко-литературный альманах. Вып. 1. Вологда, 1992.

[259] Там же.

[260] Подробнее см.: *Осьминина Н.* Таинственный браслет // Работница [Москва]. 1991. № 4.

[261] Письмо М. Горького к Е. К. Малиновской. 1911 год. Март. Без даты.

[262] Горький и русская журналистика начала XX века. Неизданная переписка. Литературное наследство. Т. 95. М.: Наука, 1988.

[263] Цит. по: *Кайманова Т.* Что в секретном шкафу Куприна? // Сура [Пенза]. 2010. № 4. С. 171.

[264] Подробнее см.: *Буруковская Татьяна.* В нем дивно все переплелось... // Уральский следопыт [Свердловск]. 1986. № 5. С. 55.

[265] *Куприна-Иорданская М. К.* Годы молодости. 2-е изд. М.: Художественная литература, 1966.

[266] Письмо В. А. Жуковского к С. Л. Пушкину от 15 февраля 1837 года // *Жуковский В. А.* Избранное. М.: Правда, 1986. С. 493.

[267] Письмо А. И. Куприна к Ф. Д. Батюшкову от 21 ноября 1910 года / Письма А. И. Куприна. 1893—1934 гг. // search.rsl.ru.

[268] *Арсеньева Л.* О Куприне // Грани [Франкфурт-на-Майне]. 1959. № 43.

[269] *Фидлер Ф. Ф.* Из мира литераторов: Характеры и суждения. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 546.

[270] Новые нравы // Новое время [Санкт-Петербург]. Иллюстрированное приложение. 1911. 22 января/4 февраля. № 12523.

[271] *Фидлер Ф. Ф.* Из мира литераторов: Характеры и суждения. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 588.

[272] Там же. С. 589.

[273] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. Феодосия-Москва: Издательский дом «Коктебель», 2005. С. 38.

[274] *Грошиков Ф.* А. И. Куприн в Гатчине // Гатчинская правда. 1963. 16 июня.

[275] Горький и русская журналистика начала XX века. Неизданная переписка. Т. 95. М.: Наука, 1988.

[276] Там же.

[277] *Граф Амори.* Предисловие // *Граф Амори.* «Финал». Роман из современной жизни. Окончание произведения «Яма» А. Куприна. СПб.: Издание книжной торговли Н. И. Холмушина, 1914. С. 5.

[278] Горький и русская журналистика начала XX века. Неизданная переписка. Т. 95. М.: Наука, 1988.

[279] Там же.

[280] *Сергеев-Ценский С. Н.* Воспоминания // МОЛ [Московская организация литераторов]. М., 2007. № 2.

[281] *Фидлер Ф. Ф.* Из мира литераторов: Характеры и суждения. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 567.

[282] Там же. С. 568.

[283] *Борисов Л.* За круглым столом прошлого. Л.: Лениздат, 1971. С. 7.

[284] *Алданов М.* Памяти А. И. Куприна // Современные записки [Париж]. 1938. LXVII. С. 219–220.

[285] *Хохлов Е.* Гатчинские дни (Из воспоминаний о Куприне) // Иллюстрированная Россия [Париж]. 1938. 10 сентября. № 38(696). С. 12.

[286] *Горышин Г.* «Как вас с такими глазами не расстреляли?» (К 100-летию И. С. Соколова-Микитова) // Русская литература [Ленинград]. 1992. № 2. С. 177.

[287] *Зозуля Е. Д.* Сатириконцы / Вступ. ст., подг. текста, коммент. Д. В. Неустроева // Русская литература [Санкт-Петербург]. 2005. № 3.

[288] *Тэффи.* Моя летопись. М.: Вагриус, 2004.

[289] *Крымов Вл.* Из кладовой писателя. Париж, 1951.

[290] *Сергеев-Ценский С. Н.* Воспоминания // МОЛ [Московская организация литераторов]. М., 2007. № 2.

[291] *Рогов С.* Как Шаляпин «отпевал» Куприна // Иллюстрированная Россия [Париж]. 1938. 10 сентября. № 38(696). С. 14.

[292] *Вержбицкий Н. К.* Встречи с А. И. Куприным. Пенза: Пензенское книжное изд-во, 1961.

[293] Цит. по: *Серебрякова Н. Ю.* А. И. Куприн и А. В. Руманов — знаменитые гатчинцы начала XX века // Сирень: Сборник-посвящение Александру Ивановичу Куприну. Гатчина, 2005. С. 63.

[294] Письмо А. И. Куприна Л. Борисову. Цит. по: *Лилин В.* Александр Иванович Куприн. Л., 1975. С. 86.

[295] Цит. по: *Кислов Владислав.* Гатчина и гатчинцы в Великой войне (1914–1918). Очерк третий // www.kraeved-gatchina.de

[296] *Куприн А.* О войне // Литературно-художественный альманах «Война» [Москва]. 1914.

[297] *Кручинин Н.* У А. И. Куприна // Биржевые ведомости [Петроград]. 1914. 16 октября. № 14440.

[298] Интервью // Новь. 1914. 13 ноября. № 3.

[299] *Тарусский Евг.* «Поручик Куприн» // Иллюстрированная Россия [Париж]. 1938. 10 сентября. № 38(696). С. 9.

[300] Именной список г.г. офицеров 323-ей пешей Новгородской дружины // РГВИА. Ф. 14369. Оп. 1. Д. 7. Л. 110 об. – 111.

[301] *Тарусский Евг.* «Поручик Куприн» // Иллюстрированная Россия [Париж]. 1938. 10 сентября. № 38(696). С. 9.

[302] Там же.

[303] Там же. С. 10.

[304] Письмо А. И. Куприна к Н. Д. Телешову. Цит. по: *Куприна К. А.* Куприн — мой отец. М.: Советская Россия, 1977. С. 64.

[305] Цит. по: *Hellman Benn.* Aleksandr Kuprin and Finland // Встречи и столкновения. Статьи по русской литературе. Helsinki, 2009. С. 134. Перевод с английского языка наш. — *В. М.*

[306] РГВИА. Ф. 14369. Оп. 1. Д. 7. Л. 248.

[307] Цит. по: *Куприна К. А.* Куприн — мой отец. М.: Советская Россия, 1971. С. 65.

[308] Цит. по: *Hellman Benn.* Aleksandr Kuprin and Finland // *Hellman Benn.* Встречи и столкновения. Статьи по русской литературе. Helsinki, 2009. С. 136.

[309] Цит. по: *Кислов Владислав.* Гатчина и гатчинцы в Великой войне (1914–1918). Очерк третий // www.kraeved-gatchina.de.

[310] *Фидлер Ф. Ф.* Из мира литераторов: Характеры и суждения. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 695.

[311] *Куприна К. А.* Куприн — мой отец. М.: Советская Россия, 1971. С. 66.

[312] *Киселев Б. М.* Рассказы о Куприне. М.: Советский писатель, 1964. С. 164.

[313] *Брагин А.* В Ставке, в 1917 году... Как А. И. Куприн редактировал «Известия» штаба Верховного Главнокомандующего // Иллюстрированная Россия [Париж]. 1938. 10 сентября. № 38(696). С. 11.

[314] *Ильин В. [Ульянов В. И.]* Еще одно уничтожение социализма // Современный мир [Санкт-Петербург]. 1914. № 3.

[315] *Пильский П.* О Куприне // Сегодня [Рига]. 1937. № 153.

[316] Освобождение В. В. Муйжеля // Наш век [Петроград]. 1918. № 111. Цит. по: *Кайманова Т.* Примечания / А. И. Куприн. Пестрая книга (Несобранное и забытое). Пенза, 2015. С. 572.

[317] Цит. по: *Кислов Владислав.* Гатчина и гатчинцы в Великой войне (1914—1918). Очерк шестнадцатый // kraeved-gatchina.de

[318] Аресты и обыски // Наш век [Петроград]. 1918. № 106.

[319] Цит. по: *Ширмаков П. П.* А. И. Куприн и газета «Земля» (К истории встречи А. И. Куприна с В. И. Лениным 25 декабря 1918 года) // Русская литература [Ленинград]. 1970. № 4. С. 148.

[320] Там же.

[321] *Горький М.* В. И. Ленин // www.tov.lenin.ru

[322] Цит. по: *Фонякова Н. Н.* Куприн в Петербурге — Ленинграде. Л.: Лениздат, 1986. С. 202.

[323] Из беседы с А. И. Куприным // Литературная газета [Москва]. 1937. 15 июня.

[324] Цит. по: *Муромский В. П.* Союз деятелей художественной литературы (1918–1919 годы) // Русская литература [Ленинград]. 1995. № 2. С. 217.

[325] Цит. по: *Ширмаков П. П.* А. И. Куприн и газета «Земля» (К истории встречи А. И. Куприна с В. И. Лениным 25 декабря 1918 года) // Русская литература [Ленинград]. 1970. № 4. С. 141.

[326] Там же.

[327] *Алданов М.* Памяти А. И. Куприна // Современные записки [Париж]. 1938. LXVII. С. 321.

[328] *Бедный Д.* История одной беспартийной газеты // Известия ВЦИК [Москва]. 16 ноября 1919. № 257.

[329] Дневник К. И. Чуковского // e-libra.ru

[330] Чукоккала. Рукописный альманах Корнея Чуковского. М.: Русский путь, 2006. С. 300.

[331] Письмо А. И. Куприна к Е. А. Ляцкому. 1920 год. Без даты / Письма А. И. Куприна. 1893–1934 гг. // search.rsl.ru.

[332] Цит. по: *Куприна К. А.* Куприн — мой отец. 2-е изд. М.: Художественная литература, 1979.

[333] Дневник К. И. Чуковского // e-libra.ru

[334] *Слонимский Мих.* Завтра: Проза. Воспоминания. Л.: Советский писатель, Ленинградское отделение, 1987.

[335] Письмо А. И. Куприна к Е. А. Ляцкому. 1920 год. Без даты // Письма А. И. Куприна. 1893–1934 гг. // search.rsl.ru.

[336] *Иорданская М.* Эмиграция и смерть Леонида Андреева (Воспоминания) // Родная Земля [Нью-Йорк]. 1920. Сборник первый.

[337] *Давыдова Л., Давыдов О.* Страницы истории. Биографическая хроника семьи Давыдовых. Варшава, 2000. С. 34.

[338] Слова В. Д. Кузьмина-Караваева. Цит. по: *Григорков Ю.* А. И. Куприн (Мои воспоминания) / Дальние берега. Портреты писателей эмиграции. М.: Республика, 1994.

[339] *Вержбицкий Н. К.* Встречи с А. И. Куприным. Пенза: Пензенское книжное изд-во, 1961.

[340] Там же.

[341] *Слонимский Мих.* Завтра: Проза. Воспоминания. Л.: Советский писатель, Ленинградское отделение, 1987.

[342] Цит. по: *Вержбицкий Н. К.* Встречи с А. И. Куприным. Пенза: Пензенское книжное изд-во, 1961.

[343] Цит. по: Интервью с писателем А. И. Куприным // *Куприн А. И.* Мы, русские беженцы в Финляндии... /Сост., вступ. ст. и коммент. Б. Хеллмана при участии Р. Дэвиса. СПб.: Журнал «Нева», 2001. С. 23.

[344] Там же.

[345] Там же.

[346] *Григорков Ю.* А. И. Куприн (Мои воспоминания) / Дальние берега. Портреты писателей эмиграции. М.: Республика, 1994.

[347] *Животовский С.* Листки из альбома: В вагоне // Рассвет [Гельсингфорс]. 1920. 10 января. № 6.

[348] Письмо А. И. Куприна к И. Е. Репину от 14 января 1920 года // Письма А. И. Куприна. 1893–1934 гг. // search.rsl.ru.

[349] Цит. по: *Куприна К. А.* Куприн — мой отец. М.: Советская Россия, 1971.

[350] Цит. по: *Hellman Benn*. Aleksandr Kuprin and Finland // *Hellman Benn*. Встречи и столкновения. Статьи по русской литературе. Helsinki, 2009. С. 144. Перевод с английского языка наш. — *В. М.*

[351] Письмо А. И. Куприна к Е. А. Ляцкому от 31 августа 1920 года // Письма А. И. Куприна. 1893–1934 гг. // search.rsl.ru.

[352] Цит. по: *Hellman Benn*. Aleksandr Kuprin and Finland // *Hellman Benn*. Встречи и столкновения. Статьи по русской литературе. Helsinki, 2009. С. 143.

[353] *Б. Ц.* Из беседы с А. И. Куприным // Общее дело [Париж]. 1920. 16 июля. № 79.

[354] Письмо А. И. Куприна к Б. А. Лазаревскому (1920) / Письма А. И. Куприна. 1893–1934 гг. // search.rsl.ru.

[355] *Фальковский Ф. И.* Репин перед смертью // ilyarepin.ru

[356] Выход Куприна из «Общего дела» // Путь [Гельсингфорс]. 1921. 24 августа. № 153.

[357] Куприн в «Общей яме» // Путь [Гельсингфорс]. 1921. 11 сентября. № 169.

[358] Цит. по: *Куприна К. А.* Куприн — мой отец. М.: Советская Россия, 1971. С. 208.

[359] *Лазаревский Б. А.* Дневник. 1921 // Památník národního písemnictví. Fond Lazarevskij B. A. C. prír. 96/43. C. 5–22.

[360] Там же. С. 84.

[361] *Грин Н. Н.* Воспоминания об Александре Грине. Феодосия — Москва: Издательский дом «Коктебель», 2005. С. 38.

[362] *Лазаревский Б. А.* Дневник. 1921 // Památník národního písemnictví. Fond Lazarevskij B. A. C. prír. 96/43. C. 161–164.

[363] Там же. С. 165–200.

[364] *Тэффи.* Моя летопись. М.: Вагриус, 2004.

[365] Цит. по: *Куприна К. А.* Куприн — мой отец. М.: Советская Россия, 1971. С. 136.

[366] *Рощин Н.* Мой Куприн // Возрождение [Париж]. 1938. 16 сентября.

[367] *Берберова Н. Н.* Курсив мой. М.: Согласие, 1999.

[368] *Городецкая Н.* В гостях у А. И. Куприна // Возрождение [Париж]. 1930. 16 декабря. № 2023.

[369] Цит. по: *Куприна-Иорданская М. К.* Годы молодости. М.: Советский писатель, 1960.

[370] Цит. по: Письмо А. Н. Толстого о Бунине // Литературное наследство. Т. 84. «Бунин». М.: Наука. С. 391.

[371] *Бунин Ив.* Российская человечина // Возрождение [Париж]. 1925. 7 ноября. № 158.

[372] *Сургучев И.* О Куприне // Театр и жизнь [Париж]. 1928. Декабрь. № 2. С. 1.

[373] Куприн среди сербов // Возрождение [Париж]. 1928. 3 октября.

[374] Устами Буниных // az.lib.ru

[375] *Лидин В. Г.* Друзья мои — книги. М.: Искусство, 1962.

[376] Россия в Пасси и Отейль // Возрождение [Париж]. 1925. 14 декабря. № 195.

[377] *Рощин Н.* Я. Мой Куприн / Публ. Л. Г. Голубевой // Москва [Москва]. 1999. № 8. С. 175–188.

[378] *Рощин Н.* О Куприне // Возрождение [Париж]. 1937. 18 июня. № 4083.

[379] См., напр.: *Куприн А.* Бал северо-западников // Возрождение [Париж]. 1932. 28 октября.

[380] *Куприн А.* Стихотворение Александровца выпуска 1890 го-

да. 23 апреля 1926 года в Париже // Александровец [Варна]. 1929. Ноябрь. № 23.

[381] Александровец. 1930. № 36.

[382] *Тарусский Евг.* Юнкера // Часовой [Париж]. 1932. 15 ноября. № 92. С. 23–24.

[383] Там же.

[384] *Гр. А. Д. [Краснов П. Н.]* Литературные заметки // Русский инвалид [Париж]. 1933. № 51.

[385] Там же.

[386] *Генерал А. И. Деникин.* Старая армия. Париж: Родник, 1929.

[387] Письмо А. И. Куприна к Е. А. Ляцкому от 7 марта 1920 года // Письма А. И. Куприна. 1893–1934 гг. // search.rsl.ru.

[388] *Городецкая Н.* И. А. Бунин в «Возрождении» // Возрождение [Париж]. 1933. 17 ноября. № 3090.

[389] Письмо А. И. Куприна к И. М. Заикину. 1927 год // search.rsl.ru.

[390] Письмо А. А. Швецовой к Г. Д. Гребенщикову. Октябрь 1950 года // Immigration History Research Center, College of Liberal Arts, University of Minnesota. Series 3. Subseries 4. Box 37. Материал предоставлен М. К. Макаровым (Версаль).

[391] Письмо А. А. Швецовой к Г. Д. Гребенщикову от 4 июля 1950 года // Immigration History Research Center, College of Liberal Arts, University of Minnesota. Series 3. Subseries 4. Box 37. Материал предоставлен М. К. Макаровым (Версаль).

[392] *Рощин Н.* Мой Куприн // Возрождение [Париж]. 1938. 23 сентября.

[393] Цит. по: Комментарии (Сост. Л. И. Давыдова) // *Куприна-Иорданская М. К.* Годы молодости. М.: Художественная литература, 1966.

[394] *Тэффи.* Моя летопись. М.: Вагриус, 2004.

[395] *Пильский Петр.* О Куприне // Сегодня [Рига]. 1937. № 153.

[396] *Гладков Александр.* Из дневников // www.nasledie-rus.ru

[397] Здесь и далее документы по «купринскому делу» цитируются по: *Цветков А.* «Тосковал Куприн по России, а приехал в СССР». К вопросу о последних произведениях А. И. Куприна // Сирень: Сборник-посвящение Александру Ивановичу Куприну. Гатчина, 2005. С. 89–91.

[398] Письмо Н. Берберовой от 21 июня 1937 года. Цит. по: *Ходасевич В. Ф.* Собрание сочинений: В 4 т. М.: Согласие, 1997. Т. 4. Некрополь. Воспоминания. Письма. С. 312.

[399] *Лехович Д.* Белые против красных. М., 1992. С. 294–295.

[400] Переиздают Куприна // Возрождение [Париж]. 1937. 20 марта. № 4070.

[401] Сообщение ТАСС // Правда [Москва]. 1937. 30 мая. № 148.

[402] Дневник Елены Булгаковой. М.: Изд-во «Книжная палата», 1990. С. 140.

[403] Цит. по: *Храбровицкий А. В.* Куприн в 1937 году // Минувшее [Париж]. 1988. Т. 5. С. 357–358.

[404] Цит. по: «Служить Родине приходится костями...». Дневник Н. В. Устрялова, 1935–1937 гг. // Источник. 1998. № 5–6.

[405] Здесь и далее письма Е. М. Куприной к дочери цитируются по: *Фролов П. А.* А. И. Куприн и Пензенский край. Саратов: Приволжское книгоиздательство (Пензенское отделение), 1984.

[406] Цит. по: *Варламов А. Н.* Алексей Толстой. М.: Молодая гвардия, 2008. Серия «Жизнь замечательных людей».

[407] Дневник К. И. Чуковского // cool.lib

[408] *Катаев В.* Творчество Александра Куприна // Огонек [Москва]. 1954. № 22.

[409] *А. С. [Андрей Седых].* Как А. И. Куприн вернулся в Москву. И. Бунин, М. Алданов, Н. Тэффи, А. Ремизов, Д. Мережковский, З. Гиппиус о возвращении Куприна в Советскую Россию // Последние новости [Париж]. 1937. 2 июня. № 5912.

[410] Там же.

[411] *Л. КО.* У Куприна // Литературная газета [Москва]. 1937. 5 июня. № 30(666).

[412] А. И. Куприн в Москве // Возрождение [Париж]. 1937. 11 июня. № 4082.

[413] *Седых А.* Заметки о Куприне // Иллюстрированная Россия [Париж]. 1938. 10 сентября. № 38(696). С. 7.

[414] Там же.

[415] *Т. А.* Свободная трибуна // Возрождение [Париж]. 1937. 11 июня. № 4082.

[416] Из беседы с А. И. Куприным // Литературная газета [Москва]. 1937. 15 июня. № 32(668).

[417] *Дружников Юрий.* Куприн в дегте и патоке // Новое русское слово [Нью-Йорк]. 1989. 24 февраля.

[418] Цит. по: Ученик чародея: Книга об Эрасте Гарине / Сост., подгот. текста, коммент. А. Ю. Хржановского. М.: Издательский дом «Искусство», 2004.

[419] *Фролов П. А.* А. И. Куприн и Пензенский край. Саратов: Приволжское книжное изд-во (Пензенское отделение), 1984. С. 130.

[420] Завещание А. И. Куприна // ОР РГБ. Ф. 392. К. 2. Ед. хр. 1.

[421] *Слонимский Мих.* Завтра: Проза. Воспоминания. Л.: Советский писатель, Ленинградское отделение, 1987.

[422] См.: Kouprine est mort // Le Figaro [Париж]. 1938. 26 августа. № 238.

[423] *Алданов М.* Памяти А. И. Куприна // Современные записки [Париж]. 1938. LXVII. С. 323—324.

[424] *Хохлов Е.* Гатчинские дни. Из воспоминаний о А. И. Куприне // Иллюстрированная Россия [Париж]. 1938. 10 сентября. № 38(696). С. 8.

[425] Цит. по: *Цветков А.* Ключи к тайнам Куприна. Пенза, 2013. С. 182.

[426] См.: *Куприна-Иорданская М. К.* Из воспоминаний о Купри-

не // Огонек [Москва]. 1945. № 36; *Куприна-Иорданская М. К.* Из воспоминаний о Куприне // Огонек [Москва]. 1948. № 38.

[427] РГАЛИ. Ф. 1433 [Регинин В. А.]. Оп. 2. Ед. хр. 198.

[428] *Окулов В. Н.* Явка до востребования. М.: Вече, 2013.

[429] *Никулин Л.* Об одном очерке А. И. Куприна // Огонек [Москва]. 1957. № 34. Август.

[430] Цит. по: *Высоцкая И.* Мой брат Высоцкий. У истоков таланта. М.: Ризалт, 2005.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА А. И. КУПРИНА

1870, 26 августа — в городе Наровчате Пензенской губернии в семье коллежского регистратора Ивана Ивановича Куприна и его жены Любови Алексеевны (в девичестве Колунчаковой) родился сын Александр.

30 августа — крещен в Покровском соборе Наровчата.

1871, 22 августа — остался без отца, умершего от холеры.

1874, не позднее — вместе с матерью оказался в Московском Вдовьем доме.

1876, лето — отдан в Александровское малолетнее сиротское училище («Разумовский пансион»).

1880, август — поступил во 2-ю Московскую военную гимназию, преобразованную в 1882 году во 2-й Московский кадетский корпус.

1888, 4 сентября — принят в 3-е Александровское военное училище в Москве.

1889, 3 декабря — публикация первого рассказа «Последний дебют» в московском журнале «Русский сатирический листок» (№ 48).

1890, 10 августа — выпущен из 3-го Александровского военного училища.

16 августа — зачислен в списки 46-го Днепровского пехотного полка (дислокация в городе Проскурове).

1893, лето — дебютировал в столичном журнале «Русское богатство» (кн. VI и VII) повестью «Впотьмах».

1894, 1 июля — произведен в поручики.

5 августа — Высочайшим приказом зачислен в запас армейской пехоты по Киевскому уезду.

1896, в течение года — вышла первая книга «Киевские типы» (Киев: Типография И. Крыжановского и В. В. Авдюшенко).

1897, 29 мая — познакомился в поселке Люстдорф под Одессой с И. А. Буниным и А. М. Федоровым.

В течение года — вышла вторая книга «Миниатюры: Очерки и рассказы» (Киев: Типография П. Барского).

1901, 13 февраля — познакомился в одесской «Лондонской гостинице» с А. П. Чеховым.

Ноябрь — переехал в Санкт-Петербург, приняв предложение редактировать беллетристический отдел «Журнала для всех».

1902, 3 февраля — обвенчался с Марией Карловной Давыдовой в церкви Святого Благоверного и Великого князя Александра Невского при Михайловском артиллерийском училище в Санкт-Петербурге.

Февраль — март — вместе с редакцией журнала «Мир Божий» переезжает в новую квартиру по адресу: ул. Разъезжая, д. 7, кв. 2.

25 июня — представлен Л. Н. Толстому на борту парохода «Св. Николай» в ялтинском порту.

12 сентября — указом Киевского уездного воинского начальника (№ 15313) уволен в отставку.

Осень — познакомился с Максимом Горьким и Константином Пятницким.

В течение года — вышла вторым изданием книга «Киевские типы» (Киев — СПб. — Харьков: Ф. А. Иогансон).

1903, 3 января — стал отцом (родилась дочь Лидия).

В течение года — вышла книга «Рассказы. Том первый» (СПб.: Издание товарищества «Знание»).

1904, 9 июля — присутствовал на похоронах А. П. Чехова в Москве.

1905, май — в книге VI сборников книгоиздательского товарищества «Знание» опубликована повесть «Поединок».

Сентябрь — декабрь — приобрел в Балаклаве земельный участок, занимается его благоустройством.

15 ноября — стал очевидцем расстрела восставшего крейсера «Очаков» в Севастополе.

Декабрь — снял холостую квартиру на улице Казанской в Санкт-Петербурге.

В течение года — вышли книги: «Une petite garnison russe (Le duel)» (Paris: F. Juven), «Das Duell» (Stuttgart: Deutche Verlags–Anstalt) и др.

1906, в течение года — вышли книги: «Рассказы. Том второй» (СПб.: Издание товарищества «Знание»), «Дознание» (СПб.: Издание товарищества «Знание»), 1 и 2 тома «Собрания сочинений» (СПб.: Мир Божий), «Kaksintaistelu» (Helsinki: Otava), «Pojedynek» (Warszawa) и др.

1907, март — расстался с женой, связав судьбу с Елизаветой Морицовной Гейнрих.

В течение года — вышли книги: «Рассказы. Том третий» (СПб.: Мир Божий), «In honour's name» (London: Everett & Coy) и др.

1908, 21 апреля — родилась дочь Аксинья (Ксения).

В течение года — «Московское книгоиздательство» приступило к выпуску собрания сочинений писателя.

1909, февраль — переехал с семьей в город Житомир.

Июль — оформил развод с М. К. Давыдовой.

16 августа — согласно метрической записи, венчался с Е. М. Гейнрих в церкви Рождества Пресвятой Богородицы села Гуменники под Житомиром.

Конец августа — переехал с семьей в Одессу.

13 сентября — совершил в Одессе полет на воздушном шаре с С. И. Уточкиным.

19 октября — по итогам заседания Академии наук получил премию им. А. С. Пушкина за трехтомник, выпущенный «Миром Божьим».

28 октября — совершил погружение на дно в Одесском порту в водолазном снаряжении.

5 ноября — присутствовал на скандальной премьере пьесы Н. Ходотова «"Госпожа" Пошлость» в Александринском театре Санкт-Петербурга.

1910, 17 июня — похоронил на Ваганьковском кладбище в Москве мать, умершую 14 июня.

6 октября — родилась дочь Зинаида.

12 ноября — разбился вместе с Иваном Заикиным на аэроплане во время рекламного полета в Одессе.

В течение года — вышли книги: «Moloch» (Praha: J. Otto), «Et Salomon aima» (Paris: M. Bauche) и др.

1911, 17 мая — приобрел в кредит дом в городе Гатчине по улице Елизаветинской, 19-а.

В течение года — вышли книги: «Granátový náramek a jiné povídky» (Praha: Jos. R. Vilímek), «Jáma: Život ve vykřičeném domě» (Praha: R. Brož), «Noclech a jiné povídky» (Praga: Vilímek), «Souboj = (Pojedinok)» (Praga: J. Otto) и др.

1912, начало года — умерла дочь Зинаида.

Апрель — начало августа — впервые выехал за границу (Ницца, Марсель, Венеция, Генуя, Ливорно, Корсика, Вена и др.).

В течение года — вышли 1–8 тома нового собрания сочинений (СПб.: Изд-во А. Ф. Маркса).

1913, в течение года – вышли книги: «Штабс-капитан Рыбников» (СПб.: Освобождение), «Новые рассказы» (СПб.: Товарищество художественной печати) и др.

1914, май — июль — совершил вторую поездку за границу, на курорт Сальцо-Маджиоре в Северной Италии.

Август — оборудовал в своем доме лазарет для нужд гатчинского комитета Российского Красного Креста.

Сентябрь — в качестве военного корреспондента газеты «Русское слово» посетил Двинск (Даугавпилс), Вильно (Вильнюс), Ригу.

Ноябрь — добровольно в качестве офицера ополчения выехал в Гельсингфорс (Хельсинки), мобилизован в 323-ю пешую Новгородскую дружину Государственного ополчения.

3 декабря — отпраздновал 25-летие литературной деятельности.

1915, апрель — вернулся в Гатчину.

1917, февраль — в Гельсингфорсе встретил известие о революции и падении монархии.

1918, 1 июля — арестован за публикацию в столичной газете «Молва» (22 июня. № 15) статьи «Великий князь Михаил Александрович».

3 июля — отпущен из-под ареста на поруки.

Осень — приступил к работе в издательстве «Всемирная литература».

25 декабря — встречался в Кремле с В. И. Лениным по вопросу издания газеты «Земля».

В течение года — «Московское книгоиздательство» закончило выпуск 12-томного собрания сочинений писателя.

1919, после 17 октября — приступил к редактированию прифронтовой газеты белой Северо-Западной армии «Приневский край».

1 ноября — бежал из Гатчины вместе с отступающей Северо-Западной армией.

Ноябрь — оказался в Ямбурге (Кингисеппе), затем в Ревеле (Таллине), где сотрудничал с газетой «Свобода России».

22 ноября — в Ревеле получил новый временный паспорт Северо-Западного правительства.

Конец ноября — прибыл в Гельсингфорс, приступил к работе в газете «Русская жизнь» (позднее «Новая русская жизнь»).

1920, 9 июня — получил новый финский паспорт.

26 июня — отправляется морем из финского порта Або (Турку) в Копенгаген.

4 июля — прибыл в Париж; вскоре приступил к работе в газете «Общее дело».

Лето — поселился в Париже по адресу: рю Жак Оффенбах (rue Jacques Offenbach), 1.

В течение года — вышли книги: «Звезда Соломона» (Гельсингфорс: Библион), «Nebohý princ a jiné povídky (Praha: Stanislav Minařík) и др.

1921, февраль — становится редактором парижского русского журнала «Отечество».

Апрель — переехал в Севр Вилль д'Авре (Sèvres Ville-d'Avray, rue Riocreux, 5).

Июль — сложил с себя обязанности редактора «Отечества» из-за финансовых разногласий с издателем.

В течение года — вышли книги: переиздание собрания сочинений, выпущенного «Московским книгоиздательством» (Berlin: G. Blumenberg Éditeur), «Суламифь» (Париж: Русская земля), «Listrigoni» (Praha: J. Otto), «Рассказы для детей» (Париж: Север), «Гамбринус» (Париж: Zemgor) и др.

1922, апрель — вернулся в Париж, поселился по адресу: рю Ранеляг (rue Ranelagh), 137.

Июль — поселился по адресу: бульвар Монморанси (boulevard Montmorency) 1-бис.

24 ноября — присутствовал в качестве шафера на свадьбе И. А. Бунина и В. Н. Муромцевой (чье венчание и официальное бракосочетание состоялось в Париже).

В течение года — вышли книги: «Le Duel» (Paris: Éditions Bossard), «Strakatí koně» (Praha: Rudolf Hudec), «Циганчица» (Београд), «Воробьиный царь» (Берлин: Грани) и др.

1923, в течение года — приступил к работе в парижской «Русской газете»; вышли книги: «Jáma» (Praha: Románové Noviny

(Jos. Šrámek)), «Le Mal de mer» (Paris: Stock (Delamain et Boudelleau)) и др.

1924, 4 февраля — стал дедом (дочь Лидия родила сына Алексея).
23 ноября — в Москве умерла старшая дочь Лидия.
3 декабря — отпраздновал 35-летие литературной деятельности.
В течение года — вышли книги: «Sulamit» (Praha: Topič), «Les Lestrygons» (Paris: A. & G. Mornay), «Les Lestrygons, ou Les charmes de la Russie du Sud» (Paris: Éditions de l'Epi), «Jama, die Lastergrube» (Wien: Interterrit. Verlag «Renaissance») и др.

1925, 21–23 мая — участвовал в Международном конгрессе писателей в Париже.
В течение года — вышли книги: «Jama» (Praha: L. Šotek), «Povídky pro mládež» (Praha: Fr. Zpěvák), «Sulamith» (Berlin: Glagol Verlag) и др.

1926, март — в Париже на рю Фондари, 36, открылась «Библиотека А. И. Куприна», при ней переплетная мастерская и книжный магазин.
В течение года — вышли книги: «La fosse aux filles» (Paris: A. et G. Mornay), «Die sieben Liebesnächte der Sulamith» (Leipzig: Renaissance-Verlag) и др.

1927, февраль — приступил к работе в парижской русской монархистской газете «Возрождение».
В течение года — вышла книга: «Новые повести и рассказы» (Париж: Изд-во товарищества Н. П. Карбасникова).

1928, 25 сентября — 6 октября — участвовал в Съезде русских эмигрантских писателей и журналистов в Белграде.
В течение года — вышли книги: «Храбрые беглецы: Рассказы для детей» (Париж: Возрождение), «Купол Св. Исаакия Далматского» (Рига: Литература) и др.

1929, в течение года — вышли книги: «Елань» (Белград: Издательская комиссия), «Soulamit» (Paris: Zemgor) и др.

1930, в течение года — вышла книга «Колесо времени» (Белград).

1931, 11 июля — становится редактором парижского русского еженедельника «Иллюстрированная Россия».

1932, июнь — покинул пост редактора «Иллюстрированной России».
В течение года — поселился на рю Жювене (rue Jouvenet), 20/20, затем на рю Эдмон Роже (rue Edmond Roger), 12.

1933, в течение года — вышла книга: «Юнкера» (Париж: Возрождение).

1934, в течение года — вышли книги: «Жанета: Принцесса четырех улиц» (Париж: Возрождение), «Súboj» (Praha: Myjava: D. Pažický) и др.

1935, в течение года — вышла книга: «Zázračný doktor» (V Bratislave: Učiteľské nakladateľstvo U nás).

1937, 31 мая — вернулся на Родину; прибыл с женой в Москву.
Июнь — октябрь — отдыхал в поселке Голицыно под Москвой.

7 ноября — присутствовал на Красной площади во время парада в честь 20-летия советской власти.

Декабрь — поселился в Ленинграде по адресу: Лесной проспект, д. 61, кв. 212.

В течение года — вышло «Избранное» (М.: Гослитиздат) в двух томах.

1938, июнь — отдыхал в Гатчине (ул. Чехова, 10).

25 августа — Александр Иванович Куприн скончался в Ленинграде.

27 августа — похоронен на Литераторских мостках Волковского (Волкова) кладбища в Ленинграде.

В течение года — вышли книги: «Ночная смена: Рассказ из быта царской армии» (М.: Воениздат), «Слон» (М.; Л.: Детиздат), «Поединок» (М.: Государственное военное изд-во), «Поединок» (М.: Воениздат) и др.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Издания А. И. Куприна

Куприн А. И. Полное собрание сочинений: В 9 т. СПб.: Издание Товарищества А. Ф. Маркса, 1912—1915.

Куприн А. И. Собрание сочинений: В 6 т. М.: Гослитиздат, 1957—1958.

Куприн А. И. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Правда, 1964.

Куприн А. И. Мы, русские беженцы в Финляндии: Публицистика (1919—1921) / Сост., вступ. ст. и коммент. Б. Хеллмана при участии Р. Дэвиса. СПб.: Журнал «Нева», 2001.

Куприн А. И. Хроника событий глазами белого офицера, писателя, журналиста. 1919—1934 / Сост., вступ. ст., прим. О. С. Фигурновой. М.: Собрание, 2006.

Куприн А. И. Пестрая книга: Несобранное и забытое / Сост., вступ. и прим. Т. А. Каймановой. Пенза, 2015.

Литература о А. И. Куприне

Автобиография А. И. Куприна // Огонек [Санкт-Петербург]. 1913. 19 мая / 1 июня. № 20. С. 11.

Аспиз Е. М. А. И. Куприн в Балаклаве // Крым [Симферополь]. 1959. № 23.

Афанасьев В. Н. Александр Иванович Куприн: Критико-биографический очерк. М.: Гослитиздат, 1960.

Афанасьев В. На подступах к «Поединку» // Русская литература [Ленинград]. 1961. № 4.

Берков П. Н. Александр Иванович Куприн. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1956.

Борисов Л. Всероссийский гатчинский житель / *Борисов Л.* За круглым столом прошлого: Воспоминания. Л.: Лениздат, 1971.

Бунин Ив. Перечитывая Куприна // Современные записки [Париж]. 1938. LXVII. С. 309—317.

Венюкова С. Потерянный рай (Куприн в Балаклаве). Севастополь: Арт-Принт, 1997.

Вержбицкий Н. К. Встречи с А. И. Куприным. Пенза: Пензенское книжное изд-во, 1961.

Волков А. А. Творчество А. И. Куприна. М.: Советский писатель, 1962.

Гейсман П. А. «Поединок» г. А. Куприна и современные фарисеи с точки зрения критики. СПб.: Типография Главного управления уделов, 1905.

Григорков Ю. А. Александр Иванович Куприн (К пятидесятилетию со дня рождения). Гельсингфорс: Типография Ф. Састамойнена, 1920.

Гр. А. Д. [Краснов П. Н.]. Литературные заметки // Русский инвалид [Париж]. 1933. 22 января. № 51.

Давыдова Л., Давыдов О. Страницы истории: Биографическая хроника семьи Давыдовых. Варшава, 2000.

Дружников Юрий. Куприн в дегте и патоке // Новое русское слово [Нью-Йорк]. 1989. 24 февраля.

Заикин И. В воздухе и на арене. Куйбышев: Куйбышевское книжное изд-во, 1965.

Измайлов А. Песни земной радости / *Измайлов А.* Литературный Олимп: Характеристики, встречи, портреты, автографы. М., 1911.

Киселев Б. Рассказы о Куприне. М.: Советский писатель, 1964.

Князев Василий. Красный трибунал. Процесс первый. Дело А. И. Куприна (Русская литература на скамье подсудимых) // Красная колокольня [Петроград]. 1918. № 1–7.

Крутикова Л. В. А. И. Куприн. Л.: Просвещение, 1971.

Кулешов Ф. И. Творческий путь А. И. Куприна, 1907–1938. Минск: Университетское, 1987.

Кунцевская Г. Н. Куприн А. И. // *Кунцевская Г. Н.* Благословенная Таврида. Симферополь: Таврия, 2008.

Куприна К. А. Куприн — мой отец. М.: Советская Россия, 1971.

Куприна К. А. Куприн — мой отец. 2-е изд., испр. и доп. М.: Художественная литература, 1979.

Куприна-Иорданская М. К. Годы молодости. М.: Советский писатель, 1960.

Куприна-Иорданская М. К. Годы молодости. 2-е изд., доп. М.: Художественная литература, 1966.

Миленко В. Д. Севастополь в судьбе и творчестве писателей Серебряного века. Аркадий Аверченко, Александр Грин, Александр Куприн: Учебно-методическое пособие. Севастополь: Гит пак, 2010.

Михайлов О. Н. Куприн. М.: Молодая гвардия, 1981.

Михайлов О. Н. Жизнь Куприна. «Настоящий художник — громадный талант». М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2001.

Мои встречи с А. И. Куприным (Воспоминания М. Покровской) // Аврора [Санкт-Петербург]. 1996. № 8.

Поляновский М. Ксения Куприна на Родине // Огонек [Москва]. 1959. 17 мая. № 21.

Рощин Н. Я. Мой Куприн / Публ. Л. Г. Голубевой // Москва. 1999. № 8. С. 175–188.

Рощин Николай. О Куприне // Возрождение [Париж]. 1937. 11 июня. № 4082.

Рощин Николай. О Куприне // Возрождение [Париж]. 1937. 18 июня. № 4083.

Ротштейн Э. М. Материалы к биографии А. И. Куприна / *А. И. Куприн.* Забытые и несобранные произведения. Пенза: Пензенское областное изд-во, 1950.

Седых Андрей. А. И. Куприн / *Седых А.* Далекие, близкие. Нью-Йорк: Новое русское слово, 1979.

Сирень: Сборник-посвящение Александру Ивановичу Куприну. Гатчина: Центральная городская библиотека им. А. И. Куприна, 2005.

Тарусский Евг. Юнкера // Часовой [Париж]. 1932. 15 ноября. № 92.

Тэффи. Моя летопись. М.: Вагриус, 2004.

Федоров В. По поводу «Поединка» Куприна. СПб.: Типография «Россия», 1907.

Фидлер Ф. Ф. Из мира литераторов: Характеры и суждения / Вступ. ст., сост., пер. с нем., прим., указатели и подбор иллюстраций К. М. Азадовского. М.: Новое литературное обозрение, 2008.

Фонская С. И. Куприн в Подмосковье / *Фонская С. И.* Дом в Голицыне. М.: Советская Россия, 1967.

Фонякова Н. Н. Куприн в Петербурге — Ленинграде. Л.: Лениздат, 1986.

Фролов П. А. А. И. Куприн и Пензенский край. Саратов: Приволжское книжное изд-во (Пензенское отделение), 1984.

Чуковский К. И. Куприн / *Чуковский К. И.* Современники. Портреты и этюды. М.: Молодая гвардия, 1967.

Nicholas J. L. Luker. Alexander Kuprin. Boston: Twayne Publishers, 1978.

СОДЕРЖАНИЕ

Миленко В. Д.

М 60 Куприн: Возмутитель спокойствия / Виктория Миленко. – М.: Молодая гвардия, 2016. – 367[1] с.: ил. – (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1613).

ISBN 978-5-235-03913-1

Жизнь писателя Александра Куприна (1870–1938) похожа на остросюжетный роман. От раннего сиротского детства во Вдовьем доме — до головокружительной карьеры, от «разгрома» армии в «Поединке» — до покаяния в «Юнкерах», от романтического «Гранатового браслета» — до порнографической «Ямы», от участия в Белом движении, бегства из России и эмиграции — до возвращения на Родину под приветственный гром советских маршей. Поражает и повседневная жизнь Куприна: от славы ресторанного завсегдатая, застольных драк, дружб с циркачами, силачами, рыбаками, авиаторами, авантюристами — до приема у Ленина в Кремле... Все противоречия, парадоксы, катастрофы и смятения той переломной эпохи отразились в обширной купринской мифологии, как советской, так и антисоветской. Виктория Миленко, кандидат филологических наук, пожалуй, первая в Новое время предприняла попытку «поверить алгеброй гармонию», то есть фактологией мифологию, привлекая малоизвестные и неизвестные доселе материалы, документы, и это оказалось весьма увлекательным экскурсом. Словом, знакомьтесь: Александр Куприн!

УДК 821.161.1.0(092)
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8

знак информационной продукции **16+**

Миленко Виктория Дмитриевна

КУПРИН: ВОЗМУТИТЕЛЬ СПОКОЙСТВИЯ

Редактор **Л. С. Калюжная**
Художественный редактор **К. В. Забусик**
Технический редактор **М. П. Качурина**
Корректор **Т. И. Маляренко**

Сдано в набор 13.09.2016. Подписано в печать 19.10.2016. Формат 84×108/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Newton». Усл. печ. л. 19,32+1,68. Тираж 3000 экз. Заказ № 1619030.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127055, Москва, Сущевская ул., 21. Internet: http://gvardiya.ru. E-mail:dsel@gvardiya.ru

arvato BERTELSMANN

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного электронного оригинал-макета в ООО «Ярославский полиграфический комбинат» 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

ISBN 978-5-235-03913-1


ISBN 978-5-235-03913-1

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ